*Болеслав Прус*

# КУКЛА

## Часть первая

### Глава первая. Как выглядит фирма «Я.Минцель и С.Вокульский» сквозь стекло бутылок

В начале 1878 года, когда политический мир был озабочен Сан-Стефанским договором, выборами нового папы либо степенью вероятия европейской войны, варшавское купечество, а также интеллигентские круги одного из кварталов Краковского Предместья не менее горячо интересовались будущностью галантерейного магазина фирмы «Я.Минцель и С.Вокульский».

В широко известной ресторации, куда по вечерам сходились закусить владельцы бельевых магазинов и винных подвалов, хозяева шляпных и экипажных мастерских, почтенные отцы семейств, живущие доходами с капитала, и досужие домовладельцы, столь же часто обсуждался вопрос вооружения Англии, сколь и дела фирмы «Я.Минцель и С.Вокульский». Склонившись над бутылками темного стекла, обитатели этого квартала, окутанные густым сигарным дымом, бились об заклад: одни — выиграет Англия или проиграет, другие — обанкротится Вокульский или нет, одни называли Бисмарка гением, другие — Вокульского авантюристом; одни критиковали деятельность президента Мак-Магона, другие утверждали, что Вокульский — явный безумец, если не хуже…

Лучше остальных знали С.Вокульского пан Деклевский, владелец каретных мастерских, который создал себе состояние и положение в обществе, упорно работая в этой отрасли, а также советник Венгрович, который уже двадцать лет подряд был членом-опекуном одного и того же благотворительного общества; именно они громче всех пророчили Вокульскому разорение.

— Не миновать разорения и банкротства человеку, который не держится одного дела и не умеет ценить милостивых даров судьбы, — говорил Деклевский.

А советник Венгрович при каждом глубокомысленном изречении своего друга присовокуплял:

— Безумец! Безумец! Авантюрист!.. Юзек, подай-ка еще пива. Которая же это по счету бутылка?

— Шестая, господин советник. Сей моментик! — отвечал Юзек.

— Шестая уже? Как время летит! Безумец, безумец! — бормотал советник Венгрович.

Завсегдатаям ресторации, где утолял свою жажду советник, ее хозяину и половым причины бедствий, которым предстояло обрушиться на С.Вокульского и его галантерейный магазин, казались ясны, как пламя газовых рожков, освещавших зал. Причины эти коренились в беспокойном характере, в авантюристическом образе жизни и, наконец, в последнем поступке этого

человека, который, имея в руках верный кусок хлеба и доступ в столь приличную ресторацию, добровольно отказался от нее, магазин оставил на произвол судьбы, а сам со всеми деньгами, доставшимися ему после смерти жены, отправился на русско-турецкую войну сколачивать состояние.

— А может, и сколотит… Военные поставки — дельце прибыльное, — ввернул Шпрот, торговый агент, который был тут редким гостем.

— Ничего он не сколотит, — возразил Деклевский, — а тем временем солидное предприятие полетит к черту. На поставках наживаются только евреи да немцы, наши в таких делах ничего не смыслят.

— А может, Вокульский смыслит?

— Безумец! Безумец! — буркнул советник. — Подай-ка пива, Юзек. Которая это?

— Седьмая бутылочка, господин советник. Сей моментик!

— Седьмая уже? Как время летит, как время летит…

Торговый агент, которому по роду его службы требовались всесторонние и исчерпывающие сведения о купцах, пересел вместе со своей бутылкой и кружкой к столу советника и, умильно заглядывая в его слезящиеся глаза, спросил понизив голос:

— Прошу прощения, но… почему вы, господин советник, изволите называть Вокульского безумцем? Не угодно ли сигарку?.. Я немного знаком с Вокульским. Он всегда казался мне человеком скрытным и гордым. Скрытность в купце — черта отличная, гордость же — недостаток. Однако наклонности к сумасшествию… нет, этого я в нем не приметил.

Советник принял сигару без особых знаков признательности. Его румяная физиономия, окаймленная пучками седых волос, в эту минуту напоминала красный халцедон в серебряной оправе.

— Я называю его… — отвечал он, неторопливо обкусывая сигару и закуривая, — я называю его безумцем, потому что знаю его… постойте-ка… пятнадцать… семнадцать… восемнадцать лет… Это было в тысяча восемьсот шестидесятом году… Мы тогда обычно захаживали к Гопферу. Знали вы Гопфера?

— Фью!..

— Ну, так Вокульский служил тогда у Гопфера половым, и было ему двадцать с чем-то лет…

— Это в торговле винами и деликатесами?

— Да. И вот как сейчас Юзек, так в ту пору он подавал мне пиво и нельсоновские зразы.

— А потом он из этой отрасли перекинулся в галантерейную? — спросил агент.

— Не торопитесь, — остановил его советник. — Перекинулся, да не в галантерею, а на подготовительные курсы, а потом в университет, — понимаете, сударь?.. В образованные, видите ли, захотелось!

Агент покачал головой, изображая недоумение.

— Вот так так! — протянул он. — И что это ему на ум взбрело?

— Да что! Известно — знакомства в Медицинской академии, в Институте живописи… В те времена у всех в головах невесть что творилось, ну и он не хотел отставать от других. Днем прислуживал посетителям за стойкой и вел счета, а по ночам учился…

— Неважный, верно, был из него работник?

— Не хуже других, — отвечал советник, с неудовольствием махнув рукой. — Только уж очень он, шельма, был нелюбезен; скажешь ему самое безобидное словечко, а он на тебя волком смотрит… Ну уж и потешались мы над ним сколько влезет, а он всего больше злился, если кто величал его «господин доктор». Однажды так нагрубил посетителю, что чуть было не подрались.

— И, конечно, заведению от того убыток…

— Ничуть не бывало! Как только в Варшаве разнесся слух, что слуга Гопфера поступает на подготовительные курсы, народ валом туда повалил. Особенно студенты.

— И он действительно поступил на подготовительные курсы?

— Поступил и даже сдал экзамен в университет. Однако что бы вы думали?

— продолжал советник, хлопнув агента по колену. — Не прошло и года, как он, вместо того чтобы довести ученье до конца, бросил университет…

— И за что принялся?

— Вот именно — за что?.. Вместе с другими заваривал кашу, которую мы и по нынешний день расхлебываем, и в конце концов очутился где-то под Иркутском. [1]

— Вот так так! — вздохнул торговый агент.

— И это еще не все… В тысяча восемьсот семидесятом году он вернулся в Варшаву с маленьким капитальцем. Полгода высматривал, чем бы таким заняться, за версту обходя бакалею, которую до сих пор терпеть не может, пока наконец, по протекции своего теперешнего управляющего Жецкого, не втерся в магазин пани Минцель, которая в то время как раз овдовела, и — бац — через год женился на бабе чуть ли не вдвое старше его.

— Это не так уж глупо!

— Еще бы! Одним махом заполучил хороший кусок хлеба и дело, при котором мог бы спокойно трудиться до конца дней своих. Ну, зато и принял же он от этой бабы крестную муку!

— На этот счет они мастерицы…

— Ого-го! — отозвался советник. — Посудите, однако, что значит удача! Полтора года назад баба чем-то объелась и умерла, а Вокульский, отмучившись четыре года, стал вольной птицей, получив в придачу солидный магазин да чистоганом тридцать тысяч рублей, что сколачивали два поколения Минцелей.

— Везет человеку!

— Везло, — поправил советник, — да не сумел он оценить свое счастье. Всякий другой на его месте женился бы на приличной барышне и зажил бы припеваючи; шутка ли сказать, чего стоит в наши дни магазин с солидной репутацией, да еще на таком бойком месте. А этот безумец бросил все и отправился наживать капитал на войне. Миллионов ему захотелось или еще невесть чего.

— Может, и добудет, — отозвался агент.

— Куда там! — раздраженно махнул рукой советник. — Дай-ка, Юзек, еще пива. Вы, сударь мой, уж не думаете ли, что в Турции он найдет бабу побогаче покойницы Минцелевой? Юзек!

— Сей моментик! Пожалуйте восьмую.

— Восьмую? — повторил советник. — Быть не может! Постой… Раньше была шестая, потом седьмая, — бормотал он, прикрывая лицо ладонью. — Может, и правда восьмая. Как время летит!

Вопреки мрачным предсказаниям трезвых людей, галантерейный магазин фирмы «Я.Минцель и С.Вокульский» не только не разорился, но даже приносил немалую прибыль. Любопытство публики было возбуждено слухами о банкротстве Вокульского, и люди все чаще заходили к нему в магазин, а с тех пор, как хозяин уехал из Варшавы, за товарами начали обращаться и русские купцы. Заказов становилось все больше, фирма получила кредит за границей, векселя аккуратно оплачивались, и в магазине всегда было полно покупателей, которых с трудом успевали обслуживать три приказчика: один — тщедушный блондин, выглядевший так, будто он вот-вот умрет от чахотки, другой — шатен с бородкой философа и жестами вельможи, и третий — франт, носивший смертоносные для прекрасного пола усики и благоухающий, как парфюмерная фабрика.

Однако общее любопытство, физические и духовные качества всех трех приказчиков и даже прочно установившаяся репутация магазина вряд ли смогли бы спасти его от разорения, если бы всем предприятием не управлял человек, сорок лет работавший в фирме, друг и заместитель Вокульского, пан Игнаций Жецкий.

### Глава вторая. Как управлял старый приказчик

Пан Игнаций уже четверть века жил в комнате при магазине. За это время в магазине менялись хозяева и полы, шкафы и оконные стекла, размах деятельности и приказчики; но комната Жецкого оставалась такой, как была. Все

в тот же двор выходило унылое окошко, все с той же самой решеткой, на прутьях которой висела чуть ли не двадцатипятилетняя паутина и уж наверняка двадцатипятилетней давности занавеска, некогда зеленая, а ныне посеревшая с тоски по солнечным лучам.

У окна стоял все тот же черный стол, обитый сукном, некогда тоже зеленым, а сейчас попросту грязным. На столе — громоздкая черная чернильница с громоздкой черной песочницей, наглухо вделанные в одну подставку, пара медных подсвечников для сальных свечей, которых уже давно не жгли, и стальные щипцы, которыми уже давно не снимали нагара. Железная кровать с жиденьким тюфячком, над нею — никогда не бывшая в употреблении двустволка, под кроватью — гитара в футляре, напоминавшем детский гробик, далее узкий, обитый кожей диванчик, два стула, тоже обитые кожей, большой жестяной таз и шкафчик темно-вишневого цвета — такова была меблировка комнаты, которая из-за своей продолговатой формы и постоянно царившего здесь полумрака скорее, пожалуй, походила на склеп, чем на жилое помещение.

Точно так же, как комната, не изменились за четверть века и привычки пана Игнация. Утром он просыпался всегда в шесть часов; с минутку прислушивался, идут ли часы, лежащие на стуле, и бросал взгляд на стрелки, которые в этот миг вытягивались в одну прямую линию. Он предпочел бы подняться спокойно, без суеты; но, так как холодные ноги и слегка окоченевшие руки не вполне подчинялись его воле, он разом срывался с постели, выскакивал на середину комнаты и, швырнув на одеяло ночной колпак, бежал к печке, где стоял большой таз, в котором он мылся с головы до ног, причем ржал и фыркал, словно одряхлевший рысак благородных кровей, которому вспомнились скачки.

Совершив обряд омовения, он растирался мохнатым полотенцем и бормотал, любуясь своими тощими икрами и заросшей грудью:

— А я таки обрастаю жирком!

В это мгновение неизменно спрыгивал с диванчика старый пудель Ир с выбитым глазом и, энергично встряхнувшись, по-видимому чтобы сбросить с себя остатки сна, начинал скрестись в дверь, за которой кто-то неутомимо раздувал самовар. Жецкий, не переставая торопливо одеваться, выпускал пса, здоровался со слугой, доставал из шкафа чайник, застегивал манжеты, путаясь в петлях, выбегал во двор посмотреть, какова погода, обжигаясь, глотал чай, причесывался, не глядя в зеркало, и в половине седьмого был уже совершенно готов.

Проверив, есть ли у него на шее галстук, а в карманах — часы и кошелек, пан Игнаций доставал из стола большой ключ и, слегка сутулясь, торжественно отпирал заднюю дверь магазина, обитую жестью. Вдвоем со слугой входили они туда, зажигали несколько газовых рожков, и, пока слуга подметал пол, пан Игнаций, надев пенсне, просматривал в блокноте расписание занятий на день.

— Внести в банк восемьсот рублей, ага… Отослать в Люблин три альбома и дюжину кошельков… Вот-вот! Перевести в Вену тысячу двести гульденов…

Получить на вокзале прибывший груз… Отчитать кожевника, почему не доставил чемоданов… Пустяки! Стасю написать письмо… Пустяки!

Дочитав до конца, он зажигал еще несколько рожков и при их свете производил осмотр товаров на застекленных полках и в шкафах.

— Запонки, булавки, кошельки… хорошо… Перчатки, веера, галстуки… Порядок… Трости, зонты, саквояжи… А тут альбомы, несессерчики… Голубой вчера продали, ясное дело! Подсвечники, чернильницы, пресс-папье… Фарфор… Хотел бы я знать, зачем повернули эту вазу? Конечно… нет, не треснула… Куклы с волосами, театр, карусель… Завтра же надо будет выставить в витрине карусель, а то фонтан уже примелькался… Пустяки! Скоро восемь… Готов пари держать, что первым явится Клейн, а последним Мрачевский. Ясное дело!.. Познакомился с какой-то гувернанткой и уже успел купить ей несессерчик в кредит и со скидкой… Ясное дело… Лишь бы не начал покупать без скидки да на чужой счет…

Так бормоча, Жецкий ходил по магазину, сутулясь и засунув руки в карманы, а за ним ходил его пудель. Время от времени он останавливался и осматривал какую-нибудь вещь, тогда пес присаживался на полу и скреб задней лапой свои густые лохмы, а выставленные рядами куклы, маленькие, средние и большие, брюнетки и блондинки, глядели на них из шкафа мертвыми глазами.

Заскрипела входная дверь, и показался Клейн, тщедушный приказчик с грустной улыбкой на посиневших губах.

— Ну вот, я так и знал, что вы явитесь первым. Добрый день! — сказал пан Игнаций. — Павел! Гаси свет и открывай магазин.

Слуга вбежал тяжелой рысью и завернул газ. Минуту спустя раздался скрежет засовов, лязг болтов, и в магазин вторгся день — единственный посетитель, который никогда не подводит купца. Жецкий уселся за конторку у окна, Клейн занял свое место возле фарфора.

— Что, хозяин еще не возвращается, не получали вы письма? — спросил Клейн.

— Я жду его в середине марта, самое позднее через месяц.

— Если его не задержит новая война.

— Стась… — начал Жецкий и тут же поправился: — Пан Вокульский пишет мне, что войны не будет.

— Однако же ценные бумаги падают, а сегодня я читал, что английский флот вошел в Дарданеллы.

— Это ничего не значит, войны не будет. Впрочем, — вздохнул пан Игнаций, — какое нам дело до войны, в которой не будет участвовать Бонапарт!

— Ну, песенка Бонапартов спета.

— В самом деле?.. — иронически усмехнулся пан Игнаций. — А ради кого же это Мак-Магон и Дюкро готовили переворот в январе?.. Поверьте мне, Клейн, бонапартизм — это могучая сила!

— Есть еще сила побольше.

— Какая? — вознегодовал пан Игнаций. — Уж не Гамбеттова ли республика? Или Бисмарк?

— Социализм, — шепнул тщедушный приказчик, укрываясь за горкой фарфора.

Пан Игнаций укрепил на носу пенсне и привстал с кресла, словно собираясь одним ударом сокрушить новую теорию, противоречившую его воззрениям, но намерению его помешал приход второго приказчика, с бородкой.

— А, мое почтение, пан Лисецкий! — обратился он к вновь прибывшему. — Холодно сегодня, не правда ли? Который это час на улице? А то мои часы, кажется, спешат. Ведь еще нет четверти девятого?

— Ах, как остроумно!.. Ваши часы всегда спешат по утрам и отстают вечером, — едко возразил Лисецкий, вытирая заиндевевшие усы.

— Держу пари, что вы вчера играли в преферанс.

— Само собою. А вы как думаете — круглые сутки развлекать меня видом вашей галантереи и ваших седых волос?

— Ну, сударь мой, я уж предпочитаю проседь, нежели плешь, — обиделся пан Игнаций.

— Остроумно!.. — прошипел Лисецкий. — Моя плешь, если кто ее и разглядит, — плод печальной наследственности, а вот ваша седина и брюзгливый характер — плоды преклонного возраста, который я готов, конечно, всячески уважать…

В магазин вошла первая покупательница в салопе и шали и потребовала медную плевательницу. Пан Игнаций очень низко ей поклонился и предложил стул, а Лисецкий исчез за шкафами и, вскоре вернувшись, протянул посетительнице требуемую вещь исполненным достоинства жестом, затем написал цену плевательницы на квитанции, через плечо подал ее Жецкому и удалился за полки с видом банкира, который пожертвовал на благотворительные цели несколько тысяч рублей.

Спор о плеши и седине остался неразрешенным.

Только к девяти в магазин вошел, вернее влетел, Мрачевский, великолепный блондин лет двадцати трех: глаза — как звезды, губы — как вишни, усики — как смертоносные кинжалы. Он вбежал, за ним неслась волна благовония.

— Честное слово, уже, наверное, половина десятого! Я ветрогон, я шалопай, ну, наконец, я мерзавец, — но что поделаешь, если мать заболела и мне пришлось бежать за доктором. Я был у шести…

— Не у тех ли, которым вы дарите несессеры? — спросил Лисецкий.

— Несессеры? Нет. Наш доктор не взял бы даже булавки. Почтеннейший человек… Не правда ли, пан Жецкий, уже половина десятого? У меня остановились часы.

— Скоро де-вять, — отчеканил пан Игнаций.

— Только девять? Ну, кто бы мог подумать! А я собирался прийти сегодня в магазин первым, раньше Клейна…

— Чтобы уйти еще до восьми, — ввернул Лисецкий. Мрачевский устремил на него голубые глаза с видом величайшего изумления.

— Откуда вы знаете? — воскликнул он. — Ну, честное слово! У этого человека дар ясновидения! Как раз сегодня, честное слово… мне необходимо быть в городе около семи, хотя бы мне грозила смерть, хотя бы… меня уволили…

— С этого вы и начните, — взорвался Жецкий, — и будете свободны к одиннадцати, даже сию минуту, пан Мрачевский. Вам бы графом быть, а не приказчиком, и я удивляюсь, как вы с самого начала не выбрали себе этой специальности. Тогда, пан Мрачевский, у вас было бы вдоволь свободного времени! Кажется, ясно!

— Положим, и вы в его годы бегали за юбками, — вступился Лисецкий. — Чего уж там мораль разводить!

— Никогда я не бегал! — крикнул Жецкий, стукнув кулаком по конторке.

— По крайней мере, хоть раз проболтался, что всю жизнь был растяпой, — буркнул Лисецкий Клейну, который улыбнулся и чрезвычайно высоко поднял брови.

В магазин вошел второй покупатель и попросил калоши. Навстречу ему выбежал Мрачевский.

— Вам, сударь, калоши угодно? А номерок какой, осмелюсь спросить? Ах, вы, сударь, наверное, не помните! Не у каждого есть время подумать о номере своих калош, это уж наша забота. Разрешите, сударь, примерить? Соблаговолите присесть на табурет. Павел! Принеси полотенце, сними с господина калоши и оботри башмаки…

Прибежал Павел с тряпкой и бросился к ногам покупателя.

— Да что вы… да как же… — лепетал оторопевший посетитель.

— Помилуйте, ради бога! — частил Мрачевский. — Это наша обязанность. Вот эти, кажется, подойдут, — говорил он, подавая пару калош, связанных ниткой. — Великолепно, выглядят прелестно. У вас, сударь, нога до того нормальная, что никак не ошибешься номером. Не угодно ли буковки, какие, сударь, позволите?

— Л.П., — буркнул покупатель, чувствуя, что тонет в потоке красноречия услужливого приказчика.

— Пан Лисецкий, пан Клейн, будьте добры прикрепить буквы. Старые калоши прикажете завернуть? Павел, вытри калоши и заверни в бумагу. Но вам, сударь, может быть, не угодно таскать лишнюю тяжесть? Павел! Брось калоши в ящик… С вас, сударь, два рубля пятьдесят копеек. Калоши с буквами, сударь, вам никто не подменит, а то ведь мало радости вместо нового товара найти дырявые

обноски… Два рубля пятьдесят копеек пожалуйте в кассу с этой вот квитанцией. Кассир, пятьдесят копеек сдачи уважаемому господину…

Покупатель не успел опомниться, как на него надели новые калоши, дали сдачу и проводили к дверям, отвешивая низкие поклоны. С минуту он постоял на улице, бессмысленно уставясь на витрину, из-за которой Мрачевский посылал ему нежные улыбки и пламенные взгляды. Наконец махнул рукой и пошел дальше, думая, быть может, о том, что в другом магазине калоши без букв стоили бы ему десять злотых.

Пан Игнаций обернулся к Лисецкому и покачал головою с видом, выражающим удовольствие и восхищение. Мрачевский подметил краешком глаза это движение и, подбежав к Лисецкому, проговорил громким шепотом:

— Ну посмотрите-ка, разве наш старик не похож в профиль на Наполеона Третьего? Нос… усы… эспаньолка…

— Да, на Наполеона, когда ему докучали камни в печени, — отвечал Лисецкий.

Пан Игнаций брезгливо сморщился, услышав эту остроту. Само собою, Мрачевский около семи вечера был отпущен с работы, а несколько дней спустя удостоился заметки в личной тетради Жецкого: «Был на „Гугенотах“ в восьмом ряду партера с некоей Матильдой… (???)»

Красавец блондин мог бы сказать себе в утешение, что в той же тетради имелись заметки и о двух его сотоварищах, а также об инкассаторе, рассыльных, даже о слуге Павле. Откуда черпал Жецкий столь подробные сведения о жизни своих сослуживцев? Это был секрет, который он не открывал никому.

Около часу дня пан Игнаций, сдав кассу Лисецкому, которому он, несмотря на постоянные стычки, доверял больше других, удалялся в свою комнатушку, чтобы съесть обед, принесенный из ресторана. Одновременно с ним уходил и Клейн. В два часа оба они возвращались в магазин, а Лисецкий с Мрачевским отправлялись обедать. В три часа все снова были в сборе.

В восемь часов вечера магазин закрывался. Приказчики расходились, оставался один Жецкий. Он подсчитывал дневную выручку, проверял кассу, составлял список дел на завтра и припоминал, выполнено ли все, что было назначено на сегодня. За каждое упущение он расплачивался часами бессонницы и мрачными думами о разорении магазина, о несомненном упадке наполеоновской династии и о том, что все его жизненные чаяния оказывались попросту вздором.

«Ничего не выйдет! Нет нам спасения!» — вздыхал он, ворочаясь на своей жесткой постели.

Если день выдавался удачный, пан Игнаций был в приятном расположении духа. Тогда он перед сном перечитывал историю консульства и империи либо газетные вырезки с описаниями итальянской кампании 1859 года, иногда же, что случалось реже, вытаскивал из-под кровати гитару и играл марш Ракоци[2], подпевая сомнительного тембра тенорком.

После этого ему снились широкие венгерские равнины, синие и белые линии войск, затянутые клубами дыма… На следующий день он бывал мрачен и жаловался на головную боль.

Самым приятным днем было для него воскресенье, ибо в этот день он обдумывал и приводил в исполнение план устройства витрин на целую неделю.

По его понятиям, назначением витрины было не только показать, что имеется в магазине, но и привлекать внимание прохожих — то последними новинками моды, то живописным расположением предметов, то затейливой выдумкой. В правом окне, отведенном для предметов роскоши, обычно помещалась какая-нибудь бронзовая статуэтка, фарфоровая ваза, полный набор туалетных безделушек, а вокруг располагались альбомы, подсвечники, кошельки и веера в соседстве с тросточками, зонтами и несчетным множеством изящных мелочей. В левом же окне, пестревшем образцами галстуков, перчаток, калош и духов, главное место занимали игрушки, чаще всего заводные.

Иногда, во время этих одиноких занятий, в старом приказчике просыпался ребенок. Тогда он вытаскивал и расставлял на столе все механические игрушки. Был среди них и медведь, карабкавшийся на столб, и петух, издававший хриплое «кукареку», и бегающая мышь, и поезд, катившийся по рельсам, и цирковой клоун, который гарцевал на коне, поднимая на руках другого клоуна, и танцующие пары, кружившиеся в вальсе под звуки невнятной музыки. Пан Игнаций заводил все эти фигурки и пускал их одновременно. А когда петух принимался кукарекать, хлопая негнущимися крыльями, и кукольные пары пускались в пляс, поминутно спотыкаясь и останавливаясь, когда оловянные пассажиры поезда, едущего неведомо куда, удивленно глядели на него из окошек, когда весь этот игрушечный мир в мигающем свете газовых рожков как-то фантастически оживал,

— тогда старый приказчик, подперев голову кулаками, тихонько смеялся и бормотал:

— Хи-хи-хи! И куда это вы едете, уважаемые путешественники? Чего ради ты, акробат, рискуешь свернуть себе шею? К чему вам обниматься, танцоры?.. Вот кончится завод, и вы все отправитесь обратно на полки. Вздор, все вздор!.. А ведь умей вы думать, вам, наверное, казалось бы, что вы заняты важным делом!

После такого или подобного монолога он быстро складывал игрушки и в раздражении принимался шагать по пустому магазину, а следом за ним плелся его грязный пес.

«Торговля-вздор… политика — вздор… поездка в Турцию — вздор… и вздор вся жизнь, начала которой мы не помним, а конца не знаем… Где же истина?..»

А так как суждения такого рода он высказывал иногда и вслух, при людях, то его считали чудаком, и почтенные дамы, у которых были дочери на выданье, не упускали случая заметить:

— Вот до чего доводит мужчину холостая жизнь!

Из дому пан Игнаций выходил редко и ненадолго; обычно он прогуливался по улицам, где жили его товарищи по профессии или служащие магазина. Однако и тут его темно-зеленая куртка или табачного цвета сюртук, пепельно-серые брюки с черными лампасами и выцветший цилиндр, а более всего застенчивые манеры привлекали к себе всеобщее внимание. Пан Игнаций об этом знал и с каждым разом все больше терял охоту к прогулкам. В праздники он предпочитал растянуться на кровати и часами глядеть в свое зарешеченное окно, из которого видна была серая стена соседнего дома, украшенная одним-единственным, тоже зарешеченным окном, где иногда стоял горшочек масла или висели заячьи останки.

Но чем реже он выходил из дому, тем чаще мечтал о каком-нибудь далеком путешествии — в деревню или за границу. Все чаще виделись ему во сне зеленые поля и темные леса, где он мог бы бродить, вспоминая молодые годы. Постепенно в нем пробуждалась глухая тоска по сельскому пейзажу, и он решил сразу по возвращении Вокульского уехать куда-нибудь на все лето.

— Хоть раз перед смертью, зато уж на несколько месяцев, — говорил он сослуживцам, которые, неизвестно почему, посмеивались над его проектами.

Добровольно отгородившись от природы и людей, погрузившись в быстротечный, но тесный круговорот магазина, он все сильнее ощущал потребность поделиться с кем-нибудь своими мыслями. А поскольку одним он не доверял, иные не хотели его слушать, а Вокульского не было, он разговаривал сам с собою и — в величайшей тайне — писал дневник.

#### Глава третья. Дневник старого приказчика

«…С грустью наблюдаю я в последние годы, что на свете становится все меньше хороших приказчиков и разумных политиков, а все потому, что свет гонится за модой. Простой приказчик, что ни сезон, щеголяет в брюках нового покроя, в какой-нибудь удивительной шляпе и в замысловатом воротничке. То же и политики нынешние, — что ни сезон, служат новому богу. Позавчера они верили в Бисмарка, вчера — в Гамбетту, а сегодня — в Биконсфильда, который не так давно был обыкновенным евреем.

Как видно, у нас забывают, что в магазине следует не рядиться в модные воротнички, а продавать их, ибо в противном случае покупателям не хватит товаров, а магазину — покупателей. В свою очередь, судьбу политики следует связывать не с удачливыми личностями, а единственно с великими династиями. Меттерних был столь же славен, как Бисмарк, а Пальмерстон — еще славнее Биконсфильда. И что же? Кто нынче помнит о них? Между тем как род Бонапартов потрясал Европу при Наполеоне I, потом при Наполеоне III, да и сейчас, хоть некоторые и утверждают, будто род этот потерпел крах, он продолжает влиять на судьбы Франции через своих верных слуг Мак-Магона и Дюкро.

Вы еще увидите, что совершит Наполеон IV, который втихомолку учится у англичан военному искусству! Но не об этом речь. Не для того я мараю бумагу,

чтобы повествовать о Бонапартах, — я хочу писать о себе, дабы известно было, каким образом воспитывались дельные приказчики и хоть не ученые, но разумные политики. Для этого дела не требуется академии, хватит хорошего примера — дома и в магазине.

Отец мой смолоду служил в солдатах, а под старость — швейцаром в ведомстве внутренних дел. Держался он прямо, как жердь, носил небольшие бачки и закрученные кверху усы, шею повязывал черным платком, а в одном ухе висела у него серебряная серьга.

Мы жили в Старом Мясте с теткой, которая стирала и чинила белье чиновникам. Снимали две комнатушки в четвертом этаже. Достатка в них было немного, зато много радости, по крайней мере для меня. В нашей комнатке самой почетной вещью был стол, на котором отец, возвратившись со службы, клеил конверты, а у тетки в комнате первое место занимала лохань. Помню, в ясные дни я на улице запускал змея, а в ненастные сидел дома и пускал мыльные пузыри.

Все стены у тетки были увешаны изображениями святых; но сколько бы их ни было, все же они не могли равняться по количеству с портретами Наполеона, которыми украшал свою комнату отец. Там был один Наполеон в Египте, другой под Ваграмом, третий под Аустерлицем, четвертый под Москвой, пятый в день коронации и шестой в сиянии славы. Когда тетка, оскорбленная таким множеством светских картин, повесила у себя на стене медное распятие, отец, чтобы, как он говорил, не унизить Наполеона, купил его бронзовый бюст и тоже поместил его над кроватью.

— Вот увидишь, безбожник, — не раз причитала тетка, — будешь ты за такие штучки кипеть в смоле!

— Э! — отвечал отец. — Уж император меня в обиду не даст.

Часто к нам заходили бывшие полковые товарищи отца: Доманский, тоже швейцар, только в финансовом ведомстве, и Рачек, владелец зеленного ларька на улице Дунай. Это были простые люди (Доманский даже питал пристрастие к анисовке), однако в политике разбирались с толком. Все, не исключая и тетки, утверждали самым решительным образом, что, хоть Наполеон I и умер в плену, род Бонапартов еще покажет себя. За первым Наполеоном явится другой, а случись и тому плохо кончить, найдется еще какой-нибудь, пока наконец они не наведут порядок на свете.

— Мы должны быть всегда готовы по первому зову… — говаривал мой отец.

— Ибо не ведаете ни дня, ни часа… — прибавлял Доманский.

А Рачек, не выпуская изо рта трубки, в знак одобрения сплевывал далеко за порог теткиной комнаты.

— Только плюнь, сударь мой, в лохань, уж я тебе дам! — грозилась тетка.

— Вы, ваша милость, может, и дадите, да я не возьму, — ворчал Рачек, сплевывая в сторону печки.

— У-у, и что за хамье эти горе-гренадеры! — сердилась тетка.

— Вашей милости всегда нравились уланы. Знаю, знаю…

Позже Рачек женился на моей тетке…

…Отец мой, желая, чтоб я был готов, когда пробьет час возмездия, сам занимался моим воспитанием.

Он научил меня читать, писать, клеить конверты, но важнейшим занятием была муштра. К муштре он начал приучать меня с самого раннего детства, когда сзади у меня торчала еще из штанов рубашонка. Я хорошо это помню, ибо отец, командуя: «Направо марш!» или «Левое плечо впер-ред!» — тащил меня в указанном направлении именно за эту часть туалета.

Обучение происходило по всем правилам.

Часто отец, разбудив меня криком: «К оружию!» — затевал муштру и ночью, невзирая на брань и слезы тетки, и кончал следующей фразой:

— Игнась! Смотри, сорванец, будь всегда готов, ибо мы не ведаем ни дня, ни часа… Помни, что Бонапартов послал нам господь, чтобы они навели порядок на свете; и не будет на свете ни порядка, ни справедливости до тех пор, пока не исполнятся заветы императора.

Не могу сказать, чтобы приятели моего отца разделяли его непоколебимую веру в Бонапартов и в торжество справедливости. Нередко Рачек, когда боль в ноге особенно донимала его, говорил, поругиваясь и охая:

— Э! Знаешь, старина, что-то уж слишком долго приходится ждать нам нового Наполеона. Я уж седеть начинаю и хирею день ото дня, а его все нет и нет. Нам скоро останется одна дорога — на паперть, а Наполеону, если бы он пришел, — вместе с нами Лазаря петь.

— Найдет себе молодых.

— Каких там молодых! Лучшие из них еще прежде нас в могилу сошли, а самые молодые ни черта не стоят. Многие о Наполеоне и не слыхивали.

— Мой-то слышал и запомнит, — отвечал отец, подмигивая в мою сторону.

Доманский совсем падал духом.

— Все на свете идет к худшему, — говорил он, покачивая головой. — Провизия дорожает, за квартиру готовы содрать с тебя последний грош, даже на анисовке — и то норовят тебя надуть. Раньше, бывало, с одной рюмочки развеселишься, нынче же и со стакана не захмелеешь, все равно что воды напился. Сам Наполеон не дождался бы справедливости!

На это отец отвечал:

— Справедливость наступит, хоть бы Наполеон и не явился. Но и Наполеон найдется.

— Не верю, — буркнул Рачек.

— А если найдется, тогда что? — спросил отец.

— Нам этого не дождаться.

— Я дождусь, — возразил отец, — а Игнась тем более дождется.

Уже в те времена слова отца глубоко врезались мне в память, но лишь дальнейшие события придали им чудодейственный, чуть ли не пророческий смысл.

Примерно с 1840 года отец стал прихварывать. Иногда он по нескольку дней не ходил на службу, а под конец и вовсе слег.

Рачек навещал его ежедневно, а однажды, глядя на его исхудалые руки и пожелтевшее лицо, шепнул:

— Эх, старина, видно, нам уже не дождаться Наполеона.

На что отец спокойно возразил:

— Я не умру, пока не услышу о нем.

Рачек покачал головой, а тетка смахнула слезу, думая, что отец бредит. И можно ли было думать иначе, когда смерть уже стучалась к нам в дверь, а отец все еще поджидал Наполеона…

Ему стало совсем худо, он даже причастился, — как вдруг, несколько дней спустя, вбежал к нам Рачек в необычном смятении и, стоя посреди комнаты, закричал:

— А знаешь ли, старина, что Наполеон таки объявился?

— Где? — воскликнула тетка.

— Ясное дело, во Франции!

Отец рванулся с подушек но тут же снова упал. Он только протянул руку ко мне и, устремив на меня взор, которого я никогда не забуду, прошептал:

— Помни!.. Обо всем помни…

С тем он и умер.

Позже я убедился, сколь пророческими были слова отца. Все мы видели восход второй наполеоновской звезды, которая разбудила Италию и Венгрию; и пусть звезда эта закатилась под Седаном, я не верю, что она угасла совсем. Что мне Бисмарк, Гамбетта или Биконсфильд! Несправедливость до тех пор будет царить на земле, пока не явится новый Наполеон.

Через несколько месяцев после смерти отца Рачек и Доманский вместе с теткой Зузанной собрались на совет, чтобы решить, что делать со мной. Доманский хотел взять меня к себе в контору и понемногу вывести в чиновники, тетка стояла за ремесло, а Рачек — за зеленную торговлю.

Однако, когда спросили меня, куда бы я хотел пойти, я отвечал: «В магазин».

— Как знать, может быть, это всего лучше, — заметил Рачек. — А к какому купцу?

— К тому, на Подвалье, у которого на дверях сабля, а в окне казак.

— Знаю! — вмешалась тетка. — Он хочет к Минцелю.

— Можно попробовать, — сказал Доманский. — Минцеля мы все знаем.

Рачек в знак согласия сплюнул в самую печь.

— Боже милостивый, — охнула тетка, — этот верзила скоро, наверное, начнет плевать на меня; теперь, когда брата не стало… Сирота я горемычная!

— Важное дело, — отозвался Рачек. — Выходи, сударыня, замуж, вот и не будешь сиротой.

— А где ж я найду дурака, который бы на мне женился?

— Ну вот! Может, и я бы женился на вашей милости, а то некому мне бок растирать, — буркнул Рачек, с трудом нагибаясь к полу, чтобы выбить пепел из трубки.

Тетка залилась слезами; тогда вмешался Доманский.

— Чего тут церемонии разводить? У тебя, сударушка, нет родни, у него нет хозяйки; поженитесь и приютите Игнася — вот вам и сын будет. Да еще и дешевый сын, потому что Минцель даст ему и стол и квартиру, а вы — только одежду.

— А? — спросил Рачек, глядя на тетку.

— Сперва отдайте мальчишку в обучение, а там… может, и наберусь храбрости, — отвечала тетка. — У меня всегда было предчуствие, что я плохо кончу…

— Так айда к Минцелю! — сказал Рачек, вставая с табурета. — Только смотри, сударыня, не подведи! — прибавил он, погрозив тетке кулаком.

Рачек с Доманским ушли и часа через полтора вернулись, оба сильно раскрасневшиеся. Рачек едва переводил дух, а Доманский с трудом держался на ногах, видно потому, что лестница у нас была очень крутая.

— Ну что? — спросила тетка.

— Нового Наполеона посадили в пороховой склад![3] — отвечал Доманский.

— Не в пороховой склад, а в крепость, — поправил Рачек. — В крепость Га-у… Га-у… — И он швырнул шапку на стол.

— А с мальчишкой-то как?

— Завтра он должен прийти к Минцелю с одеждой и бельем, — ответил Доманский. — В крепость, только не Га-у… Га-у… а в Гам-Гам или Хам… я даже не знаю…

— Рехнулись совсем, пьянчуги! — крикнула тетка, хватая Рачека за руку.

— Только не фамильярничать! — возмутился Ра-чек. — Фамильярничать будем после свадьбы, а сейчас… Пусть приходит завтра к Минцелю с бельем и одеждой… Несчастный Наполеон…

Тетка вытолкала за дверь Рачека, потом Доманского — и швырнула шапку им вслед.

— Вон отсюда, пьянчуги!

— Да здравствует Наполеон! — заорал Рачек, а Доманский запел:

Когда туда ты, путник, обратишься оком,

Ту надпись прочитай в раздумии глубоком…

Ту надпись прочитай в раздумии глубоком…

Голос его постепенно замирал, будто он сам погружался в колодец, потом замолк и вновь долетел до нас уже с улицы. Минуту спустя внизу раздались крики, шум, а когда я выглянул в окно, то увидел, что полицейский ведет Рачека в ратушу.

Вот какие события предшествовали моему приобщению к купеческому сословию.

Магазин Минцеля я знал уже давно, так как отец часто посылал меня туда за бумагой, а тетка за мылом. Я всегда бежал с радостным любопытством, чтобы полюбоваться на выставленные в окне игрушки. Насколько помню, там всегда красовался в окне большой казак, который прыгал и размахивал руками, а на дверях висели барабан, сабля и обтянутая кожей лошадка с настоящим хвостом.

Внутри магазин напоминал большой погреб, все закоулки которого я так никогда и не мог разглядеть по причине царившего там мрака. Знал только, что за перцем, кофе и лавровым листом надо было идти налево, к прилавку, за которым высились огромные шкафы с ящиками от пола до самого свода. Бумага же, чернила, стаканы и тарелки продавались у прилавка направо, где стояли шкафы со стеклянными дверцами, а за мылом и крахмалом приходилось отправляться в глубь магазина, где громоздились бочки и горы деревянных ящиков.

Даже своды были заполнены. На крюках висели длинными рядами пузыри, набитые горчицей и краской, огромная лампа с жестяным кружком, зимою горевшая по целым дням, сетка с бутылочными пробками и, наконец, небольшое чучело крокодила длиною примерно в полтора локтя.

Хозяин магазина Ян Минцель, старик с румяным лицом и пучком седых волос на подбородке, во всякое время дня сидел у окна в кожаном кресле, облаченный в голубой байковый кафтан, белый фартук и белый колпак. На столе перед ним лежала большая приходная книга, в которую он записывал выручку, а над самой его головой висела связка плеток, предназначенных на продажу. Старик получал деньги, давал покупателям сдачу, вносил записи в книгу, иногда дремал, но, несмотря на такое множество занятий, с непостижимой зоркостью следил за ходом торговли во всем магазине. Он успевал еще для увеселения прохожих время от времени дергать за шнурок прыгавшего в окне казака и, наконец, что

мне нравилось всего меньше, за различные провинности стегать нас одной из висевших на стене плеток.

Я говорю «нас», ибо в магазине было три кандидата на телесное наказание: я и два племянника старика — Франц и Ян Минцели.

Зоркий глаз и сноровку хозяина в употреблении «оленьей ножки» я испытал на себе уже через три дня после моего вступления в магазин.

Франц отвесил какой-то женщине изюму на десять грошей. Заметив, что одна изюминка упала на прилавок (в ту минуту старик сидел с закрытыми глазами), я незаметно поднял ее и съел. Только я принялся выковыривать зернышко, которое застряло у меня в зубах, как вдруг почувствовал на спине нечто вроде прикосновения раскаленного железа.

— Ах, шельма! — гаркнул старый Минцель, и, прежде чем я успел отдать себе отчет в происходившем, он еще несколько раз огрел меня плеткой.

Я скорчился от боли, но с той поры не осмеливался ни крошки брать в рот в магазине. Миндаль, изюм и даже рожки приобрели для меня вкус перца.

Расправившись со мною, старик повесил плетку на гвоздь, вписал в книгу изюм и с самым добродушным видом принялся дергать казака за шнурок. Глядя на его улыбающееся лицо и прищуренные глаза, я бы не поверил, что у этого веселого старичка такая тяжелая рука. И тогда я впервые заметил, что упомянутый казак куда менее забавен, если глядеть на него не с улицы, а из магазина.

Магазин наш был бакалейно-галантерейно-москательный. Бакалейные товары отпускал покупателям Франц Минцель, малый лет тридцати с лишком, рыжеволосый, с заспанной физиономией. Ему чаще всего попадало плеткой от дядюшки, потому что он курил трубку, поздно становился за прилавок, по ночам куда-то исчезал из дому, а главное — небрежно отвешивал товар. А младший, Ян Минцель, который заведовал галантереей и при нескладном теле отличался кротостью нрава, в свою очередь, бывал бит за то, что крал цветную бумагу и писал на ней письма барышням.

Только Август Кац, отпускавший мыло, не подвергался внушениям ремнем. Этот тщедушный человек отличался необычайной аккуратностью. Раньше всех приходил на работу, нарезал мыло и отвешивал крахмал, словно автомат; ел, что давали, забившись в самый темный уголок магазина, словно стыдясь того, что ему свойственны человеческие слабости. В десять часов вечера он куда-то исчезал.

Среди этих людей провел я восемь лет, из которых каждый день был похож на все другие дни, как одна капля осеннего дождя похожа на другие капли осеннего дождя.

Я вставал в пять часов утра, умывался и подметал магазин. В шесть я открывал входные двери и ставни. В ту же минуту откуда-то с улицы появлялся Август Кац, снимал сюртук, облачался в фартук и молча занимал место между бочкой серого

мыла и колонной, сложенной из брусков желтого мыла. Затем с черного хода вбегал старый Минцель, бормоча: «Morgen" ***<Сокращенное «Guten Morgen» — доброе утро (нем.).>*** , — поправлял на голове колпак, вынимал из ящика свою книгу, втискивался в кресло и несколько раз дергал казака за шнурок. Уже после его прихода показывался Ян Минцель и, поцеловав у дядюшки руку, становился за свой прилавок, на котором в летнее время ловил мух, а зимою чертил какие-то узоры пальцем или кулаком.

За Францем обычно приходилось посылать. Он входил заспанный, еще зевая, равнодушно целовал дядю в плечо и весь день почесывал затылок, выражая таким образом то ли сильное желание спать, то ли сильное неудовольствие. Почти не бывало утра, чтобы дядюшка, наблюдая его повадки, не передразнивал его и не спрашивал:

— Ну… И где же ты, шельма, бегаль?

Тем временем на улице пробуждалась жизнь, и мимо окон все чаще сновали прохожие. То служанка, то дворник, то барыня в капоре, то мальчишка от сапожника, то господин в четырехугольной фуражке проходили взад и вперед, словно фигурки в движущейся панораме. По мостовой катились телеги, бочки, брички — взад и вперед… И все больше людей, все больше экипажей появлялось за окнами, пока, наконец, все они не сливались в один оживленный уличный поток, из которого поминутно кто-нибудь забегал к нам за покупками.

— Перцу на три гроша…

— Пожалуйста, фунт кофе…

— Дайте мне рису…

— Полфунта мыла…

— Лаврового листа на грош…

Постепенно магазин заполнялся, по большей части прислугою и скромно одетыми хозяйками. В эту пору Франц Минцель выглядел особенно удрученным. Он выдвигал и задвигал ящики, запаковывал товар в кульки из серой бумаги, влезал на лесенку, опять заворачивал, и все это — с горестным видом человека, которому даже зевнуть не дают. В конце концов набиралось столько покупателей, что и Ян Минцель и я должны были помогать Францу.

Старик все время записывал и давал сдачу, то и дело хватаясь пальцами за свой белый колпак, голубая кисточка которого болталась над самой его бровью. Время от времени он дергал казака, а иногда срывал плетку и с быстротою молнии огревал одного из своих племянников. Чрезвычайно редко мне удавалось понять, за что их били, ибо братья неохотно раскрывали мне причины этих вспышек.

К восьми часам утра наплыв покупателей спадал. Тогда из глубины магазина появлялась толстая служанка с корзиной булок и кружками (Франц поворачивался к ней спиной), а за нею — мать нашего хозяина, худенькая

старушка в желтом платье, с огромным чепцом на голове и кофейником в руках. Поставив на стол посуду, старушка произносила скрипучим голосом:

— Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig ***<Доброе утро, дети мои! Кофе готов (нем.).>*** , — и принималась разливать кофе в белые фаянсовые кружки.

Тут к ней приближался старый Минцель, целовал у нее руку и говорил:

— Gut Morgen, meine Mutter! ***<Доброе утро, маменька! (нем.).>***

После чего получал кружку кофе и три булки.

Потом подходили Франц Минцель, Ян Минцель, Август Кац и самым последним я. Каждый из нас целовал у старушки сухонькую руку, исчерченную синими жилками, и каждый говорил:

— Gut Morgen, Grosmutter! ***<Доброе утро, бабушка! (нем.).>*** — и получал полагавшиеся ему кружку кофе и три булки.

А когда мы наспех выпивали свой кофе, служанка забирала пустую корзину с грязными кружками, старушка — свой кофейник, и обе исчезали.

За окном по-прежнему проезжали повозки и несся в обе стороны людской поток, от которого поминутно кто-нибудь отрывался и входил к нам в магазин.

— Крахмалу, пожалуйста…

— Миндаля на десять грошей…

— На грош лакрицы…

— Серого мыла…

К полудню уменьшалась толчея у прилавка с бакалейными товарами, зато все чаще появлялись посетители в правой стороне магазина, у Яна. Здесь покупали тарелки, стаканы, утюги, мельнички, кукол, а иногда и большие зонты — василькового или пунцового цвета. Покупатели — женщины и мужчины — были хорошо одеты; рассевшись на стульях, они приказывали разложить перед ними множество предметов, торговались и просили показать еще что-нибудь.

Помню, что у левого прилавка меня донимала беготня и упаковка товаров, а у правого больше всего мучила мысль: чего, собственно, хочет тот или иной покупатель и вообще купит ли он что-нибудь? Однако, в конце концов, и тут многое продавалось, и дневная выручка была в несколько раз больше, чем от торговли бакалеей и мылом.

Старый Минцель бывал в магазине и по воскресеньям. Утром он молился, а около полудня вызывал меня к себе, чтобы преподать своего рода урок.

— Sag mir — скажи мне: was ist das — что это есть? Das ist Schublade — это есть ящик. Посмотри, что есть в этот ящик. Es ist Zimmt — это есть корица. Для чего нужна корица? Для зупа, для сладкого нужна корица. Что есть корица? Это есть такая кора с один дерево. Где живет такой дерево корица? В Индии живет такой

дерево. Смотри на глобус — тут лежит Индия. Дай мне за десять грош корицы… O, du Spitzbub! ***<Ах ты прохвост! (нем.)>*** Вот я дам тебе десять плети, то будешь знать, сколько продать корица за десять грош…

Таким образом исследовали мы каждый ящик в магазине и историю каждого товара. А если старик не слишком уставал, он еще диктовал мне после этого арифметические задачи, заставлял подытоживать счета и писать деловые письма.

Хозяин очень любил порядок, терпеть не мог пыли и самолично стирал ее с мельчайших вещиц. Только плетки ему не приходилось вытирать благодаря воскресным урокам бухгалтерии, географии и товароведения.

Понемногу за несколько лет мы так свыклись друг с другом, что старый Минцель не мог обойтись без меня, а я даже плетку его стал считать непременной принадлежностью семейных отношений. Помню, однажды я не мог прийти в себя от огорчения, когда испортил дорогой самовар, а старый Минцель, вместо того чтобы схватиться за плетку, только произнес:

— Что ты наделаль, Игнас?.. Что ты наделаль!..

Я предпочел бы получить порку всеми плетьми, чем еще когда-нибудь услышать этот дрожащий голос и увидеть перепуганный взгляд хозяина.

В будни мы обедали в магазине, сначала оба молодых Минцеля и Август Кац, а потом я с хозяином. В праздники все мы собирались наверху и усаживались за одним столом. Каждый год на рождество Минцель делал нам подарки, а его мать, в величайшей тайне, устраивала нам (и своему сыну) елку. И, наконец, ежемесячно первого числа мы все получали жалованье (мне платили 10 злотых). При этом каждый должен был отчитаться в своих сбережениях: я, Кац, оба племянника и прислуга. Не делать сбережений, не откладывать ежедневно хотя бы по нескольку грошей — было в глазах старого Минцеля таким же преступлением, как воровство. На моей памяти в магазине перебывало несколько приказчиков и учеников, которых хозяин рассчитал только за то, что они ничего не копили. День, когда это выяснялось, неизменно был последним днем их пребывания у нас. Не помогали ни обещания, ни клятвы, ни даже целование рук и мольбы на коленях. Старик неподвижно сидел в кресле, не глядя на провинившихся, и, указывая перстом на дверь, повторял одно слово:

«Fort! Fort!" ***<Вон! Вон! (нем.)>***

Принцип этот — накопление сбережений — стал у него болезненной причудой.

Этот милейший человек обладал одним недостатком, а именно: он терпеть не мог Наполеона. Сам он никогда не упоминал о нем, но стоило кому-нибудь произнести имя Бонапарта, как старик приходил в бешенство: лицо его синело, он плевался и хрипел:

— Шельма! Spitzbub! Разбойник!

Первый раз, услышав столь мерзостные слова, я едва не лишился чувств. И уже собирался сказать старику что-нибудь очень дерзкое, а потом сбежать к Рачеку, который к тому времени женился на моей тетке, как вдруг заметил, что Ян Минцель, прикрыв рот рукою и подмигивая, что-то шепчет Кацу. Напрягаю слух и слышу — вот что говорит Ян:

— Пустое несет старик, пустое! Наполеон был молодчина, хотя бы уж потому, что прогнал проклятых пруссаков. Не правда ли, Кац?

В ответ Август Кац только прищурился и продолжал нарезать мыло.

Я остолбенел от изумления и с той минуты очень привязался к Яну Минцелю и Августу Кацу. Со временем я заметил, что в нашем маленьком магазине существовали целых две большие партии, из которых одна, в чьих рядах был старый Минцель и его мать, очень любила немцев, а другая, состоявшая из молодых Минцелей и Каца, ненавидела их. Насколько помнится, я один оставался нейтральным.

В 1846 году до нас дошли слухи о бегстве Луи-Наполеона из крепости. Этот год был для меня весьма знаменателен: почти в одно время я стал приказчиком, а наш хозяин, старый Ян Минцель, скончался при довольно странных обстоятельствах.

В том году оборот в нашем магазине несколько снизился, то ли по причинам общественных треволнений, то ли вследствие того, что хозяин слишком часто и громко ругал Луи-Наполеона. Покупателей это раздражало, и однажды кто-то (уж не Август ли Кац?) даже разбил нам витрину. Однако это происшествие, вместо того чтобы отвадить от нас публику, наоборот, привлекло ее в магазин, и целую неделю торговля шла так бойко, что соседи даже завидовали нам. Все же через неделю искусственное оживление спало, и магазин снова стал пустовать.

Как-то вечером, когда хозяин отсутствовал (что уже само по себе было фактом необычайным), в окно магазина опять влетел камень. Перепуганные Минцели побежали наверх искать дядю, Кац поспешил на улицу — ловить виновника, а в это время в дверях показались двое полицейских, которые тащили… Угадайте кого? Ни более ни менее как нашего хозяина! Они обвиняли старика в том, что это он выбил стекло, и в предыдущий раз, наверное, тоже…

Напрасно старик отпирался, — налицо были свидетели, и вдобавок при нем нашли камень… Пришлось бедняге отправиться в ратушу.

После долгих объяснений и расследований дело, конечно, замяли. Но старик с той поры совсем приуныл и начал худеть. А однажды, усевшись в своем кресле у окна, он более с него не поднялся. Так и умер, опершись подбородком на приходную книгу и держа в руке шнурок, за который всегда дергал казака.

Несколько лет после смерти дяди братья сообща держали магазин на Подвалье, и лишь около 1850 года они разделились, а именно — Франц остался на прежнем месте с бакалейными товарами, а Ян с галантереей и мылом перебрался в новое помещение на Краковском Предместье, где мы находимся по сей день. Года через

три Ян женился на красотке Малгожате Пфейфер (мир праху ее!). Она же, овдовев, отдала свою руку Стасю Вокульскому, который таким путем получил дело, созданное двумя поколениями Минцелей.

Мать нашего хозяина еще долгое время здравствовала; в 1853 году, вернувшись из-за границы, я застал ее в наилучшем виде. По-прежнему она спускалась по утрам в магазин и по-прежнему говорила: «Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig!» — только голос ее из года в год становился все тише, пока, наконец, не умолк навеки.

В мои времена хозяин был отцом и наставником начинающих приказчиков и самым усердным работником у себя в магазине; мать его или супруга были хозяйками дома, а все члены семьи — приказчиками. Нынче хозяин только получает прибыль от торговли, дела большей частью не знает и превыше всего заботится о том, чтобы его дети не стали купцами. Я не говорю тут о Стасе Вокульском, у которого широкие планы, а рассуждаю вообще — если купец хочет иметь хороших работников, он должен сидеть в магазине и учить своих людей.

Ходит слух, что Андраши потребовал шестьдесят миллионов гульденов на непредвиденные расходы. Значит, и Австрия вооружается, а между тем Стась пишет мне, что войны не будет. Поскольку Стась никогда не был фанфароном, надо полагать, он посвящен в важные политические тайны; а в таком случае, не из любви к коммерции сидит он в Болгарии.

Любопытно мне знать — что он предпримет? Любопытно!..»

#### Глава четвертая. Возвращение

Воскресенье, отвратительный мартовский день; скоро уж полдень, но варшавские улицы почти пустынны. Люди сидят по домам, или прячутся в подворотнях, или же, съежившись, бегут, подхлестываемые дождем, смешанным со снегом. Почти не слышно громыхания пролеток. Извозчики пересаживаются с козел под поднятый верх, а вымокшие под дождем, облепленные снегом лошади словно стараются спрятаться под дышлом и прикрыться собственными ушами.

Несмотря на плохую погоду, а может быть, именно благодаря ей, пан Игнаций сидит в своей зарешеченной комнате в самом веселом настроении. Дела в магазине идут отлично, витрины на будущую неделю уже устроены, а главное — со дня на день должен вернуться Вокульский. Наконец-то пан Игнаций сдаст отчетность и сбросит с себя бремя управления магазином, а там — самое позднее через два месяца — поедет отдыхать. После двадцатипятилетней работы — да еще какой! — он заслужил этот отдых. Вот когда он сможет думать только о политике, будет много ходить, бегать и прыгать по полям, лесам, свистеть и даже петь, как в молодые годы. Если б только не ревматизм — впрочем, за городом и это пройдет…

Итак, хотя в зарешеченное окно бьет дождь со снегом, хотя он заливает стекла и в комнате царит сумрак, на душе у пана Игнация по-весеннему светло. Он

вытаскивает из-под кровати гитару, настраивает ее и, взяв несколько аккордов, гнусавым голосом затягивает весьма романтическую песню:

Во всей природе весна пробудилась,

Томный разносится глас соловья,

В роще зеленой, на бреге ручья,

Роза прекрасная уж распустилась.

Эти волшебные звуки будят дремлющего на диванчике пуделя, который начинает присматриваться к хозяину своим единственным глазом. Звуки эти производят нечто еще более удивительное — они вызывают со двора какую-то огромную тень, которая останавливается у зарешеченного окна, стараясь заглянуть в комнату, чем привлекает к себе внимание пана Игнация.

«Наверное, Павел», — думает он.

Но Ир держится на этот счет иного мнения; он соскакивает с диванчика и беспокойно обнюхивает двери, словно чуя чужого.

В сенях слышится шорох. Чья-то рука нашаривает засов, потом дверь открывается, и на пороге появляется некто в просторной шубе, усеянной снежинками и каплями дождя.

— Кто там? — окликает пан Игнаций, и на щеках его выступает яркий румянец.

— А ты уж меня позабыл, старина? — тихо, с расстановкой отвечает вошедший.

Пан Игнаций совершенно теряется. Он надевает на нос пенсне, которое тут же слетает, вытаскивает из-под кровати похожий на гроб футляр, суетливо прячет туда гитару и затем футляр вместе с гитарой кладет на постель.

Между тем гость успевает снять свою просторную шубу и барашковую шапку, а одноглазый Ир, обнюхав его, принимается вилять хвостом, ластится и с радостным визгом трется об его ноги.

Пан Игнаций подходит к гостю взволнованный и ссутулившийся более обычного.

— Мне кажется… — говорит он, потирая руки, — мне кажется, я имею удовольствие…

Потом он подводит гостя к окну, часто мигая.

— Стась!.. Ей-богу!..

Он хлопает гостя по выпуклой груди, пожимает ему то правую, то левую руку и наконец, положив ладонь на его стриженую голову, делает движение, как будто собирается втирать ему в темя мазь.

— Ха-ха-ха! — смеется пан Игнаций. — Стась, собственной персоной! Стась с войны вернулся! Что ж, ты только сейчас вспомнил, что у тебя есть магазин и друзья? — прибавляет он, с силой хлопая его по спине. — Черт меня побери, да

ты похож не то на солдата, не то на моряка, — только не на купца… Восемь месяцев ты не был в магазине! Ну и грудь… ну и башка…

Гость тоже смеялся. Он обнял Игнация за шею и горячо расцеловал его в обе щеки, которые старый приказчик поочередно подставлял ему, сам, однако ж, не отвечая на поцелуи.

— Ну, что же слышно у тебя, старина? — спросил гость. — Ты похудел, побледнел…

— Напротив, я помаленьку обрастаю жирком.

— Поседел ты… Как чувствуешь себя?

— Отлично. И в магазине дела идут неплохо, оборот немного увеличился. В январе и феврале мы наторговали на двадцать пять тысяч рублей… Стась, милый! Восемь месяцев не был дома… Шутка ли! Может, присядешь?

— Конечно, — ответил гость, усаживаясь на диванчик, где тотчас же примостился Ир, уткнув ему голову в колени.

Пан Игнаций пододвинул себе стул.

— Может быть, закусишь? Есть ветчина и немного икорки.

— Пожалуй.

— Ну, и выпьешь? Есть бутылка недурного венгерского, но только одна целая рюмка.

— Я буду пить из стакана, — сказал гость.

Пан Игнаций засуетился, открывая то шкаф, то сундучок, то стол. Он достал вино и снова спрятал его, потом поставил на стол ветчину и булки. Руки и веки у него дрожали, и немало прошло времени, пока он успокоился настолько, что мог собрать в одном месте перечисленные выше припасы. Только рюмка вина возвратила ему нарушенное душевное равновесие.

Между тем Вокульский усердно ел.

— Ну, что же нового? — спросил пан Игнаций уже более спокойным голосом, легонько ударив гостя по колену.

— Догадываюсь, что тебя интересует политика, — ответил Вокульский. — Будет мир.

— А зачем Австрия вооружается?

— Вооружается на шестьдесят миллионов гульденов! Она хочет захватить Боснию и Герцеговину.

У Игнация расширились зрачки.

— Австрия хочет захватить? — повторил он. — А с какой стати?

— С какой стати? — усмехнулся Вокульский. — Да потому, что Турция не может ей помешать.

— А что же Англия?

— Англия тоже получит компенсацию.

— За счет Турции?

— Разумеется. Слабые всегда платят за раздоры между сильными.

— А где же справедливость? — воскликнул Игнаций.

— Справедливо то, что сильные множатся и крепнут, а слабые погибают. Иначе мир превратился бы в инвалидный дом, а это как раз было бы несправедливо.

Игнаций отодвинулся вместе со стулом.

— И это говоришь ты, Стась? Всерьез, не шутя?

Вокульский невозмутимо посмотрел на него.

— Это говорю я, — ответил он. — Что ж тут удивительного? Разве этот же закон не применяется ко мне, к тебе, ко всем нам?.. Слишком много я сокрушался над собою, чтобы теперь лить слезы над судьбой Турции.

Пан Игнаций опустил глаза и замолчал. Вокульский продолжал есть.

— Ну, а как твои дела? — спросил Жецкий уже обычным своим тоном.

У Вокульского блеснули глаза. Он отложил булку и откинулся на спинку диванчика.

— Помнишь, — сказал он, — сколько денег я взял, уезжая отсюда?

— Тридцать тысяч рублей, всю наличность.

— А как ты думаешь, сколько я привез?

— Пятьде… ну, тысяч сорок… Угадал? — спросил Жецкий, неуверенно глядя на него.

Вокульский налил стакан вина и медленно осушил его.

— Двести пятьдесят тысяч рублей, из них большая часть золотом, — отчетливо произнес он. — А поскольку я велел купить ценные бумаги, которые продам после заключения мира, то получу более трехсот тысяч рублей.

Жецкий наклонился к нему, раскрыв рот.

— Не беспокойся, — продолжал Вокульский, — эти деньги достались мне вполне честным путем, и даже тяжело, очень тяжело достались они. Весь секрет в том, что у меня был богатый компаньон и что я довольствовался прибылью в четыре-пять раз меньшей, чем другие. Поэтому мой капитал находился в постоянном движении и постоянно возрастал. Ну, — прибавил он после паузы, — и к тому же мне отчаянно везло… Словно игроку, которому десять раз кряду выпадает тот же

номер в рулетке. Крупная игра! Чуть ли не каждый месяц я рисковал всем состоянием и каждый день — жизнью.

— И только за этим ты ездил туда? — спросил Игнаций.

Вокульский насмешливо взглянул на него.

— А ты хотел, чтобы я сделался турецким Валленродом.[4]

— Рисковать ради наживы, когда имеешь верный кусок хлеба!.. — пробормотал Игнаций, качая головой и подняв брови.

Вокульский сердито передернулся и вскочил с диванчика.

— Этот верный кусок хлеба, — заговорил он, сжимая кулаки, — стоял у меня поперек горла и душил меня целых шесть лет… Разве ты забыл, сколько раз на день меня попрекали двумя поколениями Минцелей и ангельской добротой моей жены? Разве, кроме тебя, был хоть один человек среди моих близких или далеких знакомых, который не оскорблял бы меня словом, жестом или хотя бы взглядом? Сколько раз говорили, чуть ли не в глаза мне, будто я кормлюсь из женина фартука, будто Минцелям я обязан всем, а собственной энергии — ничем, решительно ничем, хотя я и расширил эту лавчонку, удвоил доходы… Минцели, вечно Минцели!.. Пусть теперь попробуют сравнить меня с Минцелями. Один-одинешенек, я за полгода заработал в десять раз больше, чем два поколения Минцелей за полвека. Между пулей, ножом и тифом добыл я то, над чем потели бы тысячи Минцелей в своих лавчонках и ночных колпаках. Сейчас я уже знаю, скольких Минцелей я стою, и, ей-богу, ради такого результата я готов был бы снова начать ту же игру! Я предпочитаю рисковать состоянием и жизнью, а не кланяться людям, которые хотят купить у меня зонт, или рассыпаться в благодарности перед теми, которые соизволят заказать в моем магазине унитаз для клозета…

— Стась верен себе, — пробормотал Игнаций.

Вокульский успокоился. Он положил руку на плечо Игнацию и, заглядывая ему в глаза, ласково спросил:

— Ты не сердишься, старина?

— За что? Разве я не знаю, что никогда волку не пасти овец?.. Ясное дело…

— Что же у вас слышно, скажи?

— Все, как я писал тебе в отчетах. Дела идут хорошо, получили много новых товаров, а еще больше заказов. Надо бы нанять еще одного приказчика.

— Наймем двух, а лавку расширим, будет первоклассный магазин.

— Пустячки!

Вокульский глянул на него сбоку и улыбнулся, видя, что к старику возвращается хорошее настроение.

— А что слышно в городе? В магазине, покуда ты там, разумеется, все в порядке.

— В городе…

— Старые покупатели нас по-прежнему посещают? — прервал Вокульский, быстрее зашагав по комнате.

— Да! Появились и новые.

— А… а…

Вокульский остановился, словно в нерешимости. Он налил себе снова стакан вина и выпил его залпом.

— А Ленцкий покупает у нас?

— Чаще берет в кредит.

— Ах, берет… — Вокульский перевел дух. — А как его дела?

— Кажется, он совсем разорился, и, должно быть, в этом году наконец пустят с молотка его дом.

Вокульский наклонился к диванчику и принялся играть с Иром.

— Скажи, пожалуйста… А панна Ленцкая замуж не вышла?

— Нет.

— И не выходит?

— Весьма сомнительно. Кто в наши дни женится на барышне, у которой большие претензии, а приданого нет? Так и состарится, хотя и хороша собою. Ясное дело…

Вокульский встал и потянулся. На его суровом лице появилось какое-то странно мягкое выражение.

— Дорогой ты мой старина! — сказал он, беря Игнация за руку. — Мой славный старый дружище! Ты даже не догадываешься, как я счастлив, что вижу тебя, да еще в этой комнате. Помнишь, сколько вечеров и ночей я провел здесь… как ты кормил меня… как отдавал мне лучшее свое платье… Помнишь?

Жецкий пристально посмотрел на него и подумал, что, видно, вино недурное, если у Вокульского так развязался язык.

Вокульский уселся на диванчик, откинулся на спинку и заговорил, словно сам с собой:

— Ты и понятия не имеешь, что я вытерпел, вдали от всех, не зная, увижу ли еще кого-нибудь из вас, совсем один… Понимаешь ли, самое страшное одиночество — не то, которое окружает человека, а пустота внутри, когда не уносишь с родины ни одного теплого взгляда, ни одного приветливого слова, ни даже искорки надежды…

Пан Игнаций заерзал на стуле, собираясь возразить.

— Позволь напомнить тебе, — заметил он, — что вначале я писал тебе очень сердечные письма, пожалуй, даже слишком сентиментальные. Но меня задели твои краткие ответы.

— Разве я на тебя обижаюсь?

— Еще меньше у тебя причин обижаться на остальных служащих, которые не знают тебя так близко, как я.

Вокульский очнулся.

— Да я ни к кому из вас не имею претензий. Пожалуй, чуточку к тебе, что так мало писал о… городских делах… К тому же «Курьер» часто пропадал на почте, известия доходили с большими перерывами, и тогда меня начинали мучить мрачные предчувствия.

— Почему? Ведь у нас войны не было, — удивился Игнаций.

— Ах да!.. Вы совсем даже неплохо веселились. Помню, в декабре у вас тут устраивали великолепные живые картины. Кто выступал в них?

— Ну, я такими глупостями не интересуюсь.

— Верно. А я в тот день и десяти тысяч рублей не пожалел бы, лишь бы увидеть их. Еще большая глупость! Не так ли?..

— Конечно… хотя многое объясняется одиночеством, скукой…

— А может быть, тоскою, — прервал Вокульский. — Она пожирала у меня каждую минуту, свободную от работы, каждый час досуга. Налей мне вина, Игнаций.

Он выпил и снова зашагал по комнате, говоря приглушенным голосом:

— Первый раз это нашло на меня во время переправы через Дунай, которая продолжалась с вечера до глубокой ночи. Я плыл один с перевозчиком-цыганом. Разговаривать нельзя было, и я молча разглядывал окрестности. В тех местах берега песчаные, как у нас. И деревья похожи на наши ивы, и холмы, поросшие орешником, и темные купы сосен. На минуту мне показалось, что я на родине и что к ночи я снова увижусь с вами. Спустилась желанная ночь, но не стало видно берегов. Я был один на бесконечной полосе воды, в которой отражались бледные звезды. И мне подумалось, что вот я так страшно далеко от дома, и эти звезды сейчас единственное, что еще связывает меня с вами, но в этот миг там, у вас, никто, быть может, на них и не смотрит, никто меня не помнит, никто!.. Я почувствовал, как что-то словно разорвалось внутри меня, и только тогда понял, какая глубокая рана у меня в душе.

— Это правда, я никогда не интересовался звездами, — тихо сказал Игнаций.

— С того дня началась у меня странная болезнь, — продолжал Вокульский.

— Пока я писал письма, составлял счета, получал товары, рассылал своих агентов, пока чуть ли не на себе тащил и разгружал сломавшиеся телеги или подстерегал крадущегося грабителя, — я был более или менее спокоен. Но

стоило мне оторваться от дел или хотя бы на минуту отложить перо, и я сразу чувствовал боль, как будто у меня, — понимаешь, Игнаций, — как будто у меня в сердце застряла песчинка. Бывало, я хожу, ем, разговариваю, трезво рассуждаю, осматриваю красивые окрестности, даже смеюсь и веселюсь — и, несмотря на это, чувствую внутри какое-то тупое покалывание, какое-то неясное беспокойство, еле-еле заметную тревогу.

Эта хроническая подавленность, невыразимо мучительная, из-за малейшего пустяка могла перейти в бурю. Дерево знакомого вида, обнаженный холм, цвет облаков, полет птицы, даже порыв ветра без всякого повода вызывали у меня такой прилив отчаяния, что я бежал от людей. Я искал пустынный уголок, где бы можно было, не боясь, что кто-нибудь услышит, броситься на землю и по-собачьи завыть от боли.

Иногда во время этих одиноких скитаний, когда я бежал от самого себя, меня застигала ночь. Тогда из-за кустов, поваленных деревьев, из расщелин являлись предо мною тени прошлого и грустно качали головой, глядя на меня остекленелыми глазами. А шелест листьев, далекое громыхание телег и журчание воды сливались в один жалобный голос, который вопрошал меня: «Путник, что сталось с тобою?"[5] Ах, что со мной сталось…

— Ничего не понимаю, — прервал Игнаций. — Что же это было за безумие?

— Что? Тоска.

— По ком?

Вокульский вздрогнул.

— По ком? Ну… по всему… по родине.

— Почему ж ты не возвращался?

— А что бы мне это дало? Впрочем, я и не мог.

— Не мог? — повторил Игнаций.

— Не мог… и баста! Не к чему было мне возвращаться, — нетерпеливо ответил Вокульский. — Там ли, тут ли умирать — не все ли равно… Дай мне вина, — оборвал он вдруг, протягивая руку.

Жецкий поглядел на его пылающее лицо и отодвинул бутылку.

— Оставь, — сказал он, — ты уж и так возбужден.

— Потому-то я и хочу пить…

— Потому тебе и не следует пить, — прервал Игнаций. — Ты слишком много говоришь… Может быть, больше, чем сам хотел бы, — прибавил он с ударением.

Вокульский не настаивал. Он задумался и сказал, качая головой:

— Ты ошибаешься.

— Сейчас я тебе докажу, — ответил Игнаций, понижая голос. — Ты ездил туда не только ради денег.

— Правильно, — ответил Вокульский, подумав.

— Да и зачем триста тысяч рублей тебе, которому хватало тысячи в год?

— Верно.

Жецкий наклонился к его уху.

— И еще скажу тебе, что эти деньги ты привез не для себя…

— Как знать, может быть, ты угадал.

— Я угадываю больше, чем ты полагаешь.

Вокульский вдруг расхохотался.

— Ага, вот ты что думаешь? — воскликнул он. — Уверяю тебя, ничего ты не знаешь, старый мечтатель.

— Боюсь я твоей трезвости, от которой ты начинаешь рассуждать, как безумец. Ты понимаешь меня, Стась?

Вокульский все еще смеялся.

— Ты прав, я не привык пить, и вино ударило мне в голову. Но теперь я уже пришел в себя. Скажу тебе лишь одно: ты жестоко ошибаешься. А теперь, чтобы спасти меня от окончательного опьянения, выпей сам — за успех моих замыслов.

Игнаций наполнил рюмку и, крепко пожимая руку Вокульскому, произнес:

— За успех великих замыслов!

— Для меня великих, а в действительности весьма скромных.

— Пускай так, — сказал Игнаций. — Я уже стар и предпочитаю ни о чем не знать; я уже так стар, что мечтаю лишь об одном — о красивой смерти. Дай мне слово, что, когда пробьет час, ты меня известишь…

— Да, когда пробьет час, ты будешь моим сватом.

— Я уже был, и несчастливо… — заметил Игнаций.

— С вдовою, семь лет назад?

— Пятнадцать![6]

— Опять за свое, — рассмеялся Вокульский. — Ты все такой же.

— И ты все такой же. За успех твоих замыслов!.. Каковы б они ни были, я знаю одно — они, наверное, достойны тебя. А теперь — молчу…

С этими словами Игнаций выпил вино и бросил рюмку на пол. Звон разбитого стекла разбудил Ира.

— Идем в магазин, — сказал Игнаций. — Бывают беседы, после которых хорошо поговорить о делах.

Он достал из ящика стола ключ, и оба вышли. В сенях их обдало мокрым снегом. Жецкий отпер двери в магазин и зажег несколько ламп.

— Какие товары! — воскликнул Вокульский. — И, кажется, все новые?

— Почти. Хочешь посмотреть? Вот тут фарфор. Обрати внимание…

— Потом… Дай мне книгу.

— Приходов?

— Нет, должников.

Жецкий открыл конторку, достал книгу и подвинул кресло. Вокульский сел и, пробежав глазами список, остановился на одной фамилии.

— Сто сорок рублей… — прочел он вслух. — Ну, это совсем немного…

— Кто это? — спросил Игнаций. — А, Ленцкий…

— Панне Ленцкой тоже открыт кредит… очень хорошо, — продолжал Вокульский, низко наклонясь над книгой, словно запись была неразборчива. — А… а… позавчера она взяла кошелек… Три рубля?.. Это, пожалуй, дорого…

— Вовсе нет, — возразил Игнаций. — Кошелек превосходный; я сам выбрал.

— Из каких же это? — небрежно спросил Вокульский и захлопнул книгу.

— Вон с той полочки. Видишь, какие красивые.

— Она, наверное, долго перебирала их… Говорят, она разборчива…

— Совсем не перебирала, зачем ей было перебирать? — отвечал Игнаций. — Посмотрела вот этот…

— Этот?

— И хотела взять тот…

— Ах, тот… — тихо повторил Вокульский, беря в руки кошелек.

— Но я посоветовал ей другой, вроде вон того…

— А знаешь, все-таки красивая вещица.

— Я выбрал ей еще красивее.

— Мне он очень нравится. Знаешь… я возьму его, а то мой уже никуда не годится…

— Погоди, я найду тебе получше! — воскликнул Игнаций.

— Бог с ним. Покажи мне другие товары, может быть я еще что-нибудь выберу.

— Запонки у тебя есть? Галстук, калоши, зонтик…

— Дай мне зонтик, ну и… галстук. Выбери сам. Сегодня я буду единственным покупателем и вдобавок заплачу наличными.

— Очень хорошая привычка, — радостно ответил Жецкий. Он быстро достал галстук из ящика и зонтик с витрины и, улыбаясь, подал их Вокульскому. — За вычетом скидки, которая тебе полагается как сотруднику, с тебя следует семь рублей. Прелестный зонтик. Пустячки…

— А теперь пойдем к тебе, — предложил Вокульский.

— Как, ты не будешь осматривать магазин?

— Ах, что мне за де…

— Тебе нет дела до собственного магазина, до такого прекрасного магазина? — изумился Игнаций.

— Ну что ты, как ты мог допустить… Просто я немного устал.

— Правильно, — ответил Игнаций. — Что верно, то верно. Так идем.

Он привернул газовые лампы и, пропустив Вокульского вперед, запер магазин. В сенях они снова увидели клубы мокрого снега, а также Павла, который принес обед.

### Глава пятая. Опрощение старого барина и мечты светской барышни

Пан Томаш Ленцкий жил не в собственном доме, а в наемной квартире из восьми комнат в районе Уяздовской Аллеи, вместе со своей единственной дочерью Изабеллой и родственницей Флорентиной. Квартира состояла из гостиной с тремя окнами, кабинета отца, будуара дочери, спальни отца, спальни дочери, столовой, комнаты панны Флорентины и бельевой, не считая кухни и помещения, где ютились старый камердинер Миколай со своей женой, кухаркой, и горничная Ануся.

Квартира пана Ленцкого обладала большими достоинствами. Она была сухая, теплая, просторная и светлая, с мраморной лестницей, газом, электрическими звонками и водопроводом. Каждая комната, в случае надобности, соединялась с другими и вместе с тем имела отдельный ход. Наконец, мебели было как раз достаточно — ни много, ни мало, и была она скорее простой и удобной, нежели бьющей на эффект. Самый вид буфета возбуждал чувство уверенности, что серебро из него не пропадет, кровать вызывала мысль о спокойном, праведном отдыхе, на стол можно было поставить сколько угодно еды, на стуле — сидеть, не опасаясь, что он сломается, в кресле — удобно мечтать.

Всякий, входивший сюда, мог двигаться непринужденно, не боясь опрокинуть что-нибудь или разбить. В ожидании хозяина гость не скучал, ибо его окружали вещи, на которые стоило поглядеть. В то же время созерцание предметов, существующих не со вчерашнего дня и предназначенных служить еще многим поколениям, настраивало на некий торжественный лад.

На фоне этой солидной обстановки выгодно выделялись обитатели квартиры.

Пан Томаш Ленцкий, человек лет шестидесяти с лишком, был невысокого роста, полнокровен и тучен. Он носил коротко подстриженные белые усы и зачесывал кверху того же цвета волосы. У него были серые умные глаза, величественная осанка и энергичная походка. На улице встречные уступали ему дорогу, а простые люди говорили: «Вот это, сразу видать, настоящий барин».

Действительно, род Ленцких насчитывал немало сенаторов. Отец его еще был миллионером, да и сам он смолоду был очень богат. Однако позже часть его состояния поглотили политические события, остальное ушло на путешествия по Европе и великосветскую жизнь. Надо сказать, что до 1870 года пан Томаш нередко бывал при французском дворе, затем при венском и итальянском. Виктор-Эммануил, плененный красотой его дочери, дарил отца своей дружбой и даже собирался пожаловать ему графский титул. Не удивительно, что после смерти великого монарха пан Томаш два месяца носил на шляпе траурный креп.

В последние годы пан Томаш никуда не выезжал из Варшавы, ибо на то, чтобы блистать при дворах, уже не хватало средств. Зато у себя он принимал весь высший свет, и так продолжалось до тех пор, пока по Варшаве не начали распространяться слухи, будто пан Томаш прожил не только свое состояние, но и приданое панны Изабеллы.

Первыми ретировались женихи, за ними дамы, у которых были некрасивые дочки, а с остальными пан Томаш порвал сам, ограничив свои знакомства только родственным кругом. Но когда и здесь стало заметно некоторое охлаждение, он совсем удалился от общества и даже, к возмущению многих важных особ, записался как домовладелец в купеческое собрание. Там его хотели провести в председатели, но он отказался.

Только дочь его продолжала бывать у престарелой тетушки графини и у нескольких ее приятельниц, что, в свою очередь, послужило поводом для слухов, будто у пана Томаша еще имеется состояние, а образ жизни он переменил отчасти из чудачества, отчасти же для того, чтобы испытать истинных друзей и выбрать для дочери мужа, который любил бы ее не ради приданого, а ради нее самой.

Снова вокруг панны Ленцкой закружился рой поклонников, а на столике в гостиной скапливались груды визитных карточек. Однако Ленцкие не принимали, что, впрочем, никого особенно не огорчало, поскольку вскоре разошелся третий по счету слух, будто дом пана Томаша будет продан с аукциона.

На этот раз в обществе началось смятение. Одни утверждали, что пан Томаш явный банкрот, другие готовы были поклясться, что он скрывает свое богатство, чтобы обеспечить счастье единственной дочери. Кандидаты в супруги и их родня оказались в мучительной неизвестности. И вот, чтобы ничем не рисковать и ничего не потерять, они отдавали дань красоте панны Изабеллы, ничем себя при этом не связывая, и втихомолку опускали у дверей свои визитные карточки, в

душе моля бога, чтобы их вдруг не пригласили прежде, чем прояснится положение.

Ответных визитов пан Томаш, разумеется, не делал. Такое поведение оправдывали в свете его эксцентричностью и скорбью по покойному Виктору-Эммануилу.

Между тем пан Томаш днем прогуливался по Аллеям, а вечерами играл в вист в купеческом собрании. Лицо его было всегда так спокойно, осанка так величава, что поклонники его дочери совсем теряли голову. Самые осмотрительные выжидали, но более смелые опять начали дарить панну Изабеллу томными взглядами, тихими вздохами и трепетным пожатием руки, на что она отвечала ледяным, а порой и презрительным равнодушием.

Панна Изабелла была на редкость хороша собой. Все в ней было необычно и совершенно. Рост выше среднего, удивительно стройная фигура, пышные белокурые волосы с пепельным отливом, прямой носик, полураскрытые губки, жемчужные зубы, ручки и ножки — образец изящества. Особенное впечатление производили ее глаза — то томные и мечтательные, то искрящиеся весельем, то светло-синие и холодные, как лед.

Поразительна была игра ее лица. Когда она говорила, то говорили не только ее губы, но и брови, ноздри, руки, все существо, а прежде всего глаза, из которых, казалось, душа так и рвалась навстречу слушателю. А когда слушала, казалось, будто она проникает в самую душу своего собеседника. Глаза ее умели голубить, ласкать, плакать без слез, жечь огнем и обдавать холодом. Иногда можно было подумать, что в порыве нежности она вот-вот обнимет счастливца и склонит голову ему на плечо; однако, когда тот уже таял от блаженства, она вдруг каким-то неуловимым движением давала понять, что поймать ее невозможно, что она выскользнет, или оттолкнет, или попросту велит лакею вытолкать поклонника за дверь…

Любопытное явление представляла собою душа панны Изабеллы.

Если бы кто-нибудь серьезно спросил ее: «Что такое мир и что такое она сама?» — несомненно, она ответила бы, что мир — это зачарованный сад со множеством волшебных дворцов, а она — нимфа или богиня, сошедшая на землю.

Панна Изабелла с колыбели жила в мире красоты, в мире не только необычном, но поистине — сверхъестественном. Спала она на пуху, одевалась в шелк и кружева, сидела на мягкой резной мебели из эбена или палисандра, пила из хрусталя, ела на серебре и фарфоре драгоценнее золота.

Для нее не существовало времен года, — была вечная весна, проникнутая мягким светом и благоуханием живых цветов. Не существовало поры дня, ибо она месяцами ложилась спать в восемь утра, а обедала в два часа ночи. Не существовало также географических различий, ибо в Париже, в Вене, в Риме, Берлине или в Лондоне ей встречались все те же люди, те же нравы, та же мебель и даже все те же блюда: супы из водорослей Тихого океана, устрицы из Северного

моря, рыба из Атлантики или Средиземного моря, дичь всех стран, фрукты всех частей света. Даже силы тяжести для нее не существовало, ибо стулья ей пододвигали, тарелки подавали, ее самое по улице везли, на лестнице поддерживали, на горы поднимали на руках.

Вуаль защищала ее от ветра, карета — от дождя, соболя — от холода, зонтик и перчатки — от солнца. И так жила она изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, царя над людьми и даже над законами природы.

Дважды пережила она страшную бурю: в Альпах и на Средиземном море. Самые отважные робели, но панна Изабелла со смехом прислушивалась к грохоту дробящихся скал и к треску корабля, ни на минутку не допуская возможности несчастья. Попросту природа устроила для нее великолепное зрелище из молний, каменных глыб и морской пучины, как однажды уже показала ей лунный серп над Женевским озером, а в другой раз разорвала тучи над Рейнским водопадом и осветила его солнцем. Ведь то же самое устраивают ежедневно механики в театрах, и даже слабонервные дамы при этом ничуть не пугаются.

Этот мир вечной весны, где шелестели шелка и произрастало только резное дерево, а глина была покрыта художественной росписью, — этот мир населен был особенными людьми. Полноправными его обитателями были князья и княгини, графы и графини, а также родовая и богатая знать обоего пола. Были там еще замужние дамы и женатые господа в ролях хозяек и хозяев дома, почтенные матроны, хранительницы утонченных манер и добрых нравов, маститые старцы, которые сидели во главе стола, занимались сватовством, благословляли молодежь и играли в карты. Были также епископы — носители образа божьего на земле, сановники, присутствие которых охраняло мир от нарушения общественного порядка и землетрясений, и, наконец, дети, нежные ангелочки, которых господь бог посылал с неба затем, чтобы старшие могли устраивать детские балы.

Среди постоянного населения зачарованного мира время от времени появлялся простой смертный, которому удавалось на крыльях славы вознестись до самых вершин Олимпа. Обычно это бывал какой-нибудь инженер, который соединял океаны либо сверлил, а может, и воздвигал Альпы. Попадался иногда капитан, который, сражаясь с дикарями, потерял весь отряд, а сам, покрытый ранами, спасся только благодаря любви негритянской принцессы. Случался и путешественник, который, как говорили, открыл какую-то новую часть света, потерпел крушение у необитаемого острова и чуть ли не отведал человеческого мяса.

Наконец, бывали там известные художники и прославленные поэты, которые писали в альбомы графиням изящные стихи и имели право безнадежно влюбляться, увековечивая своих жестокосердых богинь — сначала в газетах, а затем в томиках стихов, напечатанных на веленевой бумаге.

Все это население, среди которого осторожно скользили расшитые галунами лакеи, компаньонки, бедные родственницы и кузены, жаждущие повышения по службе, — все это население справляло нескончаемый праздник.

Днем наносили и отдавали друг другу визиты либо разъезжали по магазинам. К вечеру начинали развлекаться — до обеда, за обедом и после обеда. Потом отправлялись в концерт или театр, чтобы там посмотреть на еще один искусственный мир, где герои редко едят и работают, зато все время разговаривают сами с собою, где женская неверность становится источником великих бедствий и где любовник, застреленный мужем в пятом акте, на следующий день воскресает в первом, чтобы совершать те же ошибки и болтать с самим собою в присутствии других лиц, которые его почему-то не слышат.

После театра снова собирались в гостиных, где слуги разносили холодные и горячие напитки, наемные артисты пели, молодые дамы слушали рассказы покрытого шрамами капитана о негритянской принцессе, барышни беседовали с поэтами о родстве душ, пожилые господа излагали инженерам свои суждения об инженерной науке, а дамы средних лет с помощью недомолвок и взглядов оспаривали друг у дружки путешественника, отведавшего человеческого мяса.

Затем садились ужинать, и рты жевали, желудки переваривали еду, а ботинки под столом изъяснялись в чувствительности ледяных сердец и мечтательности трезвых голов. А потом — разъезжались по домам, чтобы в настоящем сне набраться сил для сна жизни. Кроме этого зачарованного мира, был еще другой — обыкновенный.

Панна Изабелла знала о его существовании и даже любила присматриваться к нему из окна кареты, вагона или собственной квартиры. В этих рамках и на таком расстоянии он казался ей живописным и даже милым. Случалось ей видеть поселян, неторопливо пашущих землю; большие возы с запряженными в них тощими клячами; разносчиков с корзинами овощей и фруктов; старика, дробившего камни на дороге; рассыльных, спешивших куда-то; красивых и назойливых цветочниц; семью на прогулке — отца, очень тучную мать и четверку детей, попарно державшихся за руки; щеголя из низшего сословия, который ехал в пролетке, смешно развалясь на сиденье; иногда — похороны. И она говорила себе, что тот, другой, хотя и низший, мир выглядит приятно, даже приятнее, чем на жанровых картинах, потому что в нем все движется и поминутно меняется.

И еще панна Изабелла знала, что, как цветы растут в оранжереях, а виноград в виноградниках, так и в том, низшем, мире произрастают нужные ей вещи. Оттуда явились ее верные Миколай и Ануся, там делают резные кресла, фарфор, хрусталь и занавески, там рождаются полотеры, обойщики, садовники и девушки, которые шьют платья. Однажды, находясь в магазине, она пожелала заглянуть в швейную мастерскую, и то, что она там увидела, показалось ей очень интересным: несколько десятков работниц кроили, сметывали и накалывали на манекенах складки одежды. Она была уверена, что это доставляет им большое удовольствие, потому что девушки, которые снимали с нее мерку или примеряли

платье, всегда улыбались и очень заботились о том, чтобы костюм хорошо на ней сидел.

И еще панна Изабелла знала, что в том, обыкновенном, мире встречаются несчастные люди. Поэтому каждому нищему, который попадался ей на глаза, она приказывала подать несколько злотых; раз, встретив изможденную мать с бледным, как воск, ребенком на руках, она отдала ей свой браслет, а грязных детей, собиравших милостыню, оделяла конфетками и целовала с благочестивым чувством. Ей чудилось, что в одном из этих бедняжек, а может, и в каждом воплотился Христос и встал на ее пути, чтобы дать ей повод совершить доброе дело.

Вообще к низшим мира сего она относилась с благоволением. Ей припоминались слова святого писания: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». По-видимому, они совершили какое-то тяжкое прегрешение, раз их осудили на труд; однако такие невинные ангелы, как она, не могли не сострадать им, — такие, как она, для которой самым большим трудом в жизни было нажать кнопку звонка или отдать приказание.

Только однажды этот низший мир произвел на нее неизгладимое впечатление.

Как-то во Франции она посетила металлургический завод. Еще из экипажа, спускавшегося по горной дороге, среди лесов и лугов, под ярко-синим небосводом, панна Изабелла увидела внизу пропасть, полную клубов черного дыма и белого пара, и услыхала глухой скрежет, лязг и пыхтенье машин. Потом она осматривала печи, напоминавшие башни средневековых замков, изрыгавшие пламя; могучие колеса, вращавшиеся с молниеносной быстротой; огромные металлические конструкции, которые сами катились по рельсам; потоки раскаленного добела металла и полуголых, похожих на бронзовые изваяния рабочих, бросавших угрюмые взгляды по сторонам. И надо всем этим простиралось кровавое зарево, гудение колес, стоны мехов, грохот молотов и нетерпеливые вздохи котлов, а под ногами дрожала, будто от страха, земля.

Тогда ей почудилось, что с вершины счастливого Олимпа она спустилась в мрачную пропасть вулкана, где циклопы куют молнии, способные сокрушить самый Олимп. Ей вспомнились легенды о взбунтовавшихся великанах, о гибели прекрасного мира, в котором она существовала, и впервые в жизни ее, богиню, пред которой склонялись великие мира сего, охватила тревога.

— Это страшные люди, папа, — шепнула она. Отец молчал и только крепче прижал к себе ее руку.

— Но ведь женщинам они не причиняют зла?

— Нет, даже они, — ответил пан Томаш.

В ту же минуту панна Изабелла устыдилась, что она тревожится только о женщинах, и поспешила прибавить:

— А если нам, то и вам тоже.

Но пан Томаш усмехнулся и покачал головой. В те времена много говорилось о близком крахе старого мира; пан Томаш сам ощущал это, когда с превеликим трудом вытягивал деньги у своих поверенных.

С посещения фабрики начался важный период в жизни панны Изабеллы. С мистическим экстазом читала она стихи своего дальнего родственника Зыгмунта[7], и ей казалось, что теперь она увидела иллюстрации к «Небожественной комедии». С тех пор часто в сумерки ей мерещилось, что там, на горе, залитой солнечным светом, откуда ее карета съезжала к заводу, находились «Окопы святой троицы», а в долине, затянутой клубами дыма и пара, раскинулся лагерь восставших плебеев, готовых в любую минуту броситься на штурм ее прекрасного мира и разрушить его.

Только теперь поняла она, как горячо любит свою духовную родину, где хрустальные люстры заменяют солнце, ковры — землю, статуи и колонны — деревья, — эту вторую свою родину, которая объединяет аристократию всех народов, роскошь всех времен и все прекраснейшие достижения цивилизации.

И всему этому суждено рухнуть, погибнуть или рассыпаться в прах?.. Погибнут и юные рыцари, которые с таким чувством поют, так прелестно танцуют, с улыбкой дерутся на дуэли или бросаются в глубокие озера, чтобы поднять оброненный цветок? И милые подружки, которые осыпали ее ласками или, сидя у ее ног, поверяли ей столько невинных тайн, а в разлуке с нею писали длинные-предлинные письма, где трогательные чувства уживались с весьма сомнительной орфографией?

А добрые слуги, которые обращаются со своими господами так, словно присягнули им в любви, верности и послушании до гроба? А портнихи, которые всегда встречают ее с улыбкой и так хорошо помнят о мельчайших деталях ее туалета, так осведомлены обо всех ее победах? А чудесные лошади, с которыми ласточка не сравнится в быстроте? А собаки, умные и преданные, как люди? А парки, в которых человеческая рука возвела холмы, живописно расположила ручьи, придала изящную форму деревьям? И все это может когда-нибудь исчезнуть?

От этих дум на лице панны Изабеллы появилось новое выражение кроткой печали, что сделало ее еще более прекрасной. Вокруг говорили, что она уже вполне расцвела.

Понимая, что великосветский мир — это высший мир, панна Изабелла со временем познала, что подняться на его вершины и постоянно там пребывать можно лишь с помощью двух крыльев: благородного происхождения и богатства. А благородное происхождение и богатство присущи немногим избранным семействам, как флердоранж — померанцевому дереву. Весьма правдоподобно, что добрый господь бог, узрев две души с благородными именами, соединенные узами священного таинства, приумножает их доходы и ниспосылает им на воспитание ангелочка, назначение которого — поддерживать фамильную славу своими добродетелями, хорошими манерами и красотой. Отсюда следует, что

браки надо заключать осмотрительно, в чем лучше всего разбираются старые дамы и преклонного возраста господа. Все зависит от правильного подбора имен и состояний. А любовь — не та безумная любовь, о которой грезят поэты, а истинно христианская — приходит только после священного таинства, и этого вполне достаточно, чтобы жена могла украшать собою дом, а муж — достойно сопутствовать ей в свете.

Так было в давние добрые времена, по единодушному утверждению всех матрон. В наши дни эта истина предана забвению, что очень плохо: растет число мезальянсов, и благородные роды клонятся к упадку.

«И в браках нет счастья», — прибавляла про себя панна Изабелла, которую молодые дамы часто посвящали в свои семейные тайны.

Благодаря их рассказам она прониклась отвращением к супружеской жизни, а мужчин стала слегка презирать.

Муж в халате, который зевает в присутствии жены, целует ее, не потрудившись выдохнуть дым сигары, и отвечает ей: «Оставь меня в покое», — или попросту: «Как ты глупа», муж, который поднимает скандал из-за новой шляпки, а сам швыряет деньги на экипажи для актрис, — это существо, отнюдь не привлекательное. И что хуже всего — каждый из них до свадьбы был горячим поклонником своей дамы, худел, если долго не виделся с ней, краснел при встрече, а иной раз даже клялся, что застрелится от любви.

Поэтому панна Изабелла в восемнадцать лет терзала мужчин своей холодностью. Когда Виктор-Эммануил однажды поцеловал у нее руку, она упросила отца в тот же день уехать из Рима. В Париже ей сделал предложение один богатый французский граф — панна Изабелла сказала, что она полька и не выйдет за иностранца. Подольского магната она оттолкнула фразой: «Я отдам свою руку только человеку, которого полюблю, а об этом пока говорить не приходится», — а в ответ на предложение какого-то американского миллионера только звонко расхохоталась.

Вследствие такого поведения через несколько лет вокруг панны Изабеллы образовалась пустота. Ею восхищались, ей поклонялись, но издалека: никому не хотелось получить презрительный отказ.

Когда сгладилось первое неприятное впечатление, панна Изабелла поняла, что супружество надо принять таким, каково оно есть. Она уже решилась выйти замуж при условии, чтобы ее будущий спутник нравился ей, обладал знатным именем и соответствующим состоянием. Правда, встречались мужчины обаятельные, богатые и титулованные, но, увы, ни один из них не соединял в себе всех трех качеств одновременно, — и, таким образом, снова минуло несколько лет.

Вдруг разнеслись слухи, будто дела пана Томаша совсем расстроены, и из всего легиона соревнователей у панны Изабеллы остались только два серьезных

претендента: некий барон и некий предводитель дворянства; оба были богаты, но стары.

Теперь только панна Изабелла заметила, что в высшем свете почва ускользает у нее из-под ног, и решилась умерить свои требования. Но поскольку и барон и предводитель, при всем их богатстве, внушали ей непреодолимое отвращение, она со дня на день откладывала окончательное решение. Между тем пан Томаш порвал с обществом. Предводитель, не дождавшись ответа, уехал в свое поместье, огорченный барон отбыл за границу, и панна Изабелла осталась совершенно одна. Правда, она знала, что каждый из них вернется по первому ее зову, но — кого же из двух выбрать? как подавить в себе отвращение? А главное, следует ли приносить такую жертву, когда не совсем потеряна надежда, что богатство еще вернется и она опять сможет выбирать? Уж тогда-то она выберет, испытав, как тяжко жить вне светского общества.

Одно обстоятельство чрезвычайно помогло ей решиться на брак по расчету. А именно: панна Изабелла никогда не любила. Причиной тому был холодный темперамент, уверенность, что в замужестве можно обойтись и без поэтических приложений, и, наконец, она находилась в плену идеальной любви, самой удивительной, о какой когда-либо приходилось слышать.

Однажды панна Изабелла увидела в картинной галерее статую Аполлона, которая произвела на нее столь сильное впечатление, что она купила превосходную копию и поставила ее в своем будуаре. Часами она глядела на Аполлона, думала о нем, и… кто знает, сколько поцелуев согревало руки и ноги мраморного божества? И вот свершилось чудо: под ласками влюбленной женщины камень ожил. Раз ночью, когда она уснула в слезах, бессмертный сошел со своего пьедестала и явился пред нею, с лавровым венком на челе, излучая мистическое сияние.

Он присел на край ее постели, долго глядел на нее взором, в котором таилась вечность, а потом, сжав ее в могучих объятиях, поцелуями белых уст осушал слезы и охлаждал ее жар.

С той поры он часто навещал ее, и когда она, тая в истоме, лежала в его объятиях, он, бог света, шептал ей о тайнах земли и неба, доселе не названных на языке смертных. Из любви к ней он сотворил еще большее чудо, являя в своем божественном облике облагороженные черты всех мужчин, которые когда-либо произвели на нее впечатление.

Раз он был похож на помолодевшего героя-генерала, выигравшего битву и с высоты своего седла взиравшего, как умирали тысячи доблестных воинов. В другой раз он напоминал лицом прославленного тенора, которому женщины бросали под ноги цветы, а мужчины выпрягали лошадей из кареты. То он был веселым и красивым принцем крови одного из старейших царствующих домов, то отважным пожарным, который за спасение трех человек с объятого пламенем пятого этажа получил орден Почетного легиона, то великим художником,

изумлявшим мир богатством своей фантазии, то венецианским гондольером или цирковым атлетом необычайного сложения и силы.

Каждый из этих людей некоторое время занимал сокровенные мысли панны Изабеллы, каждому из них посвящала она тайные вздохи, понимая, что по тем или иным причинам ей нельзя полюбить, и каждый из них по воле божества являлся в его образе в ее полуреальных, полуфантастических грезах. От этих видений глаза панны Изабеллы обрели новое выражение — какой-то неземной задумчивости. Часто устремлялись они куда-то поверх людей, поверх всего мирского; а когда вдобавок ее пепельные волосы рассыпались по лбу так причудливо, словно их коснулось таинственное дуновение, окружающим казалось, будто перед ними ангел или святая.

В такую минуту увидел панну Изабеллу Вокульский. Это было год назад. С тех пор его сердце не знало покоя.

Почти в то же самое время пан Томаш порвал с обществом и, в знак своих радикальных настроений, записался в купеческое собрание. Там он играл в вист с некогда презираемыми кожевниками, щетинниками и винокурами, доказывая всем и каждому, что аристократия не должна замыкаться в своем узком кругу, а, напротив, ее долг — вести за собой просвещенное мещанство и при его помощи — народ.

В ответ на это возгордившиеся кожевники, щетинники и винокуры милостиво признали, что пан Томаш — единственный аристократ, который понял свои обязанности перед отечеством и добросовестно их исполняет. Они могли бы прибавить: исполняет их ежедневно с девяти вечера до полуночи.

В то время как пан Томаш нес таким образом бремя нового положения, панна Изабелла томилась одиночеством в тиши своей прекрасной квартиры. Бывало, Миколай уже сладко дремал в кресле и панна Флорентина, заткнув уши ватой, спала крепким сном, только к спальне панны Изабеллы сон не смел подступиться, отпугиваемый воспоминаниями. Тогда она срывалась с постели и, накинув легкий капотик, часами ходила по гостиной, где ковер заглушал ее шаги, а темноту прорезал лишь скупой свет двух уличных фонарей.

Она ходила из угла в угол, а в огромной комнате теснились грустные воспоминания, и ей виделись люди, которые некогда здесь бывали. Вот дремлет престарелая княгиня; вот две графини осведомляются у прелата, можно ли крестить ребенка розовой водой; вот рой молодых людей обращает к панне Изабелле тоскующие взгляды или пытается возбудить ее внимание притворной холодностью, а там — гирлянда барышень, которые любуются ею, восхищаются или завидуют. Потоки света, шелест шелков, разговоры, которые большей частью, словно бабочки вокруг цветка, кружатся вокруг ее красоты. Где бы она ни появлялась, все в сравнении с нею тускнело; другие женщины служили ей фоном, мужчины превращались в рабов.

И все это миновало!.. А сейчас в этой гостиной холодно, пусто и темно… Осталась только она да невидимый паук грусти, который всегда затягивает серой

паутиной места, где мы были счастливы и откуда счастье исчезло. Исчезло!.. Панна Изабелла ломала руки, чтобы удержаться от слез, которых она стыдилась даже ночью — наедине с собой.

Ее покинули все, кроме старой графини. Когда на тетушку находило дурное настроение, она являлась сюда и, рассевшись на диване, начинала разглагольствовать, перемежая слова вздохами:

— Да, милая Белла, ты уж признай, что совершила несколько непростительных ошибок. О Викторе-Эммануиле я не говорю, то был мимолетный каприз короля, грешившего либерализмом и к тому же весьма обремененного долгами. Для подобных отношений нужно больше — не скажу такта, но опытности,

— говорила графиня, скромно потупив глаза. — Но упустить или, если угодно, оттолкнуть графа Сент-Огюста, — это уж извини!.. Человек молодой, богатый, с прекрасным положением и вдобавок с такой будущностью!.. Сейчас он как раз возглавляет депутацию к святому отцу и, наверное, получит особое благоволение для всей семьи… А граф Шамбор называет его «cher cousin" ***<Дорогой кузен (франц.).>*** . Ах, боже мой!

— Я думаю, тетя, что сейчас поздно огорчаться, — заметила панна Изабелла.

— Да разве я огорчить тебя хочу, бедняжка ты моя! И без того тебя ждут удары, которые может смягчить только глубокая вера. Ведь ты знаешь, что отец потерял все, даже остаток твоего приданого?

— Что же я могу поделать?

— А между тем ты, и только ты, можешь и должна что-нибудь сделать, — сказала графиня значительно. — Правда, предводитель — не Адонис, но… Будь наши обязанности всегда так легки, тогда не существовало бы и заслуг. Впрочем, бог ты мой, кто же мешает нам сохранять на дне души свой идеал, мысль о котором услаждает самые горькие минуты? И, наконец, уверяю тебя, положение красивой жены старого мужа отнюдь не так скверно. Все ею интересуются, о ней говорят, восхищаются ее самопожертвованием, а к тому же старый муж не так требователен, как муж средних лет…

— Ах, тетя…

— Только без экзальтации, Белла! Тебе уже не шестнадцать лет, пора смотреть на жизнь серьезно. Нельзя из-за какой-то антипатии жертвовать благополучием отца, да как-никак и Флоры и прислуги. Подумай, наконец, сколько ты, при твоем благородном сердечке, могла бы сделать добра, располагая значительным состоянием!

— Но, тетя, предводитель ужасно противный. Такому не жена нужна, а нянька, которая бы утирала ему рот.

— Не обязательно предводитель. Пусть будет барон.

— Барон еще старше, он красит волосы, румянится, и на руках у него какие-то пятна.

Графиня поднялась с дивана.

— Я не уговариваю тебя, дорогая, я не сваха, пусть этим занимается мадам Мелитон. Я только предупреждаю тебя, что над отцом нависла катастрофа.

— У нас ведь есть дом.

— Который продадут самое позднее после дня святого Яна, причем не удастся выручить даже сумму, назначенную тебе в приданое.

— Как? Дом, который обошелся нам в сто тысяч, продадут за шестьдесят?

— Да он больше и не стоит, отец переплатил за него. Это мне сказал архитектор, который осматривал дом по поручению Кшешовской.

— Ну, на худой конец у нас есть сервизы… серебро… — воскликнула панна Изабелла, ломая руки.

Графиня несколько раз поцеловала ее.

— Милое, дорогое дитя, — говорила она, всхлипывая, — и как раз мне приходится ранить твое сердечко!.. Так послушай… У отца есть еще долги по векселям на несколько тысяч… И вот эти векселя… понимаешь ли… эти векселя кто-то скупил… на днях, в конце марта… Мы догадываемся, что тут не обошлось без Кшешовской.

— Какая низость! — вырвалось у панны Изабеллы. — Впрочем, не в том дело… На уплату нескольких тысяч рублей хватит моего сервиза и серебра.

— Они стоят несравненно больше, но кто сейчас купит такие дорогие вещи?

— Во всяком случае, я попробую, — взволнованно говорила панна Изабелла.

— Попрошу пани Мелитон, она мне это устроит…

— Все же подумай, не жалко разве таких прекрасных фамильных вещей?

Панна Изабелла рассмеялась.

— Ах, тетя… значит, я должна колебаться — продать себя или сервиз? Я ни за что не соглашусь, чтобы у нас описали мебель… Ах, эта Кшешовская! Скупать векселя… какая гадость!

— Ну, может быть, это и не она.

— Значит, нашелся какой-то новый враг, еще худший.

— Возможно, это сделала тетя Гонората, — успокаивала ее графиня, — как знать? Может быть, она хочет помочь Томашу и вместе с тем дать почувствовать опасность… Ну, будь здорова, дорогое мое дитя, adieu.

На том закончился разговор, в котором польский язык был столь густо приправлен французскими фразами, что можно было его уподобить лицу, покрытому сыпью.

Начало апреля — та переходная пора, которая отделяет весну от зимы. Снег уже сошел, но зелень еще не показалась; деревья черны, газоны серы и небо серо: оно похоже на мрамор, исчерченный серебряными и золотистыми прожилками.

Около пяти часов вечера. Панна Изабелла сидит в своем кабинете и читает последний роман Золя: «Une page d'amour" ***<«Страница любви» (франц.).>*** . Читает рассеянно, поминутно поднимает глаза, поглядывает в окно и бессознательно отмечает, что ветви деревьев черны, а небо серо. Снова читает, озирается по сторонам и бессознательно думает, что ее мебель с голубой обивкой и ее голубой халатик словно подернулись серым налетом и что складки белой занавески похожи на большие ледяные сосульки. Потом забывает, о чем она только что думала, и спрашивает себя: «О чем это я думала? Ах да, о пасхальном сборе пожертвований…» И вдруг ее охватывает желание покататься в карете и одновременно негодование против неба — за то, что оно такое серое и что золотистые прожилки на нем такие узенькие… Ее томит неясное беспокойство, она ждет чего-то, хотя сама не знает чего: то ли, чтобы тучи прорвались, то ли, чтобы вошел лакей и подал ей письмо с приглашением на пасхальный сбор? Уже так мало времени остается, а ее все еще не пригласили.

Она опять принимается за роман — читает, как однажды, звездной ночью, г-н Рамбо чинил поломанную куклу маленькой Жанны, Элен плакала от беспричинной тоски, а аббат Жув советовал ей выйти замуж. Панна Изабелла сочувствует ее тоске, и, как знать, — если б в эту минуту на небе показались звезды вместо туч, может быть, и она расплакалась бы, как Элен. Ведь до пасхи остаются считанные дни, а ее еще не пригласили. Ее пригласят, она знает это, но зачем так тянуть? «Зачастую женщины, которые, казалось бы, столь пламенно веруют в бога, всего лишь несчастливые существа, объятые страстью. И в храмах они поклоняются мужчине, которого любят», — говорит аббат Жув.

«Добрый аббат, как он старался успокоить бедняжку Элен!» — думает панна Изабелла и вдруг отбрасывает книжку. Аббат Жув напомнил ей, что уже два месяца назад она начала вышивать ленту для костельного колокольчика и до сих пор не соберется закончить. Она встает с кресла и придвигает к окну столик с пяльцами, образчиком узора и шкатулкой с разноцветными шелками; потом разворачивает ленту и принимается усердно вышивать на ней розы и кресты. Под влиянием работы в душе ее пробуждается надежда. Кто служит костелу так, как она, не может быть обойден при устройстве пасхального сбора. Она подбирает шелка, вдевает нитку в иголку и шьет, шьет. Взгляд ее перебегает от образчика к вышивке, рука опускается и поднимается, но в голове уже зародился замысел костюма ко гробу господню и туалета на пасху. Этот вопрос вскоре поглощает все ее внимание, затуманивает взор и замедляет движение руки. Платье, шляпа, накидка и зонтик — все должно быть новое, а времени так мало, и ничего еще не только не заказано, но даже не выбрано!

Тут она вспоминает, что ее сервиз и столовое серебро уже находятся у ювелира, что уже нашелся какой-то покупатель, так что не сегодня-завтра все будет

продано. У панны Изабеллы слегка сжимается сердце: ей жаль сервиза и серебра, но при мысли о пасхальном сборе и новом туалете становится несколько легче. Туалет можно заказать очень изящный, но какой именно?

Она отодвигает пяльцы, протягивает руку к столику, на котором лежат Шекспир, Данте, альбом европейских знаменитостей и несколько журналов, берет «Le moniteur de la mode» и начинает просматривать его с величайшим вниманием. Вот обеденное платье, вот весенние туалеты для барышень помоложе и постарше, а вот для дам молодых и пожилых. Вот визитное платье, вот вечернее, вот для прогулки: шесть новых фасонов шляп, десяток образцов материй, полсотни тонов… Боже мой, что же выбрать? Немыслимо выбирать, не посоветовавшись с панной Флорентиной и с портнихой модного магазина…

Панна Изабелла с досадой кладет на место «Вестник моды» и располагается полулежа на козетке. Молитвенно сложив ладони, она руками и подбородком опирается на валик и устремляет к небу задумчивый взгляд. Пасхальный сбор, новый туалет, тучи на небе, мечты и образы беспорядочно следуют друг за другом, а сквозь них пробивается сожаление о сервизе и легкое чувство стыда из-за того, что она его продает.

«Ах, все равно!» — говорит она себе, и снова ей хочется, чтобы тучи прорвались хоть на минутку. Но тучи сгущаются, а в сердце ее усиливается чувство стыда, сожаления и тревоги. Неожиданно взгляд ее падает на столик возле козетки и на молитвенник, оправленный в слоновую кость. Панна Изабелла берет молитвенник и медленно перелистывает, отыскивая молитву «Acte de resignation" ***<Молитва покаяния (франц.).>*** , а найдя, начинает читать: «Que votre nom soit beni a jamais, bien que vous avez voulu m'eprover par cette peine" ***<Да будет благословенно имя твое во веки веков, хоть и послал ты мне это испытание (франц.).>*** . По мере того как она читает, небо проясняется, а с последними словами: «Et d'attendre en paix votre divin secours" ***<Ниспошли мне мир в ожидании твоей божественной помощи (франц.).>*** — тучи разрываются, и показывается клочок ясной синевы; будуар панны Изабеллы наполняется светом, а душа ее — миром. Она больше не сомневается, что ее молитва услышана и во время пасхального сбора к ее услугам будут самый изящный туалет и самый аристократический костел.

В это мгновение двери будуара тихонько открываются: на пороге появляется панна Флорентина — высокая застенчивая особа, вся в черном; она держит двумя пальцами письмо и тихо говорит:

— От графини.

— Ах, это по поводу пасхального сбора, — отвечает панна Изабелла с очаровательной улыбкой. — Ты весь день ко мне не заглядывала, Флорочка.

— Я не хотела тебе мешать.

— Скучать? Может быть, нам было бы приятно поскучать вместе.

— Письмо… — робко замечает особа в черном платье, протягивая конверт Изабелле.

— Я знаю его содержание, — прерывает панна Изабелла. — Посиди немного со мною и, если тебя не затруднит, будь добра, прочти мне письмо.

Панна Флорентина робко опускается в кресло, тихонько берет с письменного столика нож и с величайшей осторожностью вскрывает конверт. Она кладет на столик нож, затем конверт, разворачивает листок и слабым мелодичным голосом читает письмо, написанное по-французски.

— «Дорогая Белла! Прости, что затрагиваю вопрос, который только ты и твой отец имеете право решать. Я знаю, дорогое мое дитя, что ты расстаешься со своим сервизом и серебром, — да ты и сама говорила мне об этом. Я знаю также, что нашелся покупатель, который предлагает вам пять тысяч рублей, — по моему мнению, слишком мало, хотя в наше время трудно рассчитывать на лучшую цену. Однако после разговора, который был у меня по этому поводу с Кшешовской, я начинаю опасаться, как бы эти прекрасные фамильные вещи не попали в недостойные руки.

Я хотела бы предотвратить это и поэтому предлагаю, если ты согласишься, одолжить тебе три тысячи рублей под залог вышеупомянутого сервиза и серебра. Я полагаю, что сейчас, когда отец твой находится в столь затруднительном положении, этим вещам лучше быть у меня. Забрать их ты сможешь в любое время, а в случае моей смерти — даже не возвращая долга.

Я не навязываюсь, а лишь предлагаю. Рассуди, как тебе будет удобнее, но прежде всего подумай о последствиях.

Мне кажется, ты была бы огорчена, если бы когда-нибудь узнала, что наши фамильные ценности украшают стол какого-нибудь банкира или входят в приданое его дочки.

Тысяча поцелуев, дитя мое.

Иоанна.

P.S. Представь, какое счастье выпало на долю моего приюта. Вчера, заехав в магазин этого славного Вокульского, я обронила словечко о пожертвовании для бедных сироток. Я рассчитывала на несколько десятков рублей, а он — поверишь ли? — пожертвовал мне тысячу, буквально — тысячу рублей! И еще сказал, что мне он не осмелился бы вручить меньшую сумму. Еще несколько таких Вокульских, и я чувствую, что на старости лет готова стать демократкой».

Панна Флорентина, кончив читать, не смела поднять глаз. Наконец она собралась с духом и взглянула на панну Изабеллу; та сидела на козетке бледная, сжав руки.

— Что же ты скажешь, Флора? — спросила она минуту спустя.

— Я думаю, — тихо ответила панна Флорентина, — что графиня в начале своего письма сама весьма метко высказалась о своем вмешательстве в это дело.

— Какое унижение! — прошептала панна Изабелла, нервно постукивая рукою по козетке.

— Унизительно, когда предлагают три тысячи под залог серебра, в то время как чужие люди дают пять тысяч. А больше не о чем говорить.

— Как она обращается с нами… Видимо, мы действительно разорены…

— Да что ты, Белла! — прервала, оживляясь, панна Флорентина. — Именно это жестокое письмо доказывает, что вы не разорены. Тетка умеет быть жестокой, однако умеет уважать настоящее горе. Если б вам действительно грозило разорение, вы нашли бы в ее лице заботливого и чуткого утешителя.

— Спасибо.

— И чего тебе опасаться? Завтра мы получим пять тысяч рублей, на которые можно вести хозяйство полгода или хотя бы три месяца. Через некоторое время…

— Наш дом продадут с аукциона…

— Простая формальность, вот и все. Больше того: вы даже выгадаете, в то время как теперь дом для вас — это только обуза. Ну, а после смерти тетки Гортензии ты получишь тысяч сто. Впрочем, — прибавила после паузы панна Флорентина, подняв брови, — я сама не уверена, нет ли у твоего отца состояния. Все придерживаются такого мнения…

Панна Изабелла перегнулась с козетки и взяла панну Флорентину за руку.

— Флора, — сказала она понижая голос, — кому ты это говоришь? Видно, ты в самом деле считаешь меня только барышней на выданье, которая ничего не видит и ничего не понимает? Думаешь, я не знаю. — произнесла она еще тише, — что уже месяц ты одалживаешь деньги на хозяйство у Миколая…

— Может быть, отец именно этого хочет…

— И хочет, чтобы ты каждое утро потихоньку вкладывала в его портмоне несколько рублей?

Панна Флорентина посмотрела ей в глаза и покачала головой.

— Ты знаешь слишком много, — сказала она, — но не все. Уже две недели как у отца завелись свои карманные деньги…

— Значит, он делает новые долги.

— Нет. Отец никогда не станет занимать в городе. Кредиторы приходят на дом с деньгами и у него в кабинете получают расписку и проценты. Ты его в этом отношении не знаешь.

— Откуда же у него деньги?

— Не знаю. Вижу, что есть, и слышу, что всегда были.

— Почему же в таком случае он позволил продать серебро? — настойчиво спрашивала панна Изабелла.

— Может быть, он хочет подразнить родных.

— А кто скупил его векселя?

Панна Флорентина беспомощно развела руками.

— Их скупила не Кшешовская, — сказала она. — Это я знаю наверное. Значит — или тетка Гортензия, или же…

— Или?

— Или сам отец. Разве ты не знаешь, сколько вещей он делает только для того, чтобы встревожить родных, а потом посмеяться над ними?

— Зачем же ему тревожить меня, нас?

— Он думает, что ты не тревожишься. Дочь обязана безгранично верить отцу…

— Ах, вот что!.. — шепнула панна Изабелла и задумалась.

Родственница в черном платье медленно поднялась с кресла и тихо вышла.

Панна Изабелла снова взглянула на комнату, которая показалась ей совсем бесцветной, на черные ветки, качавшиеся за окном, на чету воробьев, щебетавших, может быть, о постройке гнезда, на небо, теперь уже сплошь серое, без единой светлой полоски. На мгновение она снова вспомнила о пасхальном сборе, о новом туалете, но и то и другое показалось ей таким маловажным, почти смешным, и она еле заметно пожала плечами.

Ее мучили другие вопросы: не отдать ли и впрямь сервиз графине Иоанне и — откуда отец берет деньги? Если они у него были все время, зачем он позволял занимать их у Миколая? А если их не было, то из какого источника он черпает их сейчас?.. Если отдать сервиз и серебро тетке, можно упустить случай выгодно их продать, а если продать за пять тысяч, эти фамильные вещи могут в самом деле попасть в недостойные руки, как писала графиня.

Внезапно течение ее мыслей прервалось: ее чуткое ухо уловило шорох в отдаленных комнатах. Это были мужские шаги — мерные и спокойные. В гостиной их слегка приглушил ковер, в столовой они зазвучали отчетливей, в ее спальне снова стихли, словно кто-то шел на цыпочках.

— Войди, папа, — откликнулась панна Изабелла, услышав стук в дверь.

Вошел пан Томаш. Она приподнялась было с козетки, но отец удержал ее. Он обнял ее, поцеловал в голову и сел рядом, предварительно бросив взгляд в большое зеркало на стене. Он увидел свое красивое лицо, седые усы, безупречный темный сюртук, выутюженные брюки, словно только что от портного, и убедился, что все в надлежащем порядке.

— Я слышал, — сказал он дочери, улыбаясь, — что барышня получает письма, которые портят ей настроение.

— Ах, папа, если б ты знал, в каком тоне пишет тетка…

— Наверно, в тоне слабонервной особы. За это не стоит на нее обижаться.

— Если бы только обида… Я боюсь, что она права и наше серебро может попасть на стол к какому-нибудь банкиру.

Она прижалась головою к плечу отца. Пан Томаш невольно взглянул в зеркало на столике и отметил про себя, что вместе они в эту минуту образуют очень красивую группу. Особенно выразителен был контраст между тревогой, выражавшейся на лице дочери, и его собственным спокойствием. Он улыбнулся.

— Столы банкиров!.. — повторил он. — Серебро наших предков бывало на столах у татар, казаков, взбунтовавшихся мужиков — и это не только не уронило нашего достоинства, но даже принесло нам почет. Кто борется, тот рискует потерять.

— Они теряли из-за войны и на войне, — заметила панна Изабелла.

— А сейчас разве не война?.. Изменилось только оружие: вместо косы или ятагана сражаются рублем. Иоася это хорошо понимала, когда продавала — и не то что сервиз, а родовое имение — и разбирала развалины замка для постройки амбара.

— Итак, мы побеждены… — вздохнула панна Изабелла.

— Нет, дитя мое, — ответил пан Томаш, приосанившись. — Мы вскоре начнем побеждать, и, пожалуй, именно этого опасается моя сестрица и ее присные. Они так погрузились в спячку, что их возмущает каждое проявление жизненной силы, каждый мой смелый шаг, — прибавил он словно про себя.

— Твой, папа?

— Да. Они думали, что я стану просить их о помощи. Иоася охотно сделала бы меня своим поверенным. А я отказался от их милостей и сблизился с мещанством. Я приобрел среди этих людей вес, и это начинает беспокоить наших аристократов. Они думали, я отойду на второй план, а между тем видят, что я могу выдвинуться на первый.

— Ты, папа?

— Я. До сих пор я молчал, ибо не было подходящих исполнителей. Теперь я нашел человека, который понял мои идеи, и начну действовать.

— Кто же это? — спросила панна Изабелла, с изумлением глядя на отца.

— Некий Вокульский, коммерсант, железный человек. С его помощью я организую наше мещанство, создам общество по торговле с Востоком, подниму таким образом промышленность…

— Ты папа?

— И тогда посмотрим, кто окажется впереди, хотя бы при выборах в городской совет, если они будут…

Панна Изабелла слушала, широко раскрыв глаза.

— А ты уверен, папа, что человек, о котором ты говоришь, не окажется просто аферистом, авантюристом?

— Так ты его не знаешь? — спросил пан Томаш. — А ведь это один из наших поставщиков.

— Магазин я знаю, красивый, — задумчиво ответила панна Изабелла. — Есть там старый приказчик, чудак как будто, но необычайно учтивый… Ах, кажется, несколько дней назад я видела и владельца… Очень грубый человек по виду…

— Вокульский груб? — удивился пан Томаш. — Он действительно держится несколько натянуто, но весьма любезен.

Панна Изабелла тряхнула головой.

— Неприятный человек, — заметила она, оживляясь. — Теперь припоминаю… Во вторник я была в магазине, спросила его, сколько стоит веер. Надо было видеть, как он взглянул на меня!.. Ничего не ответил, только вытянул огромную красную ручищу к приказчику (довольно, знаешь ли, изящному молодому человеку) и буркнул сердито: «Пан Моравский (или Мрачевский, я уж не помню), дама спрашивает, сколько стоит веер…» Нет, неинтересного ты выбрал себе компаньона! — рассмеялась панна Изабелла.

— Человек бешеной энергии, железный человек, — возразил пан Томаш. — Все они таковы. Ты узнаешь этих людей, потому что я намерен устроить у нас несколько совещаний. Все они оригинальны, но этот оригинальнее остальных.

— Ты хочешь принимать этих господ?

— Мне нужно посоветоваться кое с кем из них. А что до наших, — прибавил он, заглянув дочери в глаза, — уверяю тебя, когда они услышат, кто у меня бывает, все как один поспешат к нам в гостиную.

В эту минуту вошла панна Флорентина и пригласила к столу. Пан Томаш подал дочери руку, и все трое перешли в столовую, где их уже ждали миска с первым и Миколай, облаченный во фрак с большим белым галстуком.

— Белла насмешила меня, — сказал пан Томаш панне Флоре, которая разливала бульон. — Представь себе, Вокульский произвел на нее впечатление грубияна. Ты его знаешь?

— Кто же сейчас не знает Вокульского, — отвечала панна Флорентина, подавая Миколаю тарелку для барина. — Конечно, изяществом он не блещет, однако производит впечатление…

— Колоды с красными лапами, — смеясь, воскликнула панна Изабелла.

— Он мне напоминает Трости, — помнишь, Белла, того полковника в Париже?

— заметил пан Томаш.

— А мне — статую торжествующего гладиатора, — мелодичным голосом прибавила панна Флорентина. — Помнишь, Белла, во Флоренции — тот, с поднятым мечом? Лицо суровое, даже дикое, но прекрасное.

— А красные руки? — спросила панна Изабелла.

— Он отморозил их в Сибири, — значительно сказала панна Флорентина.

— А что он там делал?

— Расплачивался за увлечения молодости, — сказал пан Томаш. — Это можно ему извинить.

— Ах, значит, он еще и герой!

— И миллионер, — прибавила панна Флорентина.

— И миллионер? — повторила панна Изабелла. — Я начинаю верить, что папа сделал хороший выбор, принимая его в компаньоны. Хотя…

— Хотя?.. — переспросил отец.

— Что скажет свет по поводу такого компаньона?

— Была бы сила в руках, будет и свет у ног.

Миколай как раз закончил обносить стол блюдом с жарким, когда в передней раздался звонок. Старый слуга вышел и через минуту вернулся, неся письмо на серебряном, а может, и посеребренном, подносе.

— От госпожи графини, — доложил он.

— Тебе, Белла, — сказал пан Томаш, взяв письмо. — Позволь мне проглотить за тебя эту новую пилюлю.

Он вскрыл письмо, прочитал его и со смехом передал панне Изабелле.

— Вот, — воскликнул он, — Иоася вся в этом письме. Нервы, вечно нервы!..

Панна Изабелла отодвинула тарелку и с беспокойством пробежала глазами листок бумаги. Постепенно лицо ее прояснялось.

— Послушай, Флора, — сказала она, — это любопытно. «Дорогая Белла! — пишет тетка. — Забудь, ангелочек, о моем предыдущем письме. В конце концов меня совершенно не касается твой сервиз, а когда ты будешь выходить замуж, мы найдем другой. Но я хочу, чтобы ты непременно участвовала со мной в пасхальном сборе, и именно об этом собиралась я писать, а не о сервизе. Бедные мои нервы! Если не хочешь вконец расстроить их, ты должна согласиться на мою просьбу.

Гроб господень в нашем костеле будет чудесный. Мой славный Вокульский дает фонтан, поющих искусственных птиц, музыкальную шкатулку, которая будет играть одни только серьезные пьески, и множество ковров. Гозер из своего магазина пришлет цветы, а любители устраивают концерт — орган, скрипка,

виолончель и пение. Я в восторге, но, если среди всех этих чудес не будет тебя, я заболею. Значит, решено. Обнимаю тебя и целую тысячу раз.

Любящая тетка Иоанна.

P.S. Завтра мы поедем в магазин заказать тебе весенний костюм. Я умру, если ты не примешь его».

Панна Изабелла сияла. В этом письме осуществлялись все ее надежды.

— Вокульский неподражаем! — воскликнул, смеясь, пан Томаш. — Он взял Иоасю штурмом, и теперь она не только не осудит меня за такого компаньона, но даже готова оспаривать его у меня.

Миколай подал цыплят.

— Это, по-видимому, гениальный человек, — заметила панна Флорентина.

— Вокульский? Ну нет, — ответил пан Томаш. — Он человек бешеной энергии, но что касается дара комбинации — не скажу, чтоб он обладал им в высокой степени.

— Мне кажется, он дает тому доказательства.

— Все это доказывает только энергию. Дар комбинации, гениальный ум познаются в другом, ну хотя бы… в игре. Я довольно часто играю с ним в пикет, где без комбинаций и шагу ступить нельзя. И в итоге я проиграл рублей восемь — десять, а выиграл около семидесяти… хотя и не претендую на гениальность! — скромно прибавил он.

Панна Изабелла уронила вилку. Она побледнела и схватилась за голову, тихо вскрикнув:

— А!.. а!..

Отец и панна Флорентина вскочили со стульев.

— Что с тобою, Белла? — с тревогой спросил пан Томаш.

— Ничего, — отвечала она, вставая из-за стола. — Мигрень. Уже час назад я почувствовала, что начинается приступ… Ничего, папа…

Она поцеловала у него руку и ушла к себе в комнату.

— Внезапный приступ должен скоро кончиться, — сказал пан Томаш. — Иди к ней, Флора. Я ненадолго поеду в город кое с кем повидаться, но вернусь пораньше. Тем временем присмотри за нею, дорогая, прошу тебя, — говорил пан Томаш со значительной миной человека, уверенного в том, что без его распоряжений или просьб не может быть хорошо на свете.

— Сейчас я к ней пойду, пусть только здесь приберут, — отвечала панна Флорентина, для которой порядок в доме был важнее, чем чья бы то ни было головная боль.

Сумерки спустились на землю… Панна Изабелла снова одна в своем будуаре: она лежит на козетке, обеими руками закрыв глаза. Из-под волны шелка, ниспадающей на пол, выглянула узкая туфелька и полоска чулка, но этого никто не видит, и сама она об этом не думает. В эту минуту душу ее снова терзают гнев, обида и стыд. Тетка извинилась перед нею, Изабелла проведет пасхальный сбор в самом богатом костеле и получит самый изящный туалет; и при всем том она несчастлива… Она чувствует себя так, словно в шумной гостиной вдруг заметила на своем новом костюме огромное жирное пятно безобразной формы и цвета, будто она замаралась где-то на черной лестнице. Мысль об этом для нее настолько омерзительна, что рот ее наполняется слюною.

Какое ужасное положение!.. Уже месяц они берут взаймы у лакея, а последние десять дней отец достает деньги на свои карманные расходы игрой в карты. Выигрывать не стыдно, светские люди выигрывают тысячи, но ведь не на нужды первой необходимости и не у купцов же. Ах, будь это возможно, она бросилась бы к ногам отца, моля его не играть с этими людьми, по крайней мере сейчас, когда их дела так расстроены! Через несколько дней она получит деньги за свой сервиз и тогда сама даст несколько сот рублей отцу, пусть он проиграет их этому Вокульскому, пусть рассчитается с ним еще щедрее, чем она с Миколаем, возвращая ему долг.

Но удобно ли ей так поступить, да и вообще даже заговаривать об этом с отцом?

— Вокульский?.. Вокульский?.. — повторяет панна Изабелла.

Кто же он, этот Вокульский, который сегодня так внезапно предстал перед нею сразу в нескольких обличиях? Что за дела у него с теткой, с отцом?

И вот ей начинает казаться, что она уже несколько недель подряд слышит об этом человеке. Какой-то купец недавно пожертвовал две или три тысячи рублей на благотворительные цели, только она точно не знала, чем он торгует — то ли дамскими туалетами, то ли мехами. Потом еще говорили, что какой-то купец во время русско-турецкой войны нажил крупное состояние, но она прослушала кто: то ли это сапожник, у которого она заказывает обувь, то ли ее парикмахер. И только сейчас она припоминает, что купец, пожертвовавший тысячи, и купец, наживший состояние, — одно и то же лицо и что это тот самый Вокульский, который проигрывает в карты ее отцу и которого тетка, известная своей надменностью старая графиня, называет «мой славный Вокульский».

Теперь она вспоминает даже физиономию этого человека, который тогда в магазине не захотел с нею говорить и только мрачно разглядывал ее из-за огромных японских ваз. Как он смотрел на нее!

Однажды ей вздумалось зайти с панной Флорентиной, так, шалости ради, в кондитерскую выпить чашку шоколада. Они сели у окна, а на улице собралась кучка маленьких оборванцев. Дети смотрели на нее, на пирожные и шоколад с любопытством и жадностью голодных зверенышей. Так же точно смотрел на нее этот купец.

Ее охватила легкая дрожь. И это компаньон ее отца? Компаньон — в чем? Каким образом ее отцу вдруг пришло в голову создавать какие-то торговые общества, строить широкие планы, о которых он раньше и не мечтал? Он собирается с помощью мещанства стать во главе аристократии, хочет, чтобы его выбрали в городской совет, которого не существовало и не существует… Да ведь этот Вокульский действительно какой-то аферист, может быть мошенник, которому нужно громкое имя для рекламы его предприятий! Такие случаи бывали. Сколько прекрасных фамилий немецкой и венгерской аристократии погрузились в омут коммерческих операций, в которых она, конечно, ничего не смыслит, но и отец, наверное, тоже смыслит не больше нее.

Уже совсем стемнело: на улице зажгли фонари, и свет их, проникая в будуар панны Изабеллы, обрисовал на потолке переплет окна и складки занавесок. Тень напоминала крест на светлом фоне, который застилало медленно надвигавшееся облако.

«Где это я уже видела однажды такой вот крест, и облако, и светлую даль?» — подумала панна Изабелла. Она принялась вспоминать виденные в жизни места — и замечталась.

Ей почудилось, что она едет в карете по какой-то знакомой местности. Леса и зеленые горы образуют как бы огромное кольцо, а карета находится на краю кольца и съезжает вниз. Да полно, едет ли карета? Ведь она ни к чему не приближается и ни от чего не отдаляется. Нет, все-таки едет — это видно по солнечному диску, отраженному в лакированном крыле экипажа: диск дрожит и медленно движется назад. К тому же слышится грохот… Что это — стук пролетки на улице?.. Нет, это грохочут машины, работающие где-то на дне этого кольца гор и лесов. Там, внизу, можно даже разглядеть что-то вроде озера черного дыма и белого пара, окаймленного зеленью.

Тут панна Изабелла замечает отца, который сидит рядом с нею и пристально рассматривает свои ногти, время от времени поглядывая по сторонам. Карета все стоит на краю кольца, как будто застыв на месте, и только солнечный диск на лакированном крыле медленно движется назад. Этот кажущийся покой — или скрытое движение — необычайно раздражает панну Изабеллу. «Мы что — стоим или едем?» — спрашивает она отца. Но отец ничего не отвечает, будто не замечая ее, — он рассматривает свои великолепные ногти и время от времени окидывает взглядом окрестности…

Вдруг (карета по-прежнему трясется, и по-прежнему слышится грохот) из глубины озера, извергающего черный дым и белый пар, по пояс вынырнула фигура какого-то человека. У него коротко остриженные волосы, смуглое лицо, напоминающее пехотного полковника Трости (а может быть, гладиатора из Флоренции), и огромные красные руки. На нем надета испачканная сажей рубаха с засученными выше локтя рукавами: в левой руке, прижатой к груди, он держит карты, раскинутые веером, а в правой, поднятой над головою, — одну карту, которую, очевидно, собирается швырнуть на переднее сиденье экипажа. Остальная часть фигуры скрыта клубами дыма.

«Отец, что он делает?» — испуганно спрашивает панна Изабелла.

«Он играет со мной в пикет», — отвечает отец, и в руках у него тоже карты.

«Да ведь это страшный человек, папа!»

«Даже такие не причиняют зла женщинам», — отвечает пан Томаш.

Только сейчас панна Изабелла замечает, что человек в рубашке смотрит на нее каким-то особенным взглядом, продолжая держать карту в поднятой руке. Клубы дыма и пара, бурлящие в долине, минутами застилают его расстегнутую рубашку и суровое лицо; вот он утонул в них совсем — его нет. Сквозь дым смутно виден только блеск его глаз, а над дымом — обнаженная до локтя рука и — карта.

«Что означает эта карта, папа?» — спрашивает она. Но отец невозмутимо глядит в собственные карты и ничего не отвечает, будто не замечая ее.

«Когда же мы наконец проедем это место?» Но, хотя карета трясется и солнечный диск, отраженный в крыле, движется назад, внизу по-прежнему виднеются озеро дыма, поднимающийся из него человек, его занесенная над головой рука и — карта.

Панну Изабеллу охватывает нервное беспокойство, она напрягает память, всю силу мысли, чтобы угадать, что означает карта, которую держит этот человек…

Может быть, деньги, которые он проиграл ее отцу в пикет? Как будто нет. Может быть, его пожертвование благотворительному обществу? Тоже нет. Может быть, это тысяча рублей, которую он дал ее тетке на приют, а может быть — квитанция за фонтан, птичек и ковры на украшение гроба господня? Тоже нет, — все это не волновало бы ее так.

Постепенно панной Изабеллой овладевает сильнейшая тревога. Может быть, это векселя отца, недавно скупленные кем-то? В таком случае, как только она получит деньги за сервиз и серебро, она сразу же выплатит его долг и избавится от этого кредитора. Но человек, окутанный дымом, продолжает смотреть ей в глаза и не выпускает карты. Так, может быть… Ах!..

Панна Изабелла срывается с козетки, задевает в темноте пуф и дрожащими руками нажимает кнопку звонка. Звонит раз, другой — никто не является. Тогда она бежит в переднюю и в дверях сталкивается с панной Флорентиной; та хватает ее за руку и с удивлением спрашивает:

— Что с тобою, Белла?

В освещенной передней панна Изабелла немного приходит в себя. Она улыбается.

— Флорочка, перенеси лампу ко мне в комнату. Папа дома?

— Он только что уехал.

— А Миколай?

— Сейчас вернется — пошел отдать письмо рассыльному. Что, у тебя еще сильней разболелась голова?

— Нет, — смеется панна Изабелла, — просто я задремала и мне что-то привиделось.

Панна Флорентина берет лампу, и обе идут в будуар Изабеллы. Панна Ленцкая снова опускается на козетку, заслоняет рукой глаза от света и говорит:

— Знаешь, Флора, я передумала: не хочу продавать серебро чужим людям. Оно в самом деле может попасть бог знает в чьи руки. Будь добра, присядь за мой столик и напиши тетке, что я… принимаю ее предложение. Пусть она одолжит нам три тысячи рублей и берет себе сервиз и серебро.

Панна Флорентина с величайшим изумлением глядит на нее и наконец отвечает:

— Это невозможно, Белла.

— Почему?..

— Четверть часа назад я получила письмо от пани Мелитон: серебро и сервиз уже проданы.

— Уже? Кто их купил? — выкрикивает панна Изабелла, хватая ее за руку.

Панна Флорентина смущена:

— Кажется, какой-то русский купец…

Но по ее лицу видно, что она говорит неправду.

— Ты что-то знаешь, Флора… Прошу тебя, не скрывай!.. — молит ее панна Изабелла, и глаза ее наполняются слезами.

— Хорошо, тебе я открою секрет, только не говори отцу, — просит кузина.

— Так кто же? Ну, кто купил?

— Вокульский.

В то же мгновение слезы панны Изабеллы высыхают и глаза принимают стальной оттенок. Она гневно отталкивает руку родственницы, делает несколько шагов взад и вперед по комнате и, наконец, садится в кресло против панны Флорентины. Теперь это уже не пугливая, нервная красавица, а важная дама, которая готова распечь, а может быть, и рассчитать провинившуюся прислугу.

— Скажи мне, милая, — говорит она певучим контральто, — что за нелепый заговор затеваете вы против меня?..

— Я… Заговор? — лепечет панна Флорентина, прижимая руки к груди. — Я не понимаю тебя, Белла…

— Да. Ты, пани Мелитон и этот… смехотворный герой… Вокульский.

— Я и Вокульский? — повторяет панна Флорентина, и на лице ее изображается такое простодушное изумление, что невозможно усомниться в ее искренности.

— Допустим, ты не в заговоре, — продолжает панна Изабелла. — Но ты что-то знаешь…

— О Вокульском я знаю то же, что все. У него есть магазин, где и мы покупаем, он нажил состояние на войне…

— А ты слыхала, что он втягивает папу в торговую компанию?

Выразительные глаза панны Флорентины широко раскрываются.

— Втягивает твоего отца в компанию? — пожимает она плечами. — Какая же компания может быть у него с отцом?

И тут же пугается собственных слов…

Непричастность ее была очевидна. Панна Изабелла снова несколько раз прошлась по комнате, словно львица по клетке, и вдруг спросила:

— Скажи мне по крайней мере, что ты думаешь об этом человеке?

— О Вокульском? Ничего я о нем не думаю, пожалуй только, что он ищет популярности и влиятельных связей.

— Значит, ради этого он пожертвовал тысячу рублей на сирот?

— Наверное. И еще вдвое больше он дал на иные благотворительные цели.

— А зачем он купил мой сервиз и серебро?

— Очевидно, чтобы выгодно перепродать. В Англии за такие вещи дорого платят.

— А зачем… он скупил папины векселя?

— Откуда ты знаешь, что он? Уж это ему вряд ли выгодно.

— Не знаю, ничего не знаю, — лихорадочно подхватила панна Изабелла, — но я все угадываю, все понимаю… Этот человек хочет сблизиться с нами…

— С отцом он уже познакомился, — вставила панна Флорентина.

— Да! Он хочет познакомиться со мною! — вскричала панна Изабелла в порыве гнева. — Я заметила это по…

Она постеснялась сказать: «по его взгляду».

— А не показалось ли тебе, Белла?

— Нет. То, что я испытываю, не ложное впечатление, а скорее ясновидение. Ты даже не подозреваешь, как давно знаю я этого человека, вернее — как давно он преследует меня. Теперь я вспоминаю, что уже в прошлом году не было ни одного спектакля, концерта или лекции, где я не встретила бы его, и только сейчас… Эта нелепая фигура начинает меня пугать.

Панна Флорентина даже подалась назад вместе со стулом.

— Ты допускаешь, что он мог осмелиться…

— Пленить мною! — смеясь, прервала панна Изабелла. — Что ж, я не вижу в этом ничего преступного. Я не грешу ни излишней наивностью, ни ложной скромностью и отлично знаю, что нравлюсь — боже мой! — даже слугам… Было

время, когда это меня сердило, как приставание попрошаек на улице, звонки нищих в квартиру или письма с просьбой о вспомоществовании. Ну, а теперь я только лучше поняла слова спасителя: «Кому много дано, с того много и спросится».

— К тому же, — продолжала она, пожав плечами, — мужчины так назойливы в своем обожании, что я уже не удивляюсь их ухаживанию и наглым взглядам, напротив, мне странно, когда бывает иначе. Если я встречаю в обществе человека, который не объясняется мне в любви, не молчит с мрачным видом, свидетельствующим о еще более сильных чувствах, или же не выказывает мне ледяного равнодушия, что является выражением наивысшей степени чувств, — мне становится не по себе, словно я забыла веер или платочек… Знаю я их — всех этих донжуанов, поэтов, философов, героев, все эти чуткие, бескорыстные, разбитые, мечтательные или сильные души… Знаю я весь этот маскарад и, поверь мне, умею им всласть позабавиться. Ха-ха-ха! Как все они смешны…

— Я не понимаю тебя, Белла, — пролепетала панна Флорентина, разводя руками.

— Не понимаешь? Значит, ты не женщина. Панна Флорентина ответила сначала протестующим, а затем неуверенным жестом.

— Послушай, — продолжала панна Изабелла. — Уж год, как мы лишились положения в свете. Не спорь, всем известно, что это так. Сейчас мы разорены…

— Ты преувеличиваешь…

— Ах, Флора, не убаюкивай меня ложью. Разве ты не слышала за обедом, что даже те несколько десятков рублей, которыми еще располагает отец, он выиграл в карты у…

Говоря это, панна Изабелла вся дрожала. Глаза ее сверкали, на щеках выступил румянец.

— И вот в такую минуту является этот… торгаш, скупает наши векселя, сервиз, обхаживает моего отца и тетку, иначе говоря — со всех сторон опутывает меня сетями, как охотник дичь. Это уже не томный воздыхатель, не искатель руки, которого можно отвергнуть, это… завоеватель!.. Он не тратит времени на вздохи, а втирается в милость к тетке, связывает по рукам и ногам отца, а меня хочет захватить силой либо принудить к добровольной сдаче… Понимаешь, что за утонченная низость!

Панна Флорентина ужаснулась.

— В таком случае, есть очень простой выход. Расскажи…

— Что рассказать? И кому? Не тетке ли, которая охотно поддержит этого господина, лишь бы заставить меня выйти замуж за предводителя? Или, может быть, рассказать об этом отцу, чтобы напугать его и ускорить катастрофу? Я сделаю только одно: помешаю отцу вступать в какие бы то ни было компании, хотя бы мне пришлось ползать у его ног, хотя бы пришлось… заклинать его памятью покойной моей матери…

Панна Флорентина с восхищением смотрела на нее.

— Право, Белла, — сказала она, — ты преувеличиваешь опасность. При твоей энергии и гениальной прозорливости…

— Ты не знаешь этих людей, а я видела их за работой. В их руках стальные рельсы гнутся, как прутья. Это страшные люди. Они умеют ради своих целей приводить в движение все земные силы, о которых мы и понятия не имеем. Они способны ломать, заманивать в ловушки, пресмыкаться, рисковать всем и даже терпеливо выжидать…

— Ты судишь по романам…

— Я сужу по внутреннему чувству, которое предупреждает, громко кричит, что человек этот затем ездил на войну, чтобы добиться меня… И не успел он вернуться, как я осаждена со всех сторон… Но пусть бережется! Он хочет меня купить? Хорошо, пусть попробует. Он убедится, что я дорого стою. Он хочет поймать меня в силки. Пусть расставляет их, а я ускользну, хотя бы в объятия предводителя… Боже мой! Я даже не догадывалась, как глубока пропасть, в которую мы падаем, пока не увидела ее дна. Из салонов Квиринала — в галантерейную лавку… Это даже не падение, а позор!

Она бросилась на козетку и, закрыв лицо руками, разрыдалась.

#### Глава седьмая. Голубка летит навстречу удаву

Сервиз и серебро семейства Ленцких были проданы, и ювелир выплатил пану Томашу деньги, удержав около полутораста рублей в качестве процента за комиссию и хранение. И все же графиня Иоанна не охладела к своей племяннице; напротив — энергия и самоотречение, проявленные панной Изабеллой при продаже фамильных ценностей, раскрыли новый родник родственных чувств в сердце старой дамы. Она не только уговорила молодую девушку принять в подарок прехорошенький костюм, не только ежедневно навещала ее или приглашала к себе, но сверх того (знак неслыханного благоволения!) предоставила ей свой экипаж на всю страстную среду.

— Прокатись, душенька, по городу, — говорила графиня, целуя племянницу,

— и закупи, что тебе нужно из мелочей. Только смотри, в костеле ты должна быть прелестна… так прелестна, как только одна ты и умеешь… уж постарайся.

Панна Изабелла ничего не ответила, но взгляд ее и румянец красноречивей слов говорили, что она всей душой готова исполнить желание тетки.

В страстную среду, ровно в одиннадцать часов утра, панна Изабелла уже сидела в открытой коляске рядом с неразлучной своей спутницей, панной Флорентиной. На улице веял весенний ветерок, разнося тот особый влажный аромат, который предшествует распусканию почек на деревьях и появлению подснежников; серые газоны слегка зазеленели; солнце пригревало так крепко, что дамы раскрыли зонтики.

— Какой чудесный день, — вздохнула панна Флорентина, глядя на небо, кое-где подернутое белыми облачками.

— Куда прикажете, барышня? — спросил лакей, захлопывая дверцу коляски.

— К магазину Вокульского, — с нервной поспешностью отвечала панна Изабелла.

Лакей вскочил на козлы, и пара сытых гнедых тронулась величавой рысью, фыркая и вскидывая головами.

— Зачем к Вокульскому, Белла? — с некоторым удивлением спросила панна Флорентина.

— Мне нужно купить парижские перчатки, несколько флаконов духов…

— Все это можно найти и в другом месте.

— Я хочу туда, — сухо прервала ее панна Изабелла.

В последние дни ее томило странное чувство, уже однажды ею испытанное. Когда-то за границей в зоологическом саду она увидела в клетке огромного тигра, он спал, прислонясь к решетке, так что часть головы и одно ухо высовывались наружу.

Увидев это, панна Изабелла ощутила непреодолимое желание схватить тигра за ухо. От запаха клетки ее мутило, могучие лапы зверя внушали ей невыразимый ужас, но в то же время она чуствовала, что непременно должна хотя бы прикоснуться к тигриному уху.

Это странное влечение показалось ей самой опасным и даже смешным. Она пересилила соблазн и двинулась дальше, однако через несколько минут вернулась. Опять отошла, осмотрела соседние клетки, стараясь думать о чем-нибудь другом. Напрасно. Панна Изабелла вернулась, и, хотя тигр уже не спал и, урча, облизывал свои страшные лапы, она подбежала к клетке, просунула руку и — вся бледная, дрожащая — дотронулась до его уха.

Минуту спустя она устыдилась своего безрассудства, но вместе с тем испытала острое удовлетворение, знакомое людям, которые в важном деле подчинились голосу инстинкта.

Сегодня в ней пробудилось сходное влечение. Она презирала Вокульского, сердце в ней замирало при мысли, что этот человек мог заплатить дороже за ее сервиз, но в то же время чувствовала непреодолимое желание войти в магазин, взглянуть ему в глаза и заплатить за несколько вещиц именно теми деньгами, которые ей достались от него.

При мысли о встрече с ним ее охватывал страх, но темный инстинкт толкал вперед.

На Краковском Предместье она еще издали заметила вывеску: «Я.Минцель и С.Вокульский», а рядом — новый, еще не совсем отделанный магазин с пятью зеркальными витринами. Видно было несколько рабочих: одни изнутри

протирали оконные стекла, другие красили и покрывали позолотой двери и карнизы, остальные прилаживали к витринам внушительные медные поручни.

— Чей это магазин строится? — спросила она у панны Флорентины.

— Вероятно, Вокульского; я слышала, что он перебирается в более просторное помещение.

«Для меня этот магазин!» — подумала панна Изабелла, комкая перчатки.

Экипаж остановился, лакей соскочил с козел и помог дамам сойти. Однако, когда он с шумом распахнул двери в магазин Вокульского, панну Изабеллу вдруг охватила такая слабость, что у нее ноги подкосились. Одно мгновение она даже хотела вернуться и спастись бегством, но тут же овладела собою и вошла с высоко поднятой головой.

Посреди магазина уже стоял Жецкий и, потирая руки, отвешивал ей низкие поклоны. В глубине Лисецкий, поглаживая свою холеную бородку округлым, исполненным важности жестом, показывал бронзовые канделябры какой-то даме, сидевшей на стуле. Тщедушный Клейн выбирал тросточку молодому человеку, который при виде панны Изабеллы проворно вооружился пенсне, а благоухающий гелиотропом Мрачевский прожигал взглядом и ранил остриями усиков двух румяных барышень, которые сопровождали пожилую даму и осматривали безделушки.

Направо от дверей, за конторкой, сидел Вокульский, согнувшись над кипой счетов.

При входе панны Изабеллы молодой человек, выбиравший тросточку, поправил воротничок, барышни переглянулись, Лисецкий оборвал на полуслове плавную фразу о стиле канделябра, сохранив, однако же, подобострастную позу, и даже дама, слушавшая его, грузно повернулась на стуле. С минуту в магазине царила тишина, пока панна Изабелла не прервала ее своим певучим контральто:

— Пан Мрачевский сейчас в магазине?

— Пан Мрачевский! — позвал Жецкий.

Мрачевский уже стоял возле панны Изабеллы, зардевшись, как вишня, благоухая, как кадило, и склонив чело, как поникшая тростинка.

— Мы приехали к вам за перчатками.

— Номерочек пять с половиной, — подхватил Мрачевский, уже держа коробку, слегка дрожавшую в его руках под взглядом панны Изабеллы.

— А вот и нет, — рассмеялась она. — Пять и три четверти… Вы уже забыли.

— Сударыня, есть вещи, которые невозможно забыть. Однако, сударыня, если вы прикажете подать пять и три четверти — рад служить, в надежде, что в скором времени вы соблаговолите снова нас посетить. Ибо перчатки пять и три четверти, безусловно, будут спадать с пальчиков, — прибавил он с легким вздохом, расставляя перед нею вереницу коробок.

— Гений! — шепнул пан Игнаций, подмигивая Лисецкому, который презрительно шевелил губами.

Дама на стуле снова повернулась к канделябрам, барышни — к туалетному столику оливкового дерева, молодой человек в пенсне опять принялся выбирать тросточку — и дела в магазине пошли своим чередом. Только разгоряченный Мрачевский носился вверх и вниз по лесенке, выдвигал ящики, доставал все новые и новые коробки и убеждал панну Изабеллу по-польски и по-французски, что ей никак нельзя носить другие перчатки, кроме номера пять с половиной, употреблять другие духи, кроме настоящих Аткинсона, украшать свой столик чем-либо, кроме парижских безделушек. Вокульский наклонился над конторкой так низко, что на лбу его вздулись жилы, но продолжал подсчитывать в уме: «Двадцать девять и тридцать шесть — это шестьдесят пять, да пятнадцать — будет восемьдесят, да семьдесят три — будет… будет…»

Тут он прервал подсчет и взглянул исподлобья в сторону панны Изабеллы, которая разговаривала с Мрачевским.

Оба они стояли к нему в профиль: он подметил, что приказчик пожирает ее глазами, на что она демонстративно отвечает улыбкой и ласково-поощрительным взглядом.

«Двадцать девять и тридцать шесть — это шестьдесят пять, да пятнадцать…» — подсчитывал в уме Вокульский, но вдруг перо под его пальцами с треском сломалось. Не поднимая головы, он вынул из ящика новое перо, и в то же время каким-то непонятным образом, заслонив ряды цифр, всплыл перед ним вопрос: «И вот эту женщину я люблю? Вздор. Просто в течение года я страдал каким-то мозговым расстройством, а мне казалось, что я влюблен… двадцать девять и тридцать шесть… двадцать девять и тридцать шесть… Никогда бы не подумал, что она может мне быть так безразлична… Как она смотрит на этого осла! Ну, видно, эта особа готова кокетничать даже с приказчиками и, чего доброго, с лакеями и кучерами… Впервые я ощущаю на душе покой… Боже мой! А я так жаждал его…»

В магазин вошло еще несколько покупателей, и Мрачевский нехотя обратился к ним, медленно завязывая свертки.

Панна Изабелла приблизилась к Вокульскому и, указывая в его сторону зонтиком, внятно произнесла:

— Флора, заплати, пожалуйста, этому господину. Нам пора домой.

— Касса здесь, — откликнулся Жецкий, подбегая к панне Флорентине. Он взял у нее деньги, и оба отступили в глубь магазина.

Панна Изабелла медленно подошла вплотную к конторке, за которой сидел Вокульский. Она была очень бледна. Казалось, вид этого человека действует на нее магнетически.

— Кажется, вы — пан Вокульский? Вокульский встал и равнодушно ответил:

— К вашим услугам.

— Ведь это вы купили наши сервиз и серебро? — спросила она сдавленным голосом.

— Я, сударыня.

На мгновение панна Изабелла заколебалась. Но вот на щеках ее вновь выступил слабый румянец. Она продолжала:

— Вы, наверное, продадите эти вещи?

— С этой целью я их и купил.

Румянец на щеках панны Изабеллы разгорелся сильней.

— Будущий покупатель живет в Варшаве?

— Я продам эти вещи не здесь, а за границей. Там… мне заплатят дороже, — прибавил он, уловив в ее глазах вопрос.

— Вы надеетесь на хорошую прибыль?

— Ради прибыли я их и купил.

— И по этой же причине отец мой не знает, что они в ваших руках? — насмешливо спросила она. У Вокульского дрогнули губы.

— Я купил серебро и сервиз у ювелира и тайны из этого не делаю. Третьих лиц я вообще в свои дела не посвящаю, это не принято в коммерческих делах.

Несмотря на резкость его ответов, панна Изабелла вздохнула с облегчением. Даже глаза ее слегка потемнели и потеряли злой блеск.

— А если б мой отец передумал и пожелал выкупить эти вещи, за какую цену вы бы их сейчас уступили?

— За ту же, что купил… Разумеется, с начислением процентов — примерно… от шести до восьми годовых…

— И вы бы отказались от ожидаемой прибыли?.. Почему же? — поспешно перебила она.

— Потому, сударыня, что торговля зиждется не на ожидаемых прибылях, а на постоянном обороте наличного капитала.

— До свиданья, сударь, и… спасибо за разъяснения, — сказала панна Изабелла, заметив, что ее спутница уже расплатилась.

Вокульский поклонился и снова сел за свои книги.

Когда лакей вынес свертки и дамы сели в экипаж, панна Флорентина сказала тоном упрека:

— Ты разговаривала с этим человеком, Белла?

— Да, и не жалею. Он все налгал, но…

— Что значит это «но»? — с тревогой спросила панна Флорентина.

— Не спрашивай… не говори со мной, если не хочешь, чтобы я расплакалась на улице… И, помолчав, прибавила по-французски:

— Пожалуй, мне не следовало приезжать сюда, но… все равно.

— Я думаю, Белла, — сказала ее спутница, значительно поджимая губы, — ты должна была бы поговорить с отцом или с теткой.

— Ты хочешь сказать, — перебила ее панна Изабелла, — что я должна поговорить с предводителем или с бароном? Это всегда успеется: сейчас у меня еще духу не хватает…

Разговор оборвался. Дамы в молчании вернулись домой; панна Изабелла весь день была расстроенна.

После ухода панны Изабеллы Вокульский снова принялся за подсчеты и безошибочно подытожил два длинных столбика цифр. В середине третьего он остановился, снова удивляясь тому, как спокойно стало у него на душе. Откуда вдруг это равнодушие после целого года лихорадочного смятения и тоски, перемежаемой приступами безумия? Если бы какого-нибудь человека неожиданно перенесли из бального зала в лес или из душной тюрьмы на зеленый широкий луг, то он испытал бы те же самые ощущения и так же глубоко было бы его изумление.

«По-видимому, в течение года я страдал неким помрачением рассудка, — думал Вокульский. — Не было опасности или жертвы, на которую я не пошел бы ради этой женщины, но стоило мне ее увидеть — и она стала мне безразлична… А как она разговаривала со мною! Сколько презрения к жалкому купцу. „Заплати этому господину!“ Право, эти светские дамы великолепны! Любой бездельник, шулер, даже вор, будь только у него благородное имя, — подходящее для них общество, хоть бы физиономией он смахивал не на родного отца, а на мамашиного лакея. Но купец — это пария. Да что мне за дело до всего этого! Пусть себе гниют на здоровье!»

Он подсчитал еще столбик, даже не замечая, что делается в магазине.

«Откуда она знает, — мысленно продолжал он, — что я купил серебро и сервиз? И как она допытывалась, не переплатил ли я. С удовольствием подарил бы я им эти фамильные безделушки. В сущности, я должен ей быть благодарен до гроба, ибо, не влюбись я в нее, не нажить бы мне состояния и вечно бы корпеть за конторкой. А сейчас — может, и грустно мне будет без этого томления, отчаяния, надежд… Глупая жизнь! Мечемся по земле в погоне за призраком, который носим в своем собственном сердце, и, только когда он оттуда исчезнет, видим, что это было безумием… Ну, никогда я не думал, что возможно такое чудесное исцеление! Час назад я еще весь был пропитан отравой, а сейчас так спокоен — и в то же время как-то опустошен, словно вынули из меня душу и нутро и остались только кожа да платье. Чем же мне заняться теперь? Как жить? Поеду, пожалуй, в Париж на выставку, а потом в Альпы…»

Тут к нему на цыпочках подошел Жецкий и, наклонясь к его уху, заговорил:

— А Мрачевский-то как великолепен! А? Этот умеет обходиться с женщинами.

— Как смазливый, избалованный клиентами парикмахер, — ответил Вокульский, не отрывая взгляда от книги.

— Он стал таким по вине наших покупательниц, — отвечал старый приказчик, но, заметив, что мешает хозяину, отошел.

Вокульский снова погрузился в задумчивость. Потом как бы невзначай взглянул на Мрачевского и впервые обнаружил в физиономии молодого человека нечто выделяющее его среди прочих.

«Да, — подумал Вокульский, — он непростительно глуп и, видно, поэтому нравится женщинам».

Он готов был смеяться и над панной Изабеллой, бросавшей томные взгляды на молодого красавчика, и над собственным обольщением, которое сегодня так внезапно рассеялось.

Вдруг кто-то произнес имя панны Изабеллы. Вокульский вздрогнул и заметил, что в магазине нет ни одного покупателя.

— Ну, сударь, сегодня вы не скрывали своих амурных дел, — говорил Мрачевскому Клейн, грустно усмехаясь.

— Но как она на меня смотрела… просто — ах! — вздохнул Мрачевский, прижимая одну руку к груди, а другой подкручивая усики. — Не сомневаюсь, — продолжал он, — что через несколько дней получу от нее надушенную записочку. А там — первое свидание, потом — «ради вас я попираю правила, в коих воспитана», ну и: «Скажи, ты не презираешь меня?» Минута перед тем весьма упоительна, зато минуту спустя вам становится весьма не по себе…

— Полно врать, — перебил Лисецкий. — Знаем мы ваши победы: Матильды да Эльзы, которых вы прельщаете порцией жаркого и кружкой пива.

— Матильды — это на каждый день, а дамы — по праздникам. Но Иза будет самым большим праздником. Честное слово, я не встречал еще женщины, которая бы так чертовски действовала на меня… Ну, да что говорить — и она ко мне льнет…

Хлопнула дверь, и в магазин вошел пожилой господин с проседью; он спросил брелок к часам, но кричал и стучал тростью так, словно собирался скупить все японские вазы.

Вокульский слушал, не шелохнувшись, похвальбу Мрачевского. Он испытывал такое ощущение, словно на голову и на грудь ему навалилась какая-то тяжесть.

«В конце концов меня это совершенно не касается», — сказал он себе.

После господина с проседью в магазин вошла дама, спросившая зонтик, за нею — господин средних лет, желавший купить шляпу, затем молодой человек,

которому нужен был портсигар, и, наконец, три барышни, причем одна из них требовала перчатки Шольца — именно Шольца, потому что других она не носит.

Вокульский закрыл книгу, медленно поднялся с кресла, и взяв с конторки шляпу, направился к выходу. Ему трудно было дышать, голова трещала, раскалывалась от боли.

Пан Игнаций подбежал к нему.

— Ты уходишь… не заглянешь ли в новое помещение? — спросил он.

— Никуда я не пойду, я устал, — отвечал Вокульский, не глядя ему в глаза.

Когда дверь за хозяином закрылась, Лисецкий тронул Жецкого за плечо.

— Хозяин-то наш как будто начинает выдыхаться?

— Ну, — возразил пан Игнаций, — пустить в ход такое заведение, как московское, это не шуточки. Ясное дело!

— А зачем он его затеял?

— Затем, чтобы было из чего давать нам прибавку, — сухо ответил пан Игнаций.

— Так пусть открывает хоть сотню новых заведений, даже в Иркутске, лишь бы ежегодно давал нам прибавку, — заметил Лисецкий, — по этому поводу я с ним спорить не стану. Но, оставив этот вопрос в стороне, скажу все-таки, что он сам на себя не похож, особенно сегодня. Евреи, господа, евреи, — продолжал он, — как пронюхают они о его проектах, житья ему не дадут!

— Что евреи…

— Евреи, поверьте мне, евреи… Они не допустят, чтобы им поперек дороги стал какой-то Вокульский, не еврей и даже не выкрест.

— Вокульский вступит в сношения с шляхтой, — ответил Игнаций, — а капиталы и там найдутся.

— Как знать, что хуже: еврей или шляхтич, — бросил мимоходом Клейн и поднял брови с весьма горестным видом.

### лава восьмая. Размышления

Очутившись на улице, Вокульский постоял на тротуаре, словно раздумывая, куда пойти. Его никуда не тянуло. Но, случайно взглянув направо, на свой новый магазин, перед которым уже останавливались прохожие, он с омерзением отвернулся и пошел влево.

«Удивительно, как все это меня мало трогает», — мысленно отметил он.

Потом он подумал о тех людях, которым уже сейчас давал заработок, о тех десятках людей, которые с первого мая должны были начать у него работать, о тех сотнях людей, для которых он в течение года собирался создать новые источники заработка, и о тех тысячах людей, которые благодаря его дешевым

товарам смогут несколько улучшить свою убогую жизнь, — и почувствовал, что в эту минуту все эти люди вместе с их семьями совершенно безразличны ему.

«Магазин кому-нибудь уступлю, в компанию вступать не стану и уеду за границу», — думал он.

«И обманешь людей, которые надеются на тебя?»

«Обману! Что же, разве меня самого не обманула жизнь?»

Он шел вперед, но ему было как-то не по себе; наконец, поняв, что ему надоело все время уступать дорогу, он перешел на другую сторону улицы, где прохожих было меньше.

«Однако что за наглец этот Мрачевский, — думал он. — Как можно говорить подобные вещи в магазине? „Через несколько дней получу от нее записочку, а там — свидание…“ Что ж, поделом ей: пусть не кокетничает со всяким болваном… Впрочем, не все ли мне равно!»

В душе его была странная пустота, только на самом дне ее — капелька жгучей горечи. Ни сил, ни желаний — только эта капелька, такая крохотная, что и не разглядишь, но такая горькая, что, кажется, весь мир можно бы отравить ею.

«Временная апатия, переутомление, отсутствие впечатлений… Я слишком много занимаюсь делами», — говорил он себе.

Поглядев вокруг, он остановился. Предпраздничный день и хорошая погода выманили на улицу множество людей. Между памятником Коперника и колонной Зыгмунта двигалась вереница экипажей, и, колыхаясь, плыла пестрая толпа, похожая на стаю птиц, которые в эту минуту проносились над городом, улетая на север.

«Любопытная вещь, — подумал он. — Каждая птица там, в вышине, и каждый человек на земле воображает, что направляется туда, куда хочет, и только со стороны видно, что всех их несет вперед некая роковая сила — более мощная, чем их желания и намерения. Может быть, та же самая, которая разносит по ветру снопы искр, вылетающих ночью из трубы паровоза? На миг блеснут они и погаснут навеки — и это называется жизнью.

Людей проходят поколенья —
Так гонит ветер волны в море
И нет следа их мук и горя,
А их пиров удел — забвенье. [8]

Где я читал это?.. Все равно».

Непрерывный грохот и шум раздражали Вокульского, а пустота внутри ужасала. Ему хотелось чем-нибудь занять себя. Он вспомнил, что один из заграничных капиталистов спрашивал его мнение относительно бульваров на Висле. Мнение у него уже сложилось: Варшава всей своей массой тяготеет и пододвигается к Висле. Если вдоль берегов разбить бульвары, там возникнет красивейшая часть города: дома, магазины, аллеи…

«Надо посмотреть, как бы это выглядело», — подумал Вокульский и свернул на Каровую улицу.

По дороге возле арки он увидел босоногого грузчика, опоясанного веревкой, который пил воду прямо из фонтана; он забрызгался с головы до ног, но лицо его сияло удовольствием и глаза весело смеялись.

«Вот он и утолил жажду. А я, едва приблизившись к источнику, увидел, что он высох, и жажда моя исчезла. И все же мне завидуют, а об этом бедняке полагается сокрушаться. Что за чудовищная нелепость!»

На Каровой улице Вокульский замедлил шаг. Он казался себе пустым колосом, вымолоченным столичной жизнью и медленно плывущим куда-то вниз по этой канаве, зажатой меж древних стен.

«Что ж, бульвары, — думал он, — просуществуют какой-то срок, а там зарастут сорняками и придут в запустение, как эти стены. Люди, тяжким трудом воздвигавшие эти дома, тоже стремились к спокойствию, к здоровью, к богатству, а может быть, к забавам и наслаждениям. А где они сейчас? После них остались лишь потрескавшиеся стены, как груда окаменелых ракушек от древних эпох. Только и пользы от этой груды кирпича и тысячи других груд, что будущий геолог назовет их произведением человеческих рук, как мы сейчас называем коралловые рифы или меловые залежи творением моллюсков.

Что от трудов имеет человек?..

От тех работ, что он под солнцем начал?..

Весь путь его забвенью предназначен,

А жизнь его — одно движенье век.

Где же я читал это, где?.. Неважно».

Он остановился на полпути и стал смотреть на раскинувшийся у его ног квартал между Новым Зъяздом и Тамкой. Его поразило сходство этой части города с лестницей, в которой одну боковину образует улица Добрая, другую — линия от Гарбарской до Топели, а поперечные улички служат как бы перекладинами.

«Никуда не поднимешься по этой лежачей лестнице, — подумал он, — гиблое место, глухое».

И все горше становилось ему при мысли о том, что на этом клочке прибрежной земли, заваленном отбросами со всего города, не вырастет ничего, кроме одноэтажных домишек — коричневых, светло-желтых, темно-зеленых или оранжевых. Ничего, кроме белых и черных заборов вокруг пустырей, на которых лишь изредка торчит высокий каменный дом, словно сосна, уцелевшая от вырубленного леса, испуганная собственным одиночеством.

«Ничего, ничего…» — повторял он, бродя по тесным уличкам, мимо развалившихся, осевших домишек с замшелыми крышами, со ставнями, наглухо

закрытыми и днем и ночью, мимо заколоченных гвоздями дверей, покосившихся стен, разбитых окон, заклеенных бумагой или заткнутых тряпьем.

Он шел, заглядывая сквозь грязные стекла внутрь домов, и на каждом шагу видел шкафы без дверец, колченогие стулья, диваны с изодранными в клочья сиденьями, часы с одной стрелкой и разбитым циферблатом. Он шел и тихо усмехался при виде вечно безработных поденщиков, портных, перебивавшихся только починкой старой одежды, торговок, весь капитал которых заключался в корзинке с черствыми пряниками, при виде ободранных мужчин, хилых детей и на редкость неряшливых женщин.

«Вот она, страна в миниатюре, где все способствует тому, чтобы народ опускался и вырождался. Одни погибают от бедности, другие от разврата. Тот, кто трудится, — голодает, чтобы насытить тунеядца, филантропия растит наглых бездельников, а бедняки, которые не имеют возможности обзавестись хотя бы самым убогим скарбом, плодят вечно голодных детей, единственное достоинство коих — ранняя смерть.

Тут не поможет инициатива отдельной личности, ибо все соединилось, чтобы, опутав ее по рукам и ногам, обессилить в пустой и бессмысленной борьбе».

Потом ему вспомнилась в общих чертах его собственная жизнь. Ребенком он жаждал знаний, а его отдали в магазин при ресторане. Служа там, он надрывал свои силы, занимаясь по ночам, и все издевались над ним, начиная с поваренка и кончая подвыпившими в ресторане интеллигентами. А когда попал наконец в университет, его стали дразнить названиями блюд, которые он недавно подавал посетителям ресторана.

Он вздохнул с облегчением лишь в Сибири. Там мог он работать. Там завоевал дружбу и уважение Черских, Чекановских, Дыбовских.[9] Он вернулся на родину почти сложившимся ученым, но, когда попытался найти занятие в этой области, его высмеяли и заставили вернуться к торговле… «Такой прекрасный кусок хлеба в наши тяжелые времена!

Что ж, он и вернулся к торговле, и тогда все завопили, что он продался, что он живет милостями жены, проживает накопленное Минцелями добро.

Случилось так, что несколько лет спустя жена его умерла, оставив ему довольно значительное состояние. Похоронив ее, Вокульский несколько отстранился от торговли и снова занялся книгами. И, может быть, галантерейный купец превратился бы в настоящего ученого-физика, если бы, попав однажды в театр, он не увидел там панну Изабеллу.

Она сидела в ложе с отцом и панной Флорентиной. На ней было белое платье. Смотрела она не на сцену, которая привлекала внимание всего зала, а куда-то вдаль. Может быть, она думала об Аполлоне?..

Вокульский, не отрываясь, глядел на нее.

Им овладело странное чувство. Ему казалось, что он уже видел ее когда-то и хорошо знает. Он пристально всматривался в ее мечтательные глаза и вдруг почему-то вспомнил беспредельный покой сибирских равнин, где порой бывает так тихо, что, кажется, слышно, как души летят домой, на запад.[10] Лишь потом он понял, что никогда и нигде не видел ее, но что-то в ней было такое, словно именно ее он давно уже ждал.

«Ты ли это или не ты?» — мысленно спрашивал он, не в силах оторвать от нее глаз.

После этой встречи он забросил магазин и книги и только искал случая увидеть панну Изабеллу — в театре, в концерте или на публичной лекции. Он не называл своего чувства любовью, да и вообще сомневался, существует ли в человеческом языке слово, которым можно было бы его определить. Он только чуствовал, что панна Изабелла стала неким мистическим центром, к которому устремлялись все его помыслы, воспоминания и надежды, светочем, без которого его жизнь была лишена гармонии и даже смысла. Его работа в бакалейной лавке, университет, Сибирь, женитьба на вдове Минцеля и, наконец, случайное посещение театра, куда ему вовсе не хотелось идти, — все это теперь представлялось ему как бы тропинками, ступенями, по которым судьба вела его к встрече с панной Изабеллой.

С тех пор время делилось для него на две фазы. Видя панну Изабеллу, он был совершенно спокоен и казался самому себе как-то значительнее; не видя ее — думал только о ней и томился тоской. Иногда ему чудилось, что в чувствах его коренится какая-то ошибка, что панна Изабелла вовсе не средоточие его души, а самая заурядная и, возможно, даже весьма пошлая девица на выданье. И тогда в голову ему приходил странный план:

«Познакомлюсь с нею и спрошу напрямик: ты ли это, которую я ждал всю жизнь? Если нет, отойду без обид и упреков».

Но тут же спохватывался, что план этот — признак душевного расстройства. И, отложив выяснение вопроса: «Та ли она или не та», — решил во что бы то ни стало познакомиться с панной Изабеллой.

Однако оказалось, что среди знакомых нет человека, который мог бы ввести его в дом Ленцких. Хуже того — Ленцкий с дочерью были клиентами его магазина, а подобные взаимоотношения не только не облегчали, а, напротив, затрудняли знакомство. Постепенно он установил, что именно требовалось для знакомства с панной Изабеллой. Чтобы получить хотя бы возможность откровенно поговорить с нею, следовало:

Не быть купцом, а если уж быть, то очень богатым.

Быть по меньшей мере дворянином и иметь связи в аристократической среде.

Главное же — иметь много денег.

Доказать свое дворянское происхождение Вокульскому было нетрудно. В мае прошлого года он взялся за это дело, которое благодаря решению выехать в Болгарию ускорил настолько, что уже в декабре он получил нужные бумаги. С богатством обстояло значительно труднее, однако тут его выручил случай. В начале русско-турецкой войны через Варшаву проезжал богатый московский купец Сузин, приятель Вокульского еще по Сибири. Он навестил Вокульского и настойчиво уговаривал принять участие в военных поставках.

— Станислав Петрович, — говорил он, — собери свои денежки и, вот тебе честное слово, наживешь круглый миллиончик.

И он изложил ему свои планы.

Вокульский выслушал. Одни проекты он отклонил, другие принял, но все еще колебался. Ему было жаль оставлять город, где он, хоть изредка, мог видеть панну Изабеллу. Но когда в июне она уехала к тетке, а Сузин стал торопить его телеграммами, Вокульский наконец решился и забрал все доставшиеся ему в наследство наличные деньги — те неприкосновенные тридцать тысяч рублей, которые покойница держала в банке.

За несколько дней до отъезда он зашел к знакомому доктору Шуману, с которым, несмотря на взаимную симпатию, виделся редко. Доктор Шуман — еврей, старый холостяк, маленький, желтолицый, чернобородый человечек — слыл чудаком. Располагая состоянием, он лечил бесплатно, да и то лишь поскольку это было необходимо для его этнографических исследований, а друзьям своим он раз навсегда дал один совет:

— Принимай все лекарства — от минимальной дозы касторки до максимальной дозы стрихнина — авось что-нибудь да поможет даже от сапа.

Когда Вокульский позвонил, доктор был занят тем, что сортировал волосы разных особей славянской, германской и семитской расы и с помощью микроскопа измерял разницу в диаметре их поперечных разрезов.

— А, это ты… — сказал он Вокульскому, повернув к нему голову. — Хочешь, набей трубку, а уместишься — так ложись на диван.

Гость раскурил трубку и лег, как ему было велено; доктор продолжал заниматься своим делом. Некоторое время оба молчали; наконец Вокульский спросил:

— Скажи мне: известно ли в медицине такое состояние ума, когда человеку кажется, будто его прежде разрозненные знания и… чувства слились как бы в одно целое?

— Конечно. При постоянной умственной работе и хорошем питании в мозгу могут образоваться новые клетки или соединиться старые. Тогда в различных разделах мозга из отдельных областей знания создается единое целое.

— А что означает такое состояние ума, при котором человек становится равнодушным к смерти, зато начинает увлекаться мифами о вечной жизни?

— Равнодушие к смерти, — отвечал доктор, — характеризует зрелость ума, а влечение к вечной жизни — это предвестник приближающейся старости.

Оба снова замолчали. Гость курил, хозяин возился с микроскопом.

— Как ты думаешь, — спросил Вокульский, — можно ли… полюбить женщину идеальной любовью, не желая ее физически?

— Разумеется. Это одна из масок, которой нередко прикрывается инстинкт продолжения рода.

— Инстинкт — род — инстинкт продолжения чего-то, продолжение рода, — повторил Вокульский. — Три определения и четыре глупости.

— Сделай шестую, — отвечал доктор, не отрывая глаз от стеклышка, — и женись.

— Шестую… — сказал Вокульский, вставая с дивана. — А где же пятая?

— Пятую ты уже сделал: влюбился.

— Я? В мои годы…

— Сорок пять лет — пора последней любви, самой опасной, — отвечал доктор.

— Знатоки говорят, что опаснее всего первая любовь, — тихо сказал Вокульский.

— Неправда. После первой нас ждет сто других, а после сто первой — уже ничего. Женись — это единственное лекарство от твоей болезни.

— Почему же ты не женился?

— Да потому, что моя невеста умерла, — отвечал доктор, откидываясь на спинку кресла и глядя в потолок. — Ну, я сделал все, что мог: отравился хлороформом. Дело было в провинции. Но тут господь послал мне доброго коллегу, который взломал двери и спас меня. Самый подлый вид милосердия… Я заплатил за починку двери, а коллега переманил к себе моих пациентов, объявив меня сумасшедшим.

Он снова занялся микроскопом и волосами.

— А какая же отсюда мораль относительно последней любви? — спросил Вокульский.

— Мораль такая, что не следует мешать самоубийцам, — отвечал доктор.

Вокульский пролежал еще с четверть часа, потом встал, поставил трубку в угол и, наклонившись к доктору, поцеловал его.

— Будь здоров, Михал. Доктор вскочил.

— Что ты?

— Я уезжаю в Болгарию.

— Зачем?

— Займусь военными поставками. Мне необходимо нажить большое состояние…

— Или…

— Или я не вернусь совсем. Доктор посмотрел ему в глаза и крепко пожал руку.

— Sit tibi terra levis ***<Да будет земля тебе пухом (лат.).>*** , — спокойно сказал он. Затем проводил его до двери и снова взялся за работу.

Вокульский уже спускался по лестнице, как вдруг доктор выбежал из комнаты и закричал, перегнувшись через перила:

— Если ты все же вернешься, не забудь привезти мне волос: болгарских, турецких и так далее, обоих полов. Только запомни: в отдельных пакетиках, с пометками. Ну, да ты знаешь, как это делается…

…Вокульский очнулся. Все это было далеко позади. И доктора, и его квартиру он не видел уже десять месяцев. Перед ним грязная Радная улица, дальше — Броварная. Вверху, из-за обнаженных деревьев, виднеется желтое здание университета; внизу — одноэтажные домики, пустыри и заборы, а еще ниже — Висла. Возле него стоял какой-то человек, рыжий, обросший щетиной, в линялой куртке. Он снял шапку и поцеловал у Вокульского руку. Тот пристально посмотрел на него.

— Высоцкий? Что ты тут делаешь?

— Мы живем здесь, ваша милость, вон в том доме, — отвечал человек, показывая на низкую лачугу.

— Почему ты не приезжаешь за грузами?

— А на чем, ваша милость, если лошадь у меня пала еще под Новый год?

— Чем же ты занимаешься?

— Да так — вроде ничем. Перезимовали мы у брата, он стрелочником служит на Варшавско-Венской дороге. Только и ему теперь туго приходится, перевели его из Скерневиц под Ченстохов. В Скерневицах у него три морга земли, он и жил богачом, а теперь и сам бедствует, и земля без присмотра пропадает.

— Ну, а вы как?

— Баба моя белье стирает, да все таким, что сами еле перебиваются, а я — так вот… Совсем пропадаем, ваша милость… Ну, да не мы первые, не мы и последние. Еще покуда великий пост — крепишься, думаешь: сегодня попощусь за усопших, завтра — чтоб помнить, что господь наш Иисус Христос тоже ничего не ел, послезавтра — того ради, чтобы господь зло поборол. Ну, а после поста и не придумаешь, как ребятишкам растолковать, чего ради им есть не дают… Да что это и ваша милость словно в лице переменились? Видать, уж время такое пришло, что всем погибать, — вздохнул бедняк.

Вокульский задумался.

— За квартиру у вас заплачено?

— Да чего уж там, ваша милость, платить, и так выгонят нас.

— Почему же ты не пришел в магазин, к пану Жецкому?

— Не посмел я. Лошади нету, телегу я заложил у еврея, куртка на мне, как у нищего… Чего и приходить, людей без толку беспокоить!

Вокульский вынул кошелек.

— На вот, — сказал он, — десять рублей на праздник. Завтра днем приходи в магазин, получишь записку на Прагу. Там выберешь у барышника лошадь, а после праздника выезжай на работу. Заработаешь у меня рубля три в день, понемногу выплатишь долг и станешь на ноги.

Бедняк, почуствовав в руках деньги, задрожал. Он слушал Вокульского, не проронив ни слова, а слезы так и текли по его изможденному лицу.

— Может, вашей милости кто говорил, что у нас… неладно? — спросил он, помолчав. — Уже с месяц назад к нам кто-то присылал сестру милосердия. Она попрекнула меня бездельем и дала квиток на пуд угля — это, значит, в лавку на Желязной улице. А может, ваша милость, так это, сами по себе?

— Ступай домой, а завтра приходи в магазин.

— Иду, ваша милость, — отвечал Высоцкий, поклонившись — до земли.

Он пошел, но поминутно останавливался, по-видимому раздумывая о нежданном счастье.

В Вокульском шевельнулось нечто вроде предчувствия.

— Высоцкий! — окликнул он. — А как зовут твоего брата?

— Каспер, — подбегая, ответил бедняк.

— На какой он станции работает?

— Под Ченстоховой, ваша милость.

— Ступай домой. Может быть, Каспера переведут в Скерневицы.

Но тот не уходил, а подошел еще ближе.

— Позвольте спросить, ваша милость, — робко начал он, — ежели кто придерется: откуда, мол, у тебя столько денег?

— Скажи, что взял у меня в счет заработка.

— Понимаю, ваша милость… господь… пусть господь бог…

Но Вокульский уже не слушал его. Он шел к Висле и размышлял.

«Как счастливы те, кого только голод погружает в апатию и лишь холод заставляет страдать! И как легко их осчастливить! Даже при моих скромных средствах я мог бы спасти от нищеты несколько тысяч семейств. Невероятно, а между тем это так».

Вокульский вышел на берег Вислы и остановился, пораженный. Занимая пространство в несколько моргов, высился холм омерзительных зловонных

отбросов, чуть ли не шевелившихся под лучами солнца, а в сотне шагов от него находилось водохранилище, откуда подавалась вода во все кварталы Варшавы.

«Вот, — подумал он, — очаг всевозможной заразы. Сегодня выбросят нечистоты, а завтра сами их пьют, потом отправляются на Повонзки[11], и в другой части города заражают своих ближних, еще оставшихся в живых.

Бульвар бы сюда, а выше по течению водопровод бы проложить с чистой водой, и тысячи людей ежегодно были бы спасены от смерти, десятки тысяч — от болезней… Работы немного, а выгода неисчислимая; природа умеет вознаграждать за труд».

В канаве и в ямах на отвратительном холме он заметил жалкие подобия людей. Несколько пьяниц или воров, дремавших на солнце, две тряпичницы и влюбленная пара — женщина с лицом в прыщах и чахоточный мужчина с провалившимся носом. Казалось, то были не люди, а призраки гнездящихся тут болезней, которые облачились в подобранное на свалке тряпье. Все они сразу учуяли чужого; даже спавшие подняли головы и поглядывали на него, словно одичавшие псы.

Вокульский усмехнулся.

«Приди я сюда ночью, они бы наверняка вылечили меня от меланхолии. А завтра покоился бы я здесь под кучей мусора — что ж, могила, как всякая другая. Там, наверху, поднялась бы шумиха, начали бы преследовать и проклинать этих добрых людей, между тем как они, быть может, оказали бы мне великую милость.

Ведь чужды волненья житейских забот
Почившим в приютах могильных,
Их дух успокоился, сбросивши гнет
Тоски и желаний бессильных…

Однако я в самом деле становлюсь сентиментальным… По-видимому, нервы мои порядком расстроены. Бульварами не уничтожишь таких могикан; отсюда они переберутся на Прагу или еще дальше и по-прежнему будут заниматься своим ремеслом, наслаждаться любовью, как эта парочка, — и даже размножаться! Что за прекрасное потомство ты получишь, отчизна, — потомство, рожденное и выросшее на свалке, от покрытой струпьями матери и безносого отца!..

Мои дети были бы иными; от нее они унаследовали бы красоту, от меня — силу… Ну, да не будет их. В этой стране только недуг, нищета и преступление находят себе брачное ложе — и даже приюты для потомства.

Страшно подумать, что будет здесь через несколько поколений… А ведь есть простое лекарство: обязательный труд, справедливо оплачиваемый. Только он может укрепить лучшие особи, а нежизнеспособные истребить безболезненно, и… было бы у нас полноценное население, тогда как сейчас оно изможденo болезнями и голодом».

И вдруг, неизвестно почему, он подумал: «Ну, что плохого в том, если она немножко кокетничает? Кокетство у женщин то же, что окраска и аромат у цветка. Такая уж у них натура, — они хотят нравиться всем, даже Мрачевским.

Всем — кокетливые улыбки, а мне: «Заплати этому господину». Уж не думает ли она, что я обманул их при покупке серебра? Вот было бы забавно!»

На берегу, у самой воды, лежали сваленные доски. Вокульский почувствовал усталость; он присел и загляделся на реку. На водной глади отражались уже зазеленевшая Саская Кемпа и пражские домики с красными крышами; посреди реки неподвижно стояла баржа. Пожалуй, не более внушительным казался корабль, который Вокульский видел прошлым летом на Черном море; машина в нем испортилась, и он стоял так же неподвижно.

«Корабль летел как птица и вдруг замер: не хватило сил в моторе. Я подумал тогда: „Может, и я вот так остановлюсь на ходу?“ Ну, и остановился. Какие же примитивные пружины приводят в движение мир: немного угля — и оживает корабль, немного чувства — и оживает человек…»

В эту минуту над головой его пролетела в сторону города ранняя желтоватая бабочка.

«Любопытно, откуда она взялась? — подумал Вокульский. — В природе бывают капризы и, — прибавил он, — аналогии. Бабочки встречаются и среди людей, они трепещут прелестными крылышками, порхают над поверхностью жизни, питаются сладостями, без которых не могут существовать, — вот их труды. А ты, червяк, рой землю, перерабатывай ее в почву, годную для посева. Им — забавы, тебе — работа; им — вольный простор и свет, а ты скажи спасибо за единственное преимущество: за способность оставаться в живых, когда ненароком тебя растопчут.

Тебе ли мечтать о бабочке, глупец! И удивляться, что она тобой брезгует… Что же общего может быть между мною и ею?..

Положим, гусеница тоже похожа на червяка, пока не превратится в бабочку. Ах, так ты собираешься стать бабочкой, ты, галантерейный купец?.. Почему же нет? Постоянное совершенствование — это всеобщий закон, и сколько купеческих родов в Англии стали дворянскими!

В Англии!.. Там общество еще переживает созидательную эпоху, оно совершенствуется и поднимается со ступени на ступень. Да, там знать привлекает к себе новые силы. А у нас высший слой застыл, как вода на морозе, и не только превратился в обособленную касту, которая не соприкасается с остальным обществом и сторонится его с отвращением, но вдобавок еще собственной омертвелостью сковывает всякое движение, идущее снизу. Нечего обольщаться: она и я — действительно существа разной породы, как бабочка и червяк. И ради ее крылышек я покину свою нору, покину подобных мне червяков?.. Мои братья — те люди, что валяются там, на мусорной куче, и, быть может, потому они нищие сейчас и в будущем ждет их еще большая нищета, что

мне вздумалось тратить по тридцати тысяч в год, чтобы играть в бабочку. Глупый торговец, низкий человек!

Тридцать тысяч — это шестьдесят мелких мастерских или лавок, на доходы с которых могли бы кормиться целые семьи. И я решусь уничтожить их благополучие, высосать из них живую душу и выгнать на эту свалку?

Ну хорошо; а если б не она — разве имел бы я сейчас состояние? Как знать, что станется без нее со мною и с моими деньгами! Может быть, именно благодаря ей они обретут творческую силу; может быть, принесут пользу хоть десяти — двадцати семействам…»

Вокульский обернулся и вдруг заметил на земле свою тень. Он подумал, что вот тень эта ходит за ним, или волочится сбоку, или бежит впереди всегда и везде, как мысль об этой женщине — везде и всегда, наяву и во сне, — преследует его, вплетаясь во все его цели, планы и действия.

«Не могу я отказаться от нее!» — прошептал он, разводя руками, словно оправдываясь перед кем-то.

Он встал и пошел назад, в город.

Проходя по Обозной улице, он вспомнил возчика Высоцкого, у которого пала лошадь, и ему почудилось, что перед ним длинная вереница телег и павших лошадей, над ними горюет вереница возчиков, а возле каждого — кучка изнуренных детей и жена, стирающая на тех, кто сам еле перебивается.

«Лошадь?» — подумал Вокульский, и сердце его почему-то сжалось.

Однажды в марте, проходя по Иерусалимской Аллее, он увидел толпу, черный воз угля, стоявший поперек ворот, а в нескольких шагах от него — выпряженную лошадь.

— Что случилось?

— Лошадка сломала ногу, — весело отозвался прохожий с лиловым шарфиком на шее, засунувший руки в карманы.

Вокульский мельком глянул на обреченное животное. Тощая лошаденка с вытертыми боками стояла, привязанная к молоденькому деревцу, держа на весу заднюю ногу. Стояла смирно, смотрела на Вокульского скошенным глазом и от боли грызла заиндевелую веточку.

«Почему мне именно сегодня вспомнилась эта лошадь? — подумал Вокульский. — Почему сердце защемило от жалости?»

Задумавшись, он медленно поднимался по Обозной, чувствуя, что за эти несколько часов, проведенных у реки, в нем произошла какая-то перемена. Прежде — десять лет назад, в прошлом году, даже еще вчера, — проходя по улицам, он не замечал ничего особенного. Сновали люди, проносились пролетки, магазины радушно раскрывали объятия прохожим. Но сейчас у него появилось как бы новое, шестое чувство. Каждый человек в потрепанной одежде казался

ему существом, зовущим на помощь, и призыв его был громче оттого, что он молчит и только робко озирается, как та лошадь со сломанной ногой. Каждая бедная женщина казалась ему прачкой, которая трудом своих рук, изъеденных мылом, пытается удержать семью на краю нищеты и падения. Каждый изможденный ребенок казался ему обреченным на раннюю смерть или на то, чтобы дни и ночи копаться в мусорной свалке на улице Доброй.

И не одни люди его трогали. Ему казалось, будто он ощущал усталость изнуренных лошадей, тащивших тяжело груженные телеги, и боль их хребтов, в кровь стертых хомутами. Казалось ему, будто он ощущал и испуг пса, который лаял, потеряв на улице своего хозяина, и отчаяние тощей суки с обвисшими сосцами, которая напрасно перебегала от канавы к канаве в поисках пищи для себя и щенят. И в довершение всех мук он страдал за деревья с ободранной корой, за булыжники, похожие на выбитые зубы, за мокрые от сырости стены, за поломанную мебель и рваное платье.

Ему чудилось, что все вещи больны или ранены, что они жалуются: «Смотри, как мы страдаем…» — и один он слышит и понимает их жалобы. Эта необычная способность ощущать чужую боль родилась в нем только сегодня, час назад.

Странное дело! За ним уже прочно установилась репутация щедрого филантропа. Члены благотворительного общества, облаченные во фраки, приносили ему благодарность за пожертвование для вечно алчущей организации; старая графиня во всех гостиных рассказывала о пожертвовании, которое он сделал для ее приюта, служащие и приказчики восхваляли его за прибавки к жалованью. Но все это не доставляло Вокульскому ни малейшего удовольствия, да он и не придавал этому никакого значения. Он швырял тысячи в кассу общепризнанных филантропов, чтобы о нем заговорили в обществе, не задумываясь над тем, что станется с его деньгами.

И лишь сегодня, когда он десятью рублями спас от беды человека, зная, что никто не будет по этому поводу кричать о его благородстве, лишь сегодня он узнал, что значит милосердие, лишь сегодня перед его изумленным взором предстал новый, неведомый ему прежде мир — мир нужды, который взывает о помощи.

«Что ж, разве я раньше не видел нужды?» — подумал Вокульский.

И он вспомнил множество оборванных, изнуренных людей, искавших работу, тощих лошадей, голодных собак, деревья с ободранной корой и обломанными ветвями. На все это он смотрел раньше без всякого волнения. И лишь когда свое горе, своя большая боль избороздили и распахали его душу, в ней, орошенное кровью и невидимыми миру слезами, выросло необычайное растение: то было всеобъемлющее сострадание к людям, к животным, даже к предметам, которые принято называть неодушевленными.

«Доктор сказал бы, что у меня образовалась новая клетка в мозгу или же соединилось несколько старых», — подумал он.

«Хорошо, а что же дальше?»

До сих пор у него была только одна цель: познакомиться с панной Изабеллой. Сегодня появилась другая: спасти от нищеты Высоцкого. «Невелика трудность!»

«Перевести его брата в Скерневицы», — прибавил какой-то голос. «Пустяки».

Но за этими двумя людьми стеной встали другие, за ними еще и еще, потом выросла громадная толпа, борющаяся со всякого рода нуждой, и, наконец, у него перед глазами разлилось целое море всевозможных страданий человеческих, которые следовало по мере сил облегчать и, во всяком случае, не допускать, чтобы они разрастались.

— Призраки… игра воображения… расстроенные нервы, — пробормотал Вокульский.

Таков был один путь; другой сулил ему вполне реальную и определенную цель: панну Изабеллу.

«Я не Христос, чтобы жертвовать собой ради всего человечества».

«Тогда для начала забудь о Высоцких», — возразил внутренний голос.

«Ну, это пустяки! Как я ни взбудоражен сегодня, я все же понимаю, что нельзя быть смешным. Буду помогать, кому удастся, чем можно, но от личного счастья я не откажусь, об этом нечего и говорить…»

Тут он очутился перед дверьми своего магазина и решил войти.

В магазине была только одна покупательница, высокая дама неопределенного возраста, вся в черном. Перед нею лежала гора несессеров: деревянных, кожаных, плюшевых и металлических, простых и нарядных, самых дорогих и самых дешевых, и все приказчики хлопотали вокруг. Клейн подавал все новые и новые несессеры. Мрачевский расхваливал товар, а у Лисецкого в такт его словам двигались руки и бородка. Один Жецкий бросился навстречу хозяину.

— Прибыли товары из Парижа, — сказал он Вокульскому. — Я думаю завтра их забрать.

— Как хочешь.

— Из Москвы заказы на десять тысяч рублей к началу мая.

— Я так и знал.

— Из Радома на двести рублей, возчик просил приготовить товар на завтра.

Вокульский пожал плечами и, подумав, сказал:

— Надо раз навсегда покончить с этими мелкими торгашами. Прибыли на грош, а претензии непомерные.

— Порвать с нашими купцами? — удивился Жецкий.

— Порвать с евреями, — вполголоса ввернул Лисецкий. — Хозяин прав, что хочет избавиться от них. Иной раз просто совестно давать сдачу, так и несет от денег чесноком.

Вокульский не отвечал. Сев за конторку, он притворился, будто занят счетами, но в действительности ничего не делал, у него не было сил. Он вспомнил свои планы, недавние мечты осчастливить человечество и решил, что нервы его сильно расстроены.

«У меня разыгралось воображение, чувствительность какая-то напала, — думал он. — Это плохой знак. Я могу стать посмешищем, разориться…»

Продолжая размышлять, он машинально рассматривал необычную физиономию дамы, выбиравшей несессер. Она была скромно одета, волосы гладко зачесаны назад. Изжелта-бледное лицо выражало глубокую печаль, губы были злобно сжаты, а в опущенных глазах мелькали то гнев, то смирение.

Говорила она тихим, вкрадчивым голосом, но торговалась, как целая сотня скряг. Одно было слишком дорого, другое слишком дешево; тут плюш вылинял, там кожа, того и гляди, облезет, а здесь в углах проступает ржавчина. Лисецкий, рассердившись, отошел от нее, Клейн отдыхал, и только Мрачевский разговаривал с нею, как со знакомой.

В эту минуту двери магазина распахнулись, и на пороге появился еще более оригинальный субъект. Лисецкий потом говорил, что он похож на чахоточного, у которого уже в гробу отросли усы и бакенбарды. Вокульский заметил, что у субъекта нелепо приоткрытый рот, а за темными стеклами пенсне большие глаза, изобличавшие крайнюю степень рассеянности.

Покупатель вошел, продолжая разговор с кем-то оставшимся на улице, затем вдруг выбежал, чтобы попрощаться со своим спутником. Потом снова вошел и снова выбежал, задрав голову кверху, словно для того, чтобы прочесть вывеску; наконец вошел окончательно, однако двери за собою не закрыл. Вдруг он взглянул на даму — и темное пенсне слетело у него с носа.

— Ба… ба… ба… — воскликнул он.

Но дама резко отвернулась от него к несессерам и упала на стул.

К вновь прибывшему подбежал Мрачевский и, двусмысленно осклабясь, спросил:

— Что вам угодно, барон?

— Запонки, понимаете, обыкновенные запонки, золотые или стальные… Только, пожалуйста, чтобы они были в форме жокейской шапочки, ну и… непременно с хлыстом.

Мрачевский раскрыл ящик с запонками.

— Воды… — простонала дама умирающим голосом. Жецкий налил воды из графина и подал ей с сочувственным видом.

— Вам дурно, сударыня… Не позвать ли врача?..

— Мне уже лучше, — отвечала она. Барон разглядывал запонки, вызывающе повернувшись к даме спиной.

— А может быть… вам не кажется, что запонки в форме подковок лучше? — спросил он Мрачевского.

— Думаю, что вам, господин барон, пригодятся и те и другие. Спортсмены носят только эмблемы спорта, но любят разнообразие.

— Скажите, — вдруг обратилась дама к Клейну, — зачем подковы людям, у которых нет средств, чтобы держать лошадей?

— Так, пожалуйста, — продолжал барон, — подберите мне еще несколько безделушек в форме подковы…

— Может быть, пепельницу? — подсказал Мрачевский.

— Хорошо, пепельницу.

— Может быть, изящную чернильницу с седлом и жокейкой?

— Пожалуйста, изящную чернильницу с седлом и жокейкой.

— Скажите, — повышая голос, говорила дама, продолжая обращаться к Клейну, — как вам не стыдно выписывать такие дорогие безделушки, когда страна разорена? Как не стыдно покупать скаковых лошадей…

— Милейший, — не менее громко воскликнул барон, обращаясь к Мрачевскому, — заверните все это — запонки, пепельницу и чернильницу — и отошлите ко мне на дом. У вас прекрасный выбор товаров. Благодарствую… Adieu!

И он выбежал из магазина, однако еще раза два возвращался, рассматривая вывеску над дверьми.

После ухода оригинального барона в магазине воцарилось молчание. Жецкий поглядывал на дверь, Клейн на Жецкого, а Лисецкий на Мрачевского, который, стоя за спиной дамы, строил весьма двусмысленные гримасы.

Дама медленно встала со стула и подошла к конторке, за которой сидел Вокульский.

— Могу ли я узнать, — спросила она дрожащим голосом, — сколько вам должен господин, который только что вышел?

— Милостивая государыня, счеты между этим господином и мною, если бы они и существовали, не касались бы никого, кроме нас двоих, — отвечал Вокульский с поклоном.

— Сударь, — продолжала с раздражением дама, — я Кшешовская, а этот господин — мой муж. Его долги интересуют меня, поскольку он завладел моим состоянием, из-за чего я возбудила против него судебное дело…

— Прошу прощения, — прервал ее Вокульский, — но отношения между супругами меня не касаются.

— Ах, вот как… Ну конечно, купцам это выгоднее. Adieu!

И она вышла, хлопнув дверьми.

Через несколько минут после ее ухода в магазин вбежал барон. Он раза два выглянул на улицу, потом приблизился к Вокульскому:

— Прошу покорнейше извинить, — сказал он, стараясь удержать пенсне на носу, — однако в качестве постоянного вашего клиента я позволяю себе спросить совершенно доверительно: что сказала дама, которая только что вышла? Извините, пожалуйста, мою смелость, но совершенно доверительно…

— Она не сказала ничего, что надлежало бы повторять, — ответил Вокульский.

— Видите ли, эта дама — увы! — моя жена… Вы знаете, кто я… Барон Кшешовский… Весьма почтенная женщина, весьма просвещенная, но после смерти нашей дочки нервы ее несколько расстроились, и по временам… Вы понимаете… Так ничего?..

— Ничего…

Барон поклонился и уже в дверях встретился взглядом с Мрачевским, который ему подмигивал.

— Вот как… — произнес барон, пронзительно глядя на Вокульского, и выбежал на улицу.

Мрачевский остолбенел и покраснел до корней волос. Вокульский слегка побледнел, однако спокойно принялся за счета.

— Скажите, Мрачевский, что же это за оригиналы? — спросил Лисецкий.

— А это целая история! — отвечал Мрачевский, искоса поглядывая на хозяина. — Это барон Кшешовский, большой чудак, и его жена, довольно взбалмошная особа. Она даже доводится мне дальней родней, ну, да что ж, — вздохнул он, смотрясь в зеркало, — у меня денег нет, ну и пришлось идти по торговой части; у них еще деньги водятся, вот они и могут быть моими покупателями…

— Не работают, а деньги водятся, — сказал Клейн. — Каковы порядки на свете, а?

— Ну, ну… хоть меня-то оставьте в покое с вашими порядками, — возразил Мрачевский. — Так вот, барон и баронесса уже год воюют между собой. Он хочет развестись, на что она не соглашается; она хочет устранить его от управления ее имением, на что он не соглашается. Она не позволяет ему держать лошадей, особенно одну скаковую; а он не позволяет ей купить дом Ленцких, где пани Кшешовская проживает и где умерла ее дочь. Оригиналы!.. Наговаривают друг на друга, людям на смех…

Рассказывая все это беспечным тоном, он вертелся по магазину с видом барчука, который заглянул сюда на минутку и сейчас уйдет. Вокульский, сидевший за конторкой, менялся в лице; даже голос Мрачевского был ему невыносим.

«Родня Кшешовским… — думал он. — Получит любовное письмецо от панны Изабеллы… Ах, наглец…»

И, пересилив себя, он снова принялся за счета. В магазин приходили покупатели, выбирали товары, торговались, платили. Но у Вокульского перед глазами мелькали только их тени, — он весь погрузился в работу. И по мере того как росли столбцы цифр и в итоге получались все большие суммы, в его сердце накипал беспредметный гнев. За что?.. На кого?.. Не важно. Главное — кто-нибудь должен за все это поплатиться, первый, кто подвернется под руку.

Около семи магазин окончательно опустел, приказчики разговаривали между собой, Вокульский продолжал свои подсчеты. Вдруг он снова услышал несносный голос Мрачевского, который разглагольствовал с наглым высокомерием:

— Полно, Клейн, морочить мне голову! Все социалисты — жулики и прощелыги, они собираются делить чужое добро оттого, что у самих одна пара башмаков на двоих. А носовых платков они и вовсе не признают.

— Вы бы так не говорили, — грустно возразил Клейн, — если б прочитали хоть несколько брошюрок, даже самых маленьких.

— Чушь, — прервал Мрачевский, засовывая руки в карманы. — Стану я читать брошюры, которые призывают к уничтожению семьи, религии и собственности… Нет, сударь мой, таких дураков в Варшаве не сыщешь.

Вокульский закрыл книгу и спрятал ее в стол. В эту минуту в магазин вошли три дамы и спросили перчатки.

Они пробыли с четверть часа. Вокульский сидел в кресле и смотрел в окно; когда дамы вышли, он сказал очень спокойно:

— Пан Мрачевский!

— Что прикажете? — спросил молодой красавчик, подбегая к конторке танцующим шагом.

— С завтрашнего дня можете искать себе другое место, — кратко ответил Вокульский. Мрачевский опешил.

— Почему, пан Вокульский… Почему?..

— Потому что у меня вы уже не работаете.

— По какой же причине?.. Ведь я, кажется, ни в чем не провинился… И куда мне деваться, если вы так неожиданно увольняете меня?

— Рекомендацию вы получите хорошую, — ответил Вокульский. — Пан Жецкий выплатит вам жалованье за следующий квартал… Ну, даже за пять месяцев… А причина та, что мы с вами не сошлись характерами… Совсем не сошлись.

Игнаций, будь добр, рассчитайся с паном Мрачевским по первое октября. — Сказав это, Вокульский встал и вышел на улицу.

Увольнение Мрачевского произвело на приказчиков такое впечатление, что они утратили дар слова, а Жецкий велел закрыть магазин, хотя не было еще восьми. Он сразу бросился к Вокульскому, но не застал его дома. Пришел второй раз в одиннадцать часов вечера, но в окнах было темно, и пан Игнаций, подавленный, вернулся к себе.

На следующий день, в страстной четверг, Мрачевский не явился в магазин. Остальные приказчики приуныли и время от времени потихоньку совещались о чем-то.

Около часу пришел Вокульский. Но не успел он усесться за конторку, как двери распахнулись и с превеликим трудом нацепляя на нос пенсне, вбежал барон Кшешовский обычной своей развинченной походкой.

— Пан Вокульский! — чуть не с порога закричал рассеянный посетитель. — Я только что узнал… Позвольте представиться: барон Кшешовский… Я узнал, что бедняга Мрачевский по моей вине получил расчет. Но, пан Вокульский, ведь я не имел к вам вчера никаких претензий… Я ценю такт, проявленный вами, сударь, в деле, касающемся наших отношений с женой. Я убежден, что вы отвечали ей как подобает джентльмену.

— Господин барон, — возразил Вокульский, — я не просил у вас свидетельства о моей порядочности. Но оставим это — чем могу служить?

— Я пришел просить вас извинить беднягу Мрачевского, который даже…

— К пану Мрачевскому у меня нет никаких претензий, я не претендую даже на его возвращение.

Барон закусил губу. С минутку он молчал, как бы ошеломленный резким ответом, потом поклонился и, тихо сказав: «Извините…» — вышел из магазина.

Клейн и Лисецкий удалились за шкафы и после короткого совещания вернулись, время от времени обмениваясь грустными, но красноречивыми взглядами.

Около трех часов появилась пани Кшешовская. Казалось, лицо ее стало еще бледнее и желтее, а одежда еще чернее, чем вчера. Она робко осмотрелась по сторонам и, увидев Вокульского, подошла к конторке.

— Сударь, — тихо сказала она, — я сегодня узнала, что некий молодой человек, Мрачевский, по моей вине потерял место у вас в магазине. Его бедная мать…

— Пан Мрачевский у меня уже не работает и работать не будет, — ответил Вокульский с поклоном. — Итак, чем могу служить, сударыня?

Пани Кшешовская, по-видимому, приготовила более длинную речь. К несчастью, она взглянула Вокульскому в глаза и… со словом «извините» вышла из магазина.

Клейн и Лисецкий переглянулись еще красноречивее, чем прежде, и пожали плечами.

Только около пяти к Вокульскому подошел Жецкий. Он оперся руками о конторку и начал вполголоса:

— Стасек, мать Мрачевского — очень бедная женщина…

— Заплати ему до конца года, — ответил Вокульский.

— Я думаю… Я думаю, Стасек, что нельзя так наказывать человека за то, что он придерживается иных политических взглядов, чем мы…

— Политических? — повторил Вокульский таким тоном, что у пана Игнация мороз пробежал по коже.

— К тому же, скажу я тебе, — продолжал Жецкий, жаль такого приказчика. Красавец парень, женщины по нему с ума сходят.

— Красавец? — повторил Вокульский. — Так пусть поступает на содержание, раз он такой красавец.

Пан Игнаций ретировался. Лисецкий и Клейн на сей раз даже не взглянули друг на друга.

Через час в магазин явился некий пан Земба, которого Вокульский представил в качестве нового приказчика.

Зембе было лет под тридцать; лицом он был, пожалуй, не хуже Мрачевского, но выглядел несравненно солиднее и держался с достоинством. Еще до закрытия магазина он перезнакомился со всеми и даже завоевал симпатию своих сослуживцев. Жецкий открыл в нем горячего бонапартиста, Лисецкий должен был признать, что в сравнении с Зембой он сам — весьма умеренный антисемит, а Клейн пришел к заключению, что Земба должен быть по меньшей мере епископом от социализма. Словом, все были довольны, а Земба невозмутим.

### Глава девятая. Мостки, на которых встречаются люди разных миров

Утром в страстную пятницу Вокульский вспомнил, что сегодня и завтра старая графиня и панна Изабелла будут проводить пасхальный сбор пожертвований у гроба господня.

«Надо пойти туда и что-нибудь дать, — подумал он и вьшул из кассы пять золотых полуимпериалов. — Впрочем, — прибавил он, поразмыслив, — я уже послал туда ковры, поющих птичек, музыкальную шкатулку и даже фонтан… Пожалуй, этого хватит для спасения одной души. Не пойду».

Днем, однако же, он сказал себе, что, может быть, графиня рассчитывает на его присутствие и в таком случае неудобно не явиться, неудобно и дать всего пять полуимпериалов. Он достал из кассы еще пять и, сложив все вместе, завернул в тонкую бумажку.

«Ведь там, — говорил он себе, — будет панна Изабелла, а ей неудобно жертвовать всего десять полуимпериалов».

И он опять вынул из обертки столбик монет, прибавил еще десять золотых и снова задумался: идти или не идти?..

— Нет, — сказал он, — не стану я участвовать в этой ярмарочной благотворительности.

Он бросил монеты в кассу и в пятницу не пошел в костел.

Однако в страстную субботу дело представилось ему совсем с иной стороны.

«В уме ли я? — думал он. — Ведь если я не пойду в костел, где еще я увижу ее?.. Если не деньгами, то чем еще могу я привлечь к себе ее внимание? Я теряю рассудок…»

Но он все еще колебался, и только около двух часов, когда Жецкий велел закрыть магазин по случаю праздника, Вокульский взял из, кассы двадцать пять полуимпериалов и отправился в костел.

Однако он вошел туда не сразу, его словно что-то удерживало. Ему хотелось увидеть панну Изабеллу, но в то же время он робел и стеснялся своих полуимпериалов.

«Швырнуть груду золота… Как это эффектно в наш бумажный век и сколько в этом пустого тщеславия, свойственного выскочкам! Ну, да что поделаешь, если они ждут от нас именно денег? Можеть быть, этого даже мало…»

Он шагал по улице взад и вперед и не мог оторвать глаз от костела.

«Сейчас войду, — думал он. — Уже… еще минуточку… Ах, что со мной сделалось!» — прибавил он, будучи настолько истерзанным, что не мог решиться без колебаний даже на такой простой поступок.

Тут он вспомнил, что уже очень давно не был в костеле.

«Когда же это было?.. В день свадьбы — раз… на похоронах жены — два…»

Но тогда он не вполне сознавал, что происходит вокруг.

Поэтому сейчас он смотрел на костел как на нечто совершенно новое для него.

«К чему это огромное здание с башнями вместо труб, в котором никто не живет, только покоится прах давно умерших?.. На что ушло столько места и камня, для кого днем и ночью горит здесь свет, ради чего стекаются сюда толпы людей?.. На рынок ходят за провизией, в магазин за товарами, в театр для развлечения — а сюда зачем?..»

Он невольно сопоставлял маленькие фигурки верующих с огромными размерами храма, и ему пришла в голову странная мысль. Как некогда на земле действовали могучие силы, воздвигавшие на суше цепи гор, так встарь существовала в человечестве другая, беспредельная сила, воздвигавшая подобного рода сооружения. Глядя на них, можно подумать, что в недрах нашей планеты жили великаны, которые, пробиваясь вверх, приподнимали земную кору, и следы их труда сохранились в виде внушительных пещер.

«Куда они стремились? В иной и, по-видимому, высший мир. Если морские приливы доказывают, что луна — не иллюзия, а реальная планета, так почему бы этим странным зданиям не подтвердить реальности потустороннего мира?.. Разве с меньшей силой притягивают они к себе души человеческие, чем луна волны морские?»

Он вошел в костел, и его взорам представилось новое зрелище. Несколько нищих и нищенок просили подаяния, за которое господь бог вознаградит милосердных на том свете. Некоторые из молящихся целовали ноги распятого Христа, другие, пав на колени у самого входа, воздевали горе руки и очи, словно созерцая неземные видения. Костел был погружен в полумрак, которого не могло рассеять сияние десятков свечей в серебряных подсвечниках. Кое-где на плитах храма виднелись неясные тени людей, распростертых ниц либо низко склонившихся, словно для того, чтобы укрыть от посторонних взоров свою смиренную веру. Глядя на эти недвижные тела, можно было подумать, что их на время покинули души, улетев в некий лучший мир.

«Теперь я понимаю, — подумал Вокульский, — почему посещение костела содействует укреплению веры. Тут все устроено так, чтобы напоминать о бессмертии». От молящихся, погруженных во мрак, взоры его устремились к свету. Тогда он увидел в разных местах храма крытые коврами столы, на них подносы, полные бумажных денег, серебра и золота, а вокруг — дам, рассевшихся в удобных креслах, разодетых в шелк, бархат и перья и окруженных веселыми молодыми людьми. Наиболее благочестивые постукивали, призывая проходивших мимо сделать пожертвования, остальные оживленно болтали и развлекались, как на рауте.

Вокульскому показалось, что он узрел три мира: один (давно исчезнувший с лица земли) молился и во славу всевышнего воздвигал величественные здания. Другой, смиренный и нищий, тоже умел молиться, но создавал только лачуги. И третий — он возводил дворцы лишь для себя и позабыл слова молитв, а дома божии превратил в место свиданий — так беззаботные птицы вьют гнезда и распевают песни на могилах павших героев.

«А кто же я, равно чужой им всем?..»

«Может быть, ты — клеточка в железном решете, через которое я пропущу их всех, чтобы отделить зерна от плевел…» — отозвался какой-то голос.

Вокульский оглянулся. «Игра больного воображения». Тут он заметил в глубине костела, у четвертого стола, графиню Иоанну с панной Изабеллой. Обе они сидели у подноса с деньгами и держали в руках книжки, по-видимому молитвенники. За креслом графини стоял лакей в черной ливрее.

Вокульский направился к ним, задевая коленопреклоненных и обходя другие столы, где отчаянно стучали, стараясь привлечь его внимание. Приблизившись к подносу, он поклонился графине и положил свой сверток полуимпериалов.

«Боже, — подумал он, — какой у меня, должно быть, дурацкий вид с этими деньгами».

Графиня отложила книгу.

— Здравствуйте, пан Вокульский, — сказала она. — Знаете, я думала, что вы уже не придете, и, признаюсь, мне было даже немножко неприятно.

— Я говорила вам, тетушка, что он непременно явится, да еще с мешком золота, — произнесла по-английски панна Изабелла.

При мысли, что Вокульский, может быть, понимает по-английски, графиня вспыхнула, и на лбу у нее выступили капли пота.

— Прошу вас, сударь мой, — быстро продолжала она, — присядьте на минутку, а то наш уполномоченный отлучился куда-то… Разрешите, я положу ваши империалы наверху, в назидание и к стыду господ, которые предпочитают тратить деньги на шампанское…

— Да успокойтесь же тетушка, — снова проговорила панна Изабелла по-английски, — он, наверное, не понимает…

На этот раз и Вокульский покраснел.

— Вот, Белла, — торжественным тоном произнесла графиня, — пан Вокульский… Который так щедро одарил наших сироток…

— Я слышала, — отвечала панна Изабелла по-польски, в знак приветствия опуская веки.

— Вы, графиня, — пошутил Вокульский, — хотите лишить меня награды на том свете, хваля мои поступки, которые, впрочем, я мог совершить ради выгоды.

— Я догадывалась об этом, — шепнула панна Изабелла по-английски.

Графиня чуть не упала в обморок, чувствуя, что Вокульский мог угадать смысл сказанного, потому что для этого вовсе не нужно было владеть иностранным языком.

— Вы можете, сударь мой, — сказала она с лихорадочной поспешностью, — вы можете легко заслужить награду на том свете, хотя бы… прощая обиды…

— Я всегда их прощаю, — ответил он с некоторым недоумением.

— Разрешите заметить, что не всегда, — продолжала графиня. — Я старая женщина и считаю вас другом, пан Вокульский, — сказала она важно, — так уж уступите мне в одном деле…

— Приказывайте, графиня.

— Третьего дня вы рассчитали одного из ваших служащих, некоего Мрачевского…

— За что же? — вдруг отозвалась панна Изабелла.

— Не знаю, — отвечала графиня. — Кажется, из-за расхождения в политических взглядах или что-то в этом роде…

— Так у этого молодого человека есть взгляды?.. — воскликнула панна Изабелла. — Любопытно.

Она сказала это с такой иронией, что Вокульский почувствовал, как в сердце его смягчается озлобление против Мрачевского.

— Дело не в политических взглядах, графиня, — отвечал он, — а в бестактных замечаниях по адресу лиц, которые посещают наш магазин.

— Может быть, эти лица сами ведут себя бестактно, — вмешалась панна Изабелла.

— Им позволительно, они платят за это, — спокойно возразил Вокульский,

— а нам нет.

Яркий румянец выступил на щеках панны Изабеллы. Она взяла молитвенник и принялась читать.

— Но все-таки позвольте уговорить вас, пан Вокульский, — сказала графиня. — Я знаю мать этого юноши, и, поверьте, мне просто тяжело видеть, как она убивается…

Вокульский задумался.

— Хорошо, — сказал он. — Я приму его, но работать он будет в Москве.

— А его бедная мать? — напомнила графиня просительным тоном.

— Хорошо, я повышу ему жалованье… на двести… ну, на триста рублей.

В это время к столу подошло несколько детей, которым графиня начала раздавать образки. Вокульский встал и, чтобы не мешать графине в ее благочестивом занятии, подошел к панне Изабелле.

Она отложила молитвенник и, окинув Вокульского странным взглядом, спросила:

— Вы никогда не отступаете от своих решений?

— Нет, — ответил тот, но тут же опустил глаза.

— А если бы я попросила за этого молодого человека?

Вокульский в изумлении посмотрел на нее.

— В таком случае, я сказал бы, что пан Мрачевский лишился службы, потому что неподобающим образом отзывался об особах, которые соизволили говорить с ним несколько более благосклонным тоном… Если вы все же прикажете…

Теперь панна Изабелла опустила глаза, сильно смутившись.

— А… а… в конце концов мне все равно, где будет жить этот молодой человек. Пусть едет в Москву.

— Он туда и поедет, — ответил Вокульский. — Мое почтение, сударыня, — прибавил он, кланяясь. Графиня подала ему руку.

— Спасибо, пан Вокульский, за память, и прошу вас, приходите ко мне разговляться. Очень прошу, — прибавила она значительно.

Заметив вдруг какое-то движение в центре костела, она обратилась к лакею:

— Ступай-ка, Ксаверий, к госпоже председательше и попроси ее одолжить нам карету. Скажи, что у меня лошадь захромала.

— На когда прикажете просить, ваше сиятельство?

— Да так… часа через полтора… Мы тут дольше не просидим. Ведь правда, Белла?

Лакей направился к столу у выхода.

— Так до завтра, пан Вокульский, — сказала графиня. — Вы встретите у меня много знакомых. Будет несколько господ из благотворительного общества…

«Вот как!» — подумал Вокульский, прощаясь с графиней. В эту минуту он испытывал к ней такую благодарность, что готов был пожертвовать на ее приют половину своего состояния.

Панна Изабелла издали кивнула ему и опять остановила на нем взгляд, который показался ему необычным. А когда Вокульский исчез в полумраке костела, она сказала графине:

— Тетушка, вы кокетничаете с этим господином. Ой, тетя, это становится подозрительным…

— Твой отец прав, — возразила графиня, — этот человек может оказаться полезным. Впрочем, за границей такие знакомства вполне приняты в свете.

— А если это знакомство вскружит ему голову?

— В таком случае, он докажет, что у него слабая голова, — кратко ответила графиня, берясь за молитвенник.

Вокульский не ушел из костела, а, не доходя до двери, свернул в боковой придел. У самого гроба господня, напротив стола графини, в углу находилась пустая исповедальня. Вокульский вошел туда, притворил дверь и, невидимый никому, стал смотреть на панну Изабеллу.

Она держала молитвенник, то и дело поглядывая на вход. Лицо ее выражало усталость и скуку. Время от времени к столику подходили дети за образками; некоторым панна Изабелла вручала их сама, но с таким видом, словно хотела сказать: «Ах, когда же это кончится!..»

«И все это делается не из благочестия, не из любви к детям, а ради молвы, ради того, чтобы выйти замуж, — подумал Вокульский. — Ну, да и я немало делаю ради рекламы и ради женитьбы. Хорошо устроен свет! Вместо того, чтобы спросить напрямик: „Любишь ты меня или нет?“ либо: „Хочешь меня или нет?“ —

я выбрасываю сотни рублей, а она часами скучает, выставляя себя напоказ и притворяясь набожной.

А если б она ответила, что не любит меня? Во всех этих церемониях есть и хорошая сторона: они дают людям время и возможность узнать друг друга.

Однако плохо, когда не знаешь ни слова по-английски… А то бы я узнал сегодня, что она обо мне думает; я уверен, что она говорила тетке про меня. Надо будет научиться…

Или взять такую дурацкую вещь, как экипаж… Будь у меня экипаж, я мог бы сейчас отправить ее с теткой домой, и вот вам еще узелок между нами… Да, экипаж мне, во всяком случае, пригодится. Это лишняя тысяча в год, но что поделаешь? Я должен быть во всеоружии.

Экипаж… английский язык… более двухсот рублей на один пасхальный сбор!.. И так поступаю я, хотя все это мне противно. А собственно — на что же и тратить деньги, как не на то, чтобы добиваться счастья? Что мне до каких-то теорий об экономии, когда так болит сердце!»

Дальнейшее течение его мыслей прервал унылый, дребезжащий мотив. Это играла музыкальная шкатулка. Потом защебетали искусственные птицы, а когда они умолкли, послышалось журчание фонтана, шепот молитв и вздохи верующих.

В приделе, возле исповедальни, у дверей часовни с гробом господним виднелись коленопреклоненные фигуры. Некоторые на коленях подползали к подножию распятия, прикладывались к кресту и, достав из платочка мелкие деньги, клали свою лепту на поднос.

В глубине часовни, в потоке света, лежал среди цветов белый Христос. Вокульскому казалось, что в мерцающем сиянии свечей лицо его оживает и меняется, выражая то суровость, то благость и всепрощение.

Когда музыкальная шкатулка наигрывала «Лючию из Ламермура» или раздавались звон монет и французские восклицания, лик спасителя темнел. Но когда к гробу приближался бедняк и поверял распятию свои печали, Иисус приоткрывал мертвые уста и в шелесте фонтана посылал ему свое благословение и обеты…

«Блаженны кроткие… Блаженны нищие духом…»

К подносу подошла молодая девушка, сильно накрашенная. Она опустила серебряную монету, но не посмела приложиться к кресту. Молящиеся враждебно покосились на ее бархатную жакетку и яркую шляпку. Но когда Иисус шепнул: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», — она повалилась на пол и облобызала его ноги, как некогда Мария Магдалина.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды… Блаженны плачущие…»

С глубоким волнением всматривался Вокульский в погруженную во мрак толпу, которая с такой неистощимой верой уже восемнадцать столетий ожидает свершения господних заветов.

«Когда же это исполнится…» — подумал он.

«Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную».

Он машинально глянул на середину костела. За столом против него дремала графиня, а панна Изабелла зевала, за другим столом три незнакомые дамы заливались смехом, слушая болтовню какого-то элегантного молодого человека.

«Чужой мир!.. Чужой мир!.. — думал Вокульский. — Что за роковая сила влечет меня туда?»

В эту минуту возле самой исповедальни опустилась на колени молодая женщина, одетая с большой тщательностью; с нею была маленькая девочка.

Вокульский внимательно взглянул на даму и заметил, что она необыкновенно хороша собой. Особенно поразило его выражение ее лица, словно она явилась к гробу господню не с молитвой, а с вопросом и жалобой.

Она перекрестилась и, увидев поднос, достала сумочку с деньгами.

— Иди, Эленка, — вполголоса обратилась она к девочке, — положи это на поднос и поцелуй господа Иисуса.

— Куда, мамочка, поцеловать?

— В ручку и в ножку.

— И в губки?

— В губки нельзя.

— Ну, почему…

Девочка подбежала к подносу и склонилась над крестом.

— Вот видишь, мамуся, — закричала она, возвращаясь, — я поцеловала, а Иисус ничего не сказал.

— Эленка, веди себя хорошо, — сказала мать. — Лучше стань на колени и прочти молитву.

— Какую?

— Три раза «Отче наш» и три раза «Богородицу».

— Так много?.. Ведь я маленькая…

— Тогда прочти одну «Богородицу»… Только стань на колени… Смотри вон туда…

— Смотрю. «Богородице дево, радуйся…» Что это, мамочка, птички поют?

— Искусственные птички. Читай молитву!

— Какие это искусственные?

— Сначала прочти молитву.

— Да я не помню, где остановилась…

— Так читай вместе со мною: «Богородице дево, радуйся…»

— «…яко спаса родила, еси душ наших», — закончила девочка. — А из чего делаются искусственные птички?

— Эленка, веди себя смирно, а то я никогда не поцелую тебя, — тихо сказала огорченная мать. — Возьми книжку и смотри картинки, как мучили господа нашего Христа.

Девочка уселась с книжкой на ступеньках исповедальни и затихла.

«Что за милая девчурка! — подумал Вокульский. — Если бы у меня была такая дочка, я, кажется, вновь обрел бы душевное равновесие, которое теряю день ото дня. И мать — прелестная женщина. Какие волосы, профиль, глаза… Молит бога, чтобы воскресло их счастье. Она прекрасна и несчастлива. По-видимому, вдова.

Вот если бы я встретил ее год назад…

Ну есть ли порядок на этом свете?.. В двух шагах друг от друга находятся два несчастных существа: один ищет любви и семьи, другая, быть может, борется с бедностью и страдает от отсутствия заботливой опеки. Каждый из них мог бы найти в другом то, чего ищет, но им не суждено встретиться… Одна приходит к богу молить о милосердии, другой швыряет деньги ради светских связей. Кто знает, может быть, несколько сот рублей могли бы помочь этой женщине? Но ей не получить этих денег, в наше время бог не внемлет мольбам несчастных.

А если все же узнать, кто она?.. Может, мне удалось бы помочь ей. Почему бы не исполниться возвышенным заветам Христа? Хотя бы через посредство таких безбожников, как я, поскольку благочестивые заняты другими делами».

Вдруг Вокульского бросило в жар… К столику графини подошел элегантный молодой человек и положил что-то на поднос. При виде его панна Изабелла зарделась, и глаза ее приняли то особенное выражение, которое всегда казалось Вокульскому загадочным.

По приглашению графини молодой человек опустился в кресло, на котором только что сидел Вокульский, и завязался оживленный разговор. Вокульский не слышал, о чем они говорили, но чувствовал, как в мозгу его, словно каленым железом, выжигается вся эта картина: дорогой ковер, серебряный поднос с кучкой империалов наверху, два подсвечника, десять горящих свечей, графиня в глубоком трауре, молодой человек, не спускающий глаз с панны Изабеллы, и она — оживленная и сияющая. Ни один пустяк не ускользнул от его внимания, даже то, что в свете свечей у графини блестят щеки, у молодого человека кончик носа, а у панны Изабеллы глаза.

«Что, они любят друг друга? — думал он. — Так почему же им не пожениться?.. Должно быть, у него нет денег… Но, в таком случае, что означают ее взгляды? Точно так она смотрела сегодня на меня. Правда, барышня на выданье должна иметь по крайней мере десяток поклонников и прельщать их всех, чтобы… продаться тому, кто даст больше!»

К столу, за которым они сидели, подошел представитель благотворительного общества. Графиня поднялась, ее примеру последовали панна Изабелла и красивый юноша, и все трое весьма шумно направились к выходу. По дороге они останавливались у других столов, и все находившиеся там молодые люди восторженно приветствовали панну Изабеллу, а она дарила каждого совершенно одинаковым взглядом, тем самым, какой сводил с ума Вокульского. Наконец все затихло; графиня с панной Изабеллой покинули костел.

Вокульский пришел в себя и оглянулся. Прекрасной дамы с девочкой уже не было.

«Как жалко!..» — И он почувствовал, как сердце его легонько сжалось.

Зато возле распятия все еще стояла на коленях молодая девушка в бархатной жакетке и яркой шляпке. Когда она обратила глаза к освещенному гробу, на ее нарумяненных щеках тоже что-то блеснуло. Она еще раз приложилась к стопам Иисуса, тяжело поднялась и пошла к выходу.

«Блаженны плачущие…» Пусть же хоть для тебя сбудутся обеты Христа», — подумал Вокульский и последовал за нею.

Выйдя на паперть, он увидел, что девушка раздает милостыню нищим. И жестокая горечь овладела им при мысли, что из этих двух женщин, из которых одна хочет продать себя за крупное состояние, а другая уже продалась за кусок хлеба, — что из этих двух женщин, предстань они перед высшим судом, та, вторая, покрытая позором, быть может, окажется лучше и чище первой.

На улице он догнал девушку и спросил:

— Куда ты идешь?

На лице ее еще не высохли слезы. Она подняла на Вокульского глаза и вяло ответила:

— Могу пойти с вами.

— Да?.. Ну, так идем.

Было около пяти часов, еще не начинало смеркаться; несколько прохожих оглянулось на них.

«Нужно быть совершеннейшим болваном, чтобы делать что-либо подобное, — подумал Вокульский, направляясь к магазину. — Скандала я не боюсь, но, черт побери, что за планы лезут мне в голову? Апостольством вздумал заниматься… Верх идиотства! Впрочем, все равно: я только исполнитель чужой воли».

Он вошел в ворота рядом с магазином и свернул к Жецкому; девушка шла за ним. Пан Игнаций был дома; увидев странную пару, он в недоумении развел руками.

— Ты не можешь уйти на несколько минут? — спросил его Вокульский.

Пан Игнаций ничего не ответил. Он взял ключ от черного хода в магазин и вышел из комнаты.

— Вас двое? — тихо спросила девушка, вынимая шпильки из шляпы.

— Погоди, — прервал ее Вокульский. — Ты, кажется, только что была в костеле. Не так ли?

— Вы меня видели?

— Ты молилась и плакала. Нельзя ли узнать, чем были вызваны твои слезы?

Девушка удивилась и, пожав плечами, возразила:

— Вы что же, ксендз, что спрашиваете про это? — Затем, внимательно посмотрев на Вокульского, процедила: — Эх! Только людей с толку сбиваете… Тоже умник нашелся!

И собралась уходить, но Вокульский удержал ее.

— Погоди. Есть человек, который хотел бы тебе помочь. Ты не спеши и отвечай откровенно.

Она снова внимательно поглядела на него. Вдруг в глазах ее блеснула усмешка, щеки раскраснелись.

— Знаю, знаю, — вскричала она, — наверное, вы от того старого барина!.. Он уж сколько раз сулил взять меня к себе… А богатый он? Ну, еще бы… В карете разъезжает и в театре сидит в первом ряду.

— Послушайся меня, — прервал он, — и расскажи: почему ты плакала в костеле?

— А потому, видите ли… — начала девушка и рассказала такую грязную историю о каких-то дрязгах с хозяйкой, что, слушая ее, Вокульский побледнел.

— Вот зверь! — вырвалось у него.

— Я пошла к гробу господню, — продолжала девушка, — думала, легче станет на душе. Да где там! Как вспомнила про старуху, так даже слезы потекли со злости. Стала я бога молить, чтоб старуху болячка задавила либо чтобы мне вырваться от нее. И, видать, услыхал меня бог, коли барин этот хочет меня взять к себе.

Вокульский сидел, не двигаясь. Наконец спросил:

— Сколько тебе лет?

— Всем говорю шестнадцать, а на самом деле девятнадцать.

— Хочешь уйти оттуда?

— Ох, да хоть к черту на рога! Уж так они меня допекли… Да только…

— Что?

— А то, что ничего из этого не выйдет… Сегодня я уйду, а после праздника она все равно меня разыщет и так со мной разделается, что опять я неделю проваляюсь, как тогда, на святках.

— Не разыщет.

— Как же! За мною ведь долг…

— Большой?

— Ого!.. Рублей пятьдесят. И не знаю даже, с чего он взялся, уж, кажется, за все плачу втридорога, а долг растет… У нас всегда так… Да тут еще как прослышат, что барин-то при деньгах, так, чего доброго, скажут, что я их обворовала, и насчитают, сколько им вздумается.

Вокульский чувствовал, что мужество покидает его.

— Скажи мне: ты хочешь работать?

— А что меня заставят делать?

— Научишься шить.

— Ни к чему это! Была я в швейной мастерской. Да ведь на восемь рублей в месяц не проживешь. Да и столько-то я еще стою, чтобы не шить на других.

Вокульский поднял голову.

— Ты не хочешь уйти оттуда?

— Ой, хочу!

— Так решайся немедленно. Либо возьмешься за работу, потому что даром никто хлеба не ест…

— Вот и неправда, — прервала она. — Тот старик небось ничего не делает, а денежки у него есть. Он мне сколько раз говорил, что я заботы знать не буду…

— Ни к какому старику ты не пойдешь, а отправишься к сестрам святой Магдалины. Либо возвращайся, откуда пришла.

— Монашки меня не примут. Вперед надо долг заплатить и чтобы кто-нибудь поручился.

— Все будет устроено, если ты пойдешь туда.

— А как я к ним пойду?

— Я дам тебе письмо, ты его сейчас же отнесешь и останешься там. Согласна или нет?

— Согласна! Давайте письмо. Посмотрю, как мне там покажется.

Она села и стала осматриваться по сторонам.

Вокульский написал письмо, объяснил, куда ей нужно идти, и в заключение сказал:

— Выбирай сама. Будешь вести себя хорошо и прилежно работать, и тебе будет хорошо, а не воспользуешься случаем, так пеняй на себя. Можешь идти.

Девушка расхохоталась.

— Ну, уж и взбеленится старуха!.. Подложу я ей свинью!.. Ха-ха-ха! Только… вы меня за нос не водите?

— Ступай, — ответил Вокульский, указывая на дверь.

Она еще раз пристально посмотрела на него и вышла, пожав плечами.

Вскоре после ее ухода появился пан Игнаций.

— Что это за знакомство? — недовольно спросил он.

— Действительно, — задумчиво отвечал Вокульский. — Я еще не встречал подобного животного, хотя видел их немало.

— В одной только Варшаве их тысячи, — сказал Жецкий.

— Знаю. Борьба с ними ни к чему не приводит, потому что все время появляются новые. Отсюда вывод, что рано или поздно общество должно будет перестроиться от основания до самой верхушки. Иначе оно сгниет.

— Ага, — пробормотал Жецкий. — Я так и думал.

Вокульский простился с ним. Он чувствовал себя как горячечный больной, которого окатили холодной водой.

«Однако, я вижу, пока общество перестроится, — думал он, — сфера моей благотворительности сильно сузится. Моего состояния не хватит на облагораживание низменных инстинктов. Что касается меня, то я, пожалуй, отдаю предпочтение светским дамам, зевающим в костеле, перед выродками, если даже они молятся и плачут».

Образ панны Изабеллы предстал перед ним в еще более ярком ореоле. Кровь бросилась ему в голову, и он в душе клеймил себя за то, что мог сравнивать ее с подобным существом.

«Нет, лучше уж сорить деньгами на экипажи и лошадей, чем на такого рода… несчастные случаи».

В пасхальное воскресенье Вокульский в наемной карете подъехал к дому графини. У подъезда уже стояла длинная вереница экипажей самого различного ранга. Были там щегольские кабриолеты, в которых разъезжала золотая молодежь, и обыкновенные извозчичьи пролетки, нанятые на несколько часов отставными сановниками; старые кареты со старыми лошадьми и старой упряжью, сопровождаемые лакеями в потертых ливреях, и новенькие, прямо из Вены, коляски, а при них лакеи с цветами в петличках и кучера с кнутами, упертыми в бок наподобие маршальского жезла; не было недостатка и в

фантастических казачках, облаченных в шаровары такой непомерной ширины, словно именно там была заключена вся спесь их господ.

Вокульский мимоходом подметил, что среди этого сборища возниц челядь знатных господ выделялась важной степенностью, кучера банкиров пытались верховодить, что вызывало издевки и брань, извозчики же отличались самоуверенной бойкостью. Кучера наемных карет держались особняком, брезгливо сторонились остальных, а те, в свою очередь, брезговали ими.

Когда Вокульский вошел в вестибюль, седой швейцар с красной лентой низко поклонился ему и распахнул дверь в гардеробную, где джентльмен в черном фраке снял с него пальто. В тот же миг перед Вокульским очутился Юзеф, лакей графини, который хорошо его знал, потому что переносил из магазина в костел музыкальную шкатулку и поющих птиц.

— Их сиятельство просят пожаловать, — сказал Юзеф.

Вокульский достал из кармана пять рублей и сунул ему, чуствуя, что поступает, как парвеню.

«Ах, как я глуп, — думал он. — Нет, я не глуп. Я только выскочка, который в обществе должен платить каждому на каждом шагу. Ну, да спасение блудниц обходится дороже».

Он поднимался по мраморной лестнице, убранной цветами, Юзеф шел впереди. До первой площадки Вокульский не снимал шляпу, потом снял, так и не зная, принято это или не принято.

«В конце концов невелика беда, если бы я вошел к ним в шляпе».

Юзеф, несмотря на свой более чем солидный возраст, взбежал по ступенькам, как лань, и куда-то исчез, а Вокульский остался один, не зная, куда идти и к кому обратиться. Это длилось недолго, но в Вокульском уже начал закипать гнев.

«Каким барьером условностей они огородили себя! — подумал он. — Ах… если б я мог все это разрушить…»

С минуту ему казалось, что между ним и этим высокочтимым миром изысканных манер неизбежна жестокая борьба, в которой либо мир этот рухнет, либо сам он погибнет.

«Хорошо, пусть я погибну… Но я оставлю по себе память…»

«Оставишь по себе снисходительную жалость», — шепнул ему какой-то голос.

«Неужели я так ничтожен?»

«Нет, ты только прекраснодушен».

Он очнулся — перед ним стоял Томаш Ленцкий.

— Приветствую, пан Станислав, — сказал он с присущей ему величавостью.

— Приветствую тем более горячо, что ваше посещение совпало с весьма приятным семейным событием…

«Неужели обручение панны Изабеллы?» — подумал Вокульский, и у него потемнело в глазах.

— Представьте себе, по случаю вашего посещения… Вы слышите, пан Станислав… по случаю вашего визита я помирился с пани Иоанной, моей сестрой… Что это вы словно побледнели?.. Вы встретите здесь много знакомых. Не думайте, что аристократия так страшна…

Вокульский опомнился.

— Пан Ленцкий, — холодно возразил он, — мою палатку под Плевной посещали и более знатные господа. И они были со мной настолько любезны, что теперь меня трудно смутить присутствием даже более знатных особ, нежели те, каких я могу встретить в Варшаве.

— А… а… — пролепетал пан Томаш и поклонился ему.

Вокульский был поражен.

«Каков холуй! — мелькнуло у него в голове. — И я… я… собирался церемониться с такими людьми?..»

Ленцкий взял его под руку и торжественно ввел в первую гостиную, где находились одни мужчины.

— Поглядите, вот граф… — начал пан Томаш.

— Знаю, — ответил Вокульский и про себя прибавил: «Должен мне рублей триста…»

— Банкир… — объяснял далее пан Томаш.

Но не успел он назвать фамилию, как банкир поспешил к ним и, поздоровавшись с Вокульским, воскликнул:

— Побойтесь вы бога, пан Вокульский, из Парижа страшно теребят нас по поводу этих бульваров. Вы им уже ответили?

— Я хотел раньше поговорить с вами, — ответил Вокульский.

— Так встретимся где-нибудь. Когда вы бываете дома?

— В неопределенное время. Я предпочел бы зайти к вам.

— Так приходите в среду, вместе позавтракаем и договоримся наконец.

Они раскланялись. Пан Томаш нежно прижал к себе локоть Вокульского.

— Генерал… — начал он.

Генерал, увидев Вокульского, протянул ему руку, и они поздоровались, как старые знакомые.

Пан Томаш становился все сердечнее, с удивлением замечая, что галантерейный купец знаком с наиболее видными в городе лицами и не знаком лишь с теми, кто, имея титул или богатство, не утруждал себя какой-либо деятельностью.

У входа во вторую гостиную, где было несколько дам, их встретила графиня. Позади нее промелькнул Юзеф.

«Расставили пикеты, чтобы не скомпрометировать выскочку, — подумал Вокульский. — Очень мило с их стороны, но…»

— Как же я рада, пан Вокульский, — сказала графиня, забирая его у пана Томаша, — как я рада, что вы исполнили мою просьбу… Здесь как раз находится особа, которая жаждет познакомиться с вами.

В первой гостиной появление Вокульского вызвало сенсацию.

— Вы замечаете, генерал, — заговорил граф, — графиня стала принимать у себя галантерейных купцов. Этот Вокульский…

— Он такой же купец, как мы с вами, — возразил генерал.

— Скажите, князь, — спросил другой граф, — как сюда попал этот Вокульский?

— Его пригласила хозяйка, — отвечал князь.

— Я не имею предубеждения против купцов, — продолжал граф, — но этот Вокульский — человек, который во время войны занимался поставками и нажил на этом состояние…

— Да, да… — прервал его князь. — Обычно подобного рода состояния подозрительны, но за Вокульского я ручаюсь. Мне говорила о нем графиня, а я, в свою очередь, спрашивал офицеров, бывших на войне, в том числе и моего племянника. Так вот о Вокульском единодушно говорят, что поставки, в которых он принимал участие, всегда были добросовестны. Даже солдаты, когда получали хороший хлеб, говорили, что, наверное, его пекли из муки Вокульского. Скажу вам больше, граф, — продолжал князь, — Вокульский, снискавший своей честностью внимание высочайших особ, неоднократно получал весьма соблазнительные предложения. Не далее как в январе этого года одно предприятие предлагало ему двести тысяч рублей только за фирму, и он отказался…

Граф усмехнулся.

— Было бы у него больше на каких-нибудь двести тысяч…

— Зато он не был бы сегодня здесь, — возразил князь и, кивнув графу, отошел.

— Сумасшедший старик, — презрительно пробормотал граф вслед князю.

В третьей гостиной, куда ввела Вокульского графиня, помещались буфет и множество столиков, больших и маленьких, за которыми сидели по два, по три, а где и по четыре человека. Несколько слуг разносили кушанья и вина, а распоряжалась ими панна Изабелла, очевидно заменявшая хозяйку дома. На ней

было бледно-голубое платье и крупные жемчуга на шее. Она была так прекрасна, так величаво было каждое ее движение, что, взглянув на нее, Вокульский окаменел.

«Нечего даже мечтать о ней…» — с отчаянием подумал он.

В ту же минуту он заметил в оконной нише молодого человека, который вчера был в костеле; сейчас он одиноко сидел за маленьким столиком и не сводил глаз с панны Изабеллы.

«Конечно, он любит ее!» — подумал Вокульский, и на него точно повеяло могильным холодом.

«Я погиб!» — прибавил он мысленно.

Все это длилось несколько секунд.

— Видите старушку, которая сидит между епископом и генералом? — спросила графиня. — Это вдова председателя, Заславская, лучшая моя приятельница, она непременно хочет познакомиться с вами. Вы ее очень заинтересовали, — продолжала графиня с улыбкой, — детей у нее нет, только две хорошенькие внучки.

Смотрите же, сделайте удачный выбор… А пока присмотритесь к ней, и, когда эти господа отойдут, я вас представлю. А, князь!

— Рад вас видеть, — обратился князь к Вокульскому. — Вы позволите, кузина…

— Милости прошу, — отвечала графиня. — Вот вам, господа, свободный столик… Я вас на минуту оставлю…

Она отошла.

— Присядем, пан Вокульский, — сказал князь. — Отлично получилось, право; у меня к вам важное дело. Представьте себе, ваши проекты вызвали большой переполох среди наших мануфактурщиков… Кажется, я правильно сказал: мануфактурщики?.. Они утверждают, что вы хотите погубить нашу промышленность… Разве ваша конкуренция для них так опасна?

— Я пользуюсь значительным кредитом у московских фабрикантов, примерно в сумме до трех, даже четырех миллионов, — отвечал Вокульский. — Но я еще не знаю, как у нас пойдут их товары…

— Страшная… страшная цифра! — проговорил князь. — Вам не кажется, что она представляет действительную опасность для наших фабрик?

— Нет, что вы. Она только несколько снизит их колоссальные прибыли, что меня, впрочем, нисколько не трогает. Мое дело заботиться о собственных прибылях и о дешевых товарах для покупателей, а наши как раз и будут дешевле.

— Но взвесили ли вы этот вопрос с точки зрения своего гражданского долга? — спросил князь, сжимая его руку. — Нам уже так мало осталось терять…

— Мне кажется, что наш гражданский долг как раз и заключается в том, чтобы дать покупателям более дешевый товар и уничтожить монополию фабрикантов, которые связаны с нами лишь тем, что эксплуатируют наших потребителей и рабочих…

— Вы думаете?.. Это мне и в голову не приходило. Впрочем, меня интересуют не фабриканты, а наша родина, наша несчастная родина…

— Что можно вам предложить, господа? — вдруг произнесла возле них панна Изабелла.

Князь и Вокульский поднялись.

— Как ты прелестна сегодня, дорогая! — сказал князь, пожимая ей руку. — Мне, право, жаль, что я не мой собственный сын… Хотя, может, это и к лучшему. Видишь ли, если бы ты отвергла меня, — а это весьма вероятно, — я был бы очень несчастен… Ах, виноват, — спохватился он. — Разреши, дорогая, представить тебе пана Вокульского. Мужественный человек и мужественный гражданин… с тебя этого довольно, не правда ли?

— Я уже имела удовольствие… — тихо проговорила панна Изабелла, отвечая на поклон Вокульского.

Он взглянул ей в глаза и уловил такой испуг, такую грусть, что душу его снова охватило отчаяние.

«И зачем я пришел сюда?» — подумал он.

Он глянул в сторону окна и увидел молодого человека, который все еще одиноко сидел над нетронутою тарелкой, прикрыв глаза рукой.

«Ах, зачем я, несчастный, пришел сюда…» — думал Вокульский, чувствуя такую боль, словно сердце его сжимали клещи.

— Может быть, выпьете вина? — спросила панна Изабелла, с удивлением взглянув на него.

— Все, что прикажете, — машинально ответил он.

— Мы должны короче познакомиться, пан Вокульский, — говорил князь. — Вам следует сблизиться с нашим обществом, в котором, поверьте, есть умные головы и благородные сердца, но… не хватает инициативы…

— Я выскочка, у меня нет титула… — ответил Вокульский, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Напротив, сударь… титулов у вас хоть отбавляй: один — это ваша работа, другой — честность, третий — способности, четвертый — энергия… Именно эти качества необходимы нам для возрождения нашей родины. Дайте нам все это, и мы примем вас… как брата.

К ним подошла графиня.

— Простите, князь, — сказала она. — Пан Вокульский, прошу вас.

Она подала ему руку, и оба направились к председательше.

— Вот пан Станислав Вокульский, — обратилась графиня к старушке, одетой в темное платье с дорогими кружевами.

— Садись-ка сюда, — указала старушка на кресло возле себя. — Тебя зовут Станиславом, не так ли? А из каких ты Вокульских?

— Из тех… никому не известных, — отвечал он, — а менее всего, наверное, вам, сударыня.

— А что, отец твой в армии не служил?

— Отец нет, а дядя служил.

— А где он служил, не помнишь?.. И не Станиславом ли его звали?

— Да, Станиславом. Он был поручиком, а потом капитаном в седьмом линейном полку…

— В первой бригаде второй дивизии, — перебила председательша. — Видишь, дитя мое, вот уж ты мне и не совсем незнаком… Как он, жив ли?

— Нет, скончался пять лет назад.

У председательши задрожали руки. Она открыла маленький флакончик и понюхала его.

— Скончался, говоришь ты… Вечная ему память… Скончался… А не осталось ли по нем какой-нибудь вещицы?

— Золотой крест…

— Да, золотой крест… А больше ничего?

— Еще миниатюра, его портрет, писанный на слоновой кости в тысяча восемьсот двадцать восьмом году.

Председательша все чаще подносила к носу флакончик; руки ее тряслись все сильней.

— Миниатюра… — повторила она. — А ты знаешь ли, кто ее писал?.. И больше ничего не осталось после него?

— Была какая-то пачка бумаг и еще одна миниатюра…

— Что же с ними сталось? — допытывалась председательша с возрастающим волнением.

— Эти вещи дядя за несколько дней до смерти собственноручно опечатал и велел положить с ним в гроб.

— А… а… — простонала старушка и залилась горькими слезами.

В зале засуетились. Подбежала встревоженная панна Изабелла, за нею графиня, они взяли председательшу под руки и бережно увели в дальние комнаты. Все взгляды тотчас обратились к Вокульскому, гости стали перешептываться.

Заметив, что все смотрят на него и, по-видимому, о нем говорят, Вокульский смутился. Однако, чтобы показать присутствующим, что эта своеобразная популярность нимало его не трогает, он выпил один за другим бокал венгерского и бокал красного вина, которые стояли на столе, и лишь потом спохватился, что один из них принадлежал генералу, а другой — епископу.

«Ну, и хорош же я, — подумал он. — Они еще скажут, пожалуй, что я нарочно обидел старушку, чтобы выпить вино ее соседей…»

Он поднялся, собираясь уходить, и его бросило в жар при мысли, что придется пройти через две гостиные, сквозь строй взглядов и под аккомпанемент перешептываний. Вдруг перед ним очутился князь.

— Видно, вы беседовали с председательшей о днях, давно минувших, раз дело дошло до слез, — начал он. — Я угадал, правда? Но вернемся к нашему разговору: не думаете ли вы, что хорошо было бы у нас основать польскую фабрику дешевых тканей?

— Вряд ли это удастся, — покачал головой Вокульский. — Могут ли помышлять о больших фабриках люди, которые не решаются даже на мелкие усовершенствования в уже существующих предприятиях?

— А именно?

— Я говорю о мельницах, — продолжал Вокульский. — Через несколько лет нам придется ввозить и муку, потому что наши мукомолы не хотят заменить жернова валами.

— Первый раз слышу! Сядемте здесь, — говорил князь, увлекая его в глубокую нишу, — и расскажите мне, что это значит.

Тем временем в гостиных оживленно переговаривались.

— Какая-то загадочная фигура этот господин, — говорила по-французски дама в бриллиантах даме со страусовым пером. — Я впервые видела председательшу в слезах.

— Разумеется, любовная история, — отвечала дама с пером. — Во всяком случае, кто-то сыграл с графиней и с председательшей весьма злую шутку, введя сюда этого субъекта.

— Вы допускаете, что…

— Я в этом уверена, — возразила дама, пожимая плечами. — Вы только присмотритесь к нему. Воспитан, правда, прегадко, но каков собой, какая осанка! Нет, благородную кровь не скроешь даже под лохмотьями…

— Поразительно, — говорила дама в бриллиантах. — Да и состояние его, якобы нажитое в Болгарии…

— Разумеется. Этим отчасти можно объяснить, почему председательша, при ее богатстве, так мало тратит на себя.

— И князь очень к нему благоволит…

— Помилуйте, не слабо ли это сказано? Вы только посмотрите на них обоих…

— Мне кажется, сходства никакого…

— Разумеется. Но… эта гордость, уверенность в себе… Как непринужденно они беседуют…

За другим столиком на ту же тему рассуждали три господина.

— Ну, графиня совершила государственный переворот, — говорил брюнет с хохолком.

— И, надо сказать, удачно. Этот Вокульский неотесан, но в нем что-то есть, — ответил седой господин.

— Все-таки купец…

— Чем, собственно, купец хуже банкира?

— Галантерейный купец, торгует кошельками, — упорствовал брюнет.

— А нам случается торговать гербами… — вставил третий — худенький старичок с белыми бакенбардами.

— Он еще вздумает искать себе жену в нашем кругу…

— Тем лучше для девиц.

— Да я сам отдал бы за него дочь! Человек он, говорят, порядочный, состоятельный, приданого не промотает…

Мимо них торопливо прошла графиня.

— Пан Вокульский, — сказала она, подзывая его веером.

Вокульский поспешил к ней. Она подала ему руку, и они вдвоем вышли из гостиной. Князя, оставшегося в одиночестве, сразу окружили мужчины; то один, то другой просил познакомить его с Вокульским.

— Стоит, стоит, — отвечал довольный князь. — Подобного человека еще не было в нашей среде. Если б мы раньше сблизились с такими людьми, участь нашей несчастной родины была бы иной.

Панна Изабелла, как раз проходившая через гостиную, услышала это и побледнела. К ней подбежал вчерашний молодой человек.

— Вы устали? — спросил он.

— Немножко, — ответила она с грустной улыбкой. — Мне пришел в голову странный вопрос, — прибавила она, помолчав, — сумела ли бы и я бороться?..

— С сердцем? — спросил он. — Не стоит…

Панна Изабелла пожала плечами.

— Ах, до сердца ли тут! Я думаю о настоящей борьбе с сильным противником.

Она пожала ему руку и вышла из гостиной.

Вокульский, следуя за графиней, миновал длинный ряд комнат. В одной из них, вдали от гостей, слышались пение и звуки рояля. Войдя туда, Вокульский с удивлением увидел странную картину. Какой-то молодой человек играл на рояле, возле него стояли две очень миловидные дамы, одна подражала звукам скрипки, другая — кларнета, а под эту музыку танцевало несколько пар, среди которых был только один кавалер.

— Ох, уж я вам! Баловники! — пожурила их графиня.

Они ответили звонким смехом, не прерывая своей забавы.

Вокульский с хозяйкой миновали и эту комнату и вышли на лестницу.

— Видите, вот вам наша аристократия, — сказала графиня. — Вместо того чтобы сидеть в гостиной, забрались сюда и шалят.

«Как это умно?» — подумал Вокульский.

И ему показалось, что жизнь этих людей течет проще и веселей, чем у надутых мешан или у дворян, которые корчат из себя аристократов.

Наверху, в полутемной комнате, куда не долетал шум из парадных покоев, в кресле сидела председательша.

— Я оставлю вас здесь, — сказала графиня. — Наговоритесь вволю, а я должна вернуться.

— Спасибо тебе, Иоася, — отвечала председательша. — Садись же, — обратилась она к Вокульскому. А когда они остались вдвоем, она продолжала:

— Ты и не подозреваешь, сколько воспоминаний пробудил во мне.

Только сейчас Вокульский сообразил, что эту даму что-то связывало с его дядей. Им овладело тревожное удивление.

«Слава богу, — подумал он, — что я законный сын своих родителей».

— Так дядюшка твой скончался… — повторила старушка. — Где же его, беднягу, похоронили?

— В Заславе, где он жил, вернувшись из эмиграции. Председательша приложила платок к глазам.

— Вот как… Ах я неблагодарная… А бывал ли ты у него? Он тебе ничего не рассказывал? И никуда тебя не водил?.. Ведь там, на горе, развалины замка, правда? Что ж, сохранились они еще?

— Именно туда дядя ежедневно ходил на прогулку, и мы с ним иногда часами просиживали на большом камне…

— Неужели? Подумать только! Ох, помню я этот камень, мы, бывало, все сидели там вдвоем и глядели то на реку, то на тучки, которые проплывали мимо и

исчезали, словно поучая нас, что так же безвозвратно проходит счастье… Только сейчас я это поняла как следует. А колодец в замке — он все так же глубок?

— Очень глубокий. Только вход туда завален обломками и пробраться к нему трудно. Меня дядя провел к колодцу.

— А знаешь ли, — продолжала она, — прощаясь в последний раз, мы подумали с ним: не лучше ли броситься в колодец? Никто бы нас там не разыскал, и остались бы мы навеки вместе. Конечно — молодость, горячая кровь…

Она отерла глаза и продолжала:

— Очень… очень я любила его, да и он, думается, меня любил… если так обо всем помнил. Только он был бедный офицер, а я, к несчастью, была богата и вдобавок еще в близком родстве с двумя генералами. Вот нас и разлучили… А может быть, мы были чересчур добродетельны… Но об этом молчок! — прибавила она, и смеясь и плача. — Такие вещи женщинам позволительно говорить только на седьмом десятке.

Слезы мешали ей говорить. Она понюхала свой флакончик, передохнула и начала вновь:

— Много страшных злодейств на свете, но, может, самое страшное — задушить любовь. Сколько лет прошло с тех пор, чуть не полвека; все миновало — богатство, титулы, молодость, счастье… Только боль в сердце не прошла, осталась навсегда, и, поверишь ли, она так сильна, словно все произошло только вчера. Ах, если бы не вера в иной мир, где нас ждет награда за все страдания на земле, кто знает, не прокляли ли бы мы жизнь, не пренебрегли бы ее условностями… Да ты не поймешь меня — у вас, нынешних, головы крепче наших, только сердца холоднее.

Вокульский сидел, опустив глаза. Что-то душило его, грудь разрывалась от боли. Он впился ногтями в ладони и думал: «Только бы поскорее уйти отсюда, чтобы не слышать сетований, которые бередят наболевшие раны».

— А есть ли у бедняги какой-нибудь памятник на могиле? — спросила председательша, помолчав.

Вокульский покраснел. Ему никогда не приходило в голову, что мертвым, кроме могильного холмика, нужно еще что-нибудь.

— Нет, — сказала председательша, заметив его смущение. — Не тому я удивляюсь, дитя мое, что ты не подумал о надгробной плите, а себе простить не могу, что забыла про человека.

Она задумалась и вдруг, положив ему на плечо свою исхудалую и дрожащую руку, сказала понизив голос:

— У меня к тебе просьба… Обещай, что исполнишь.

— Непременно, — ответил Вокульский.

— Позволь мне поставить ему памятник. Только сама я поехать туда не могу, так уж ты меня выручи. Возьми с собой каменщика, пусть расколет камень — знаешь, тот, на котором мы сиживали на горе у замка, и пусть одну половину поставит на его могилу. Заплати сколько следует, а я тебе возвращу деньги вместе с вечной моей благодарностью. Сделаешь?

— Сделаю.

— Хорошо, спасибо тебе… Я думаю, ему приятнее будет покоиться под камнем, который был свидетелем наших речей и наших слез. Ох, тяжко вспомнить… А надпись, знаешь, какую сделай? Когда мы расставались, он оставил мне несколько строк из Мицкевича. Ты их читал, должно быть:

Чем дальше тень, она длинней и шире
На землю темный очерк свой бросает, —
Так образ мой: чем дальше в этом мире,
Тем все печальней память омрачает. [12]

Ох, как верно это! И тот колодец, что мог бы нас соединить, хотела бы я как-нибудь увековечить…

Вокульский вздрогнул, глядя куда-то вдаль широко раскрытыми глазами.

— Что с тобой? — спросила председательша.

— Ничего, — отвечал он, усмехнувшись. — Смерть заглянула мне в глаза.

— Не диво: она бродит вокруг меня, старухи, и тот, кто рядом, может ее увидеть. Так сделаешь, как я прошу?

— Сделаю.

— Приходи же ко мне после праздника и… навещай почаще. Может, и поскучаешь немножко, да авось и я, старуха, еще пригожусь тебе. А теперь ступай себе вниз, ступай…

Вокульский поцеловал у нее руку, а она несколько раз поцеловала его в голову. Потом нажала кнопку звонка. Явился слуга.

— Проводи господина в гостиную, — сказала она.

Вокульский был как в чаду. Не знал, куда его ведут, не сознавал, о чем они говорили с председательшей. Он только смутно ощущал, что попал в какой-то круговорот, его окружали громадные покои, старинные портреты, звуки тихих шагов и неуловимый аромат. Вокруг была драгоценная мебель, люди, исполненные необычайной, от роду ему не снившейся утонченности, и, заслоняя все это, всплывали перед ним воспоминания старой аристократки, овеянные вздохами и омытые слезами воспоминания, подобные поэме.

«О, что это за мир? Что за мир!..»

Однако чего-то ему недоставало. Он хотел еще раз взглянуть на панну Изабеллу.

«Наверное, в гостиной ее увижу…»

Лакей отворил двери. Опять все головы повернулись в его сторону, и разговоры затихли так внезапно, будто вспорхнула шумливая птичья стая. С минуту все молчали и смотрели на Вокульского, а он никого не видел и только лихорадочно искал глазами бледно-голубое платье.

«Здесь ее нет», — подумал он.

— Вы только поглядите, он нас не соизволит даже замечать, — посмеивался старичок с седыми бакенбардами.

«Должно быть, она в другой гостиной», — говорил себе Вокульский.

Он увидел графиню и подошел к ней.

— Что же, вы кончили совещаться? — спросила графиня. — Не правда ли, как мила наша председательша? В ее лице вы имеете большого друга, однако не большего, чем я. Сейчас я вас представлю… Пан Вокульский, — сказала она, обращаясь к даме в бриллиантах.

— А я прямо приступлю к делу, — промолвила дама, свысока поглядев на него. — Нашим сироткам нужно несколько кусков полотна…

Графиня слегка покраснела.

— Всего несколько? — переспросил Вокульский и посмотрел на ее бриллианты, за которые можно было купить более сотни кусков тончайшего полотна. — После праздников, — прибавил он, — я буду иметь честь прислать вам полотно, графиня…

Он поклонился, словно собираясь уходить.

— Как, вы уже покидаете нас? — спросила, немного растерявшись, графиня.

— Да он нахал! — заметила дама в бриллиантах своей приятельнице со страусовым пером.

— Разрешите попрощаться с вами, графиня, и поблагодарить за честь, которую вы изволили мне оказать… — говорил Вокульский, целуя руку хозяйке.

— Нет, только до свиданья, пан Вокульский, не правда ли?.. У нас будет много общих дел.

Во второй гостиной панны Изабеллы тоже не оказалось. Вокульский забеспокоился: «Но я непременно должен взглянуть на нее… Кто знает, когда еще нам удастся встретиться в таких условиях…»

— А, вот вы где! — окликнул его князь. — Я уже знаю, какой заговор вы составили с Ленцким. Общество торговли с Востоком — отличная мысль! Вы должны будете и меня принять… Нам нужно поближе познакомиться… — И, видя, что Вокульский молчит, он прибавил: — Я назойлив, не правда ли, пан Вокульский? Но вы все равно не отделаетесь: вам нужно сблизиться с нами, вам и другим людям вашей среды, — и мы пойдем вместе. Ваши фирмы — те же гербы,

наши гербы — те же фирмы, которые гарантируют добросовестность в ведении дела…

Они пожали друг другу руки, и Вокульский что-то ответил, — что именно, он не помнил. Его беспокойство усилилось; тщетно он разыскивал панну Изабеллу.

«Должно быть, она там, дальше», — подумал он и, волнуясь, направился в следующую гостиную.

По дороге его перехватил Ленцкий, проявляя необычайную сердечность.

— Вы уже уходите? Так до свидания, дорогой пан Вокульский! После праздников у меня первое заседание, и начнем с богом.

«Ее нет!» — терзался Вокульский, прощаясь с паном Томашем.

— А знаете, — шепотом продолжал Ленцкий, — ведь вы произвели фурор. Графиня себя не помнит от радости, князь только о вас и говорит… Да еще случай с председательшей… Ну… просто великолепно! И мечтать нельзя было о лучшем дебюте…

Вокульский уже стоял в дверях. Он еще раз обвел залу остекленевшим взглядом и вышел с отчаянием в сердце.

«Может быть, следует вернуться и проститься с нею? Ведь она заменяла хозяйку дома…» — колебался он, медленно спускаясь по лестнице.

Услышав на верхней площадке шелест платья, он вздрогнул.

«Она…»

Он поднял голову и увидел даму в бриллиантах.

Кто-то подал ему пальто, и он вышел на улицу, пошатываясь, как пьяный.

«Что мне в блестящем успехе, если ее нет?»

— Карету пана Вокульского! — закричал с крыльца швейцар, благоговейно сжимая в кулаке трехрублевку. Слезящиеся глаза и несколько охрипший голос свидетельствовали, что сей гражданин даже на своем ответственном посту отдал благочестивую дань первому дню пасхи.

— Карету пана Вокульского!.. Карету пана Вокульского!.. Вокульский, подъезжай! — повторяли толпившиеся у крыльца кучера.

По мостовой медленно двигались вереницы колясок и карет: к Бельведеру и от Бельведера. Один из седоков узнал Вокульского и поклонился.

— Коллега! — шепнул Вокульский и покраснел. Наконец подали его экипаж; он хотел было сесть, но раздумал.

— Поезжай-ка, брат, домой, — сказал он кучеру, давая ему на чай.

Экипаж поехал к центру города, а Вокульский смешался с толпой пешеходов и направился к Уяздовской площади. Он медленно шел, разглядывая проезжавших. Многих он знал лично. Вот кожевник, поставляющий ему свои изделия, едет

кататься со своей бочкообразной супругой и очень недурненькой дочкой, которую ему собирались сватать. Вот сын мясника, некогда поставлявшего колбасу в магазин Гопфера. Вот разбогатевший плотник с многочисленным семейством. Вдова спиртозаводчика, которая тоже владеет большим капиталом и тоже не прочь отдать свою руку Вокульскому. Вот шорник, два приказчика из мануфактурного магазина, вон там мужской портной, подрядчик, строитель, ювелир, владелец пекарни, а вот и его конкурент, галантерейный купец в обыкновенной пролетке.

Большинство из них не видело Вокульского; кое-кто, заметив его, кланялся; нашлись, однако, и такие, которые делали вид, будто не замечают его, и только язвительно усмехались. Среди всей этой толпы купцов, предпринимателей и ремесленников, которые по положению были равны ему, а иные даже богаче или известнее в Варшаве, только его пригласили сегодня к графине. Ни один из них, только он, Вокульский!..

«Мне невероятно везет, — думал он. — В полгода я нажил изрядное состояние, через несколько лет у меня уже будет миллион… Нет, даже раньше… Сегодня я уже получил доступ в аристократические гостиные, а через год?.. Господам, с которыми я только что встретился у графини как равный, мне семнадцать лет назад пришлось бы прислуживать в ресторане, если бы они, конечно, соизволили заглянуть туда. Из каморки при магазине в будуар графини — каков скачок!.. Не слишком ли я быстро продвигаюсь?» — прибавил он с тайной тревогой в сердце.

Он вышел на просторную Уяздовскую площадь. В южной части ее были устроены развлечения для простонародья. Дребезжащие звуки шарманок, подвывание труб и гул многотысячной толпы хлынули на Вокульского, словно волны. Перед ним как на ладони виднелся длинный ряд качелей, взлетавших то вправо, то влево, словно гигантские маятники. За ними второй ряд — быстро вращавшиеся карусели с разноцветным полосатым верхом. За ними третий — зеленые, желтые и красные балаганы, где у входа висели безобразно намалеванные картины, а на крышах то появлялись, то исчезали пестрые клоуны и огромные куклы. А в центре площади стояло два высоких столба, на которые как раз в эту минуту карабкались смельчаки, соблазненные пиджачной парой и дешевыми часами.

Между этими наспех сколоченными грязными постройками кишели толпы веселящихся людей.

Вокульскому вспомнились детские годы. Какой вкусной казалась ему, вечно голодному мальчишке, булка с сосиской! С какой уверенностью он оседлывал лошадку на каруселях, воображая себя великим полководцем! Какое неистовое упоение испытывал он, взлетая на качелях под самое небо! Ах, как сладко было думать, что и сегодня он свободен, и завтра тоже — впервые за целый год. А ни с чем не сравнимая уверенность, что сегодня он ляжет спать в десять, а завтра, если вздумается, встанет тоже в десять, пролежав двенадцать часов подряд в постели!

«И это был я, я? — недоуменно спрашивал он себя. — Неужели меня приводили в восторг вещи, которые теперь внушают лишь отвращение?.. Тысячи бедняков веселятся вокруг, в сравнении с ними я богач, но каков мой удел? Тоска и скука, скука и тоска… Сейчас, когда я мог бы иметь все, о чем мечтал когда-то, у меня нет ничего, ибо прежние желания угасли. А я так верил в свое необыкновенное счастье!..»

В это мгновение из толпы вырвался многоголосый крик. Вокульский очнулся и увидел на верхушке столба человеческую фигуру.

«Ага, победитель!» — сказал он про себя, едва устояв на ногах под натиском толпы; вокруг него люди проталкивались вперед, хлопали в ладоши, кричали «браво», показывали пальцами на героя, спрашивали, как его фамилия. Казалось, вот-вот завоевателя пиджачной пары на руках понесут по улицам — и вдруг всеобщее возбуждение улеглось. Люди замедлили шаг, останавливались, возгласы стали затихать, наконец умолкли совсем. Герой минуты спустился со столба и через несколько мгновений был забыт.

«Вот предостережение мне!» — подумал Вокульский, утирая пот со лба.

Площадь с веселящейся толпой вконец опротивела ему. Он повернул обратно.

По Аллее все еще тянулась вереница пролеток и карет. В одной из них мелькнуло бледно-голубое платье.

«Панна Изабелла?..»

У Вокульского заколотилось сердце.

«Нет, не она».

Вдали изящной походкой прошла красивая женщина.

«Она?.. Нет. Зачем ей тут быть?» — Так прошел он Аллею, Александровскую площадь, Новы Свят, все время высматривая кого-то и все время обманываясь.

«Так вот оно, мое счастье? — думал он. — Что доступно, того я не хочу, а цепляюсь за то, что не дается в руки. Неужели это и есть счастье? Кто знает, может быть, смерть не так уж страшна, как представляют себе люди».

И впервые показался ему отрадным крепкий, непробудный сон, которого не потревожат ни желания, ни надежды.

В то же самое время панна Изабелла, вернувшись от тетки домой, чуть не с порога закричала панне Флорентине:

— Вообрази… он был на приеме!

— Кто?

— Ну, этот… Вокульский…

— Почему же ему не быть, если его пригласили? — удивилась панна Флорентина.

— Да ведь это наглость! Это неслыханно! И вдобавок, представь, тетка от него без ума, князь чуть не вешается ему на шею, и все хором твердят, что это знаменитость… Что ж ты молчишь?

Панна Флорентина грустно усмехнулась.

— Это не ново. Герой сезона… Зимою был в этой роли пан Казимеж, а лет пятнадцать назад… даже я, — тихо прибавила она.

— Да ты рассуди: кто он такой? Купец… купец…

— Дорогая Белла, — отвечала панна Флорентина, — я помню, как в свете увлекались даже циркачами. Пройдет, как всякое увлечение.

— Боюсь я этого человека, — прошептала панна Изабелла.

### Глава десятая. Дневник старого приказчика

«Итак, у нас новый магазин: пять витрин, два склада, семь приказчиков и у входа швейцар. Есть у нас и экипаж, блестящий, как начищенный сапог, пара гнедых лошадей, кучер и лакей в ливрее. И все это свалилось на нас в начале мая, когда Англия, Австрия и даже обессилевшая Турция очертя голову вооружались.

— Милый Стась, — говорил я Вокульскому, — все купцы смеются над тем, что мы столько тратим в теперешние неспокойные времена.

— Милый Игнаций, — отвечал мне Вокульский, — а мы будем смеяться над всеми купцами, когда наступят более спокойные времена. Сейчас самая подходящая пора вершить дела.

— Да ведь европейская война, — говорю я. — на носу. А тогда не миновать нам банкротства.

— Пустяки. Брось ты думать про войну, — отвечает Стась. — Вся эта шумиха утихнет через несколько месяцев, а мы тем временем обгоним всех конкурентов.

Ну, и нет войны. В магазине у нас толчея, как на богомолье, на склады, как на мельницу, беспрерывно привозят и увозят товары, а деньги так и сыплются в кассу, что твоя мякина. Кто не знает Стася, скажет, пожалуй, что он гениальный купец. Но я-то знаю его, потому и спрашиваю себя все чаще: зачем ему все это? — Warum hast du denn das getan?

Правда, и ко мне не раз обращались с подобного рода вопросами. Неужто я в самом деле уже так стар, как покойница Grosmutter, и не могу понять ни духа времени, ни помыслов младшего поколения?.. Ну нет! Дело еще не так плохо…

Помню, когда Луи-Наполеон (позднее император Наполеон III) бежал из тюрьмы в 1846 году, вся Европа так и забурлила. Никто не знал, что будет. Но все рассудительные люди к чему-то готовились, а дядюшка Рачек (пан Рачек женился на моей тетке) все твердил свое:

— Говорил я, что Бонапарт еще вынырнет и заварит им кашу! Да вот беда: что-то я на ноги стал слабоват.

1846 и 1847 годы прошли в великой сумятице. То и дело появлялись какие-то газетки, а люди пропадали. Не раз я задумывался: не пора ли и мне пуститься в широкий мир? А когда меня одолевали сомнения и тревога, я шел после закрытия магазина к дяде Рачеку, рассказывал, что меня терзает, и просил, чтобы он посоветовал мне как отец.

— Знаешь что, — отвечал дядя, стукнув себя кулаком по большому колену,

— посоветую я тебе как отец: хочешь, говорю тебе, так иди, а не хочешь, говорю тебе… так оставайся.

Но в феврале 1848 года, когда Луи-Наполеон был уже в Париже, однажды во сне явился ко мне покойный отец, такой, каким я видел его в гробу. Сюртук застегнут наглухо до самого подбородка, в ухе — серьга, усы нафабрены (это Доманский ему подчернил, чтобы отец пред судом божиим не ударил лицом в грязь). Стал он во фронт у дверей моей комнатушки и сказал такие слова:

— Помни, сорванец, чему я учил тебя…

«Сон — морока, положись на бога», — думал я несколько дней. Но магазин мне уже опостылел. Потерял я склонность даже к Малгосе Пфейфер, — царство ей небесное, — и сделалось мне на Подвалье так тесно, что никакого терпения не стало. Пошел я опять посоветоваться с дядюшкой Рачеком.

Помню, он лежал в постели, укрытый тетушкиной периной, и пил какие-то горячие снадобья, чтобы пропотеть. А когда изложил я ему все дело, он сказал:

— Знаешь что, посоветую я тебе как отец. Хочешь — иди, не хочешь — оставайся. Только сам я, если б не подлые мои ноги, давно бы уже был за границей. Да и тетка твоя, скажу я тебе, — тут он понизил голос, — так меня зудит, так зудит, что уж легче бы мне слушать канонаду австрийских пушек, чем ее трескотню. И сколько поможет она мне своим притиранием, столько испортит своим ворчанием… А деньги-то у тебя есть? — прибавил он, помолчав.

— Наберется несколько сот злотых. Дядя Рачек велел мне запереть двери (тетки не было дома) и, сунув руку под подушку, вытащил ключ.

— Вот, — сказал он, — открой-ка тот сундук, обитый кожей. Там направо найдешь ящичек, а в нем кошелек. Подай мне его…

Я достал кошелек, тугой и тяжелый. Дядя Рачек взял его в руки и, вздыхая, отсчитал пятнадцать полуимпериалов.

— Возьми, — сказал он, — это на дорогу; решил ехать, так и поезжай… Дал бы я тебе больше, да ведь и мой час может пробить… Ну, и бабе надо что-нибудь оставить, чтобы в случае чего нашла себе другого мужа…

Мы со слезами простились. Дядюшка даже приподнялся на постели и, повернув лицо мое к свечке, прошептал:

— Дай-ка еще разок погляжу на тебя… Потому что с этого бала, скажу я тебе, не всем суждено вернуться… Да и сам уж я одной ногой на том свете стою, дурное расположение, скажу я тебе, может доконать человека не хуже пули.

Я вернулся в магазин и, хотя время было позднее, рассказал обо всем Яну Минцелю и поблагодарил его за службу и заботу. Мы уже с год с ним беседовали об этих предметах, он всегда сам подбивал меня идти колотить немцев, вот я и думал, что намерением своим доставлю ему превеликое удовольствие. Между тем Минцель как-то приуныл. На другой день он выплатил мне причитающиеся деньги, дал даже наградные и обещался хранить мою постель и сундучок на случай, если я вернусь. Однако обычная воинственность оставила его, и он даже ни разу не повторил излюбленного своего восклицания: «Ого-го! Задал бы я пруссакам, если б только не магазин…»

А когда вечером, часов около десяти, я, облачившись в полушубок и тяжелые сапоги, расцеловался с ним и взялся за дверную ручку, собираясь покинуть комнату, в которой столько лет мы прожили вместе, с Яном вдруг сделалось что-то непонятное. Он вскочил со стула, взмахнул руками и завопил:

— Свинья… куда ты уходишь?..

Потом бросился на мою постель и расплакался, как малое дитя.

Я выбежал из комнаты. В темных сенях, едва освещенных масляной плошкой, кто-то загородил мне дорогу. Я вздрогнул. Смотрю — Август Кац, одетый по-зимнему, словно в дальний путь.

— Ты что тут делаешь, Август? — спрашиваю я.

— Жду тебя.

Я подумал, что он хочет меня проводить; мы пошли на Гжибовскую площадь, не проронив по пути ни слова, потому что Кац был неразговорчив. Еврей-возчик, который подрядился меня везти, уже дожидался со своей телегой. Я поцеловал Каца, он меня. Я сажусь… он за мною…

— Едем вместе, — говорит. А когда мы уже были за Милосной, прибавил: — Жестко и тряско, никак не заснешь.

Совместное наше путешествие сверх ожидания затянулось до самого октября 1849 года.[13] Помнишь, Кац, незабвенный товарищ? Помнишь ли долгие переходы по жаре, когда мы не раз пили воду из луж? А переправу через болото, когда мы подмочили патроны? А ночевки в лесу или в поле, когда каждый из нас норовил спихнуть голову другого с солдатского ранца и потихоньку натягивал на себя шинель, обоим нам служившую одеялом? А помнишь мятую картошку с салом, которую мы вчетвером сварили тайком от своего взвода? Сколько раз потом едал я картошку, но никогда уж не казалась она мне такой вкусной. И поныне помню я аппетитный запах и горячий пар, поднимавшийся из котелка, помню, как ты, Кац, чтобы не терять даром времени, одновременно читал молитву, набивал рот картошкой и раскуривал у костра трубку.

Эх, Кац! Если на небе нет венгерской пехоты и мятой картошки, зря ты туда поспешил!

А помнишь, генеральное сражение, о котором мы всегда мечтали на привалах после партизанских перестрелок? Что до меня, я и в могиле его не забуду, а если господь бог меня когда-нибудь спросит: «Для чего жил ты на свете?» — «Для того, — отвечу я, — чтобы пережить один такой день». Только ты поймешь меня, Кац, потому что мы оба это видели. А тогда ведь казалось, что это так, пустяки…

За полтора дня до сражения собралась наша бригада под какой-то венгерской деревней, названия уж не помню. Чествовали нас на славу. Вина, правда, неважного, — хоть залейся, а свинина и красный перец до того нам приелись, что и в рот бы не брал этой пакости — разумеется, будь что-нибудь получше. А музыка, а девчонки!.. Цыгане — отличные музыканты, а венгерки — чистый порох. Вертелось их, чертовок, среди нас не больше двадцати, а так стало жарко, что наши зарубили троих мужиков, а мужики убили дубинами нашего гусара.

И бог весть, чем бы кончилось наше гулянье после такого славного начала, если бы в самый разгар кутерьмы не прикатил в штаб помещик на четверке взмыленных коней. Через несколько минут по войскам разнеслась весть, что поблизости находятся крупные силы австрийцев. Протрубили сбор, кутерьма улеглась, венгерки куда-то пропали, а по шеренгам пошел слух о генеральном сражении.

— Наконец-то! — сказал ты мне.

В ту же ночь мы продвинулись на милю вперед, на следующий день еще на милю. Каждые три-четыре часа, а потом даже каждый час прибывали гонцы. Судя по этому, корпусной штаб находился неподалеку и дело предстояло нешуточное.

В ту ночь мы спали в открытом поле и даже не составили ружья в козлы. Едва рассвело, двинулись вперед: эскадрон кавалерии с двумя легкими пушками, за ним наш батальон, а за нами вся бригада с артиллерией и повозками, прикрытая с флангов сильными патрулями. Гонцы прибывали уже каждые полчаса.

Когда взошло солнце, мы увидели на дороге первые следы неприятеля: клочья соломы, погашенные костры, постройки, разобранные на топливо. Потом стали все чаще попадаться беженцы: помещики с семьями, духовные лица разного вероисповедания, наконец — мужики и цыгане. У всех были испуганные лица; почти все что-то кричали по-венгерски, показывая руками назад.

Было около семи, когда с юго-западной стороны раздался пушечный выстрел. По шеренгам пронесся шепот:

— Ого! Начинается…

— Нет, это сигнал…

Снова дважды грянула пушка, потом еще и еще раз. Ехавший перед нами эскадрон остановился; две пушки с зарядными ящиками помчались галопом вперед, несколько всадников поскакали на ближайшие холмы. Мы придержали

шаг — и на минуту водворилась такая тишина, что стал слышен цокот серой кобылы догонявшего нас адъютанта. Лошадь пронеслась мимо, к гусарам, тяжело дыша и почти касаясь животом земли.

На этот раз отозвалось уже несколько пушек, поблизости и вдали; каждый выстрел можно было явственно различить.

— Нащупывают дистанцию, — сказал наш старый майор.

— Пушек пятнадцать у них есть, — буркнул Кац, который в подобные минуты становился разговорчивее, — а у нас двенадцать, то-то будет потеха…

Майор обернулся к нам с коня и усмехнулся в свой сивый ус. Я понял, что значила его усмешка, услышав целую гамму выстрелов, словно кто-то заиграл на органе.

— Пожалуй, у них больше двадцати, — сказал я Кацу.

— Ослы! — рассмеялся офицер и пришпорил коня.

Мы остановились на возвышенности, откуда видна была идущая за нами бригада. Над нею взвивалось рыжеватое облако пыли, тянувшееся вдоль дороги на две, а то и на три версты.

— Тут целые полчища! — воскликнул я. — И где только все это уместится?

Заиграли трубы, и наш батальон раскололся на четыре роты, выстроившиеся колоннами одна подле другой. Первые взводы выдвинулись вперед, мы остались позади. Я повернул голову и увидел, что от главного корпуса отделились еще два батальона; они сошли с дороги и полем бежали к нам: один — к правому флангу, другой — к левому. Не более как через четверть часа они уже поравнялись с нами, еще с четверть часа отдыхали — и, дружно шагая нога в ногу, мы все вместе двинулись вперед.

Между тем канонада усилилась настолько, что ясно различались залпы из двух-трех орудий одновременно. Хуже того — сквозь их гул слышался какой-то глухой рокот, похожий на непрерывный гром.

— Сколько орудий, камрад? — спросил я по-немецки идущего рядом унтер-офицера.

— Полагаю, не менее сотни, — отвечал он, покачивая головой. — И работают они на славу, — добавил он, — все орудия разом ответили.

Нас оттеснили с дороги, по которой через несколько минут проехали медленной рысью два гусарских эскадрона и четыре орудия с зарядными ящиками. Солдаты в моей шеренге один за другим стали креститься: «Во имя отца и сына…» Кое-кто хлебнул из манерки.

Влево от нас гул все усиливался: уже нельзя было различать отдельные выстрелы. Вдруг в передних рядах закричали:

— Пехота! Пехота!

Машинально я взял ружье наизготовку, думая, что показались австрийцы. Но перед нами по-прежнему не было ничего, кроме холма и редких кустов. Зато среди орудийного грохота, которого мы уже почти не замечали, послышался какой-то треск, похожий на частый стук дождя, только гораздо громче.

— К бою! — протяжно крикнули на передней линии.

Я почуствовал, как на миг сердце мое остановилось — не от страха, а словно в ответ на слово, которое с малолетства оказывало на меня особое действие.

В шеренгах, несмотря на марш, все оживились. Солдаты угощали друг друга вином, проверяли ружья, толковали о том, что не более как через полчаса мы пойдем в огонь, а главное — самым бесцеремонным образом насмехались над австрийцами, которым в ту пору не везло. Кто-то стал насвистывать, другой вполголоса запел; даже натянутая важность офицеров растаяла, сменившись товарищеским добродушием. Только команда «смирно!» водворила порядок.

Мы затихли и выровняли несколько расстроенные ряды. Небо было чисто, лишь кое-где белели на нем недвижные облачка; на кустах, мимо которых мы шли, не шелохнулся ни один листок; над полем, поросшим молодою травой, замолк испуганный жаворонок. Раздавались лишь тяжелый шаг батальона, учащенное дыхание людей да изредка лязг столкнувшихся ружей или зычный голос майора, который ехал впереди и что-то говорил офицерам. А там, налево, исходили в многоголосом реве орудия и барабанил дождь ружейных выстрелов. Кто, брат Кац, не слышал подобной бури под ясным небом, тот не знает настоящей музыки… Помнишь, как странно было тогда у нас на душе?.. Не страх, а так, вроде как бы и грусть и любопытство…

Батальоны с флангов все дальше отходили от нас; наконец правый исчез за холмами, а левый в нескольких саженях от нас нырнул в широкую балку, откуда лишь поблескивала лента его штыков. Куда-то пропали и гусары, и пушки, и тянувшийся сзади резерв; остался только наш батальон, который спускался с одного холма и поднимался на другой, еще выше. Лишь время от времени с передовой линии, с тыла или с флангов, прискачет всадник с запиской либо с устным приказом майору. Поистине чудо, что от стольких приказов у него не помутилось в башке.

Наконец, уже около девяти, мы поднялись на последнюю возвышенность, поросшую густым кустарником. Снова команда, и взводы, шедшие один за другим, стали строиться в ряд. А когда мы достигли вершины холма, нам сперва приказали согнуться и опустить штыки, а потом стать на колено.

Тогда (помнишь, Кац?) Кратохвиль, стоявший на коленях впереди нас, сунул голову меж двух сосенок и глухо вскрикнул:

— Гляньте-ка!

От подножья холма на юг, до самой линии горизонта, тянулась равнина, а на ней-как бы река белого дыма шириною в несколько сот шагов, а длиною — кто ее знает! — может, в милю.

— Стрелковая цепь, — сказал старый унтер-офицер.

По обеим сторонам этой странной реки виднелось несколько черных и более десятка белых облачков, стелившихся по земле.

— Это батареи, а вон там деревни горят, — объяснял унтер-офицер.

Хорошенько вглядевшись, можно было различить по обеим сторонам длинной полосы дыма прямоугольные пятна: слева темные, а справа белые. Они были похожи на огромных ежей, ощетинившихся блестящими иглами.

— Тут наши полки, а вон там австрийские, — говорил унтер. — Ну-ну! Лучше, чем в самом штабе, видно…

От длинной полосы дыма летел немолчный треск ружейных залпов, а в белых облачках бушевал орудийный огонь.

— Фью, и это называется бой… — сказал ты тогда, Кац. — А я-то, дурак, боялся…

— Погоди, погоди, — пробормотал унтер.

— Оружие к бою! — прокатилось по рядам.

Не вставая с колен, мы принялись вынимать и обкусывать патроны. Раздался лязг стальных шомполов и треск взводимых курков. Мы засыпали порох на полки — и опять воцарилась тишина.

Впереди, примерно в версте от нас, было два холма, а между ними дорога. Я заметил, что на желтой ее полосе появились какие-то белые точки, из которых вскоре образовалась белая линия, а затем белое пятно. Одновременно из балки, лежавшей шагах в трехстах влево от нас, вышли солдаты в синих мундирах и быстро образовали синюю колонну. В эту минуту вправо от нас грянул пушечный выстрел, и над белым австрийским отрядом появилось сизое облачко дыма. Прошло несколько минут — и опять загрохотало, и опять поднялось облачко над австрийцами. Полминуты — и опять выстрел и облачко…

— Herr Gott! ***<Господи! (нем.)>*** — вскричал старый унтер. — Наши-то как палят! Там или Бем[14], или сам черт командует!

С этой минуты орудийные залпы с нашей стороны следовали так часто, что земля содрогалась, но белое пятно на дороге все росло и росло. Одновременно на противоположном холме показался дымок, и в сторону нашей батареи с урчанием полетела граната. Еще дымок… еще… еще…

— Хитры, бестии! — буркнул унтер.

— Батальон! Вперед, марш! — во все горло рявкнул наш майор.

— Рота! Вперед, марш! Взвод! Вперед, марш!.. — на разные голоса повторяли офицеры.

Нас опять построили по-новому. Четыре средних взвода остались сзади, четыре пошли вперед, вправо и влево. Мы подтянули ранцы и взялись за ружья, как кому вздумалось.

— Ну, кубарем! — крикнул ты тогда, Кац.

В ту же минуту высоко над нами пролетела граната и с сильным треском разорвалась где-то позади.

Странная мысль промелькнула тогда у меня. Эти сражения — не просто ли трескучая комедия, которую войска устраивают на потеху народам, без всякого вреда для себя! Зрелище, развернувшееся у меня перед глазами, было великолепное, но отнюдь не страшное.

Мы спустились на равнину. Из нашей батареи прискакал гусар с донесением, что одна пушка повреждена. Одновременно слева от нас упала граната; она зарылась в землю, но не взорвалась.

— К нам подбираются, — сказал старый унтер.

Вторая граната разорвалась над нашими головами, и осколок упал под ноги Кратохвилю. Он побледнел, но засмеялся.

— Ого-го! — закричали в рядах.

Вдруг в сотне шагов левее от нас в одном из взводов наступило замешательство, а когда колонна продвинулась дальше, мы увидели на земле двух человек: один лежал ничком, прямой как струна, другой сидел, держась обеими руками за живот. Запахло пороховым дымом. Кац мне что-то сказал, но я не расслышал, в правом ухе у меня шумело, словно туда попала вода.

Унтер-офицер повернул вправо, мы за ним. Колонна разделилась на два длинных ряда. Впереди, неподалеку от нас, заклубился дым. Что-то протрубили, но я не разобрал сигнала, зато отчетливо расслышал тонкий свист над головой и возле левого уха. В нескольких шагах от меня что-то ударило в землю, грудь и лицо мне засыпало песком. Мой сосед выстрелил; два солдата, стоявшие сзади меня, чуть ли не опираясь ружьями на мои плечи, выпалили один за другим. Вконец оглушенный, я тоже спустил курок… Зарядил ружье и опять выстрелил… Впереди валялись чья-то каска и ружье, но дым вокруг настолько сгустился, что больше ничего нельзя было разглядеть. Я только заметил, что Кац, как одержимый, стрелял без передышки, а в углах его рта выступила пена. Шум у меня в ушах все усиливался, и я уже не слышал ни ружейных залпов, ни грохота пушек.

Между тем дым стал настолько густым и едким, что я почувствовал потребность любой ценой вырваться из него. Я отступил — сначала медленно, потом пустился бежать, с удивлением замечая, что остальные делают то же самое. Вместо двух растянувшихся рядов я увидел толпы бегущих людей. «Какого черта они бегут?» — думал я, прибавляя шагу. Это был даже не бег, а лошадиный галоп. Мы добежали до середины холма и тут только заметили, что наше место на равнине занял какой-то новый батальон, а с верхушки холма бьют орудия.

— Резервы в огне… Вперед, мерзавцы! Вам бы свиней пасти, сукины дети!

— орали почерневшие от дыма, озверелые офицеры, опять выстраивая нас рядами и плашмя колотя саблями всех, кто подвертывался им под руку.

Майора среди них не было.

Мало-помалу перемешавшиеся при отступлении солдаты разыскали свои взводы, беглецов вернули, и в батальоне снова водворился порядок. Однако не хватало человек сорок.

— Куда же они разбежались? — спросил я унтера.

— Гм, разбежались, — мрачно пробормотал он.

Мне было страшно подумать, что они погибли.

С вершины холма спускались двое обозных, ведя под уздцы двух навьюченных коней. Навстречу им выбежали унтер-офицеры и вскоре вернулись с пачками патронов. Я взял восемь штук, ибо ровно такого количества не хватало в моем патронташе, и сам удивился: каким образом мог я их потерять?

— Знаешь, — сказал мне Кац, — уже двенадцатый час…

— А знаешь, что я ничего не слышу? — отвечал я.

— Дурак! Ты же слышишь, что я говорю.

— Да, но пушек я не слышу… Ах нет, слышу, — прибавил я, напрягши слух.

Гул орудий и ружейная трескотня слились в сплошной чудовищный рев, который уже не оглушал, а просто одурманивал. Мною вдруг овладело безразличие.

Примерно в полуверсте перед нами колыхалась широкая полоса дыма, которую кое-где разрывал налетавший ветер. Тогда можно было на миг увидеть длинный ряд ног или касок и поблескивающие штыки. Над этой полосой и над нашей колонной свистели снаряды, которыми обменивались венгерская батарея, стрелявшая через наши головы, и австрийская батарея, отвечавшая с противоположных холмов.

Река дыма, тянувшаяся через равнину к югу, клубилась теперь еще сильнее и вся изогнулась. Там, где брали верх австрийцы, она загибала влево, там, где венгры, — вправо. В целом полоса дыма больше выгибалась вправо, и похоже было, что наши уже оттеснили австрийцев. По всей равнине стлался легкий голубоватый туман.

Странное дело: гул теперь был сильнее, чем вначале, но я его уже не замечал; чтобы услышать его, мне приходилось напрягать слух. Между тем лязг заряжаемых ружей и треск курков я различал отчетливо.

Но вот прискакал адъютант, заиграли трубы, офицеры обратились к солдатам.

— Ребята! — во все горло кричал наш поручик (тот, что недавно удрал из семинарии). — Мы отступили, потому что пруссаков было больше. А теперь ударим на них сбоку, вон на ту колонну, видите… Нас поддержат третий батальон и резерв… Да здравствует Венгрия!

— Я сам не прочь здравствовать… — проворчал Кратохвиль.

— Пол-оборота направо, шагом марш!..

Так мы шагали несколько минут, потом сделали полоборота влево и стали спускаться на равнину, стараясь выйти правее колонны, сражавшейся впереди. Местность кругом была холмистая, перед нами сквозь завесу дыма виднелась опушка леса, поросшая мелким кустарником.

Вдруг меж кустов я заметил сначала два-три, а потом и более десятка дымков, словно в разных местах закурили трубки, и одновременно над нами засвистали пули. Тут пришло мне в голову, что свист пуль, воспетый поэтами, отнюдь не поэтичен; скорее низменным следовало бы назвать это беснование мертвой материи.

От нашей колонны отделилась стрелковая цепь и побежала к кустарнику.

Мы продолжали маршировать, как будто летевшие сбоку пули предназначались не нам.

С правого края колонны, насвистывая марш Ракоци, шел наш старый унтер; вдруг он выронил ружье, раскинул руки и зашатался, как пьяный. На миг я увидел его лицо: слева каска была пробита, на лбу алело небольшое пятно. Мы продолжали идти; на правом фланге очутился другой унтер, молоденький блондин.

Мы уже поравнялись с колонной наших солдат, сражавшихся на передней линии, и увидели впереди свободное пространство, зажатое между двумя стенами дыма, как вдруг со стороны неприятеля из сизых клубов вынырнула длинная шеренга белых мундиров. Шеренга то опускалась, то поднималась, а ноги солдат замелькали у нас перед глазами, как на параде.

Но вот шеренга остановилась. Над нею сверкнула полоса стали, подалась вперед — и я увидел сотню направленных на нас штыков, блестящих, как иголочки, воткнутые в бумажку. Потом вырвался густой дым, что-то заскрежетало, словно цепью по железному бруску, а над нами и вокруг нас пролетел рой пуль.

— Стой! Пли!

Я поспешил выстрелить, чтобы прикрыться хотя бы дымом. Несмотря на грохот, я услышал позади себя глухой звук, будто палкой ударили человека; сзади кто-то упал, задев за мой ранец. Гнев и отчаяние овладели мной; я чувствовал, что погибну, если не убью невидимого врага. Не помня себя, я заряжал и стрелял, наклонив ружье и думая с диким удовлетворением, что мои пули не пролетят мимо. Я не смотрел по сторонам и под ноги, боясь увидеть упавшего человека.

Вдруг произошло что-то неожиданное. Невдалеке от нас затрещали барабаны и раздались пронзительные сигналы горнистов. Кто-то крикнул: «Вперед!» — и не знаю уж, из скольких грудей вырвался крик, напоминающий не то рев, не то вой — колонна двинулась вперед, сначала медленно, потом скорее, скорее и, наконец, побежала… Перестрелка стихла, только изредка раздавались одиночные

выстрелы… с разбега я наткнулся на что-то грудью, на меня напирали со всех сторон, я тоже напирал…

— Руби немца! — ревел не своим голосом Кац и рвался вперед. Не будучи в состоянии выбраться из толчеи, он занес ружье и прикладом стал бить по ранцам стоящих впереди товарищей.

Наконец сделалась такая давка, что я почувствовал, как мне сдавило грудную клетку и нечем стало дышать. Меня подняли в воздух, потом снова опустили — и тут я заметил, что стою не на земле, а на человеке, который схватил меня за ногу. В ту же минуту ревущая толпа ринулась вперед, и я упал. Моя левая рука скользнула по кровавой луже.

Подле меня лежал на боку австрийский офицер, молодой человек с благородными чертами лица. Он с невыразимой тоской глянул на меня темными глазами и с трудом прохрипел:

— Не надо топтать… И немцы — люди.

Сунул руку под бок и жалобно застонал.

Я побежал за колонной. Наши были уже на холмах, где стояли австрийские батареи. Вскарабкавшись вслед за товарищами, я увидел опрокинутую пушку, а рядом с нею другую, запряженную лошадьми, которую окружили наши солдаты.

Тут я стал свидетелем необычайной сцены. Наши — кто схватился за колеса, кто стаскивал с седла возницу; Кац заколол штыком первую с краю лошадь, а неприятельский канонир нацелился ему в лоб ершом. Я схватил канонира за шиворот и неожиданным пинком в зад опрокинул на землю. Кац хотел заколоть и его.

— Что ты делаешь, полоумный! — крикнул я и попытался вырвать у него из рук ружье.

Тогда он в ярости бросился на меня, но стоявший возле офицер саблей выбил у него ружье.

— Ты чего лезешь? — огрызнулся Кац на офицера, но тут же опомнился.

Два орудия были в наших руках, за остальными погнались гусары. Далеко впереди в одиночку и кучками стояли наши, продолжая стрелять в отступающих австрийцев. Только изредка шальная вражеская пуля свистела над нами или, зарывшись в землю, взбивала облачко пыли. Горнисты трубили сбор.

Около четырех часов дня наш полк собрался. Сражение кончилось. Только на западном краю горизонта еще громыхали одиночные выстрелы легкой артиллерии, словно отголоски уже пронесшейся грозы.

Часом позже на просторном поле боя в разных местах заиграли полковые оркестры. К нам прискакал адъютант с поздравлением. Горнисты и барабанщики дали сигнал на молитву. Мы сняли каски, знаменосцы подняли стяги, и вся армия, с ружьем к ноге, благодарила венгерского бога за победу.

Постепенно дым оседал. Насколько хватало глаз, по равнине были разбросаны какие-то белые и синие клочки, будто по вытоптанной траве беспорядочно раскидали обрывки бумаги. По полю разъезжало десятка два повозок с какими-то людьми; они приближались к этим клочкам, подбирая и складывая одни из них, а другие оставляя лежать на поле.

— Стоило им на свет рождаться… — вздохнул Кац, опершись на ружье; им вновь овладела меланхолия.

Это была едва ли не последняя наша победа. С той поры трехцветные знамена чаще двигались впереди неприятеля, нежели за неприятелем, пока, наконец, под Вилагошем[15] не облетели с древков, как осенние листья.

Узнав об этом, Кац бросил саблю оземь (мы оба уже были произведены в офицеры) и сказал, что теперь остается только пустить себе пулю в лоб. Однако я, памятуя, что во Францию снова идет Наполеон, поддержал в нем бодрость духа, и мы пробрались в Комаром.

Целый месяц ждали мы подкрепления: из Венгрии, из Франции, от самого бога. В конце концов крепость сдалась.

Помню, в тот день Кац все вертелся возле порохового склада, а лицо у него было такое же, как в тот момент, когда он собирался заколоть штыком лежавшего канонира. Мы подхватили его под руки и силком вывели из крепости вслед за нашими.

— Что ж ты, — упрекнул его один из приятелей, — тебе не по вкусу скитаться с нами, норовишь улизнуть на небо? Эх, Кац! Венгерская пехота не трусит и слово свое держит, даже если дала его… немцам…

Впятером отделились мы от войск, сломали свои шпаги, переоделись в крестьянское платье и, сунув за пазуху пистолеты, пошли в сторону Турции. Нам приходилось спасаться, ибо нас преследовали псы Хайнау.[16]

Скитались мы по лесам и глухим тропам недели три. Грязь под ногами, осенний дождь над головой, за спиной патрули, а впереди вечное изгнание — вот они, наши спутники. Но мы не унывали.

Шапари без умолку болтал о том, что Кошут[17] что-нибудь да придумает, Штейн уверял, что за нас вступится Турция, Липтак вздыхал о ночлеге и горячей похлебке, а я твердил, что уж кто-кто, а Наполеон нас не оставит. Под дождем одежда у нас размякла, как масло, мы вязли в грязи по щиколотку, подметки у нас отвалились, и в сапогах свистел ветер; жители боялись продать нам кувшин молока, а в одной деревушке за нами даже погнались мужики с вилами и косами. И все же мы не унывали, и Липтак, улепетывая рядом со мной, да так, что только брызги летели, говорил, еле дыша:

— Eljen magyar!.. ***<Да здравствует мадьяр! (венгерск.)>*** То-то заснем теперь… Еще б стаканчик сливянки перед сном…

В разудалой компании оборванцев, распугивавших даже ворон, один только Кац был по-прежнему мрачен. Он чаще других отдыхал и заметно худел; губы у него запеклись, глаза странно блестели.

— Боюсь, не схватил ли он гнилую лихорадку, — сказал мне однажды Шапари.

Неподалеку от реки Савы, в каком-то захолустье, не помню уж, на который день наших странствий, набрели мы на хуторок, где нас приняли очень радушно. Уже вечерело, устали мы зверски, однако жаркий огонь и бутылка сливянки навели нас на радужные мысли.

— Ручаюсь головой, — восклицал Шапари, — не позже чем в марте Кошут опять призовет нас. — Мы поступили глупо, сломав шпаги…

— А турки, может, еще в декабре двинут войска, — прибавил Штейн. — Хоть бы нам до той поры подлечиться…

— Милые! — охал Липтак, зарываясь в солому, — да ложитесь вы, к черту, спать, а то вас ни Кошут, ни турок не добудятся.

— И верно, не добудятся! — проворчал Кац.

Он сидел на лавке у печи и мрачно глядел в огонь.

— Ты скоро и в милосердие господне перестанешь верить, — отозвался Шапари, хмуря брови.

— Нет милосердия для тех, кто не сумел умереть с оружием в руках! — закричал Кац. — Глупцы вы, да и я хорош! Так и пойдет француз да турок за вас лоб подставлять! А сами вы где были?

— Горячка у него, — шепнул Штейн. — Намучаемся мы с ним в дороге…

— Венгрия… Нет уже Венгрии! — бормотал Кац. — Равенство… никакого равенства нет и не было… Справедливость… не будет ее никогда… Свинье — той и в луже мило, а вот человеческая душа… Нет, пан Минцель, не буду уж я у тебя резать мыло…

Тут я смекнул, что Кац совсем расхворался. Подошел к нему, тащу его на солому и говорю:

— Пойдем, Август, пойдем…

— Куда я пойду? — спросил он, очнувшись на минуту.

А потом прибавил:

— Из Венгрии меня выгнали, а к немцам меня не затащишь…

Все же он улегся на подстилку. Огонь в печи догорал. Мы допили водку и улеглись вповалку, с пистолетами в руках. Ветер завывал в щелях, словно вся Венгрия заливалась плачем. Нас сморил сон.

И приснилось мне, будто я еще маленький и будто сочельник. На столе стоит елочка, на ней горят свечи, она такая же убогая, как мы сами, а вокруг отец, тетка, пан Рачек и пан Доманский поют фальшивыми голосами коляды:

Бог родится — зло страшится. [18]

Я проснулся, всхлипывая от тоски по далекому детству. Кто-то теребил меня за плечо.

Это был мужик, хозяин хаты. Он заставил меня подняться и, показывая на Каца — испуганно говорил:

— Поглядите-ка, служивый… Что-то с ним неладно…

Он схватил с печки лучину и посветил мне. Вижу: Кац лежит, скорчившись, на полу, а в руке у него разряженный пистолет. Огненные круги поплыли у меня перед глазами, и я повалился без чувств.

Очнулся я уже в телеге, когда мы подъезжали к Саве. Светало, занимался ясный денек, с реки тянуло сыростью. Я протер глаза, сосчитал… Было нас в телеге четверо и возчик пятый. Да и должно быть пятеро… Нет, шестеро должно быть!.. Я искал Каца, но так и не нашел. Я ни о чем не расспрашивал: рыдания сдавили мне горло — вот-вот задушат меня. Липтак дремал, Штейн тер глаза, а Шапари смотрел в сторону и насвистывал, фальшивя, марш Ракоци.

Эх, брат Кац, что же ты натворил! Порой мне думается, может, там, на небе, ты нашел и венгерскую пехоту, и свой полегший взвод… Порой мне слышится бой барабанов, четкий ритм марша и команда: «На пле-чо!» И тогда кажется мне, что это ты, Кац, идешь сменять караул у престола господня… Ибо плох был бы венгерский бог, если б не оценил тебя по заслугам.

…Да что ж это я разболтался, боже ты мой!.. Думал о Вокульском, а пишу про себя и Каца. Итак, вернусь к своему предмету.

Через несколько дней после смерти Каца мы ступили на турецкую землю, а потом еще два года я, уже в одиночку, скитался по всей Европе. Был и в Италии, и во Франции, и в Германии, и даже в Англии — и всюду преследовали меня бедствия и терзала тоска по родине. Не раз казалось мне, что я помешаюсь, изо дня в день слыша чужую речь и видя не наши лица, не нашу одежду, не нашу землю. Не раз я готов был отдать жизнь, лишь бы взглянуть на сосновый лес и крытые соломой хаты. Не раз я, как малое дитя, кричал во сне: «Хочу домой!» А проснувшись в слезах, наспех одевался и скорей выбегал на улицу, потому что мне казалось, что я увижу не чужую улицу, а Старе Място или Подвалье.

В отчаянии я, быть может, даже покончил бы с собой, если б не вести о Луи-Наполеоне: он уже стал президентом и подумывал об императорской короне. И мне легче было сносить нужду и подавлять приступы тоски, когда я слышал о торжестве человека, который должен был выполнить завещание Наполеона I и навести порядок в мире.

Правда, ему не удалось это — что ж, он оставил нам сына. Не сразу Краков строился!..

Наконец больше я не мог терпеть и в декабре 1831 года, проехав через всю Галицию, остановился на пограничном посту в Томашове.[19] Одна только мысль терзала меня: «А что, если и отсюда меня прогонят?»

И никогда не забыть мне своего ликования, когда я узнал, что меня направляют в Замостье.[20] Собственно, я даже не ехал туда, а попросту добирался пешком, но с какой радостью!

В Замостье я прожил более года. Я хорошо рубил дрова, поэтому ежедневно бывал на свежем воздухе. Оттуда написал я письмо Минцелю и, кажется, получил от него ответ и даже деньги; но, кроме расписки в получении, других подробностей этого события не помню.

Между тем Ясь Минцель сделал для меня еще кое-что, хотя никогда не вспоминал об этом. А именно — ходил он к разным генералам, участвовавшим в венгерском походе, и убеждал их, что-де надо выручать товарища из беды. Ну, и выручили меня, так что уже в феврале 1853 года я мог поехать в Варшаву. Мне даже вернули офицерское звание, и то была единственная память о венгерском походе, если не считать двух ран в груди и в ноге. Да еще офицеры устроили обед в мою честь и как следует выпили за здоровье венгерской пехоты. С тех пор я считаю, что самые прочные отношения завязываются на поле боя.

Покинул я свои апартаменты в Замостье гол как сокол, но сразу за воротами предо мною явился незнакомый еврей и вручил мне письмо с деньгами. Распечатал я его и прочел:

«Дорогой мой Игнаций! Посылаю тебе двести злотых на дорогу, потом рассчитаемся. Заезжай прямо ко мне, в магазин на Краковском Предместье, только, упаси боже, не на Подвалье. Там теперь живет негодяй Франц, именуемый моим братом, которому ни один порядочный сукин сын руки не подаст. Целую тебя. Ян Минцель. Варшава, дня 16 февраля 1853 года.

Да, вот что… Знаешь, старый Рачек, тот, что женился на твоей тетке, умер, и она тоже, еще раньше его. Они оставили тебе кой-какую рухлядь и несколько тысяч злотых. Все это находится у меня в сохранности, только теткин салоп немножко тронула моль, потому что Каська, холера, забыла засыпать табаком. Франц велел тебя поцеловать. Варшава, дня 18 февраля 1853 года».

Еврей привел меня к себе на квартиру и там вручил узелок с бельем, платье и башмаки. Он накормил меня гусиным бульоном, потом вареной гусятиной, потом жареной, и всего этого я не мог переварить до самого Люблина. На дорогу дал он мне бутылку отменного меду, проводил к поджидавшей подводе и даже слушать не захотел о какой-либо плате.

— Мне просто совестно было бы брать деньги от такой особы, что возвращается из эмиграции, — отвечал он на все мои уговоры.

Только когда я уже садился в телегу, он отвел меня в сторону и, оглянувшись, не слышит ли кто, зашептал:

— Может, у вас, ваша милость, есть венгерские дукаты, так я куплю. Я вам по совести заплачу, потому что мне нужно для дочки, она после вашего Нового года выходит замуж.

— У меня нет дукатов, — отвечал я.

— Ваша милость ездили на венгерскую войну, и у вас нет дукатов? — удивился он.

Я уже поставил ногу на ось, но еврей вторично отвел меня в сторону.

— А может, у вашей милости найдутся какие-нибудь драгоценности?.. Колечки, часики, браслетики… Чтоб я так здоров был, я заплачу вам по совести, потому что это для дочки…

— Нет у меня, брат, ничего, честное слово…

— Ничего? — повторил он, широко раскрывая глаза. — Так зачем же вы ходили в Венгрию?..

Мы тронулись в путь, а он все стоял, держась рукою за бороду и жалостливо покачивая головой.

Подвода была нанята для меня одного. Однако на первой же улице возчик встретил своего брата, у которого было спешное дело в Красном Ставе.

— Позвольте, ваше благородие, захватим его, — попросил возчик, снимая шапку. — Где будет плохая дорога, он пешком пойдет…

Пассажир уселся. Не успели мы доехать до городского вала, как нас остановила какая-то еврейка с узлом и стала о чем-то громко разговаривать с возницей. Оказалось, что это его тетка, у которой в Файславицах заболел ребенок.

— Может, позволите, ваше благородие, так она к нам подсядет… Она совсем невесомая… — опять попросил возница.

Потом уже за городом, в разных местах, нам по дороге попалось еще трое родственников моего возницы, который подобрал их под тем предлогом, что мне будет веселей ехать. И вот они оттеснили меня в самый задок телеги, отдавили мне ноги, курили вонючий табак и вдобавок тараторили как одержимые. Однако же я не променял бы моего тесного уголка на самое удобное место во французском дилижансе или в английском вагоне. Я был на родине!

Мы ехали четыре дня, и мне казалось, что я нахожусь в передвижной молельне. На каждой стоянке какой-нибудь пассажир исчезал и вместо него появлялся новый. Около Люблина мне свалился на спину тяжелый тюк; поистине чудо, что я не погиб. Под Куровом мы несколько часов простояли на шоссе, потому что пропал чей-то сундук и возчик верхом поехал разыскивать его в корчму. В довершение ко всему во время пути я чувствовал, что лежавшая у меня на ногах перина населена гуще, чем Бельгия.

На пятый день еще до восхода солнца мы остановились на Праге. Но подвод здесь скопилось столько, а понтонный мост был так узок, что лишь около десяти мы добрались до Варшавы. Должен прибавить, что все мои спутники на Беднарской улице испарились, как уксусный эфир, оставив по себе весьма ощутительный запах. Когда, расплачиваясь с возницей, я упомянул об остальных пассажирах, он вытаращил глаза.

— Какие пассажиры? — вскричал он с изумлением. — Ваша милость — это пассажир, а то была просто мразь паршивая: даже часовой у заставы и тот с пары таких оборванцев считал по злотому на один паспорт. А ваша милость полагает, что это пассажиры!..

— Значит, не было никого? — спросил я. — Откуда же, черт побери, на мне столько блох?

— Может быть, от сырости. Разве я знаю? — ответил возчик.

Убежденный, таким образом, что, кроме меня, на подводе никого не было, я, разумеется, заплатил полностью за весь путь, и это до такой степени умилило моего возчика, что он спросил, где я собираюсь поселиться, и обещал каждые две недели снабжать контрабандным табаком.

— Сейчас, — тихо прибавил он, — у меня под сидением припрятано не меньше четырех пудов. Может, принести вашей милости фунтика три?

— Иди ко всем чертям! — проворчал я, хватая свой узелок, — недоставало только, чтобы меня арестовали за контрабанду!

Бегом направился я по улице, разглядывая город. После Парижа он показался мне грязным и тесным, а люди угрюмыми. Я легко отыскал магазин Яна Минцеля на Краковском Предместье, но при виде знакомых мест и вывесок сердце у меня так заколотилось, что я должен был минутку передохнуть.

Глянул я на магазин — ну точь-в-точь, как на Подвалье: на дверях жестяная сабля и барабан (может быть, тот самый, которым я любовался в детстве?), на витрине тарелки, лошадка и прыгающий казак… Кто-то приоткрыл дверь, и я увидел в глубине магазина под потолком пузыри с красками, сетку с пробками и даже чучело крокодила.

У окна, за прилавком, сидел в старом кресле Ян Минцель и дергал за шнурок казака.

Я вошел, дрожа, как осиновый лист, и встал против Яся. Увидев меня, он грузно поднялся с кресла (малый уж начал толстеть), прищурил глаза… И вдруг как гаркнет одному из посыльных мальчишек:

— Вицек!.. Живо беги к панне Малгожате и скажи ей, что свадьба сразу же после пасхи…

Потом протянул мне через прилавок обе руки, и мы долго обнимались, не говоря ни слова.

— Ну и колошматил ты немцев! Знаю, знаю, — шепнул он мне на ухо. — Садись, — прибавил он, показав на стул. — Казек! Скачи к Grofirautter… Пан Жецкий приехал…

Я сел, и мы не могли проронить ни слова. Он горестно качал головой, я опустил глаза. Оба мы думали о бедняге Каце и о наших несбывшихся надеждах. Наконец Минцель шумно высморкался и, отвернувшись к окну, пробормотал:

— Ну, да что уж…

Вскоре вернулся запыхавшийся Вицек. Я заметил, что курточка юнца так и лоснится от жирных пятен.

— Был? — спросил его Минцель.

— Был. Панна Малгожата сказала: хорошо.

— Ты женишься? — спросил я у Яся.

— Фью!.. Ничего не поделаешь! — ответил он.

— А как себя чувствует Grosmutter?

— Как всегда. Хворает только, когда кто-нибудь разобьет ее кофейник.

— А Франц?

— Не напоминай мне об этом мерзавце, — передернулся Ян Минцель. — Вчера я поклялся, что ноги моей больше у него не будет…

— Чем же он обидел тебя?

— Это прусское отродье постоянно издевается над Наполеоном! Говорит, что он нарушил присягу, данную республике, что он фигляр, которому ручной орел нагадил в шляпу… Нет, нет, — твердил Ян, — я его видеть не могу!

Во время нашей беседы двое мальчишек и приказчик отпускали товар покупателям, на которых я не обращал ни малейшего внимания. Вдруг скрипнули задние двери, и из-за шкафов выглянула старушка в желтом платье, с кофейником в руках.

— Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon… Я бросился к ней и поцеловал ее сухие ручки, не в силах вымолвить ни слова.

— Игнац… Herr Jesas! Игнац!.. — вскричала она, обнимая меня. — Wo bist du so lange gewesen, lieber Ignaz? ***<Иисусе! Где это ты так долго пропадал, милый Игнац? (нем.)>***

— Ну, Grosmutter, вы же знаете, что он был на войне. Чего же спрашивать, где он был? — вмешался Ян.

— Herr Jesas! Aber du hast noch keinen Kaffee ge-trunken? ***<Иисусе! Но ты еще, наверное, не пил кофе? (нем.)>***

— Конечно, не пил, — ответил Ян от моего имени.

— Du lieber Gott! Es ist schon zehn Uhr… ***<Боже мой! Ведь уже десять часов… (нем.)>*** — Она налила мне кружку кофе, вручила три свежие булки и, по обыкновению, исчезла.

Тут с треском распахнулись входные двери, и в магазин вбежал Франц Минцель; он был еще толще и краснее, чем брат.

— Как поживаешь, Игнаций? — закричал он, хватая меня в объятия.

— Не целуйся ты с этим болваном, опозорившим весь минцелевский род, — сказал мне Ян.

— Ой-ой-ой! Подумаешь — род! — отозвался со смехом Франц. — Отец наш приехал сюда с пустой сумой за плачами…

— Я с вами не разговариваю! — гаркнул Ян.

— Да и я не вам говорю, а Игнацию, — возразил Франц. — А наш дядюшка, — продолжал он, — был такая заядлая немчура, что вылез из гроба за ночным колпаком, который ему позабыли положить…

— Вы оскорбляете меня в моем собственном доме! — закричал Ян.

— Я пришел не к вам в дом, а в магазин, за покупками… Вицек, — обратился Франц к мальчишке, — дай мне пробок на грош… Только заверни в бумагу. До свиданья, милый Игнаций, загляни ко мне сегодня вечерком, поболтаем за стаканчиком доброго вина. А может, и этого господина прихватишь с собой, — прибавил он уже с улицы, показывая пальцем на посиневшего от ярости Яна.

— Ноги моей не будет у подлого немца! — крикнул Ян.

Тем не менее вечером мы оба сидели у Франца.

Замечу мимоходом, что не проходило недели, чтобы Минцели не поссорились и не помирились по крайней мере раза два. И, что любопытнее всего, стычки их никогда не происходили по причинам материального характера. Напротив, при всех своих разногласиях братья всегда давали друг другу поручительства, одалживали деньги и взаимно уплачивали долги. Причины раздоров коренились в различии их натур.

Ян Минцель был человек восторженный и романтический, Франц — спокойный и язвительный; Ян был ярый бонапартист, Франц — республиканец и непримиримый враг Наполеона III. Наконец, Франц Минцель признавал свое немецкое происхождение, тогда как Ян торжественно уверял, будто Минцели происходят от древнего польского рода Ментусов, которые в старину, не то при Ягеллонах, не то немного позже, поселились среди немцев.

Довольно было одной рюмки вина, чтобы Ян Минцель принялся стучать кулаком по столу или по спинам своих соседей.

— В моих жилах течет древняя польская кровь… Не может быть, чтобы меня родила немка!.. Впрочем, у меня есть документы…

И он показывал лицам, заслуживающим особого доверия, два старых свидетельства, одно из которых принадлежало некоему Модзелевскому, варшавскому купцу времен шведского нашествия, а другое — Миллеру, поручику костюшковских войск. Что было общего между этими личностями и семействами Минцелей — этого я не знаю и по сей день, хоть объяснения слышал неоднократно.

Даже по поводу свадьбы Яна между братьями вспыхнула ссора, ибо Ян для сего торжественного случая припас малиновый кунтуш, желтые сапоги и саблю, а Франц заявил, что не допустит подобного скоморошества во время венчания, хотя бы ему даже пришлось подать жалобу в полицию. Ян поклялся, что убьет доносчика, если тот попадется ему на глаза, и к свадебному ужину облачился в одежды своих предков Ментусов. А Франц был и на венчании и на свадьбе, и хоть с братом не разговаривал, зато до полусмерти закружил в танцах его жену и чуть не до смерти упился его вином.

Не обошлось без скандала даже накануне кончины Франца, который умер в 1856 году от карбункула. В последние три дня жизни Франца оба брата дважды проклинали и отрекались друг от друга самым торжественным образом. Несмотря на это, Франц все свое состояние завещал Яну, а Ян несколько недель тяжело хворал от горя и половину наследства (около двадцати тысяч злотых) переписал на имя каких-то трех сироток, о которых, сверх того, заботился до конца своей жизни.

Да, странная это была семья!

Однако же опять я отклонился от предмета: собирался писать о Вокульском, а пишу о Минцелях. Если бы не моя бодрость, я мог бы себя заподозрить в болтливости, которая, как известно, является признаком приближающейся старости.

Я уже говорил, что многого в поведении Стася Вокульского не понимаю, и всякий раз мне хочется спросить: к чему все это?

Так вот, когда я вернулся в магазин Минцеля, мы почти каждый вечер собирались наверху, у Grosmutter: Ян и Франц Минцели, а иногда и Малгося Пфейфер.

Малгося с Яном усаживались в нише у окна и, держась за руки, глядели на небо; Франц пил пиво из большой кружки с цинковой крышкой, старушка вязала чулок, а я повествовал о годах, проведенных мною за границей. Чаще всего, разумеется, речь шла о тоске по родине, о тяготах солдатского житья или о битвах. В такие минуты Франц выпивал двойную порцию пива, Малгося прижималась к Яну (ко мне никто так не прижимался), а Grosmutter спускала петли со спицы. Когда я кончал свой рассказ, Франц громко вздыхал, развалясь на диване, Малгося целовала Яна, Ян Малгосю, а старушка, тряся головой, говорила: «Jesas, Jesas! Wie ist das fchreklich… Aber sag mir, lieber Ignaz, wozu also bist du nach Ungarn gegangen?" ***<Иисусе! Иисусе! Как это ужасно… Но скажи мне, милый Игнац, зачем тебе было ездить в Венгрию? (нем.)>***

— Да вы же знаете, Grosmutter, что он поехал в Венгрию на войну! — нетерпеливо прерывал ее Ян.

Но старушка все удивлялась и качала головой, бормоча себе под нос:

— Der Kaffee war ja imrmer gut, und zu Mittag hat er sich doch immer vollgegessen… Warum hat er denn das getan? ***<Ведь кофе был всегда хорош, и за обедом он ел вдосталь… Зачем же он это сделал? (нем.)>***

— Ох! Вы, Grosmutter, только и думаете о кофе да об обеде, — возмущался Ян.

Даже когда я рассказал о последних минутах и страшной смерти Каца, старушка хотя и всплакнула — впервые за все время, что я ее знал, — но тем не менее, утерев глаза и снова принявшись за свой чулок, прошептала:

— Merkwurdig! ***<Удивительно! (нем.)>*** Der Kaffee war ja immer gut, und zu Mittag hat er sich doch imimer vollgegessen… Warum hat er denn das getan?

Так и я теперь ежечасно говорю о Стасе Вокульском. После смерти жены остался у него верный кусок хлеба, — зачем ему было ехать в Болгарию? Далее. Там он сколотил такое состояние, что мог бы и магазин закрыть, — зачем он расширяет его? Новый магазин приносит огромные прибыли, — зачем он вступает в какие-то компании?

Зачем он снял для себя роскошную квартиру? Зачем купил экипаж и лошадей? Зачем старается сблизиться с аристократией и сторонится купцов, которые ему простить этого не могут?

А с какой целью помогает он возчику Высоцкому и его брату, железнодорожному стрелочнику? Зачем он нескольким бедным подмастерьям помог открыть мастерские? Зачем заботится он даже о распутной женщине, которая хоть и живет у монашек, однако сильно вредит его репутации?

А до чего он хитер!.. Я на бирже узнал о покушении Геделя; возвращаюсь в магазин и, глядя ему прямо в глаза, говорю:

— Знаешь, Стась, некий Гедель стрелял в императора Вильгельма.

А он, как ни в чем не бывало, отвечает:

— Сумасшедший.

— Но этому сумасшедшему, — говорю я, — голову снимут.

— И правильно, — отвечает он, — не будет плодить сумасшедших.

И хоть бы один мускул дрогнул у него в лице — ничего! Я остолбенел при виде подобного хладнокровия.

Дорогой мой Стась, ты хитер, да и я не прост и знаю куда больше, чем ты думаешь, только то мне горько, что нет у тебя ко мне доверия. А совет старого друга и солдата мог бы уберечь тебя не от одной ошибки и даже от пятна…

Впрочем, зачем мне тут высказывать свое мнение, — пусть за меня говорит ход событий.

В начале мая мы переехали в новый магазин, который состоит из пяти огромных залов. В первом зале, налево от входа, продаются только русские ткани: ситец, миткаль, шелк и бархат. Второй зал наполовину занят теми же тканями, а в другой половине помещаются предметы туалета: шляпы, воротнички, зонтики, галстуки. В главном зале, прямо против входа, — предметы роскоши: бронза, майолика, хрусталь, слоновая кость. Рядом, направо, — игрушки, а также деревянные и металлические вещи, и в последнем зале — резиновые и кожаные изделия.

Это я по своему усмотрению так разместил: не знаю, правильно ли, но бог свидетель, что я старался сделать как можно лучше. Наконец спросил я у Стася Вокульского, каково его мнение об этом, но вместо ответа он только пожал плечами и усмехнулся с таким видом, словно хотел сказать: «А мне какое дело?»

Странный человек! Придет ему в голову гениальный план, он осуществит его в общих чертах, а детали его совершенно не интересуют. Он велел перевести магазин в новое помещение, сделал его средоточием торговли русскими тканями и заграничной галантереей, нанял служащих. Но, сделав это, сразу перестал вмешиваться в дела магазина: ездит с визитами к знатным господам, катается в собственном экипаже в Лазенковском парке или вдруг исчезает бесследно, а в магазин является всего на два-три часа в день. Притом он все время как-то рассеян, взволнован, словно чего-то ждет или опасается.

Но какое это золотое сердце!

Со стыдом признаюсь, что мне было немножко неприятно переезжать в новое помещение. С магазином еще полбеды; я, конечно, предпочитаю служить в огромном заведении на манер парижских, чем в такой лавчонке, как наш прежний магазин. Но мне жаль было расставаться с комнатой, в которой я прожил двадцать пять лет. Поскольку контракт наш был действителен до июля, я до середины мая сидел у себя в комнате, поглядывая то на стены, то на решетку, которая напоминала мне приятнейшие минуты, проведенные в Замостье, то на старую мебель.

«Как я все это сдвину с места, как буду перевозить, боже ты мой?» — думал я.

И вот однажды, в начале мая (в то время как раз стали распространяться слухи самого мирного свойства), перед закрытием магазина, подходит ко мне Стась и говорит:

— Ну, что же, старина, пора бы переезжать на новую квартиру.

Я почуствовал себя в эту минуту так, как будто вся кровь из меня вытекла, а он продолжает:

— Пойдем-ка посмотрим квартиру, которую я снял для тебя в этом доме.

— Как это снял? — спрашиваю я. — Ведь нужно договориться с хозяином о цене.

— Уже все оплачено, — отвечает он. Берет меня под руку и через задние двери магазина ведет в сени.

— Постой, — говорю я, — это помещение занято…

А он вместо ответа открывает дверь. Вхожу… Честное слово — гостиная, мебель обита утрехтским бархатом, на столах альбомы, на окнах майолика… У стены книжный шкаф.

— Вот тебе, — говорит Стась, показывая книжки в роскошных переплетах, — три истории Наполеона Первого, жизнеописания Гарибальди и Кошута, история Венгрии…

Книжками я остался весьма доволен, но гостиная, признаюсь, произвела на меня неприятное впечатление. Стась заметил это и, улыбнувшись, вдруг распахнул другую дверь.

Боже милостивый!.. Да ведь вторая комната — точь-в-точь как моя старая, в которой я прожил двадцать пять лет! Зарешеченное окно, зеленая занавеска, мой черный стол… А у стены напротив моя железная кровать, двустволка и футляр с гитарой…

— Как, — спрашиваю я, — значит, мои вещи уже перенесли?

— Да, — отвечает Стах, — перенесли все до последнего гвоздика, даже подстилку для Ира.

Может, кому-нибудь это и покажется смешным, но у меня слезы навернулись… Я смотрел на его суровое лицо, грустные глаза, и мне трудно было поверить, что в этом человеке столь велика прозорливость и деликатность чувств. Если бы еще я хоть когда-нибудь ему намекнул… Но он сам угадал, что я буду тосковать по прежнему своему жилью, и позаботился о том, чтобы перенесли мою рухлядь.

Счастлива была бы женщина, на которой бы он женился! (У меня даже есть на примете подходящая партия…) Только он, должно быть, не женится. В голове у него бродят всевозможные чудные мысли, но, увы, не о супружестве… Сколько солидных особ уже приходило к нам в магазин — якобы за покупками, а на самом деле, чтобы Стася сватать, и все ни к чему.

Взять хотя бы пани Шперлингову — у нее тысяч сто наличными и винокуренный завод. Чего-чего она не накупила у нас, а все только затем, чтобы спросить у меня:

— Что, пан Вокульский не собирается жениться?

— Нет, сударыня…

— Жаль, — говорит пани Шперлингова, вздыхая. — Прекрасный магазин, большое состояние, да только пропадет все это… без хозяйки. Нашел бы себе пан Вокульский женщину солидную, с капиталом, так и кредит бы его упрочился.

— Золотые ваши слова, — отвечаю я.

— Адье, пан Жецкий, — говорит она (и платит в кассу двадцать, а то и пятьдесят рублей). — Только не вздумайте передавать пану Вокульскому, что я упоминала о супружестве. Еще, чего доброго, он подумает, будто старая баба охотится за ним. Адье, пан Жецкий…

— Как же, не премину передать ему…

А сам думаю: «Ну, будь я Вокульским, в ту же минуту женился бы на этой богатой вдовушке. Как она сложена, Herr Jesas!»

Или вот Шметерлинг, кожевник. Всякий раз, как я оплачиваю его счета, он заговаривает со мной:

— А не думает ли, того, сударь, пан Вокульский, того, жениться?.. Мужик он, того, горячий, затылок у него прямо бычий… Разрази меня гром, ежели бы я ему дочку, того, не отдал, а в приданое не дал бы в год тысяч на десять, того, рублей товару… Ну?..

Или еще советник Вронский. Небогатый, тихонький такой, а чуть не каждую неделю покупает у нас что-нибудь вроде пары перчаток и при этом всякий раз говорит:

— Да как же тут не погибать Польше, бог ты мой, если такие, как Вокульский, не женятся! Даже в приданом, бог ты мой, человек не нуждается; значит, мог бы подыскать себе барышню, которая, бог ты мой, и на фортепьянах, и хорошая хозяйка, и языки знает…

Подобные сваты десятками являются к нам в магазин. Иные маменьки, тетушки либо папеньки попросту приводят к нам барышень на выданье. Маменька, тетушка либо папенька покупает что-нибудь на рубль, а тем временем барышня прохаживается по магазину, то присядет, то подбоченится, чтобы показать свою фигуру, то правую ножку выставит, то левую, то ручку поднимет… И все затем, чтобы поймать Стаха, а его либо и в магазине-то нет, либо сидит он себе и даже на товар не смотрит, словно хочет сказать: «Оценкой товара занимается пан Жецкий».

Вообще-то говоря, кроме семейств, где имеются взрослые дочки, а также вдовы и девицы на выданье, которые, кажется мне, отвагой своей заткнули бы за пояс венгерскую пехоту, бедный мой Стах нигде не пользуется симпатией. И не мудрено: против него ополчились все мануфактурные фабриканты и все купцы, продающие их товары.

Однажды в воскресенье зашел я в ресторанчик позавтракать (что случается со мной очень редко). Рюмка анисовки с куском селедки у стойки да за столиком порция рубцов и четвертинка портера — вот и весь мой пир. Заплатил я за это удовольствие меньше рубля, зато уж дыму наглотался и уж наслушался… Хватит на добрых несколько лет!

В комнате, где мне подали рубцы, было душно и темно, как в коптильне. Неподалеку за одним столом сидело шестеро посетителей, все люди

откормленные и хорошо одетые, надо полагать купцы, домовладельцы, а может, и фабриканты. По виду, у каждого тысячи три, а то и пять годового дохода. Поскольку ни я этих господ не знал, ни они меня, я не могу заподозрить их в преднамеренной каверзе. Однако, представьте, какова игра случая: как раз в ту минуту, когда я вошел в комнату, за столом шел разговор о Вокульском. По причине дыма я не мог разглядеть, кто говорил; к тому же сидел я, уставясь в тарелку, и не смел поднять глаз.

— Карьеру сделал! — говорил низкий голос. — Смолоду прислуживал таким, как мы, а под старость захотелось ему у знатных господ пятки лизать.

— Теперешние господа, — ввернул страдающий астмой субъект, — не больше его стоят. Разве в прежние времена стали бы в графском доме принимать бывшего приказчика, разбогатевшего благодаря женитьбе!.. Курам на смех!

— Женитьба — пустяки, — возразил низкий голос, слегка поперхнувшись, — выгодная женитьба — дело не зазорное. А вот миллионы, нажитые на военных поставках, от них, сударь мой, издали пахнет уголовщиной.

— Говорят, он не воровал, — вполголоса проговорил третий собеседник.

— В таком случае, у него миллионов нет, — рявкнул бас. — А в таком опять-таки случае, чего он нос задирает? Чего лезет в аристократию?

— Прошел слух, — вмешался еще кто-то, — будто он хочет учредить торговое общество из одних дворян.

— Ага… Чтобы их общипать, а потом улизнуть, — заметил астматик.

— Нет, — продолжал бас, — не отмыться ему от этих поставок даже своим серым мылом. Галантерейный торговец занимается поставками! Варшавянин едет в Болгарию!

— Ваш братец, инженер, ездил на заработки еще дальше, — отозвался тихий голос.

— Как же! — прервал его бас. — Может, он и ситчики из Москвы выписывал? Вот вам еще одно темное дело: он топит отечественную промышленность.

— Эх-хе-хе, — рассмеялся кто-то, доселе молчавший. — Это уж купца не касается. Купец на том и стоит, чтобы найти товар подешевле да продать его подороже. Не так ли? Эх-хе-хе!

— Во всяком случае, я бы ломаного гроша не дал за его патриотизм, — отвечал бас.

— Однако, — вставил тихий голос, — кажется, Вокульский доказал не только на словах, что он патриот.

— Тем хуже! — прервал бас. — Доказал, когда был беден как церковная мышь, а как завелись денежки в кармане — сразу поостыл.

— Эх, и почему мы всегда кого-нибудь обвиняем в измене или воровстве? Нехорошо!.. — попрекнул тихий голос.

— Да чего вы его так защищаете?.. — спросил бас, с грохотом отодвинув стул.

— Защищаю, потому что достаточно наслышан о нем, — отвечал тихий голос.

— У меня возит товары некий Высоцкий; он с голоду помирал, пока Вокульский не поставил его на ноги…

— На деньги, нажитые в Болгарии! Благотворитель!

— Другие, сударь мой, разбогатели за счет общественных фондов, и то ничего. Эх-хе-хе!

— Что ни говорите, это темная личность, — сказал в заключение астматик.

— Мечется и за магазином не смотрит, ситчики ввозит, а теперь и дворянство, того и гляди, облапошит…

Тут половой подал им новые бутылки, а я потихоньку выскользнул из комнаты. В разговор я вмешиваться не стал, ибо, зная Стаха с малолетства, мог бы сказать им только два слова: «Подлецы вы!..»

И все это болтают в то самое время, когда я трепещу за его будущность, когда изо дня в день, вставая и ложась спать, я спрашиваю: «Что он делает? К чему? И что из этого получится?..» И все это болтают при мне, когда я только вчера видел собственными глазами, как стрелочник Высоцкий повалился ему в ноги, благодаря за перевод в Скерневицы и денежную помощь.

Простой человек, а какая честная душа! Привез с собою десятилетнего сынишку и, показав ему Вокульского, сказал:

— Смотри, Петрек, и запомни: этот барин — великий наш благодетель… Ежели он когда-нибудь скажет, чтобы ты руку дал себе за него отрубить, — отруби, и тогда все равно не отблагодаришь еще за все его милости…

Или, к примеру, девушка, которая пишет ему из монастыря: «Я вспомнила одну молитву, которую знала в детстве, и буду молиться за вас…»

Вот вам простые люди и падшие женщины; разве не больше у них благородных чувств, чем у нас, лощеных господ, хоть мы и трезвоним по всему городу о своих добродетелях, в которые к тому же сами не верим? Правильно делает Стась, что интересуется судьбою этих несчастных, хотя… мог бы интересоваться ими не с такою горячностью…

Ох! Как не нравятся мне его новые знакомства…

Помню, в начале мая входит к нам в магазин какая-то неопределенная личность (рыжие бакенбарды и гадкие глаза) и, положив на конторку свою визитную карточку, говорит ломаным языком:

— Прошу вас передавать пан Вокульский, я буду сегодня семь часов.

И больше ничего. Посмотрел я на карточку, читаю: «Вильям Коллинз, учитель английского языка…» Что за комедия! Не станет же Вокульский учиться английскому?

Однако я все понял, прочитав на следующий день телеграммы… о покушении Геделя.

Или другое знакомство — некая пани Мелитон, которая удостаивает нас своими посещениями со времени возвращения Стася из Болгарии. Бабенка тощая, невзрачная, мелет языком, что твоя мельница, но сразу чувствуешь, что эта лишнего не сболтнет. Влетает она однажды к нам в конце мая:

— Пан Вокульский в магазине? Наверное, нет, я так и думала… А вы пан Жецкий, не правда ли? Видите, я догадалась… Какой прелестный несессер… из оливкового дерева, я в этом знаю толк. Скажите пану Вокульскому, пусть он пришлет мне его на дом, адрес он знает, и — пусть завтра, к часу, приедет в Лазенки…

— Простите, в какие? — спросил я, возмущенный ее наглостью.

— Что за глупые шутки! Разумеется, в королевские. — отвечала эта дама.

И что же! Вокульский послал ей несессер и поехал в Лазенки. А вернувшись, сказал мне, что скоро в Берлине соберется конгресс по поводу окончания войны… И конгресс собрался!

Эта же дама является еще раз, если не ошибаюсь, первого июня.

— Ах! — восклицает она. — Какая прелестная ваза!.. Несомненно, французская майолика, я в этом знаю толк… Скажите пану Вокульскому, пусть он пришлет мне, и (прибавила она шепотом)… и… скажите ему еще, что послезавтра, к часу…

Когда она ушла, я сказал Лисецкому:

— Можете побиться об заклад, что послезавтра мы узнаем важную политическую новость.

— То есть третьего июня? — спросил он, усмехаясь.

Но представьте себе наши физиономии, когда пришла телеграмма о… покушении Ноблинга в Берлине… Я думал, меня кондрашка хватит; а Лисецкий с той поры перестал отпускать по моему адресу непристойные шуточки и, что хуже, то и дело допытывается у меня, что новенького в политике…

Право же, лестная репутация — страшное бедствие! Поверите ли, с той минуты, как Лисецкий начал обращаться ко мне как к человеку «осведомленному», я лишился сна и аппетита…

Что же должен испытывать бедный мой Стах, поддерживая постоянные сношения с упомянутым паном Коллинзом и с этой пани Мелитон!

Боже милосердый, храни нас!

Раз я уж так разболтался (ей богу, я становлюсь сплетником), то добавлю еще, что в нашем магазине замечается какое-то нездоровое брожение. Не считая меня,

у нас теперь семь приказчиков (мог ли мечтать о чем-либо подобном старый Минцель!), но единства у нас нет, Клейн и Лисецкий, как старые служащие, держатся особняком и к остальным товарищам относятся не то что презрительно, но несколько свысока. А три новых приказчика: галантерейный, металлических изделий и резиновых — опять-таки дружат только между собою, в обращении же с другими натянуты и угрюмы. Правда, славный Земба, стремясь всех объединить, бегает от новых к старым и вечно их в чем-то убеждает, но у бедняги такая несчастливая рука, что после каждой его попытки оба лагеря только злее косятся друг на друга.

Вероятно, если бы наш первоклассный магазин (а он, несомненно, первоклассный!), так вот если бы он расширялся постепенно, если бы мы каждый год принимали по одному приказчику, новый человек растворялся бы среди старых и гармония бы не нарушалась. Но когда сразу прибавилось пять человек и один другому зачастую бывает помехой (ибо нельзя в такой короткий срок ни рассортировать должным образом товары, ни каждому точно определить круг его обязанностей), вполне естественно, что между ними возникают размолвки. Впрочем, чего ради я стану критиковать своего хозяина, который к тому же умнее всех нас.

В одном только сходятся все наши служащие, и старые и новые, и тут даже Земба их поддерживает, а именно — в преследовании седьмого приказчика, Шлангбаума. Этот Шлангбаум (я его давно знаю) хотя иудейского вероисповедания, но человек весьма порядочный. Маленький, черный, сутулый, волосатый — словом, если кто посмотрит на него, когда он сидит за конторкой, то и медного гроша за него не даст. Но стоит войти покупателю (Шлангбаум работает в отделе русских тканей) — господи Иисусе!.. — он так и завертится волчком; только что был на самой верхней полке справа, и вот уже он у нижнего ящика посредине, и в тот же миг опять где-то под потолком слева. А как примется он сбрасывать куски материи — кажется, будто это не человек, а паровая машина; да как начнет их развертывать да отмерять — кажется, что у него, бестии, по меньшей мере три пары рук. Притом он — прирожденный счетовод, а как начнет нахваливать товар да подсовывать покупателю то одно, то другое, каждому по его вкусу, и все это с превеликой важностью, — честное слово, куда там Мрачевскому! Жаль только, что он так мал и невзрачен; надо будет приставить к нему в помощь какого-нибудь глупого, но смазливого молодца — для дам. Правда, с красивым приказчиком дамы дольше засиживаются, зато не так привередничают и меньше торгуются.

(Но, своим чередом, избави нас бог от дамской клиентуры! Может быть, я потому и не решаюсь жениться, что постоянно наблюдаю дам в магазине.

Творец всего сущего, создавая чудо природы, именуемое женщиной, наверное не подумал о том, каким это будет бедствием для купцов).

Так вот, Шлангбаум во всех отношениях хороший гражданин, но, несмотря на это, нелюбим всеми, ибо имеет несчастье быть иудеем…

Вообще вот уж с год, как я замечаю, что возрастает вражда к иудеям; даже те, кто еще несколько лет назад называл их поляками иудейского вероисповедания, теперь называют жидами! А те, кто еще недавно восхищался их трудолюбием, выносливостью и способностями, теперь видят только их страсть к наживе и жульничество.

Слыша об этом, я часто думаю, что над человечеством сгущается некий духовный мрак, подобный ночи. Днем все было красивым, радостным и хорошим; ночью все становится грязным и опасным. Так я про себя думаю, но молчу; ибо чего стоит суждение старого приказчика рядом с мнением прославленных публицистов, которые заявляют, что евреи употребляют на мацу христианскую кровь и что их следует ограничить в правах? Нет, иные взгляды насвистывали нам пули над головой — помнишь, Кац?

Такое положение вещей весьма своеобразно действует на Шлангбаума. Еще в прошлом году он назывался Шланговским, праздновал пасху и рождество Христово, и, наверное, ни один самый ревностный католик не съедал столько свиной колбасы, сколько он. Помню, как-то раз в кондитерской его спросили:

— Как? Вы, Шланговский, не любите мороженого?

Он ответил:

— Я люблю только колбасу, но без чеснока. Чеснок я терпеть не могу.

Он вернулся из Сибири вместе со Стахом и доктором Шуманом и сразу поступил приказчиком в христианский магазин, хотя еврейские купцы предлагали ему лучшие условия. С тех пор он все время работал у христиан, и только в этом году его уволили со службы.

В начала мая он впервые обратился к Стаху с просьбой. На этот раз он горбился больше обычного, и глаза у него были краснее, чем всегда.

— Стах, — сказал он беспомощно, — я погибну на Налевках[21], если ты меня не приютишь.

— Почему же ты сразу не пришел ко мне? — спросил Стах.

— Не посмел… Боялся, что скажут: еврей обязательно всюду вотрется. Да я и сейчас бы не пришел, если бы не мысль о детях.

Стах пожал плечами и тут же принял Шлангбаума, положив ему полторы тысячи рублей в год.

Новый приказчик сразу приступил к работе, а полчаса спустя Лисецкий проворчал, обращаясь к Клейну:

— Что это нынче, черт возьми, у нас чесноком пахнет?

А еще четверть часа спустя, не знаю уж по какому поводу, прибавил:

— И как эти канальи стараются пролезть на Краковское Предместье! Мало им, пархатым, Налевок или Свентоерской!

Шлангбаум смолчал, только его красные веки дрогнули.

К счастью, эти насмешки слышал Вокульский. Он встал из-за стола и сказал тоном, который я, признаться, у него не люблю:

— Послушайте… пан Лисецкий! Пан Генрик Шлангбаум был моим товарищем в то время, когда мне приходилось совсем плохо. Так, может быть, вы позволите ему дружить со мною сейчас, когда дела мои несколько поправились?

Лисецкий растерялся, чуствуя, что его собственная должность повисла на волоске. Он поклонился и что-то пробормотал, а Вокульский подошел к Шлангбауму, обнял его и сказал:

— Милый Генрик, не принимай близко к сердцу эти колкости: мы тут все по-приятельски задираем друг друга. И заявляю тебе, что если когда-нибудь ты покинешь этот магазин, то разве только вместе со мною.

Положение Шлангбаума сразу определилось: сейчас скорее мне скажут что-нибудь такое (даже и нагрубят), чем ему. Но разве есть какое-нибудь средство против недомолвок, гримас и косых взглядов? А все это отравляет жизнь бедняге; иногда он говорит мне, вздыхая:

— Ох, если бы я не боялся, что дети мои вырастут еврейскими париями, давно бы я сбежал отсюда на Налевки…

— А почему бы вам, пан Генрик, попросту не креститься?

— Несколько лет назад я, может, и сделал бы это, но не сейчас. Сейчас я понял, что как еврей я ненавистен только христианам, а как выкрест стал бы противен и христианам и евреям. Надо ведь с кем-нибудь жить в мире. К тому же, — прибавил он тише, — у меня пятеро детей и богатый отец, у которого я единственный наследник.

Любопытная вещь. Отец Шлангбаума ростовщик, а сын не хочет брать у него ни гроша и мыкается по магазинам приказчиком.

Часто говорил я о нем с глазу на глаз с Лисецким.

— За что, — спрашивал я, — вы его травите? Ведь в доме у него все заведено по-христиански, он даже елку устраивает для детей.

— Все это он делает, ибо полагает, что выгоднее кушать мацу с колбасой, чем без колбасы.

— Но он был в Сибири, рисковал…

— Чтобы обделать свои делишки. Ради того же он называл себя Шланговским, а теперь опять стал Шлангбаумом, когда его старик заболел астмой.

— Вы же сами издевались над ним, говоря, что он рядится в чужие перья, вот он и взял опять прежнюю фамилию.

— За что получит после смерти отца тысяч сто.

Тут и я пожал плечами и замолчал. Называться Шланговским — плохо, Шлангбаумом — тоже плохо; плохо быть евреем, плохо и выкрестом… Спускается ночь, темная ночь, и все становится серым и подозрительным.

А от всего этого страдает Стах. Мало того что он взял на службу Шлангбаума, так еще снабжает товарами еврейских купцов и нескольких евреев принял в свое торговое общество. Наши подняли крик, грозятся; ну, да он не из робкого десятка. Уперся и не уступит, хоть в огне его жги.

Чем только все это кончится, боже милосердый…

Да, вот что! Все время уклоняюсь я от предмета и упустил несколько весьма важных деталей. Я имею в виду Мрачевского, который с некоторых пор либо нечаянно нарушает мои планы, либо сознательно вводит меня в заблуждение.

Этот молодой человек получил у нас расчет за то, что в присутствии Вокульского слегка прошелся по адресу социалистов. Однако потом Стах поддался уговорам и сразу после пасхи послал Мрачевского в Москву, даже повысив ему жалованье.

Не раз по вечерам размышлял я, что означает эта поездка, вернее — ссылка.

Но когда три недели спустя Мрачевский приехал из Москвы, чтобы забрать у нас товары, я сразу понял планы Стаха.

С внешней стороны молодой человек мало изменился: по-прежнему за словом в карман не полезет, так же красив, может только немножко побледнел. Москва, говорит, ему понравилась, особенно тамошние женщины, у которых нашел он больше живости и огня и к тому же меньше предрассудков, нежели у наших. Я тоже считаю, что во время моей молодости у женщин было меньше предрассудков, чем сейчас.

Все это — только вступление. Главное — то, что Мрачевский привез с собой трех весьма подозрительных субъектов, которых он называет «прыкащиками», а также целую кипу каких-то брошюрок. Оные «прыкащики» якобы должны были с чем-то ознакомиться у нас в магазине, однако делали это так, что никто их у нас и не видал. По целым дням таскались они по городу и, готов поклясться, подготовляли почву для какой-то революции. Однако, приметив, что я с них глаз не спускаю, они всякий раз, являясь в магазин, прикидывались пьяными, а со мною беседовали исключительно о женщинах, утверждая, в противоположность Мрачевскому, что польки — это «сама прелесть», только слишком похожи на евреек.

Я делал вид, будто верю их россказням, и благодаря ловко поставленным вопросам убедился, что подробнее всего они ознакомились с кварталами возле цитадели.[22] Следовательно, именно там у них были дела. А что догадки мои небезосновательны, доказал тот факт, что оные «прыкащики» обратили на себя внимание полиции. За десять дней их трижды — не больше, не меньше! — отводили в участок. Видимо, однако, у них имеются какие-то высокие связи, и их отпустили.

Когда я сообщил Вокульскому о своих подозрениях насчет «прыкащиков», он только усмехнулся и отвечал:

— То ли еще будет…

Из этого я делаю заключение, что Стах, должно быть, крепко связан с нигилистами.

Можно себе представить мое изумление, когда, пригласив к себе на чашку чая Клейна и Мрачевского, я убедился, что Мрачевский стал еще более рьяным социалистом, чем Клейн… Тот самый Мрачевский, который потерял у нас службу за то, что ругал социалистов… От удивления я весь вечер рта не мог раскрыть; Клейн потихоньку радовался, а Мрачевский разглагольствовал.

Отроду не слыхал ничего подобного! Этот молокосос доказывал мне, ссылаясь на якобы весьма мудрых людей, что все капиталисты — преступники, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, что фабрики, шахты и машины должны быть общественной собственностью, что бога нет и души тоже нет, а выдумали ее ксендзы, чтобы выманивать у людей десятину. Он говорил еще, что когда произведут революцию (он с тремя «прыкащиками»), то все мы будем работать только восемь часов в день, а остальное время сможем развлекаться, но, несмотря на это, каждому под старость будет обеспечена пенсия и бесплатные похороны. А в заключение заявил, что лишь тогда наступит рай на земле, когда все будет общее: земля, здания, машины и даже жены.

Поскольку я холостяк (и даже, как некоторые утверждают, старый холостяк) и пишу этот дневник без всякого лицемерия, то, признаюсь, подобная идея об общих женах мне отчасти понравилась. Скажу даже, что я почувствовал некую симпатию к социализму и социалистам… Но зачем им непременно революция, когда и без нее люди имели общих жен?

Таковы были мои размышления; но тот же Мрачевский отбил у меня вкус к своим теориям и одновременно сильно расстроил мои планы.

Замечу мимоходом, что я всею душою хотел бы, чтобы Стась женился. Будь у него жена, он уже не мог бы так часто совещаться с Коллинзом и с пани Мелитон, а если бы у них еще и дети пошли, то он, возможно, порвал бы все подозрительные связи. Подумать только, куда это годится, чтобы такой человек, как он, настоящий солдат по натуре, связывался с людьми, которые как-никак не выступают на поле боя с поднятым забралом! Венгерская пехота — да, впрочем, любая пехота — не стала бы стрелять в безоружного противника. Но времена меняются.

Итак, я бы очень хотел, чтобы Стах женился, и, мне думается, я подыскал ему подходящую партию. В наш новый магазин часто заходит (да и в старом тоже бывала) одна особа удивительной красоты. Шатенка, серые глаза, дивные черты лица, осанка статная, а ручки и ножки — само изящество!.. Видел я однажды, как она сходила с пролетки, и, признаться, меня даже в жар бросило от того, что я увидел… Ах, вот была бы утеха для моего Стаха, — и полненькая в самый раз, и

губки как вишенки… А что за бюст! Когда она входит без пальто, в одном платье, мне кажется, что это ангел слетел с неба, сложив на груди свои крылышки.

Кажется, она вдова, во всяком случае я никогда ее не видел с мужем, а всегда только с маленькой дочуркой Элюней, прелестной, как конфетка. Если бы Стах женился на этой даме, ему пришлось бы сразу порвать с нигилистами, ибо все время, свободное от ухаживаний за женой, он ласкал бы ее милое дитя. Ну, при такой женушке немного бы досуга у него оставалось.

Я уже составил полностью план и обдумывал, каким бы это образом познакомиться с этой дамой, а потом представить ей Стаха, как вдруг черт принес из Москвы Мрачевского. Вообразите мое возмущение, когда на следующий же день по приезде этот щеголь входит к нам в магазин с моей вдовушкой! А уж как он увивался вокруг нее, как закатывал глаза, как старался предупредить ее желания!.. Счастье, что я не толстяк, потому что иначе при виде его наглого волокитства меня, наверное, хватил бы апоплексический удар.

Когда он через несколько часов снова зашел в магазин, я спросил его с самым равнодушным видом, кто эта дама.

— Что, понравилась вам? — спрашивает он, бесстыдно подмигивая, и прибавил: — Шампанское, а не женщина! Только напрасно вы разлакомились, она по мне с ума сходит… Ах, сударь мой, какой темперамент, какое тело… А если бы вы видели, как она мила в лифе…

— Мне кажется, пан Мрачевский… — сурово возразил я.

— Я ведь ничего не сказал, — ответил он, потирая руки, как мне показалось, весьма плотоядно. — Я ничего не сказал… Наивысшая добродетель в мужчине, пан Жецкий, это скромность, особенно при более близких отношениях…

Я оборвал его, чувствуя, что, если этот молокосос станет продолжать в том же тоне, я буду вынужден выразить ему свое презрение. Ну и времена, ну и люди! Да если бы я имел счастье обратить на себя внимание какой-нибудь дамы, то не осмелился бы даже думать об этом, а не то что болтать на весь магазин, да еще такой большой, как наш.

А когда вдобавок Мрачевский выложил мне свою теорию об общих женах, мне сразу пришло в голову:

«Стах нигилист и Мрачевский нигилист… Если первый женится, то второй не замедлит предъявить свои нрава на его жену… А ведь жаль такой женщины для какого-то Мрачевского!»

В конце мая Вокульский решил освятить наш новый магазин. При этой оказии я наблюдал, как изменились нравы.

Во времена моей молодости купцы тоже святили лавки, заботясь о том, чтобы церемонию совершал почтенный и благочестивый ксендз, чтобы была настоящая святая вода, новое кропило и сильный в латыни органист. А по окончании обряда, во время которого кропили и освящали чуть ли не каждый

шкаф и чуть не все товары, на пороге лавки прибивали подкову для привлечения покупателей и лишь тогда принимались за закуску, состоявшую обычно из колбасы, рюмки водки и пива.

Теперь же (что сказали бы на это ровесники старого Минцеля?) прежде всего спрашивают: сколько потребуется поваров и лакеев? Потом: сколько заказать шампанского и венгерского? И еще: какой приготовить обед? Сейчас обед — самая важная часть торжества, поскольку и приглашенные интересуются не тем, кто будет святить, а что подадут к столу.

Накануне церемонии влетел к нам в магазин какой-то коротенький потный субъект, у которого — так и не сумею сказать — то ли воротничок испачкался о шею, то ли наоборот. Он вытащил из потертого пиджачишки толстый блокнот, надел на нос замусоленное пенсне и принялся расхаживать по комнатам с таким видом, что я просто встревожился.

«Что это, черт побери, думаю, неужто кто-нибудь из полиции, или, может, судебный исполнитель описывает нашу движимость?»

Дважды подходил я к нему, намереваясь как можно вежливее спросить, что ему угодно. В первый раз он буркнул: «Прошу не мешать мне», — а во второй раз бесцеремонно оттолкнул меня.

Изумление мое возросло, когда я увидел, что некоторые из наших кланялись ему чрезвычайно любезно, потирая при этом руки, словно по меньшей мере он был директором банка, и давали ему все требуемые объяснения.

«Ну, — сказал я себе, — не похоже, чтобы этот горемыка был из страхового общества, туда не принимают таких оборванцев…»

Наконец Лисецкий шепнул мне, что господин этот-очень известный репортер и что он напишет про нас в газетах. У меня потеплело на сердце при мысли, что я, быть может, увижу в печати свою фамилию, которая доселе только однажды фигурировала в «Полицейской газете», когда я потерял сберегательную книжку. В тот же миг я заметил, что в этом человеке все было величественно: большая готова, большой блокнот, даже заплатка на левом сапоге отличалась необычайными размерами.

А он все ходил да ходил по комнатам, надутый как индюк, и все писал да писал… Но вот он заговорил:

— Не было ли у вас недавно какого-нибудь происшествия? Небольшого пожара, кражи, злоупотребления, скандала?..

— Боже упаси! — осмелился я заметить.

— Жаль, — отвечал он. — Лучшей рекламой для магазина было бы, если бы, скажем, кто-нибудь здесь повесился.

Я перепугался, услышав такое пожелание.

— Ваша милость, — робко заметил я, кланяясь, — не соизволите ли выбрать себе какую-нибудь вещичку, так мы безо всяких отошлем на дом…

— Взятка?.. — спросил он, взглянув на меня свысока, будто статуя Коперника. — Мы имеем обыкновение покупать то, что нам нравится, — прибавил он, — а подарков ни от кого не берем.

Он надел посреди магазина свою засаленную шляпу и, сунув руки в карманы, вышел вон, как министр. Даже с другой стороны улицы была видна заплатка на его сапоге.

Но возвращаюсь к церемонии освящения.

Главное торжество, то есть обед, состоялось в большом зале Европейской гостиницы. Зал был убран цветами, столы составлены в форме огромной подковы, был заказан оркестр, и в шесть часов вечера собралось более полутораста человек. Кого-кого там только не было! Главным образом купцы и фабриканты из Варшавы, из провинции, из Москвы — да что! Даже из Вены и Парижа! Пожаловали также два графа, один князь и изрядное количество помещиков. О напитках и говорить нечего, ибо неизвестно, чего было больше — листьев ли на растениях, украшавших зал, или бутылок.

Удовольствие это обошлось нам более чем в три тысячи рублей, зато зрелище такого множества обедающих было поистине внушительно. Когда же в наступившей тишине встал князь и выпил за здоровье Стася, когда заиграл оркестр не помню уж что, но очень миленькую вещицу и сто пятьдесят человек гаркнули: «Да здравствует!» — у меня на глазах выступили слезы. Я подбежал к Вокульскому и, обняв его, прошептал:

— Видишь, как все тебя любят…

— Не меня, а шампанское, — ответил он.

Я заметил, что тосты его ничуть не трогают, он даже не повеселел, хотя один из ораторов (наверно, писатель, потому что болтал долго и без всякого смысла) сказал — не знаю только о себе или о Вокульском, — что это прекраснейший день в его жизни.

Заметил я также, что Стах больше всего льнет к пану Ленцкому, который, говорят, до своего банкротства бывал при европейских дворах… Вечно эта несчастная политика!..

Вначале пиршество протекало весьма торжественно; то и дело кто-нибудь из гостей брал слово и говорил, говорил, словно хотел языком отработать за выпитые вина и съеденные блюда. Но чем больше пустых бутылок убирали со стола, тем быстрее улетучивалась из этого собрания торжественность, а под конец поднялся такой невообразимый гам, что он заглушил оркестр, игравший рядом.

Я был зол как черт, и мне захотелось выругать кого-нибудь, хотя бы Мрачевского. Однако, отведя его в сторонку, я только и мог сказать:

— И для чего все это?..

— Для чего?.. — переспросил он, уставясь на меня осоловелыми глазами. — А для панны Ленцкой…

— Да вы рехнулись! Что для панны Ленцкой?..

— Ну… все эти торговые общества… и магазин… и обед… Все для нее… Из-за нее же я из магазина вылетел… — лепетал Мрачевский, опираясь на мое плечо, так как уже не держался на ногах.

— Что? — говорю я, видя, что он совершенно пьян. — Из-за нее вы из магазина вылетели, так, может быть, из-за нее же вы и в Москву попали?

— Ясное… ясное дело! Она только замолвила словечко, одно… маленькое словечко… и я получил на триста рублей больше в год… Рыбка делает с нашим стариком все, что ей вздумается.

— Ступайте-ка спать, — сказал я.

— А вот и не пойду я спать!.. Я пойду к моим друзьям… Где мои друзья? Они бы скорее управились с этой рыбкой… не водила бы она их за нос, как нашего… Где они, где мои друзья? — заорал он во все горло.

Разумеется, я велел отвести его наверх, в номер. Однако же смекнул, что он прикинулся пьяным, чтобы меня одурачить.

К полуночи зал был похож не то на мертвецкую, не то на больницу: то и дело приходилось кого-нибудь тащить в номер или на пролетку. Наконец я разыскал доктора Шумана, который был почти трезв, и увел его к себе — напоить чаем.

Доктор Шуман — тоже иудей, но это необыкновенный человек. Он даже собирался креститься, оттого что влюбился в христианку, только она умерла, и он бросил эту затею. Говорят, он даже травился с горя, однако его спасли. Сейчас он никого не лечит и, имея порядочное состояние, занимается какими-то исследованиями не то людей, не то их волос. Сам он маленький, желтый, а взгляд у него такой проницательный, что трудно от него что-нибудь утаить. Со Стахом они давнишние друзья, и, я полагаю, он должен знать все его тайны.

После этого шумного обеда я как-то весь растревожился и надеялся вызвать Шумана на откровенный разговор. Если он и сегодня ничего мне не расскажет о Стахе, то я, верно, никогда уже о нем ничего не узнаю.

Когда мы пришли ко мне на квартиру и нам подали самовар, я заговорил:

— Скажите мне, доктор, только чистосердечно: что вы думаете о Стахе? Он очень меня беспокоит. Я свидетель тому, что он уж год как пускается на всякие авантюры… То поездка в Болгарию, то новый магазин… торговое общество… экипаж. В характере его произошла странная перемена…

— Никакой перемены я не вижу, — возразил Шуман. — Стах всегда был человеком действия, и если что-нибудь западет ему в голову или в сердце, он непременно это осуществляет. Решил он поступить в университет — и поступил,

решил нажить состояние — и нажил. А если сейчас он задумал какую-то глупость, то опять-таки не отступится и сделает основательную глупость. Такой уж у него характер.

— И в то же время, — заметил я, — в поведении его, по-моему, много противоречий…

— Ничего удивительного, — прервал меня доктор. — В нем сочетаются два человека: романтик эпохи пятидесятых годов и позитивист семидесятых. То, что со стороны кажется противоречивым, на самом деле вполне последовательно.

— А не впутался он в какую-нибудь новую историю? — спросил я.

— Ничего не знаю, — сухо отвечал Шуман. Я замолчал и, подумав, снова спросил:

— Что же с ним в конце концов будет?

— Плохо будет, — сказал он, подняв брови и переплетая пальцы рук. — Такие люди, как он, либо все подчиняют себе, либо, наткнувшись на непреодолимое препятствие, разбивают себе башку. До сих пор ему везло, но… ведь нет человека, которому в жизненной лотерее доставались бы одни выигрыши…

— Итак…

— Итак, мы можем оказаться свидетелями трагедии, — закончил Шуман.

Он допил стакан чаю с лимоном и пошел домой.

Всю ночь я не мог заснуть. Что за ужасное пророчество в день триумфа!

Нет! Наш старый господь бог знает больше Шумана; он не допустит, чтобы Стась пропал за зря…»

#### Глава одинадцатая. Старые мечты и новые знакомства

Пани Мелитон прошла суровую жизненную школу, которая научила ее пренебрегать общественным мнением.

Во времена ее юности все в один голос твердили, что красивая и благонравная барышня и без приданого может выйти замуж. Была она и благонравна, и красива, однако замуж не вышла. Потом все в один голос твердили, что образованная гувернантка легко может снискать привязанность своих питомцев и уважение их родителей. Была она гувернанткой, и весьма образованной, и даже увлекалась своим делом, но, несмотря на это, питомцы изводили ее всевозможными каверзами, а родители унижали ее достоинство — от завтрака до самого ужина. Она прочитала множество романов, и во всех без исключения рассказывалось, что влюбленные князья, графы и бароны — благороднейшие люди, имеющие обыкновение предлагать бедным гувернанткам руку в обмен на сердце. Случилось так, что она отдала свое сердце молодому и благородному графу, однако же руки его не получила.

Лишь на четвертом десятке она вышла замуж за пожилого гувернера, Мелитона, единственно с той целью, чтобы поддержать морально человека, который очень

не прочь был выпить. Однако же после свадьбы молодожен запил еще сильнее. А за моральную поддержку частенько поколачивал жену палкой.

Когда он умер (чуть ли не под забором), пани Мелитон проводила супруга на кладбище и, удостоверившись, что он надежно зарыт, завела собачку, ибо вокруг все опять в один голос твердили, что собака — самый преданный друг человека. И действительно, собака была преданной до тех пор, пока не взбесилась и не покусала прислугу, после чего сама пани Мелитон тяжело захворала.

Полгода пролежала она в больнице, в отдельной палате, одинокая и забытая всеми — и питомцами, и их родителями, и графами, которым отдавала она свое сердце. Времени для размышлений у нее было достаточно, и когда она вышла из больницы, худая, состарившаяся, с поседевшими и поредевшими волосами, знакомые в один голос заявили, что болезнь изменила ее до неузнаваемости.

— Я поумнела, — отвечала им пани Мелитон.

Сама она гувернанткой больше не служила, а лишь рекомендовала их другим: о замужестве уже не помышляла, а сватала других; сердца своего никому не дарила, но у себя в квартире устраивала свидания влюбленным. Так как ни одной услуги она не оказывала безвозмездно, у нее завелись небольшие деньги, на которые она и жила.

В начале своей новой карьеры пани Мелитон была настроена мрачно и даже цинично.

— Ксендз, — говорила она лицам, пользовавшимся ее доверием, — получает доход со свадьбы, а я — с обручения. Граф… берет деньги за случку лошадей, а я — за то, что знакомлю людей.

Со временем она стала воздержаннее на язык, а иногда даже позволяла себе морализировать, ибо заметила, что высказывание общепринятых взглядов и суждений благоприятно влияет на повышение доходов.

Пани Мелитон давно была знакома с Вокульским. Она охотно посещала публичные зрешща, любила следить за людьми и очень скоро подметила, что Вокульский что-то слишком уж благоговейно смотрит на панну Изабеллу. Сделав это открытие, она только пожала плечами: что ей толку в том, что галантерейный купец влюбился в панну Ленцкую? Другое дело, если бы ему приглянулась дочь купца или фабриканта, тогда пани Мелитон могла бы начать сватовство… А так…

Но когда Вокульский привез из Болгарии состояние, о котором рассказывали чудеса, пани Мелитон сама завела с ним разговор о панне Изабелле, предложив свои услуги. Между ними установилось молчаливое соглашение: Вокульский щедро платил, а пани Мелитон доставляла ему всевозможные сведения о семействе Ленцких и их высокопоставленных знакомых. При ее же посредничестве Вокульскому удалось приобрести векселя Ленцкого и серебро панны Изабеллы.

По этому случаю пани Мелитон пожаловала на квартиру к Вокульскому и принесла ему свои поздравления.

— Разумно, очень разумно вы беретесь за дело, — говорила она. — Правда, от серебра и сервиза пользы будет немного, зато скупка векселей — это мастерский ход… Сразу виден купец!

Услышав такую похвалу, хозяин открыл письменный стол, порылся в нем и достал пачку векселей.

— Они? — спросил Вокульский, показывая пани Мелитон бумаги.

— Они самые! Не отказалась бы я от такой суммы… — заметила она, вздохнув.

Вокульский взял пачку, обеими руками и разорвал ее пополам.

— Что, по-купечески? — спросил он.

Пани Мелитон с любопытством посмотрела на него и, покачав головой, пробормотала:

— Жаль мне вас.

— Почему же, если позволите…

— Жаль, — повторила она. — Я сама женщина и знаю, что женщин завоевывают не жертвами, а силой.

— Так ли?

— Силой красоты, здоровья, богатства…

— Ума, — добавил в тон ей Вокульский.

— Не столько — ума, сколько кулака, — возразила пани Мелитон и язвительно усмехнулась. — Я хорошо знаю свой пол и не раз имела случай посочувствовать мужской наивности.

— Насчет меня прошу не трудиться.

— Вы думаете, не придется? — спросила она, глядя ему в глаза.

— Милостивая государыня, — ответил Вокульский, — если панна Изабелла такова, какой она мне представляется, то, может быть, когда-нибудь она оценит мое чувство. А если нет, я всегда успею разочароваться…

— Чем раньше, тем лучше, пан Вокульский, тем лучше, — сказала она, вставая с кресла. — Поверьте мне, легче выбросить из кармана тысячу рублей, чем одну привязанность из сердца. Особенно если она уже пустила корни. Кстати, не забудьте повыгоднее поместить мой капиталец, — прибавила она. — Вы не стали бы рвать в клочки несколько тысяч, если бы знали, как трудно подчас их заработать.

В мае и июне визиты пани Мелитон участились, к великому огорчению Жецкого, подозревавшего какой-то заговор. И он не ошибался. Заговор действительно существовал, но направлен он был против панны Изабеллы; старая дама

доставляла Вокульскому важные сведения, касавшиеся, однако, исключительно панны Ленцкой. Например, она извещала его, в какие дни графиня собирается ехать со своею племянницей в Лазенковский парк.

В таких случаях пани Мелитон забегала в магазин и, получив вознаграждение в виде какой-нибудь вещицы, ценою от пяти до двадцати рублей, сообщала Жецкому день и час…

Странно проходило для Вокульского ожидание: узнав, что завтра дамы будут в Лазенках, он уже накануне терял спокойствие. Становился равнодушен к делам, рассеян; ему казалось, что время стоит на месте и что завтрашний день никогда не наступит. Ночью его преследовали дикие видения; иногда, не то во сне, не то наяву, он шептал:

— Что же это в конце концов такое?.. Пустота… Ах, какой же я глупец…

Однако когда рассветало, он боялся выглянуть в окно, чтобы не увидеть пасмурное небо. И снова время до полудня тянулось так, что, кажется, в этом промежутке могла бы уместиться вся его жизнь, отравленная сейчас ужасной горечью.

«Неужели это любовь?» — с отчаянием спрашивал он себя.

В полдень, охваченный нетерпением, он приказывал запрягать и ехал. Поминутно казалось ему то, что навстречу едет экипаж графини, уже возвращающейся с прогулки, то, что его лошади, которые так и рвались вперед, плетутся невыносимо медленно.

Приехав в Лазенки, он выскакивал из экипажа и бежал к пруду, где обычно прогуливалась графиня, любившая кормить лебедей. Приходил он всегда слишком рано: обливаясь холодным потом, валился на первую попавшуюся скамью и долго сидел не двигаясь и не отрывал глаз от дворца, забыв обо всем на свете.

Но вот в конце аллеи показывались две женские фигуры, одна в черном, другая в сером. Вокульскому кровь бросается в лицо.

— Они! Заговорят ли хоть со мною?

Он вставал со скамьи и шел им навстречу, как лунатик, едва дыша. Да, это панна Изабелла; она ведет под руку тетку и о чем-то с нею разговаривает.

Вокульский всматривается в нее и думает:

«Ну, что в ней необыкновенного? Не лучше других. Право же, я напрасно схожу по ней с ума…»

Он кланялся, дамы отвечали на его поклон. Он шел дальше, не оборачиваясь, чтобы не выдать себя. Наконец оглядывался: дамы исчезали среди зелени.

«Вернусь, — думает он, — взгляну еще раз… Нет, неудобно!»

Был миг, когда он почувствовал, что сверкающая поверхность пруда притягивает его с неодолимой силою.

«Ах, если б знать, что смерть — это забвение… А если это не так? Нет, природа не знает милосердия… Разве не подло вливать в жалкое человеческое сердце беспредельную муку и даже не утешить его тем, что в смерти оно найдет небытие?»

Почти в то же время графиня говорила панне Изабелле:

— Знаешь, Белла, я все более убеждаюсь, что деньги не приносят счастья. Этот Вокульский сделал прекрасную, по его положению, карьеру — и что же? Он больше не работает в магазине, а скучает в Лазенках. Ты заметила, какое у него скучающее выражение лица?

— Скучающее? — повторила панна Изабелла. — Мне оно кажется прежде всего комичным.

— Я этого не заметила, — удивилась графиня.

— Ну… неприятным, — поправилась панна Изабелла.

Вокульский никак не решался уйти из парка. Он ходил взад и вперед по другую сторону пруда, издали следя за мелькающим среди зелени серым платьем. Наконец он разобрал, что следит уже за двумя серыми платьями и за одним голубым и что ни одно из них не принадлежит панне Изабелле.

«Я феноменально глуп», — подумал он.

Но это ему ничуть не помогло.

Однажды, в первой половине июня, пани Мелитон уведомила Вокульского, что завтра в полдень панна Изабелла будет на прогулке с графиней и председательшей. Это незначительное событие могло сыграть весьма важную роль.

После той памятной пасхи Вокульский несколько раз навещал председательшу и имел возможность убедиться, что старушка очень к нему благоволит. Он выслушивал ее повествования о былых временах, говорил с нею о своем дядюшке и даже окончательно условился насчет памятника на его могиле. Однажды, неизвестно как и почему, в их разговор неожиданно вплелось имя панны Изабеллы; Вокульский был захвачен врасплох и не мог скрыть своего волнения — он изменился в лице, голос его задрожал.

Старушка приставила к глазам лорнет и, вглядевшись в Вокульского, спросила:

— Показалось мне или в самом деле панна Ленцкая тебе не безразлична?

— Я почти не знаю ее… Говорил с нею всего один раз в жизни, — смущенно оправдывался Вокульский.

Председательша глубоко задумалась и, покачав головой, шепнула:

— Ага…

Вокульский попрощался, но это «ага» запало ему в память. Во всяком случае, он был уверен, что председательша не настроена к нему враждебно. И вот не прошло и недели после этого разговора, как он узнал, что председательша едет кататься в парк с графиней и панной Изабеллой. Неужели она узнала, что дамы его там встречают? Может быть, она хочет их ближе познакомить?

Вокульский взглянул на часы: было три часа дня.

«Итак, завтра, — подумал он, — через… двадцать четыре часа… Нет, меньше… Через сколько же?..»

Но сколько пройдет часов от трех до часу следующего дня, он не мог сосчитать. Его охватило беспокойство, он не стал обедать; фантазия его рвалась вперед, но трезвый рассудок ее сдерживал.

«Увидим, что будет завтра. А вдруг польет дождь или какая-нибудь из дам захворает?»

Он выбежал на улицу и, бесцельно блуждая, повторял:

«Ну, увидим, что будет завтра… А может быть, они пройдут мимо!.. В конце концов панна Изабелла — красивая девушка, допустим даже необыкновенно красивая, но все же она обыкновенная девушка, а не сверхъестественное существо. Тысячи не менее красивых разгуливают по свету, и я не собираюсь цепляться руками и зубами за одну юбку. Она оттолкнет меня? Хорошо!.. С тем большей охотой я упаду в объятия другой».

Вечером он отправился в театр, но ушел после первого акта. Снова слонялся по городу, но куда бы ни шел, его всюду преследовала мысль о завтрашней прогулке и смутное предчувствие, что завтра ему удастся приблизиться к панне Изабелле.

Прошла ночь, за ней и утро. В двенадцать часов он велел запрягать. Написал записку в магазин, что придет позже, изорвал пару перчаток. Наконец появился слуга.

«Экипаж подан», — подумал Вокульский и потянулся за шляпой.

— Князь! — доложил слуга.

У Вокульского потемнело в глазах.

— Проси.

Вошел князь.

— Здравствуйте, пан Вокульский, — воскликнул он. — Вы собираетесь ехать? Наверное, на склады или на вокзал. Только из этого ничего не выйдет. Я арестую вас и заберу к себе. И буду даже столь неучтив, что попрошусь к вам в экипаж, потому что своего не взял. Однако я уверен, вы мне все простите за великолепные новости.

— Не изволите ли присесть, князь?

— На минуточку. Вообразите, — продолжал князь, садясь, — я до тех пор приставал к нашей братии господам… правильно ли я выразился?.. до тех пор донимал их, пока наконец несколько человек не согласились прийти ко мне и выслушать ваш проект относительно компании. Итак, я немедленно забираю вас, вернее — забираюсь вместе с вами ко мне домой.

Вокульский выслушал это с чувством человека, которого изо всех сил швырнули грудью оземь.

Его замешательство не ускользнуло от внимания князя; он усмехнулся, приписав это радости по поводу его визита и приглашения. Ему и в голову не могло прийти, что для Вокульского прогулка в Лазенки была важнее всех князей и торговых компаний.

— Итак, мы готовы? — спросил князь, вставая с кресла.

Еще секунда — и Вокульский сказал бы, что не поедет, что не хочет и слышать ни о каких компаниях. Но в это мгновение у него мелькнула мысль.

«Прогулка — для меня, торговое общество — для нее».

Он взял шляпу и отправился с князем. Всю дорогу ему казалось, будто колеса экипажа едут не по мостовой, а по его собственному мозгу.

«Женщин завоевывают не жертвами, а силой. Пожалуй, даже силой кулака…» — вспомнились ему слова пани Мелитон. Под влиянием этого афоризма он едва не схватил князя за шиворот и не вышвырнул его вон из экипажа. Но искушение длилось только один миг.

Князь украдкой наблюдал за Вокульским и, заметив, что он то краснеет, то бледнеет, подумал:

«Не ожидал я, что доставлю этому славному Вокульскому такое удовольствие. Да, всегда следует протягивать руку новым людям…»

В своей среде князь слыл ярым патриотом, чуть ли не шовинистом; вне аристократического круга он был известен как один из самых достойных граждан. Он очень любил поговорить по-польски и даже по-французски всегда рассуждал только о делах общественных.

Он был аристократом с головы до пят — душой, сердцем и кровью. Он верил, что каждое общество состоит из двух частей: серой толпы и избранных классов. Серая толпа была произведением природы и, может быть, действительно происходила от обезьян, как утверждал вопреки священному писанию Дарвин. Однако происхождение избранных классов было более возвышенно, и их предками были если не сами боги, то по меньшей мере герои, которые им сродни, — Геркулес, Прометей или — на худой конец — Орфей.

У князя был во Франции кузен, граф (в высшей степени отравленный ядом демократизма), который подшучивал над неземным происхождением аристократии.

— Дорогой мой, — говаривал он, — мне кажется, ты не вполне разбираешься в вопросах благородного происхождения. Что такое аристократический род? Это род, предки которого были гетманами, или сенаторами, или воеводами, иначе говоря, по-теперешнему — маршалами, членами верхней палаты либо префектами департаментов. Ну, а этих господ мы знаем; нет в них ничего необыкновенного… Они едят, пьют, дуются в карты, волочатся за женщинами, залезают в долги — как и все смертные, причем нередко бывают еще более глупы.

Лицо князя в таких случаях покрывалось красными пятнами.

— Приходилось ли тебе встречать, — возражал он, — префекта или маршала с таким величественным выражением лица, какое мы видим на портретах наших предков?

— Что ж тут удивительного? — смеялся зараженный демократизмом граф. — Художники придавали портретам выражения, даже не снившиеся их оригиналам, точно так же как знатоки геральдики и историки распространяли о них неправдоподобные легенды. Все это, милый мой, враки. Это только декорации и костюмы, которые одного Войтека превращают в князя, а другого в батрака. В действительности и тот и другой — лишь скверные лицедеи.

— Против глумления, мой милый, бесполезно спорить! — возмущался князь и убегал к себе. Он ложился на козетку и, закинув руки за голову, глядел в потолок, и перед его взором проходили фигуры сверхчеловеческого роста, наделенные сверхъестественной силой, отвагой, умом и бескорыстием. Это и были их предки, его и графа, только граф почему-то отрекался от них. Неужели у него в крови есть какая-нибудь примесь?

Простыми смертными князь не только не пренебрегал, но даже напротив: относился к ним весьма благожелательно, часто соприкасался с ними и интересовался их нуждами. Он мнил себя одним из прометеев, на коих в известной мере лежит почетный долг — доставлять этим бедным людям огонь с неба на землю. К тому же и религия предписывала сострадание к малым сим, и нередко князь заливался краской стыда при мысли, что большая часть высшего общества предстанет пред божиим судом, не имея подобных заслуг.

Итак, безупречной совести ради, он ходил на всевозможные заседания и даже устраивал их у себя, жертвовал четвертные и сотенные билеты на всевозможные общественные предприятия, а главное — постоянно скорбел о несчастиях своей отчизны и каждое выступление заканчивал фразой:

— Поэтому, господа, подумаем в первую очередь о том, как поднять несчастную нашу отчизну…

И, произнося эти слова, он чувствовал, как с сердца его сваливается тяжесть — тем большая, чем больше было у него слушателей или чем больше рублей он вложил в общественное дело.

Созывать заседания, поощрять общественные мероприятия и сокрушаться, неустанно сокрушаться над судьбой несчастной отчизны — вот в чем, по его мнению, заключались обязанности гражданина. Если бы, однако, его спросили, посадил ли он в своей жизни хоть одно деревце, чтобы тень его защищала людей и почву от зноя, сбросил ли хоть с дороги камень, сбивавший копыта лошадям,

— он бы искренне изумился.

Он чуствовал и мыслил, жаждал и страдал — ради миллионов, но за всю свою жизнь не сделал ничего полезного. Ему казалось, что погрузиться с головой в мысли о нуждах страны несравненно важнее, чем утереть нос сопливому ребенку.

В июне облик Варшавы заметно меняется. Пустовавшие прежде гостиницы заполняются, повышаются цены на номера, на стенах многих домов появляются объявления: «Сдается на несколько недель меблированная квартира». Все извозчики в разъезде, все рассыльные в бегах. На улицах, в садах, театрах и ресторанах, на выставках, в модных лавках и магазинах можно увидеть фигуры, какие не встретишь в другое время. Это загорелые толстяки в синих фуражках, непомерно больших сапогах, тесноватых перчатках и в костюмах, сшитых по вкусу провинциального портного. Их сопровождают стайки дам, не отличающихся ни красотою, ни варшавским шиком, а также множество неуклюжих, с разинутыми ртами детей, от которых так и пышет здоровьем.

Сельские гости приезжают сюда продавать шерсть на ярмарке; иные — на скачки, иные — поглядеть на шерсть и на скачки; те прикатили сюда ради встречи с соседями, которые живут в версте от них, эти — освежиться столичной пылью и мутной варшавской водой, а есть и такие, что промучились дни и ночи в пути, сами не зная зачем.

Именно таким съездом решил воспользоваться князь, чтобы сблизить Вокульского с дворянством.

Князь занимал огромную квартиру во втором этаже собственного дома. Часть ее — кабинет хозяина, библиотека и курительная комната — служила местом мужских собраний, где князь излагал свои или чужие проекты, касавшиеся общественных дел. Это случалось по нескольку раз в году. Последнее заседание было посвящено вопросу о винтовых судах на Висле, причем весьма явственно наметились три партии. Первая, состоявшая из князя и его личных друзей, решительно настаивала на винтовых судах, тогда как другая, мещанская, признавая в основе проект прекрасным считала все же осуществление его преждевременным и не хотела давать на это денег. Третья партия состояла всего из двух человек: некоего инженера, который утверждал, что винтовые суда не могут ходить по Висле, и некоего глухого магната, который на все обращения, адресованные к его карману, неизменно отвечал:

— Нельзя ли погромче, ничего не слышу…

Князь и Вокульский приехали в час, а минут пятнадцать спустя начали сходиться и съезжаться остальные участники совещания. Князь каждого приветствовал с

любезной непринужденностью, затем представлял Вокульского и подчеркивал в списке приглашенных фамилию вновь прибывшего очень длинным и очень красным карандашом.

Одним из первых явился Ленцкий; он отвел Вокульского в сторону и снова стал расспрашивать о целях и значении компании, к которой уже принадлежал всей душой, но все еще никак не мог запомнить, в чем тут, собственно, дело. Между тем другие гости присматривались к чужаку и потихоньку обменивались замечаниями о нем.

— Хорош, — шепнул тучный предводитель, подмигивая в сторону Вокульского, — щетина на голове, как у кабана, грудь — все отдай — мало, острый глаз!.. Уж этот бы на охоте не выдохся!

— А лицо, сударь… — прибавил барон с физиономией Мефистофеля. — Лоб, сударь… усики… эспаньолочка, сударь… Весьма, сударь… весьма… Черты несколько, того, сударь… но все вместе, сударь…

— Посмотрим, каков он окажется в деле, — вставил сутуловатый граф.

— Дэ-э, оборотлив, смел, — словно из погреба отозвался другой граф, с пышными бакенбардами, который сидел в кресле прямо, как жердь, уставясь фарфоровыми глазами прямо перед собой, словно англичанин из «Journal Amusant" ***<«Веселое обозрение» (франц.).>.***

Князь встал с кресла и откашлялся; собрание притихло, благодаря чему можно было услышать, как предводитель заканчивает свой рассказ:

— Глядим мы все на лес, а тут вдруг что-то — прыг под копыта! И вообразите только, милостивый мой государь: борзая бежала на сворке при лошадях и придушила в борозде русака…

Произнося эти слова, предводитель хлопнул себя огромной ладонью по ляжке, из которой в случае необходимости мог бы выкроить для себя секретаря и писаря в придачу.

Князь вторично откашлялся, предводитель смутился и вытер потный лоб фуляровым платком необычайных размеров.

— Милостивые государи, — начал князь. — Я позволил себе обеспокоить вас по поводу некоего… чрезвычайно важного общественного начинания, которое, как все мы чувствуем, должно всегда находиться на страже наших общественных начинаний… я хотел сказать… наших идей… то есть…

Казалось, князь был в затруднении, однако быстро овладел собой и снова заговорил:

— Речь идет о начи… то есть о плане, вернее… о проекте организации общества по содействию торговле…

— Зерном, — подсказал кто-то из угла.

— Собственно говоря, — продолжал князь, — речь идет не о торговле зерном, однако…

— Хлебной водкой, — поспешил добавить тот же голос.

— Да нет же… О торговле, вернее — о содействии торговле между Россией и заграницей товарами… ну, товарами. Что же касается нашего города, то желательно, чтобы он стал центром таковой…

— Какие же товары? — спросил сутуловатый граф.

— Деловую сторону вопроса соблаговолит осветить нам пан Вокульский, человек… человек деловой, — закончил князь. — Однако не забудем, господа, об обязанностях, которые возлагает на нас забота об общественных интересах и наша несчастная отчизна…

— Ей-богу, немедленно вношу десять тысяч рублей, — рявкнул предводитель.

— На что? — спросил граф, изображавший стопроцентного англичанина.

— Все равно!.. — громовым голосом отвечал предводитель. — Я сказал: промотаю в Варшаве пятьдесят тысяч рублей, так пусть же десять тысяч пойдут на благотворительные цели, потому что наш милый князь говорит — ну просто чудо! От души, ей-богу!

— Простите, — вмешался Вокульский, — но речь идет не о благотворительном обществе, а о компании, приносящей верную прибыль.

— Вот именно! — вставил сутуловатый граф.

— Дэ-э… — подтвердил граф-англоман.

— Какой же доход с десяти тысяч? — упирался предводитель. — Я бы по миру пошел при таких доходах.

Сутуловатого графа взорвало.

— Прошу слова по существу вопроса: следует ли пренебрегать небольшими доходами? Это, именно это губит нас, господа! Вот! — кричал он, стуча ногтем по ручке кресла.

— Граф, — сладким голосом прервал его князь, — слово имеет пан Вокульский.

— Дэ-э! — поддержал его граф-англоман, поглаживая свои пышные бакенбарды.

— Итак, просим уважаемого пана Вокульского, — раздался чей-то голос, — чтобы то общественное дело, которое привело нас сюда, в гостеприимный дом князя, он соблаговолил изложить нам с присущей ему ясностью и сжатостью.

Вокульский глянул на человека, признающего за ним ясность и сжатость суждений. Это был прославленный адвокат, друг и правая рука князя; он любил выражаться цветисто, при этом всегда отбивал такт пальцами и прислушивался к собственным фразам, которые ему самому всегда казались блестящими.

— Только чтобы всем нам было понятно, — буркнул кто-то в углу, где сидели дворяне, ненавидевшие магнатов.

— Вам известно, господа, — начал Вокульский, — что Варшава является промежуточной станцией на торговом пути между Западной и Восточной Европой. Тут скапливается и проходит через наши руки часть французских и немецких товаров, предназначенных для России, что могло бы принести нам определенный доход, если бы наша торговля…

— Не находилась в руках евреев, — сказал вполголоса кто-то у стола, где сидели купцы и промышленники.

— Нет, — возразил Вокульский. — Доходы поступали бы к нам в том случае, если б в нашей торговле был определенный порядок.

— С евреями порядка не будет.

— Однако сегодня, — прервал адвокат, — уважаемый пан Вокульский изложит нам возможность вложить христианские капиталы вместо еврейских.

— Пан Вокульский сам допускает евреев в торговлю, — бросил оппонент из купеческого лагеря.

В комнате стало тихо.

— Я ни перед кем не отчитываюсь в том, как веду мои собственные дела, — продолжал Вокульский. — А сейчас я указываю вам, господа, путь к упорядочению торговли Варшавы с заграницей, что составляет первую часть моего проекта и создает один из источников дохода для отечественных капиталов. Другим источником дохода является торговля с Россией. Там имеются дешевые товары, которых нам не хватает. Торговая компания, которая занялась бы этим делом, могла бы получить от пятнадцати до двадцати процентов годовых на вложенный капитал. На первом месте я ставлю ткани…

— Это значит подрывать нашу промышленность, — отозвался оппонент из купеческой группы.

— Меня интересуют не фабриканты, а потребители, — ответил Вокульский.

Купцы и промышленники начали перешептываться, с явным недоброжелательством косясь на Вокульского.

— Вот мы и добрались до общественной стороны дела… — взволнованно воскликнул князь. — Вопрос представляется так: являются ли проекты уважаемого пана Вокульского явлением, благоприятным для страны?.. Прошу вас… — обратился князь к адвокату, чуствуя непреодолимую потребность в поддержке.

— Уважаемый пан Вокульский, — начал адвокат, — соблаговолите объяснить с присущей вам обстоятельностью: не нанесет ли привоз упомянутых тканей из пунктов столь отдаленных ущерб нашим фабрикам?

— Прежде всего, — отозвался Вокульский, — эти так называемые наши фабрики в действительности не наши, а немецкие.

— Ого! — воскликнул оппонент из группы купцов.

— Я готов, — продолжал Вокульский, — немедленно перечислить фабрики, где вся администрация и все высокооплачиваемые рабочие — немцы, где капитал — немецкий, а правление находится в Германии, где, наконец, наш рабочий не имеет возможности совершенствоваться в своем ремесле и является батраком, который плохо оплачивается, подвергается дурному обращению и вдобавок онемечивается…

— Это весьма важно! — заметил сутуловатый граф.

— Дэ-э… — протянул англичанин.

— Ей-богу, я даже разволновался! — вскричал предводитель. — Никогда бы не подумал, что подобная беседа может быть так увлекательна… Сию минуту вернусь…

И он вышел из кабинета, причем пол так и затрещал под его ногами.

— Прикажете перечислить фамилии? — спросил Вокульский.

На этот раз группа купцов и промышленников проявила редкую воздержанность и не потребовала фамилий. Адвокат быстро встал с кресла и, замахав руками, воскликнул:

— Мне кажется, на вопросе об отечественных фабриках можно более не задерживаться. Теперь, уважаемый пан Вокульский, соблаговолите объяснить с присущей вам меткостью, какие выгоды получит от этого проекта…

— Наша несчастная отчизна, — закончил князь.

— Судите сами, господа, — ответил Вокульский, — если бы локоть моего ситца стоил на два гроша дешевле, чем сейчас, то на каждом миллионе купленных локтей население выгадало бы десять тысяч рублей.

— А что такое десять тысяч рублей? — спросил предводитель, который как раз вошел в кабинет и еще не успел разобрать, о чем шла речь.

— Много… очень много!.. — воскликнул сутуловатый граф. — Научимся же наконец ценить и грошовые прибыли.

— Дэ-э… Пенс гинею бережет… — прибавил граф, разыгрывавший англичанина.

— Десять тысяч рублей, — продолжал Вокульский, — могут служить основой благосостояния по меньшей мере двадцати семейств.

— Капля в море, — буркнул один из купцов.

— Но можно посмотреть на это и с другой стороны, — говорил Вокульский,

— которая, правда, интересует только капиталистов. Я располагаю товарами на три или четыре миллиона рублей в год…

— Вот это да! — прошептал предводитель.

— Это не мой личный капитал, — заметил Вокульский, — он значительно скромнее…

— Люблю таких… — сказал сутуловатый граф.

— Дэ-э… — поддакнул англичанин.

— Упомянутые три миллиона составляют мой личный кредит и приносят мне, как посреднику, весьма небольшой процент. Однако заявляю, что, если бы мы не пользовались кредитом, а платили наличными, доход возрос бы до пятнадцати — двадцати процентов, а может, и более. Так вот, эта сторона дела интересна для тех из вас, господа, кто вкладывает свои деньги в банки и получает низкий процент. Ваши деньги пускают в оборот другие и прибыль извлекают для себя. Я же предлагаю вам возможность употребить капиталы непосредственно в дело и увеличить ваши доходы. Я кончил.

— Великолепно! — воскликнул сутуловатый граф. — А нельзя ли все же ознакомиться с деталями?

— Об этом я буду говорить только с членами нашей компании, — ответил Вокульский.

— Вступаю, — сказал сутуловатый граф и подал ему руку.

— Дэ-э, — процедил псевдоангличанин, протягивая Вокульскому два пальца.

— Почтеннейшие! — отозвался гладко выбритый мужчина из группы дворянства, ненавидящего магнатов. — Вы тут говорите о торговле ситцем, которая нас совершенно не интересует. Но, господа, — продолжал он плаксивым тоном, — зато у нас есть зерно в закромах, у нас хлебное вино на складах, и посредники наживаются на нас самым — разрешите уж сказать — бессовестным образом…

Он оглянулся по сторонам, — группа дворянства, презирающего магнатов, зааплодировала.

Лицо князя, сиявшее скромной радостью, в эту минуту озарилось светом истинного вдохновения.

— Так что же, господа! — вскричал он. — Сегодня мы говорим о торговле тканями, но завтра, послезавтра кто запретит нам совещаться по другим вопросам! Итак, предлагаю…

— Ей-богу, чудо как говорит дорогой наш князь! — воскликнул предводитель.

— Послушаем, послушаем! — поддержал его адвокат, всеми силами стараясь показать, что он в восторге от речей князя.

— Итак, господа, — продолжал растроганный князь, — я предлагаю созвать следующие совещания: одно — по вопросу торговли зерном, другое — по вопросу торговли хлебной водкой…

— А кредит для землевладельцев? — спросил кто-то из группы строптивого дворянства.

— Третье — по вопросу о кредитах для землевладельцев, — сказал князь. — Четвертое… Тут он запнулся.

— Четвертое и пятое, — подхватил адвокат, — посвятим разбору общего экономического положения…

— …нашей несчастной отчизны, — закончил князь чуть ли не со слезами на глазах.

— Господа! — возопил адвокат, утирая нос с умиленным видом. — Почтим нашего хозяина, великого гражданина, славнейшего из людей…

— Десять тысяч рублей, ей-бо… — гаркнул предводитель.

— …вставанием! — быстро докончил адвокат.

— Браво! Да здравствует князь!.. — закричали все под аккомпанемент топота ног и грохота отодвигаемых стульев.

Громче всех кричала группа дворянства, презирающего аристократию.

Князь, не в силах дольше сдерживать волнение, принялся обнимать гостей; ему помогал адвокат, целуя всех по очереди и без стеснения проливая слезы. Несколько человек окружили Вокульского.

— Для начала даю пятьдесят тысяч рублей, — заявил сутуловатый граф. — А на будущий год… посмотрим…

— Тридцать, сударь… тридцать тысяч рублей, сударь… Весьма, сударь, весьма! — прибавил барон с физиономией Мефистофеля.

— И я тридцать… дэ-э… — бросил граф-англоман, кивая.

— А я дам в два… в три раза больше, чем… дорогой наш князь! Ей-богу! — заявил предводитель.

Два-три оппонента из купеческого лагеря тоже приблизились к Вокульскому. Они молчали, но их нежные взгляды были стократ красноречивее самых чуствительных слов.

Вслед за ними к Вокульскому подошел молодой человек, тщедушный, с редкой растительностью на лице и с несомненными признаками преждевременной изношенности. Вокульский встречал его в театрах, концертах, да и на улице, всегда на самых лихих извозчиках.

— Марушевич, — с приятной улыбкой представился потасканный молодой человек. — Простите, что я так бесцеремонно знакомлюсь и вдобавок прямо обращаюсь к вам с просьбой…

— Я вас слушаю.

Юноша взял Вокульского под руку и, отведя к окну, заговорил:

— Я сразу выложу карты на стол: с такими людьми, как вы, иначе нельзя. Я беден, но одарен хорошими задатками и хотел бы найти занятие. Вы основали торговое общество. Не могу ли я работать под вашим руководством?

Вокульский пристально поглядел на него. Предложение, которое он услышал, как-то не вязалось с потасканной физиономией и неуверенным взглядом молодого человека. Вокульского покоробило, но он все же спросил:

— Что вы умеете? Какая у вас специальность?

— Специальности, видите ли, я еще не выбрал, но у меня большие способности, и я могу взяться за любое занятие.

— А на какое жалованье вы рассчитываете?

— Тысячу… две тысячи рублей… — ответил юноша в замешательстве.

Вокульский невольно покачал головой.

— Сомневаюсь, — ответил он, — чтобы у нас нашлось место, соответствующее вашим требованиям. Все же как-нибудь загляните ко мне.

Посреди кабинета сутуловатый граф продолжал совещание.

— Итак, милостивые государи, — говорил он, — в принципе мы решили учредить торговое общество по предложению пана Вокульского. Дело, по-моему, очень хорошее, а теперь остается ознакомиться с деталями и составить акт. Приглашаю, господа, всех, кто хочет в нем участвовать, пожаловать ко мне завтра, к девяти вечера.

— Я приду, дорогой граф, ей-богу, — откликнулся тучный предводитель, — да, может, еще приведу тебе несколько литовцев; только скажи на милость, зачем это нам учреждать торговое общество?.. Пусть бы уж торговцы сами…

— Да хотя бы затем, — горячо возразил граф, — чтобы не говорили, будто мы ничего не делаем, только купоны стрижем…

Князь попросил слова.

— Кроме того, — сказал он, — мы имеем в виду еще два общества: по торговле зерном и хлебной водкой. Кто не хочет вступать в первое, может вступить во второе… А потому мы просим уважаемого пана Вокульского принять участие и в других наших совещаниях…

— Дэ-э… — подхватил граф-англоман.

— И соблаговолить, с присущим ему талантом, осветить перед нами вопрос,

— кончил адвокат.

— Сомневаюсь, смогу ли я быть вам полезен, — возразил Вокульский. — Правда, я имел дело с мукой и хлебной водкой, но в исключительных обстоятельствах. Тогда речь шла о больших партиях товара и о спешной доставке, а не о ценах… К тому же я не знаком с местной торговлей зерном…

— Найдутся специалисты, уважаемый пан Вокульский, — прервал его адвокат. — Они сообщат нам детали, которые вы, сударь, только соблаговолите привести в стройный порядок и разъяснить с присущей вам гениальностью.

— Просим… просим!.. — закричали графы, а за ними еще громче дворяне, ненавидящие магнатов.

Было уже около пяти, и собравшиеся начали расходиться. В эту минуту Вокульский заметил пана Ленцкого, возвращающегося из дальних комнат в сопровождении молодого человека, которого он уже видел возле панны Изабеллы в костеле и на приеме у графини. Они подошли к Вокульскому.

— Позвольте представить вам, пан Вокульский, — заговорил Ленцкий, — пана Юлиана Охоцкого. Родня нам… Немножко оригинал, но…

— Я давно уже хотел познакомиться и поговорить с вами, — сказал Охоцкий, пожимая руку Вокульскому.

Вокульский молча посмотрел на него. Молодому человеку не было еще тридцати, и внешность у него действительно была необычной. Чертами лица он несколько напоминал Наполеона I, но Наполеона, витающего в мечтах.

— Вы в какую сторону идете? — спросил Вокульского молодой человек. — Я могу проводить вас.

— Стоит ли вам затруднять себя…

— О, у меня много времени, — отвечал молодой человек.

«Что ему от меня нужно?» — подумал Вокульский, а вслух сказал:

— Мы можем пойти к Лазенкам…

— Прекрасно, — сказал Охоцкий. — Я только на минутку зайду к княгине проститься и догоню вас. Едва он отошел, Вокульским завладел адвокат.

— Поздравляю вас с полной победой, — вполголоса сказал он. — Князь буквально влюблен в вас, оба графа и барон тоже… Оригиналы, как видите, однако же люди с благими намерениями… Им хочется что-нибудь сделать, есть у них и ум и образование, но… не хватает энергии. Болезнь воли, сударь, — весь класс ею заражен… Все у них есть… деньги, титулы, почет, даже успех у женщин, — и потому они ни к чему не стремятся. А без этой пружины, пан Вокульский, они неизбежно станут орудием в руках людей новых и честолюбивых. Мы-то, сударь, еще ко многому стремимся, — прибавил он тише. — Им посчастливилось, что они наткнулись на нас…

Вокульский ничего не ответил, и адвокат, решив, что он изощренный дипломат, пожалел в душе о своей чрезмерной откровенности.

«Впрочем, — подумал он, искоса поглядывая на Вокульского, — если бы он и передал князю наш разговор, что из того? Я скажу, что хотел его испытать…»

«В каких честолюбивых замыслах он меня подозревает?» — мысленно спрашивал себя Вокульский.

Он простился с князем, обещал отныне приходить на все заседания и, выйдя на улицу, отослал экипаж.

«Что этому Охоцкому от меня нужно? — тревожился он. — Конечно, дело касается панны Изабеллы… Может быть, он хочет отпугнуть меня? Глупец… Если она его любит, ему незачем тратить слова — я сам устранюсь… Но если она его не любит, пусть не пытается меня отстранять!.. Кажется, я сделаю когда-нибудь грандиозную глупость — и наверняка из-за панны Изабеллы. Как бы не пал жертвой Охоцкий, было бы жаль малого…»

В подъезде раздались торопливые шаги; Вокульский обернулся и увидел Охоцкого.

— Вы ждали?.. Извините! — сказал молодой человек.

— Пойдем к Лазенкам? — спросил Вокульский.

— Пойдем.

Несколько минут они шли молча, молодой человек был задумчив. Вокульский раздражен. Он решил сразу взять быка за рога.

— Вы близкая родня семейству Ленцких? — спросил он.

— Дальняя, — отвечал молодой человек. — Моя мать имела честь быть урожденной Ленцкой, — сказал он с иронией, — но отец был всего-навсего Охоцкий. Это очень ослабляет родственные связи… С паном Томашем, который приходится мне двоюродным дядюшкой, я не был бы знаком и по нынешний день, если бы он не потерял состояния.

— Панна Ленцкая весьма изысканная особа, — сказал Вокульский, глядя себе под ноги.

— Изысканная? — повторил Охоцкий. — Скажите: богиня!.. Когда я с нею говорю, мне кажется, она могла бы озарить мою жизнь. Только подле нее я обретаю покой и забываю грызущую меня тоску. Но что из того! Я не смог бы сидеть целыми днями в гостиной, а она со мною — в лаборатории.

Вокульский остановился посреди улицы.

— Вы занимаетесь физикой или химией? — удивленно спросил он.

— Ах, чем только я не занимаюсь!.. — ответил Охоцкий. — Физикой, химией, технологией… Я окончил естественный факультет университета и физико-механический в политехникуме. А потому занимаюсь всем; с утра до ночи читаю и работаю, но не делаю ничего. Мне удалось несколько усовершенствовать микроскоп, сконструировать некий новый электрический прибор, некую лампу…

Вокульский все более изумлялся.

— Так вы тот Охоцкий, изобретатель?

— Да. Но какое все это имеет значение? Ровно никакого. Когда я подумаю: вот все, что я сделал в свои двадцать восемь лет, у меня опускаются руки. Мне хочется либо разнести вдребезги мою лабораторию и броситься в омут светской жизни, куда меня увлекают, либо пустить себе пулю в лоб. Элемент Охоцкого, электрическая лампа Охоцкого… Жалкая чепуха!.. С детства рваться куда-то ввысь и застрять на лампе — это ужасно… Достичь зрелых лет и не найти даже следов пути, по которому хотелось бы идти! Тут есть от чего впасть в отчаяние.

Молодой человек умолк и, заметив, что они уже в Ботаническом саду, снял шляпу. Вокульский внимательно поглядел на него и сделал новое открытие. Несмотря на изысканный костюм, молодой человек совсем не казался щеголем; он, видимо, даже не заботился о своей внешности. Волосы его рассыпались в беспорядке, галстук сбился набок, пуговка на жилете отстегнулась. Легко было догадаться, что кто-то тщательно следит за его бельем и костюмом, но сам он обращался с ними небрежно, и эта небрежность, такая необычная и изящная, придавала ему своеобразное обаяние. Все движения его были непроизвольны, размашисты и в то же время прекрасны. Прекрасна была его манера смотреть, слушать (вернее — не слушать) и даже ронять шляпу.

Они поднялись на пригорок, откуда был виден колодец, прозванный «кругляком». Со всех сторон их окружали гуляющие, но Охоцкого нисколько не стесняло их присутствие; указав шляпой на одну из скамеек, он продолжал:

— Я неоднократно читал, что люди, наделенные честолюбием, счастливы. Ложь! Именно недюжинные стремления, которыми я наделен, делают меня смешным и отталкивают от меня близких. Взгляните на ту скамью… Здесь в начале июня сидел я вечером часов около десяти с кузиной и с панной Флорентиной. Как водится, светила луна и пели соловьи. Я был в мечтательном настроении. Вдруг кузина спросила: «Кузен, вы знаете астрономию?» — «Немного». — «Так скажите мне, что это за звезда?» — «Не помню, — отвечал я, — но знаю наверное, что мы никогда не попадем на нее. Человек прикован к земле, как устрица к скале…» В эту минуту во мне проснулась моя идея, вернее мания… Я забыл о прекрасной кузине и начал думать о летательных машинах. А когда я думаю, мне непременно нужно ходить, вот я и встал со скамьи и, не простившись, покинул кузину… На другой день панна Флора назвала меня грубияном, пан Ленцкий оригиналом, а кузина целую неделю не хотела со мной разговаривать… И хоть бы я придумал что-нибудь!.. Так, нет, ничего, буквально ничего, а ведь я готов был поклясться, что не успею дойти от этого холма до колодца, как в голове моей родится хотя бы в общих чертах план летательной машины… Ужасно глупо, не правда ли?..

«Значит, они тут проводят вечера при лунном свете и соловьиных трелях?

— подумал Вокульский и почувствовал нестерпимую боль в сердце. — Панна Изабелла влюблена в Охоцкого, а если… еще не влюблена, то лишь из-за его чудачества. И она права… он прекрасный и необыкновенный человек…»

— Разумеется, — продолжал Охоцкий, — я ни словечком не обмолвился об этом моей тетке, которая имеет обыкновение, вкалывая мне в галстук булавку, всякий

раз приговаривать: «Дорогой Юлек, старайся понравиться Изабелле, это как раз подходящая для тебя жена… Умна и хороша собой, только она сумеет вылечить тебя от твоих фантазий…» А я думаю: «Что это за жена для меня? Если бы она хоть могла мне помогать, тогда еще полбеды… Да разве она покинет гостиную ради моей лаборатории?» И правильно: там ее сфера; птице нужен воздух, рыбе — вода… — Он помолчал. — Какой хороший вечер! У меня сегодня необычайно приподнятое настроение. Однако… что с вами, пан Вокульский?

— Я немного устал, — глухо ответил Вокульский. — Может быть, присядем хотя бы… вот здесь…

Они уселись на склоне холма в конце парка. Охоцкий уперся подбородком в колени и задумался. Вокульский смотрел на него со смешанным чувством восхищения и ненависти.

«Что он — глуп или хитер?.. Зачем он мне все это рассказывает?» — думал Вокульский.

Однако он должен был признать, что и болтливость Охоцкого отличалась той же обаятельной искренностью и порывистостью, как его движения да и весь облик. Они встретились впервые, а Охоцкий уже беседовал с ним так, словно они знали друг друга с детства.

«Пора покончить с этим», — сказал себе Вокульский и, глубоко вздохнув, громко спросил:

— Значит, вы женитесь, пан Охоцкий?..

— Разве только если спячу с ума, — пробормотал молодой человек, пожимая плечами.

— Как? Ведь кузина вам нравится?

— И даже очень, но этого еще мало. Я бы женился на ней, если бы совершенно уверился, что уже ничего не достигну в науке.

В сердце Вокульского сквозь ненависть и восхищение вспыхнула радость. В эту минуту Охоцкий потер лоб, словно очнувшись от сна, поглядел на Вокульского и вдруг сказал:

— Ах да… Я чуть не забыл, у меня к вам важное дело…

«Что ему нужно?» — подумал Вокульский, невольно любуясь умными глазами своего соперника и удивляясь внезапной перемене тона. Казалось, его устами заговорил другой человек.

— Я хочу задать вам вопрос… нет… два вопроса, очень интимных и, может быть, даже щекотливых, — говорил Охоцкий. — Вы не обидитесь?

— Слушаю, — отвечал Вокульский.

И на плахе ему не пришлось бы пережить таких страшных ощущений. Он не сомневался, что дело касается панны Изабеллы и что вот тут, сию минуту, решится его судьба.

— Вы были физиком?

— Да.

— И вдобавок физиком-энтузиастом. Я знаю, сколько вы перенесли, и с давних пор уважаю вас за это. Мало того, скажу больше… В течение последнего года мысль о препятствиях, которые вам приходилось преодолевать, поддерживала во мне бодрость духа. Я говорил себе: «Сделаю по меньшей мере то, что сделал этот человек; а поскольку передо мною нет подобных препятствий, я должен пойти дальше, чем он…»

Вокульский слушал, и ему казалось, что он видит сон или разговаривает с сумасшедшим.

— Откуда вам это известно? — спросил он.

— От доктора Шумана.

— Ах, от Шумана! А к чему вы ведете?

— Сейчас скажу. Вы были физиком-энтузиастом и… в конце концов бросили естественные науки. Так вот, на котором году жизни вы утратили к ним интерес?..

Вокульского словно обухом ударили по голове. Вопрос был настолько неожиданным и неприятным, что он с минуту не мог не только отвечать, но даже собраться с мыслями.

Охоцкий повторил вопрос, зорко вглядываясь в своего собеседника.

— На котором году? — переспросил Вокульский. — Год назад… Сейчас мне сорок пять…

— Значит, до полного охлаждения мне осталось более пятнадцати лет. Это немного ободряет меня, — сказал Охоцкий словно самому себе. И, помолчав, прибавил: — Это один вопрос; теперь второй, только не обижайтесь. В каком возрасте мужчина… становится равнодушным к женщинам?..

Второй удар. Был момент, когда Вокульский готов был схватить молодого человека за горло и задушить. Однако он опомнился и отвечал с бледной улыбкой:

— Я думаю, что никогда… Напротив, чем дальше, тем они кажутся нам желаннее…

— Плохо! — прошептал Охоцкий. — Что ж, посмотрим, кто окажется сильнее.

— Женщины, пан Охоцкий.

— Как для кого, сударь, — заметил молодой человек, опять впадая в задумчивость.

И он заговорил, словно с самим собой:

— Женщины! Подумаешь, важность! Я уже влюблялся, постойте-ка, сколько?.. четыре… шесть… семь… да, семь раз. Это отнимает массу времени и наводит на самые отчаянные мысли. Глупая это вещь — любовь. Знакомишься, влюбляешься, страдаешь… потом тебе надоедает или тебя бросают… да, два раза мне надоело, пять раз меня бросили. Потом встречаешь другую женщину, более совершенную — и она делает то же самое, что и менее совершенные… Ну и подлая же порода зверей эти бабы! Они играют нами, хотя не способны даже понять нас своим ограниченным умишком. Правда, и тигр играет людьми… Подлые, но прелестные создания… ладно, бог с ними! Между тем если человеком завладеет идея, она никогда уж не покинет его и никогда не изменит…

Он положил руку на плечо Вокульскому и, глядя ему в глаза каким-то рассеянным и мечтательным взглядом, спросил:

— А ведь и вы думали когда-то о летательных машинах?.. Не о воздушных шарах, которые легче воздуха, потому что это все чушь, а о полете тяжелой машины, нагруженной и окованной сталью, как броненосец… Понимаете вы, какой переворот во всем мире вызвало бы подобное изобретение?.. Ни крепостей, ни армий, ни границ… Исчезнут народы, зато в каких-то надземных дворцах появятся существа, подобные ангелам или древним богам. Мы уже подчинили себе ветер, тепло, свет, молнию… Так не думаете ли вы, что пришла пора нам самим высвободиться из оков земного притяжения? Это идея нашего века… Многие уже работают над нею, я только недавно ею проникся, но зато она поглотила меня с головы до ног. Что мне тетка со всеми ее советами и правилами хорошего тона? Что мне женитьба, женщины и даже микроскопы, различные приборы и электрические лампы?.. Я свихнусь или… дам человечеству крылья.

— А если вам даже удастся это, что тогда? — спросил Вокульский.

— Слава, которой не достигал еще ни один человек, — отвечал Охоцкий. — Вот моя жена, моя возлюбленная… Будьте здоровы, мне пора…

Он пожал Вокульскому руку, сбежал с холма и исчез между деревьями.

Ботанический и Лазенки уже погружались в вечерний сумрак.

«Безумец или гений? — думал Вокульский, чувствуя, что и сам он находится в состоянии сильного возбуждения. — А если гений?»

Он встал и направился в глубину сада, смешавшись с гуляющими. Небо, нависшее над холмом, с которого он только что спустился, внушало ему какой-то священный ужас.

В Ботаническом саду было людно, по всем аллеям плотными рядами фланировали гуляющие, лишь кое-где этот сплошной поток разбивался на отдельные группы; скамьи прогибались под тяжестью сидевших. Вокульскому то

и дело преграждали дорогу, наступали на пятки, задевали локтями; со всех сторон звучали говор и смех. В Уяздовских Аллеях, у каменной ограды Бельведерского парка, возле решетки со стороны больницы, на самых уединенных дорожках и даже на загороженных тропинках — всюду было шумно и весело. Чем становилось темнее, тем гуще и шумней была толпа.

— Мне уже места не хватает на свете! — пробормотал Вокульский.

Он прошел в Лазенки и там отыскал спокойный уголок. На небе заискрилось несколько звезд. Из аллей доносились шорохи и голоса, от пруда тянуло сыростью. Время от времени над головой его с жужжанием пролетал жук или беззвучно скользила летучая мышь; в глубине парка жалобно попискивала какая-то птичка, тщетно призывавшая друга; с пруда долетали далекий всплеск весел и молодой женский смех.

Навстречу ему шли двое, близко прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали. Они свернули с дорожки и укрылись в тени ветвей. Он подумал с болью и сарказмом:

«Вот они, счастливые любовники! Шепчутся и убегают, как воры… хороши порядки на свете, а? Любопытно, насколько было бы лучше, если б миром управлял Люцифер? А что, если бы сейчас ко мне подошел бандит и убил меня в этом глухом углу?..»

И он представил себе, как приятно, должно быть, когда холодное лезвие пронзает разгоряченное сердце.

«К несчастью, — вздохнул он, — сейчас запрещено убивать других; можно только себя — лишь бы сразу и наверняка. Что ж…»

Мысль о таком верном средстве спасения успокоила его. Постепенно им овладевало некое торжественное состояние духа; он решил, что наступает момент, когда следует отчитаться перед собственной совестью, подвести итог своей жизни.

«Если б я был верховным судьей и меня бы спросили: „Кто достоин панны Изабеллы: Охоцкий или Вокульский?“ — я вынужден был бы признать, что Охоцкий… На восемнадцать лет моложе меня (восемнадцать лет!) и так хорош… В двадцать восемь лет кончил два факультета (я в его возрасте только начинал учиться…) и уже сделал три открытия (я — ни одного!). И вдобавок ко всему — это сосуд, в котором зреет великая идея… Мудреная вещь — летательная машина, но он, несомненно, нашел гениальную и единственно возможную исходную точку для ее изобретения. Летательная машина должна быть тяжелее воздуха, а не легче его, как воздушный шар, ибо все, что летает, начиная от мухи и кончая исполином-ястребом, тяжелее воздуха. У него правильная исходная точка и подлинно творческий ум, что он доказал хотя бы своим микроскопом и лампой; и кто знает, не удастся ли ему построить и летательную машину? А в таком случае он вознесется в глазах человечества выше Ньютона и Бонапарта, вместе взятых… И с ним-то мне состязаться! А если когда-нибудь возникнет

вопрос: кто из нас двоих должен устраниться — неужто я не стану колебаться?.. Что за адская мука говорить себе: ты должен принести себя в жертву человеку в конце концов такому же, как и ты, смертному, подверженному болезням и ошибкам, и главное — такому наивному… Ведь он еще совсем ребенок: чего-чего только не выболтал он мне сегодня!..»

Странная игра случая. Когда Вокульский служил приказчиком в бакалейной лавке, он мечтал о perpetuum mobile — машине, которая бы сама себя приводила в движение. Когда же он поступил в подготовительную школу и понял, что подобная машина — абсурд, самой лелеемой, самой сокровенной мечтой его стало — изобрести способ управления воздушным шаром. То, что для Вокульского было только фантастической тенью, блуждающей по ложным путям, у Охоцкого приняло форму конкретной проблемы.

«Как жестока судьба! — с горечью размышлял он. — Двум людям даны почти одинаковые стремления, но один из них родился на восемнадцать лет раньше, другой — позже; один — в нищете, другой — в достатке; одному не удалось вскарабкаться даже на первую ступень знания, другой легко перескочил через две ступени. Его уже не сметут с пути политические бури, как меня, ему не помешает любовь, в которой он видит лишь развлечение, тогда как для меня, прожившего шесть лет в пустыне, в этом чувстве — небо и спасение… даже больше!.. Вот он и превосходит меня на любом поприще, хотя я одарен теми же чуствами и тем же пониманием действительности, а трудился, уж наверное, больше его!»

Вокульский хорошо знал людей и часто сравнивал себя с ними. И где бы он ни находился, всегда он чувствовал себя чуть-чуть лучше окружающих. Был ли он лакеем, ночи напролет просиживавшим над книгой, или студентом, пробивавшимся к знанию вопреки нужде, или солдатом, шедшим вперед под градом пуль, или ссыльным, который в занесенной снегом лачужке работал над научными изысканиями, — всегда он вынашивал в душе идею, опережавшую современность на несколько лет. А другие жили лишь сегодняшним днем, ради своей утробы или кармана.

И лишь сегодня встретился ему человек, который был выше его, — безумец, собиравшийся строить летательные машины.

«Ну, а я — разве нет у меня сейчас идеи, ради которой я тружусь уже год, добыл состояние, помогаю людям и завоевываю уважение к себе?..

Да, но любовь — это личное чувство; все заслуги, связанные с ним, — словно рыбы, подхваченные водоворотом морского циклона. Если б с поверхности земли исчезла одна женщина, а во мне — память о ней, чем бы я стал? Обыкновенным капиталистом, который со скуки ходит в клуб играть в карты. А Охоцкий одержим идеей, которая всегда будет увлекать его вперед, если только рассудок его не помутится…

Хорошо, ну, а если он ничего не совершит и, вместо того чтобы построить свою машину, попадет в сумасшедший дом? Я же тем временем сделаю нечто реальное;

ну, а микроскоп, какой-то прибор или даже электрическая лампа, наверное, не более важны, чем судьбы сотен людей, которым я обеспечиваю жизнь. Откуда же во мне это сверххристианское уничижение? Еще неизвестно, кто из нас что совершит, а покамест я человек действия, а он мечтатель!.. Нет, подождем с год…»

Год! Вокульский вздрогнул. Ему показалось, что в конце пути, называемого годом, лежит бездонная пропасть, которая поглощает все, оставаясь все такой же пустой…

«Значит, пустота?.. пустота!..»

Вокульский инстинктивно оглянулся по сторонам. Он был в глубине Лазенковского парка, в глухой аллее, до которой не доносилось ни звука. Даже листва огромных деревьев не шелестела.

— Который час? — вдруг спросил чей-то хриплый голос.

— Час?

Вокульский протер глаза. Навстречу ему из мрака вынырнул какой-то оборванец.

— Раз вежливо спрашивают, вежливо и отвечай, — сказал он и подошел ближе.

— Убей меня, тогда сам посмотришь, — ответил Вокульский.

Оборванец попятился. Влево от дороги показалось еще несколько человеческих теней.

— Дураки! — крикнул Вокульский, продолжая идти. — При мне золотые часы и несколько сот рублей… Ну же, я защищаться не стану!..

Тени исчезли среди деревьев, и кто-то вполголоса произнес:

— Вырастет же такой сукин сын, где и не сеяли…

— Скоты! Трусы!.. — кричал Вокульский в исступлении. В ответ ему раздался топот убегающих людей.

Вокульский собрался с мыслями.

«Где я?.. Да, в Лазенках, но в каком месте? Надо пойти в другую сторону…»

Он несколько раз сворачивал и уже не знал, куда идет. Сердце у него забилось сильнее, на лбу выступил холодный пот, и впервые в жизни он испугался темноты и того, что заблудится…

Несколько минут он бежал, задыхаясь, куда глаза глядят; дикие мысли кружились у него в голове. Наконец налево он заметил каменную ограду, за нею здание.

«Ага, оранжерея…»

Он добежал до какого-то мостика, перевел дух и, опершись на барьер, подумал:

«Итак, к чему же я пришел?.. Опасный соперник… расстроенные нервы… Кажется, уже сегодня я мог бы дописать последний акт этой комедии…»

Прямая дорога привела его к пруду, затем к Лазенковскому дворцу. Через двадцать минут он был в Уяздовских Аллеях, вскочил в проезжавшую пролетку и четверть часа спустя был дома.

При виде фонарей и уличного движения Вокульский повеселел; он даже усмехнулся и прошептал:

«Что за бредовые идеи? Какой-то Охоцкий… самоубийство… Ах, что за чушь!.. Проник же я все-таки в аристократическую среду, а дальше видно будет!»

Когда он вошел в кабинет, слуга подал ему письмо, написанное на его собственной бумаге рукою пани Мелитон.

— Эта барыня приходила сегодня цельных два раза, — сказал верный слуга.

— Раз в пять часов, а другой раз — в восемь…

#### Глава двенадцатая. Хождение по чужим делам

Вокульский все еще держал в руках письмо пани Мелитон, припоминая пережитое. В неосвещенной части кабинета ему чудилась темная, густо заросшая часть парка, неясные силуэты оборванцев, собиравшихся на него напасть, а затем холм за колодцем, где Охоцкий поверял ему свои замыслы. Однако стоило ему взглянуть на свет, как туманные образы исчезали. Он видел лампу с зеленым колпаком, груду бумаг, бронзовые статуэтки на письменном столе — и порой ему казалось, что Охоцкий со своими летательными машинами и собственное его отчаяние — все это только сон.

«Какой он гений? — говорил себе Вокульский. — Обыкновенный мечтатель… Да и панна Изабелла — такая же женщина, как другие… Выйдет за меня — хорошо, не выйдет — тоже не умру».

Он развернул письмо и прочел:

«Сударь! Важная новость: через несколько дней продается дом Ленцких, и единственным покупателем будет баронесса Кшешовская, их родственница и злейший враг. Мне доподлинно известно, что она решила заплатить за дом не более шестидесяти тысяч рублей, а в таком случае пропадут остатки приданого панны Изабеллы в сумме тридцати тысяч рублей. Момент весьма благоприятный, потому что панна Изабелла, вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем, охотно согласится на любую другую комбинацию.

Полагаю, что на этот раз Вы не пренебрежете подвернувшимся случаем, как это было с векселями Ленцкого, которые Вы изорвали у меня на глазах. Помните: женщинам так нравится, когда их угнетают, что иной раз для большего впечатления не мешает придавить их еще и ногой. Чем решительнее Вы это сделаете, тем крепче она полюбит Вас. Помните об этом!

Впрочем, Вы можете доставить Белле небольшое удовольствие. Барон Кшешовский, находясь в крайности, продал собственной супруге свою любимую лошадь, которая на днях должна участвовать в скачках; он возлагал на нее

большие надежды. Насколько я разбираюсь в обстоятельствах, Белла была бы очень довольна, если бы к моменту скачек эта лошадь не принадлежала ни барону, ни его жене. Барон был бы сконфужен, что ее продал, а баронесса пришла бы в отчаяние, если бы лошадь выиграла деньги для кого-либо другого. Великосветские взаимоотношения — тонкая штука, все же попытайтесь их использовать. Случай не замедлит подвернуться, так как некто Марушевич, приятель обоих Кшешовских, как я слышала, собирается предложить Вам эту лошадь. Помните же, что женщины подчиняются только тем, кто их крепко держит в руках, в то же время потакая их капризам.

Право, я начинаю верить, что Вы родились под счастливой звездой.

Искренне расположенная А.М.»

Вокульский глубоко вздохнул. Обе новости были важные. Он перечитал письмо, удивляясь грубому стилю пани Мелитон и посмеиваясь над ее замечаниями по адресу прекрасного пола. Держать в руках людей, быть хозяином положения — это было в натуре Вокульского; все и всех готов он был схватить за шиворот, за исключением панны Изабеллы. Она была единственным существом, которому он хотел бы дать полную волю и даже господство над собой.

Он оглянулся: слуга все еще стоял у двери.

— Ступай спать, — сказал он.

— Сейчас пойду, только тут был еще один барин.

— Какой барин?

— Они оставили карточку, вон на столе.

На столе лежала визитная карточка Марушевича.

— Ага… Что же этот барин сказал?

— Да они вроде как бы ничего не сказали. Только справлялись: когда, мол, хозяин бывает дома. А я и говорю: «Часов этак до десяти утра», — а они сказали, что придут завтра в десять, толечко на минутку.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Низко кланяюсь, ваша милость.

Слуга вышел. Вокульский чуствовал себя вполне отрезвевшим. Охоцкий со своими летательными машинами потерял в его глазах прежнюю значительность. Он снова был полон энергии, как в момент выезда в Болгарию. Тогда он отправился за богатством, а теперь может бросить часть его к ногам Изабеллы. Его покоробила фраза в письме пани Мелитон: «…вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем…» Так нет же, никогда она не окажется в таком положении! И выручит ее не какой-то Охоцкий благодаря своей машине, а он, Вокульский… Он ощущал в себе столько сил, что если бы в эту минуту ему на голову обрушился потолок с двумя верхними этажами, он, пожалуй, удержал бы его.

Достав из ящика записную книжку, он занялся подсчетом.

«Скаковая лошадь, — чепуха… Никак не больше тысячи рублей, да и то часть из них, наверное, получу обратно. Дом — шестьдесят тысяч, приданое панны Изабеллы — тридцать тысяч, итого девяносто тысяч. Ничего себе… Почти треть моего состояния. Ну что ж, в любую минуту дом можно продать тысяч за шестьдесят, а то и больше… Только надо будет уговорить Ленцкого, чтобы эти тридцать тысяч он вверил мне, а я буду выплачивать ему ежегодно пять тысяч в качестве дивидендов. Полагаю, что им этого хватит? Лошадь дам берейтору, пусть объездит ее перед скачками… В десять придет Марушевич, в одиннадцать поеду к адвокату… Деньги займу из восьми годовых, — значит, еще семь тысяч двести рублей; а там буду иметь верных пятнадцать процентов… ну, и дом что-нибудь да приносит… Но что скажут мои компаньоны? Да не все ли мне равно! У меня сорок пять тысяч годового дохода, двенадцать — тринадцать тысяч отпадает, остается тридцать две тысячи рублей… Нет, моей жене не придется скучать. В течение года избавлюсь от этого дома, пускай с потерей тридцати тысяч… В конце концов это не потеря, это ее приданое…»

Полночь. Вокульский начал раздеваться. Появилась определенная, ясная цель, и расстроенные нервы успокоились. Он погасил свет, лег, поглядел на занавески, которые раздувал ветер, врывавшийся в открытое окно, и заснул мертвым сном.

Встал он в семь часов в таком бодром и веселом расположении духа, что слуга, заметив это, замешкался в комнате.

— Чего тебе? — спросил Вокульский.

— Мне ничего. А вот сторож, ваша милость, не смеет только беспокоить, а хотел просить вас, барин, в крестные к его младенцу.

— А-а-а! А он спрашивал, хочу ли я, чтобы у него был младенец?

— Он бы спросил, да вы тогда были на войне.

— Ну ладно. Буду ему кумом.

— Так, может, по такому случаю вы пожалуете мне старый сюртук, а то как же я пойду на крестины?

— Хорошо, возьми себе сюртук.

— А приладить по мне…

— Вот дурень, да отвяжись ты… Вели переделать — все что угодно.

— Да мне бы, ваша милость, бархатный воротничок…

— Пришей себе бархатный воротничок и убирайся ко всем чертям…

— Напрасно изволите гневаться, это я не для себя стараюсь, а чтобы вам уважение оказать, — возразил слуга и вышел, бесцеремонно хлопнув дверью.

Он чувствовал, что барин необыкновенно благодушно настроен.

Вокульский оделся и сел за счетные книги, между делом выпив пустого чаю. Закончив подсчеты, он написал одну телеграмму в Москву — о присылке чека на сто тысяч рублей, и другую — в Вену своему агенту, чтобы он задержал некоторые заказы.

Около десяти пришел Марушевич. Молодой человек казался еще более потасканным и робким, чем вчера.

— Вы позвольте мне, — сказал он, здороваясь, — сразу раскрыть свои карты. У меня к вам необычное предложение…

— Готов выслушать самое необычное…

— Баронесса Кшешовская (я дружен с обоими супругами) хочет сбыть с рук скаковую кобылу. Мне сразу пришло в голову, что вы, при ваших связях, может быть пожелаете приобрести такую лошадь… У нее огромные шансы на выигрыш, потому, что, кроме нее, бегут еще только две лошади, значительно более слабые…

— Почему же баронесса не хочет участвовать в скачках?

— Баронесса? Да она ненавидит скачки.

— Зачем же она купила скаковую лошадь?

— По двум причинам. Во-первых, барону нужно было заплатить долг чести и он заявил, что застрелится, если не получит восьмисот рублей, пусть даже за свою любимую кобылу; а во-вторых, баронесса не желает, чтобы ее супруг участвовал в скачках. Вот она и купила у него лошадь. А теперь бедняжка расхворалась со стыда и горя и готова сбыть ее за любую цену.

— А именно?

— Восемьсот рублей, — ответил молодой человек, опуская глаза.

— Где эта лошадь?

— В манеже Миллера.

— А документы?

— Вот они, — повеселел молодой человек и достал пачку бумаг из бокового кармана сюртука.

— Что же, сразу и заключим сделку? — спросил Вокульский, просматривая бумаги.

— Если угодно.

— После обеда пойдем смотреть лошадь?

— О, конечно!

— Напишите расписку, — сказал Вокульский и вынул из ящика деньги.

— На восемьсот?

— Да, да…

Марушевич проворно взял перо и бумагу и принялся писать. Вокульский заметил, что у молодого человека дрожат руки и лицо то краснеет, то бледнеет.

Расписка была написана по всем правилам. Вокульский положил на стол восемь сотенных и спрятал бумаги. Через минуту Марушевич, все еще не оправившись от смущения, вышел из кабинета; сбегая по лестнице, он думал:

«Я подлец, да, подлец… Но в конце концов через несколько дней я верну этой бабе двести рублей и скажу, что их добавил Вокульский, оценив достоинства лошади. Они ведь не встретятся — ни барон с женой, ни этот… купчик… с ними… Велел написать расписку… каков! Сразу виден торгаш и выскочка… Ох, как страшно я наказан за свое легкомыслие!»

В одиннадцать часов Вокульский вышел на улицу, намереваясь отправиться к адвокату.

Но едва он вышел из подъезда, как три извозчика, завидев светлое пальто и белую шляпу, поспешили осадить лошадей. Один въехал дышлом в соседнюю пролетку с откинутым верхом, а третий, желая обогнать первых двух, едва не задавил грузчика, тащившего тяжелый шкаф. Поднялась суматоха, драка, в ход пошли кнуты, засвистели полицейские, собралась толпа — и в результате двое особенно горячих сами отвезли себя в участок в собственных экипажах.

«Дурная примета, — подумал Вокульский и вдруг хлопнул себя по лбу. — Ну и хорош же я! Поручаю адвокату купить для меня дом, а сам не знаю, ни каков он с виду, ни даже, где находится!»

Он вернулся к себе и, как был, в шляпе, с тростью под мышкой, стал перелистывать адрес-календарь. По счастью, он слышал, что дом Ленцких находится где-то возле Иерусалимской Аллеи; прошло все же несколько минут, пока он отыскал в календаре улицу и номер дома.

«Отлично бы я зарекомендовал себя перед адвокатом, — думал он, спускаясь по лестнице. — Убеждаю людей вверить мне свои капиталы, а сам покупаю кота в мешке. Конечно, я бы сразу скомпрометировал себя или… панну Изабеллу».

Он вскочил в проезжавшую пролетку и приказал ехать к Иерусалимской Аллее. На углу он отпустил извозчика и свернул в одну из боковых улиц.

День был прекрасный, на небе ни облачка, на мостовой ни пылинки. Во многих домах окна были уже раскрыты, тут и там их только принимались мыть; игривый ветерок раздувал юбки у горничных, причем можно было заметить, что варшавская прислуга охотнее решается мыть окна в четвертом этаже, чем собственные ноги. Из квартир доносились звуки рояля, со дворов — дребезжание шарманки, монотонные выкрики старьевщиков, разносчиков песка, лоточников и тому подобных предпринимателей. Кое-где у ворот зевал дворник в синей рубахе; несколько собак носились по пустынной мостовой; тут же забавлялись ребятишки, сдирая кору с молодых каштанов, на которых еще не успела потемнеть нежная зелень.

Вообще улица казалась чистенькой, спокойной и веселой. В конце ее даже виднелся клочок неба и купа деревьев; но этот сельский пейзаж, столь чужеродный в Варшаве, загораживали строительные леса и высокая кирпичная стена.

Вокульский шел правой стороной улицы и уже издали заметил слева дом пронзительно-желтого цвета. Варшава отличается обилием желтых домов; пожалуй, это самый желтый город под солнцем. Однако этот дом был желтее всех остальных и наверняка получил бы первый приз на выставке желтых предметов (которая, несомненно, будет устроена в свое время).

Подойдя ближе, Вокульский убедился, что не только он обратил внимание на этот особенный дом; даже псы оставляли тут свои визитные карточки чаще, чем у других стен.

— Черт побери! — выругался он. — Кажется, это он и есть.

Действительно, это был дом Ленцких. Вокульский принялся разглядывать его. Дом был четырехэтажный, с железными балконами, причем каждый этаж был построен в другом стиле. Зато в архитектуре ворот царил единый мотив — веер. Верхняя часть ворот имела форму раскрытого веера, которым могла бы обмахиваться допотопная великанша. На обеих створках виднелись огромные резные прямоугольники, углы которых также были украшены полураскрытыми веерами. Однако главным и самым ценным украшением ворот были выступавшие в центре обеих створок литые шляпки гвоздей таких исполинских размеров, словно именно эти гвозди прикрепляли ворота к дому, а дом к городу.

Подлинную достопримечательность представляла собой подворотня с прогнившим настилом, но зато с живописными ландшафтами по стенам. Там было столько холмов, лесов, скал и потоков, что обитатели дома смело могли никуда не выезжать на лето.

Двор, со всех сторон замкнутый четырехэтажными флигелями, напоминал дно широкого колодца и источал благоухания. В каждом углу было по двери, а в одном из них — две; под окном дворницкой находился мусорный ящик и водопроводный кран.

Вокульский мимоходом заглянул в главный подъезд, куда вели застекленные двери. Лестница была очень грязная, зато рядом с нею, в нише, красовалась нимфа с кувшином над головой и с отбитым носом. Лицо у нимфы было желтое, грудь зеленая, ноги голубые, а кувшин малиновый, ибо, как нетрудно было догадаться, каменная дева стояла против окна с разноцветными стеклами.

— Ну-ну! — буркнул Вокульский тоном, не выражавшим особого восхищения.

В эту минуту из правого флигеля вышла красивая молодая женщина с маленькой девочкой.

— Теперь, мамочка, мы пойдем в сад? — спросила девочка.

— Нет, родненькая. Сейчас мы пойдем в магазин, а в сад после обеда, — ответила дама очень приятным голосом.

Это была высокая шатенка с серыми глазами и классически правильными чертами лица. Они взглянули друг на друга и дама покраснела.

«Откуда я ее знаю?» — подумал Вокульский, выходя на улицу.

Дама оглянулась, но, заметив, что он смотрит на нее, отвернулась.

«Да, — думал он, — я видел ее в апреле у гроба господня, а потом в магазине. Жецкий даже обращал на нее мое внимание, особенно на ее прелестные ножки. Действительно, хороши».

Он опять вошел в подворотню и принялся читать список жильцов.

«Что? В третьем этаже баронесса Кшешовская? Что, что?.. В левом флигеле, во втором этаже — Марушевич? Интересное совпадение! В четвертом этаже студенты… Кто же эта красавица? В правом флигеле, во втором этаже — Ядвига Мисевич, пенсионерка, и Элена Ставская с дочерью. Наверное, она».

Он вошел во двор и стал смотреть по сторонам. Почти везде окна были раскрыты. В заднем флигеле внизу была прачечная, именовавшаяся «Парижской»; с четвертого этажа доносился стук сапожного молотка, пониже на карнизе ворковала пара голубей, а в третьем этаже того же флигеля уже некоторое время раздавались размеренные звуки рояля и чье-то визгливое сопрано выводило гамму:

— А!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..

Вокульский услышал, как высоко над его головою, в четвертом этаже, громкий бас проговорил:

— Ох! Опять она приняла «куссин». Из нее уже полез солитер… Марыся! Иди же скорее сюда!

Одновременно из окна третьего этажа высунулась женская голова и закричала:

— Марыся!.. Сию минуту ступай домой… Марыся!

— Честное слово, это Кшешовская! — сказал Вокульский.

В ту же секунду он услышал подозрительное журчанье: струя воды с четвертого этажа обдала высунувшуюся голову Кшешовской и расплескалась по двору.

— Марыся! Иди сюда! — призывал бас.

— Негодяй! — закричала Кшешовская, задирая голову.

Новая струя воды, хлынувшая из верхнего окна, вынудила ее замолчать. Одновременно оттуда высунулся чернобородый молодой человек и, заметив отпрянувшую физиономию Кшешовской, воскликнул великолепным басом:

— Ах, это вы, сударыня? Простите, пожалуйста… Ему ответили судорожные рыдания из квартиры Кшешовской:

— О, я несчастная! Готова поклясться, что это он, негодяй, натравил на меня этих бандитов… Так он меня благодарит за то, что я вытянула его из нужды!.. Купила его лошадь!..

Тем временем внизу прачки стирали белье, в четвертом этаже стучал молотком сапожник, а в третьем — бренчал рояль и раздавалась визгливая гамма:

— А!..а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..

— Веселенький дом, нечего сказать, — пробормотал Вокульский, стряхивая с рукава капли воды.

Он вышел на улицу, еще раз осмотрел недвижимость, хозяином которой собирался стать, и свернул в Иерусалимскую Аллею. Там он нанял извозчика и поехал к адвокату.

В передней адвоката Вокульский застал нескольких оборванных евреев и старуху, повязанную платком. В открытую дверь налево можно было видеть шкафы, набитые папками, трех делопроизводителей, что-то усердно строчивших, и несколько посетителей, по виду мещан, из которых у одного была физиономия определенно преступная, а у остальных — скучающие.

Посетителей встречал старый седоусый лакей с недоверчивым взглядом. Сняв с Вокульского пальто, он спросил:

— У вас, ваше благородие, длинный разговор?

— Нет, короткий.

Он ввел Вокульского в залу направо.

— Как прикажете доложить?

Вокульский дал ему визитную карточку и остался один. В зале стояла мебель, крытая малиновым бархатом, как в вагонах первого класса, было здесь также несколько резных шкафов с роскошно переплетенными книгами, которых, по-видимому, никто никогда не читал, а на столе — иллюстрированные журналы и альбомы, которые, по-видимому, разглядывали все. В углу стояла гипсовая статуя богини Фемиды с медными весами и грязными коленками.

— Пожалуйте, — пригласил его слуга, приоткрыв дверь.

В кабинете знаменитого адвоката он увидел обитую коричневой кожей мебель, коричневые занавески на окнах и коричневые узоры на обоях. Сам хозяин был в коричневом сюртуке и держал в руке предлинный чубук, оправленный наверху в необычайно массивный янтарь с перышком.

— Я был уверен, милостивый государь, что сегодня увижу вас у себя, — сказал адвокат, пододвигая ему кресло на колесиках и расправляя ногой завернувшийся уголок ковра. — Два слова, — продолжал он, — относительно вкладов в нашу компанию: мы можем рассчитывать тысяч на триста. А что к нотариусу мы пойдем не мешкая и соберем все наличные до последней копейки — в этом уж можете положиться на меня…

Он подчеркивал голосом особо важные слова, пожимая Вокульскому локоть и искоса наблюдая за ним.

— Ах да… торговое общество!.. — повторил клиент, опускаясь в кресло.

— Это уж их дело, сколько они соберут наличными.

— Ну, все-таки капитал… — заметил адвокат.

— С меня хватит и своего.

— Это знак доверия…

— Мне достаточно собственного.

Адвокат замолчал и принялся сосать трубку.

— У меня к вам просьба, — сказал, помолчав, Вокульский.

Адвокат уставился на него, стараясь отгадать, в чем заключается эта просьба, ибо от характера ее зависело, как надлежало слушать. Очевидно, он не обнаружил ничего угрожающего, так как физиономия его приняла серьезное, но вполне дружелюбное выражение.

— Я хочу купить дом, — сказал Вокульский.

— Уже? — спросил адвокат, подняв брови и наклонив голову. — Поздравляю, от души поздравляю. Торговый дом не зря называется домом. Собственный дом для купца — то же, что стремя для всадника: он увереннее держится в делах. Коммерция, не опирающаяся на такую реальную основу, как дом, — это просто мелочная торговля. О каком же здании идет речь, если только вам угодно почтить меня своим доверием?

— На днях продается с аукциона дом пана Ленцкого…

— Знаю, — прервал адвокат. — Постройка основательная, только деревянные части следовало бы постепенно заменить новыми; позади сад… Баронесса Кшешовская даст до шестидесяти тысяч рублей, конкурентов, наверно, не будет, так что мы купим, самое большое, за шестьдесят тысяч.

— Да хоть и за девяносто или еще дороже, — сказал Вокульский.

— Зачем? — подскочил в кресле адвокат. — Баронесса больше шестидесяти тысяч не даст, сейчас никто домов не покупает… Дело совсем неплохое.

— Для меня оно будет неплохим даже за девяносто тысяч…

— Но за шестьдесят пять лучше…

— Я не хочу обижать моего будущего компаньона.

— Компаньона?.. — вскричал адвокат. — Да ведь почтенный пан Ленцкий окончательный банкрот; вы просто повредите ему, заплатив лишние несколько тысяч. Я знаю, как его сестра, графиня, смотрит на это дело… Как только у пана Ленцкого не останется за душой ни гроша, его прелестная дочка, которую мы все обожаем, выйдет за барона или за предводителя…

У Вокульского так дико блеснули глаза, что адвокат умолк. Он пристально поглядел на своего гостя, подумал… и вдруг хлопнул себя по лбу.

— Скажите, почтеннейший, — спросил он, — вы твердо решили дать девяносто тысяч за эту развалину?

— Да, — глухо ответил Вокульский.

— Девяносто минус шестьдесят… приданое панны Изабеллы… — пробормотал адвокат. — Ага!

Физиономия и вся его повадка до неузнаваемости изменились. Он выпустил из трубки целое облако дыма, развалился в кресле и, успокаивающе помахивая рукой, заговорил:

— Мы друг друга понимаем, пан Вокульский. Признаюсь, я еще пять минут назад подозревал вас — сам не знаю в чем, ибо дела ваши чисты. Но сейчас, верьте мне, вы имеете в моем лице доброжелателя и… союзника.

— Теперь я вас не понимаю, — тихо проговорил Вокульский, опуская глаза.

На щеках у адвоката выступил кирпичный румянец. Он позвонил, вошел слуга.

— Не впускать сюда никого, пока я не позвоню.

— Слушаюсь, ваша милость, — отвечал угрюмый лакей.

Они снова остались вдвоем.

— Пан Станислав, — начал адвокат. — Вы знаете, что такое наша аристократия и ее присные… Это несколько тысяч людей, которые тянут соки из страны, мотают деньги за границей, привозят оттуда наихудшие привычки, заражают ими наши якобы здоровые средние классы и сами безнадежно гибнут: экономически, физиологически и морально. Если б удалось заставить их работать, если б скрестить их с другими слоями общества… может, получилось бы что-нибудь дельное, поскольку организация их, несомненно, тоньше нашей. Вы понимаете… скрестить, но… не швырять тридцать тысяч рублей на то, чтобы поддержать их. Так вот, в скрещивании я берусь вам помочь, но транжирить тридцать тысяч — нет, в этом я вам не помощник!

— Я вас совершенно не понимаю, — тихо возразил Вокульский.

— Понимаете, только не хотите довериться мне. Недоверчивость — это великое достоинство, и я не стану вас лечить от нее. Скажу вам только одно: Ленцкий-банкрот может… породниться даже с купцом, в особенности если он дворянин. Но Ленцкий с тридцатью тысячами в кармане…

— Сударь, — прервал его Вокульский, — возьметесь ли вы от моего имени участвовать в аукционе?

— Возьмусь, но свыше того, что предложит Кшешовская, дам не более трех — пяти тысяч. Вы меня извините, но сам с собою я торговаться не могу.

— А если найдется третий претендент?

— Что ж! В таком случае, я и его оставлю позади, чтобы удовлетворить ваш каприз.

Вокульский встал.

— Благодарю вас за откровенность, — сказал он. — Вы правы, но у меня есть свои соображения. Деньги принесу вам завтра… А сейчас — до свиданья.

— Жаль мне вас, — отвечал адвокат, пожимая ему руку.

— Почему же?

— Видите ли, я твердо знаю, что если человек хочет чего-нибудь добиться, он должен победить, придушить противника, а не кормить его из собственной кладовой. Вы совершаете ошибку, которая вас не приблизит, а скорее отдалит от цели.

— Вы ошибаетесь.

— Романтик, романтик! — с улыбкой повторял адвокат.

Вокульский поспешно покинул дом адвоката и, сев в пролетку, велел ехать на Электоральную. Он был расстроен тем, что адвокат проник в его тайну, и тем, что он осуждал его метод действия. Конечно, если хочешь достичь цели, нужно задушить противника; но ведь его добычей должна стать панна Изабелла!..

Он остановил извозчика перед невзрачной лавчонкой, над которой висела черная вывеска с желтоватой надписью: «Вексельная и лотерейная контора С.Шлангбаума».

Лавка была открыта; за конторкой, обитой жестью и отгороженной от публики проволочной сеткой, сидел старый лысый еврей с седой бородой, словно приклеенной к лежавшему на столе «Курьеру».

— Здравствуйте, пан Шлангбаум, — громко сказал Вокульский.

Еврей поднял голову и сдвинул очки со лба на нос.

— Ах, это вы, ваша милость! — ответил он, пожимая руку гостю. — Как, неужели и вам уже нужны деньги?

— Нет, — сказал Вокульский, бросаясь в плетеное кресло перед конторкой. Он постеснялся сразу объяснить, что его сюда привело, и начал с вопроса: — Ну, как дела, пан Шлангбаум?

— Нехорошо! — вздохнул старик. — Стали преследовать евреев. Может, это и к лучшему. Когда нас будут лягать, и травить, и плевать на нас, то, даст бог, опомнятся молодые евреи вроде моего Генрика, которые вырядились в сюртуки и забыли свою веру.

— Да кто вас преследует! — возразил Вокульский.

— Вам нужны доказательства? — спросил еврей. — Вот вам доказательства в этом «Курьере». Позавчера я им послал шараду. Вы умеете разгадывать шарады? Так я послал такую:

Первое и второе — животное с копытом.

Первое и третье — на голове украшение мод.

Целое — на войне грозное и сердитое,

Пусть от него нас бог убережет.

Вы знаете, что это? Первое и второе — это ко-за; первое и третье — это ко-ки, а целое — это козаки. А знаете, что они мне ответили?.. Минуточку…

Он взял «Курьер» и начал читать:

— Ответы редакции. «Пану В.В. Большая энциклопедия Оргельбранда…» Не то… «Пану Мотыльку. Фрак одевается…» Не то… Ах, вот! «Пану С.Шлангбауму! Ваша шарада политическая, но не грамматическая». Скажите на милость: ну что тут политического? Если б я написал шараду про Дизраэли или про Бисмарка — это еще была бы политика, но про казаков — это же не политика, это просто военное.

— Ну, а при чем тут преследование евреев? — спросил Вокульский.

— Сейчас объясню. Вам самому пришлось защищать от преследований моего Генрика, — я все знаю, хотя и не от него. Теперь о шараде. Когда я полгода назад отнес свою шараду к пану Шимановскому[23], так он мне сказал: «Пан Шлангбаум, мы эти шарады печатать не будем, и все же я вам советую: лучше писать шарады, чем брать с людей проценты». А я говорю: «Пан редактор, если вы мне столько дадите за шарады, сколько я имею с процентов, так я буду писать». А пан Шимановский на это: «У нас, пан Шлангбаум, нет таких денег, чтобы заплатить за ваши шарады». Это сказал сам пан Шимановский, слышите? Ну, а сегодня они мне в «Курьере» пишут, что это не политично и не грамматично… Еще полгода назад говорили иначе. А что сейчас в газетах печатают об евреях!

Вокульский слушал истории о преследовании евреев, посматривая на лотерейную таблицу, висевшую на стене, и барабаня пальцами по конторке. Но думал он о другом, все не решаясь приступить к делу.

— Так вы все время занимаетесь шарадами, пан Шлангбаум? — спросил он.

— Я-то что… — ответил старый еврей. — Вот у меня есть внучек от Генрика, ему всего девять лет, и вы бы только послушали, какое он мне написал письмо на той неделе. «Дедушка, — это он пишет, маленький Михась, — мне надо такую шараду:

Первое — буква, второе — с ногтями.

А целое — суконная вещь с помочами.

Дедушка, а когда вы разгадаете, — это он пишет, Михась, — так пришлите мне, дедушка, шесть рублей на эту суконную вещь». Я, пан Вокульский, прочитал и заплакал. Потому что первое — это «б», а «с ногтями» — это руки, а целое —

брюки. Я расплакался, пан Вокульский, что такой умный ребенок из-за упрямства Генрика ходит без брюк. Но я ему ответил: «Мой миленький внучек! Мне очень приятно, что ты научился от дедушки составлять шарады. Но чтобы ты еще научился быть бережливым, так я посылаю тебе на эту суконную вещь только четыре рубля. А если ты будешь хорошо учиться, так я тебе после каникул куплю вот что:

Первое — рот по-немецки, второе — не наше означает.

А целое — покупают ребенку, когда он в гимназию поступает.

Это мунд-ир ***<Mund — рот, ihr — ваш (нем.).>*** вы сразу догадались, правда, пан Вокульский?

— Так, значит, вся ваша семья увлекается шарадами? — спросил Вокульский.

— Не только моя, — отвечал Шлангбаум. — У нас, то есть у евреев, когда собирается молодежь, так они не занимаются, как у вас, танцами, комплиментами, нарядами, пустяками, а они делают вычисления или смотрят ученые книжки, экзаменуют друг друга или решают шарады, ребусы, шахматные задачи. У нас ум всегда занят, и поэтому у евреев головы умные, поэтому, не в обиду вам будь сказано, они весь мир завоюют. Вы все делаете сгоряча, запальчиво, а мы берем умом и терпением.

Последняя фраза поразила Вокульского. Ведь он добивался панны Изабеллы именно умом и терпением… Сердце его наполнилось бодростью, он перестал колебаться и вдруг сказал:

— У меня к вам просьба, пан Шлангбаум…

— Ваши просьбы для меня — все равно что приказ, пан Вокульский.

— Я хочу купить дом Ленцкого…

— Ну, я знаю этот дом. Он пойдет за шестьдесят тысяч, может быть немного дороже.

— Я хочу, чтобы он пошел за девяносто тысяч, и мне нужен человек, который бы поднял цену до этой суммы.

Еврей широко раскрыл глаза.

— Как? Вы хотите заплатить на тридцать тысяч дороже? — спросил он.

— Да.

— Извиняюсь, но я не понимаю. Если бы это ваш дом продавали, а Ленцкий хотел бы его купить, — ну, тогда вам было бы выгодно набить цену. Но если вы покупаете, вам выгодно снизить цену…

— Мне выгодно заплатить дороже.

Старик покачал головой и, помолчав, снова заговорил:

— Если бы я вас не знал, я бы подумал, что вы делаете невыгодную сделку; но ведь я вас знаю, так я себе думаю, что вы делаете… странную сделку. Мало того

что вы вкладываете наличные деньги в стены и теряете на этом процентов десять годовых, так вы еще собираетесь переплатить тридцать тысяч рублей… Пан Вокульский, — прибавил он, беря его за руку, — не делайте такую глупость. Ну, я вас прошу… Я, старик Шлангбаум, прошу вас…

— Поверьте мне, я на этом выгадаю…

Еврей вдруг поднял палец ко лбу. Блеснули глаза и белые, как жемчуг, зубы.

— Ха-ха! — рассмеялся он. — Ну, видно, я уж совсем постарел, если сразу не догадался. Вы дадите пану Ленцкому тридцать тысяч, а он вам поможет заработать сто тысяч… Гит! ***<Хорошо (еврейск.).>*** Я вам найду такого конкурента, который за пятнадцать рубликов набьет цену. Очень приличный господин, католик, только не советую давать ему вперед. Я вам найду еще такую солидную даму, что за десятку тоже будет надбавлять цену. Могу дать еще парочку евреев, по пять рубликов за каждого… Будут такие торги, что вы заплатите за этот дом хоть полтораста тысяч, и никто не догадается, как состряпано дело.

Вокульскому было немножко не по себе.

— Во всяком случае, все останется между нами, — сказал он.

— Пан Вокульский, — торжественно ответил старик, — я думаю, что вам не надо было этого говорить. Ваш секрет — мой секрет. Вы заступились за моего Генричка, и вы не преследуете евреев…

Они попрощались, и Вокульский пошел домой. Его уже ждал Марушевич, и они отправились в манеж — посмотреть купленную лошадь.

Здание манежа состояло из двух строений, соединенных вместе и образующих как бы эполет; в круглом здании помещался манеж, а в прямоугольном — конюшня.

Вокульский приехал как раз во время урока верховой езды. Четыре господина и одна дама гарцевали друг за другом вдоль стен манежа; посредине стоял директор, мужчина с военной выправкой, в синей куртке, белых обтянутых рейтузах и высоких сапогах со шпорами. Это был пан Миллер; он командовал наездниками с помощью длинного бича, которым время от времени подхлестывал заупрямившуюся лошадь, отчего наездники вздрагивали и морщились. Вокульский мимоходом заметил, что мужчина, который держался в седле без стремян, закинув за спину правую руку, был, судя по виду, отчаянный шалопай; один всеми силами старался удержаться на лошади где-то между гривой и крупом, а другой выглядел так, будто собирался вот-вот спрыгнуть с коня и до конца жизни уже не браться за кавалерийские упражнения. Только дама в амазонке ездила смело и ловко, и Вокульский подумал, что женщины вообще, вероятно, не знают неудобных или опасных положений.

Марушевич познакомил своего спутника с директором.

— Я как раз ждал вас. Сию минуту буду к вашим услугам. Пан Шульц!..

Вбежал пан Шульц — белокурый молодой человек, тоже в синей куртке, но в еще более высоких сапогах и в еще более узких рейтузах. Он по-военному щелкнул каблуками, взял в руки символ директорской власти, и Вокульский, еще не покинув манежа, убедился, что Шульц, несмотря на свой юный возраст, пожалуй, орудует бичом энергичней, чем сам директор. Второй господин даже вскрикнул, а третий попросту начал ругаться.

— Сударь, — обратился директор к Вокульскому, — вы принимаете лошадь барона со всеми ее принадлежностями — седлами, попонами и прочее и прочее?

— Разумеется.

— В таком случае, с вас следует шестьдесят рублей за конюшню, которую барон Кшешовский не оплатил.

— Ничего не поделаешь.

Они вошли в денник, светлый, как комната, и даже увешанный коврами, впрочем не очень дорогими. Новенькая кормушка была доверху засыпана зерном, решетка полна сена, пол устлан чистой соломой. Все же зоркий глаз директора заметил какой-то непорядок, и он крикнул:

— Пан Ксаверий, что это за безобразие, тысяча чертей! Может, вы и в своей спальне храните подобные вещи?

Второй помощник директора появился на одно мгновение. Он заглянул, исчез и закричал в коридоре:

— Войцех! Сто тысяч чертей! Сию минуту подчисть, не то я велю положить тебе все это на стол…

— Щепан! Зараза! — откликнулся уже за перегородкой третий голос. — Если ты мне еще раз, сукин сын, бросишь конюшню в таком виде, я тебя заставлю языком это вылизать.

Одновременно раздалось несколько глухих ударов, словно кого-то схватили за голову и стукнули о стену.

Через минуту, глянув ненароком в окно конюшни, Вокульский увидел паренька в куртке с металлическими пуговицами, который выбежал во двор за метлой, а найдя таковую, мимоходом треснул по голове глазевшего с улицы еврея. Вокульский, как физик, подивился новой форме сохранения энергии, при которой гнев директора таким необыкновенным способом настиг существо, находящееся за пределами манежа.

Между тем директор велел вывести кобылу в коридор. Это было чудесное животное, на тонких ногах, с маленькой головой и глазами, глядевшими умно и нежно. На ходу лошадка повернулась к Вокульскому, обнюхала его и зафыркала, словно угадав в нем хозяина.

— Она уже признала вас, — сказал директор. — Дайте ей сахару… Прекрасная кобыла!

И он достал из кармана грязный кусок сахару, попахивающий табаком. Вокульский протянул его кобыле, которая, не задумываясь, проглотила его.

— Ставлю пятьдесят рублей, что она выиграет!.. — воскликнул директор. — Принимаете?

— Конечно, — ответил Вокульский.

— Выиграет обязательно. Я дам первоклассного жокея и сам научу его, как ее вести. Но останься она у барона Кшешовского — разрази меня гром, если бы она не приплелась третьей к столбу. Да и вообще я не стал бы держать ее.

— Директор никак не может успокоиться, — сладко улыбаясь, вставил Марушевич.

— Успокоиться! — крикнул директор, багровея от гнева. — Ну, посудите сами, пан Вокульский: могу ли я поддерживать отношения с человеком, осмелившимся рассказывать, будто я в Люблинском продал лошадь, у которой был колер… Подобные вещи не забываются, пан Марушевич! — кричал он, все более повышая голос. — Не вмешайся граф, у пана Кшешовского сейчас сидела бы пуля в ноге… Я продал лошадь с колером… Хоть бы мне пришлось доложить сто рублей — лошадь выиграет. Хоть бы она пала после скачек… Пан барон еще увидит! У лошади колер! Ха-ха-ха! — разразился он демоническим смехом.

Осмотрев лошадь, все трое прошли в канцелярию, где Вокульский уплатил, что причиталось, поклявшись в душе никогда в жизни не упоминать про колер. Прощаясь с директором, он спросил:

— Нельзя ли пустить лошадь на скачки, не указывая фамилии хозяина?

— Сделаем.

— Только…

— О! будьте спокойны, — ответил директор, пожимая ему руку. — Для джентльмена скромность — первая добродетель. Надеюсь, что и пан Марушевич…

— О! — подтвердил Марушевич и произвел такое выразительное движение головой и руками, что не могло быть никакого сомнения в том, что тайна глубоко погребена в его груди.

Обходя манеж, Вокульский услышал сначала хлопанье бича, а затем перебранку четвертого господина с помощником директора.

— Это невежливо, сударь мой! — кричал четвертый. — У меня костюм лопается по швам…

— Выдержит, — флегматически возражал пан Шульц, хлопая бичом в сторону второго господина.

Вокульский вышел на улицу.

Он простился с Марушевичем и уже садился в пролетку, как вдруг ему в голову пришла странная мысль:

«Если эта лошадь возьмет приз, панна Изабелла полюбит меня…»

Остановив извозчика, он снова пошел в манеж; животное, минуту назад для него безразличное, вдруг стало близким и дорогим.

Входя в денник, он услышал тот же характерный звук, будто кого-то колотили головой о стену. И действительно, из-за перегородки выскочил мальчик Щепан с пылающими щеками и взъерошенными волосами, которые, по-видимому, только что трепала чья-то рука; следом за ним появился конюх Войцех, вытирая о куртку слегка засаленные пальцы. Вокульский дал старшему три рубля, младшему рубль и обещал их поблагодарить, только бы за лошадкой был хороший уход.

— Уж буду, сударь, беречь ее пуще жены, — ответил Войцех, кланяясь в пояс. — Да и хозяин ее не обидит, будьте уверены… На скачках, сударь, кобылка полетит как ветер…

Вокульский вошел в денник и с четверть часа пробыл с лошадью. Ее нежные ножки вызывали у него беспокойство, и он вздрагивал всякий раз, как по ее бархатистой коже пробегала дрожь: ему казалось, что она заболевает. Потом он обнял ее за шею, а когда она положила голову ему на плечо, поцеловал ее и прошептал:

— Если бы ты знала, сколько от тебя зависит… если бы ты знала!

С той поры он по нескольку раз в день ездил в манеж, кормил лошадь сахаром и ласкал ее. Он чувствовал, что в его трезвом уме пускает ростки нечто подобное суеверию. Если лошадь встречала его весело, он радовался этому, как хорошей примете; когда она была грустна, сердце его терзала тревога. Еще по дороге в манеж он говорил себе: «Если она сегодня веселая — значит, панна Изабелла меня полюбит».

Порой в нем просыпался здравый смысл; тогда его охватывал гнев и презрение к самому себе.

«Что же это, — думал он, — значит, моя жизнь зависит от каприза какой-то женщины? Разве не найдется сто других? Предлагала же пани Мелитон познакомить меня с тремя, даже с четырьмя не менее красивыми. Пора в конце концов образумиться!»

Но, вместо того чтобы образумиться, он еще глубже погружался в омут безумия. В минуты просветления ему казалось, что на земле, вероятно, еще есть колдуны и один из них сглазил его. Тогда он с беспокойством повторял про себя:

«Я уже не тот… я становлюсь другим человеком… Как будто кто-то подменил мне душу…»

Иногда же в нем одерживал верх естествоиспытатель и психолог.

«Вот, — нашептывал ему этот второй человек где-то в глубине мозга, — вот как мстит природа за нарушение ее законов. Смолоду ты пренебрегал сердцем, смеялся над любовью, продался в мужья старухе, а теперь расплачивайся. Капитал чуств, накопленный за долгие годы, вернулся к тебе сейчас с процентами…»

«Ну, хорошо, — думал он, — но ведь, в таком случае, мне полагалось бы сделаться развратником; почему же я думаю только о ней?»

«А черт его знает почему, — отвечал оппонент. — Может быть, именно эта женщина оказалась наиболее подходящей для тебя. Может быть, вправду, как говорит легенда, ваши души некогда, столетия назад, представляли единое целое…»

«Тогда она тоже должна меня любить… — говорил Вокульский. И прибавлял: — Если лошадь выиграет на скачках, это будет означать, что панна Изабелла полюбит меня… Ах, старый глупец, безумец, до чего ты дошел!»

За несколько дней до скачек к Вокульскому явился с визитом граф-англоман, с которым он познакомился на совещании у князя.

После обмена приветствиями граф, не сгибая спины, сел в кресло и сказал:

— Я в гости и по делу… Дэ-э… Вы позволите?

— К вашим услугам, граф.

— Барон Кшешовский, — продолжал граф, — лошадь которого вы приобрели, впрочем, совершенно законно, дэ-э, так вот, барон осмеливается покорнейше просить вас уступить ему эту лошадь! Цена не играет роли. Барон побился об заклад на большие суммы. Он предлагает тысячу двести рублей…

Вокульский похолодел; если он продаст лошадь, панна Изабелла наверняка станет его презирать…

— А что, граф, если у меня свои виды на лошадь? — возразил он.

— В таком случае, за вами справедливое преимущество, дэ-э, — процедил граф.

— Вы сами решили вопрос, граф, — сказал Вокульский и поклонился.

— Разве? Дэ-э… Я очень сочувствую барону, однако у вас больше прав.

Он поднялся с кресла, как автомат на пружинах, и, простившись, прибавил:

— Когда же к нотариусу, дорогой пан Вокульский, по поводу нашей компании? Поразмыслив, я вношу пятьдесят тысяч рублей… Дэ-э.

— Это уж зависит от вас, господа.

— Я горячо желаю, чтобы наша отчизна процветала, и поэтому вы, пан Вокульский, вполне располагаете моей симпатией и уважением, невзирая на неприятность, которую вы причиняете барону. Дэ-э. Он был так уверен, что вы уступите лошадь.

— Не могу.

— Я вас понимаю, — закончил граф. — Как бы дворянин ни рядился в шкуру делового человека, при первом же случае он вылезает из нее. А вы — прошу извинить мою смелость, — вы прежде всего дворянин, да еще английского образца, который всем нам должен служить примером.

Он крепко пожал хозяину руку и ушел. Вокульский признал в душе, что этот оригинал, похожий на марионетку, в сущности не лишен многих приятных качеств.

«Да! — подумал он. — С этими господами легче ужиться, чем с купцами. Они в самом деле вылеплены из другой глины…

Нечего удивляться, — продолжал он размышлять, — что панна Изабелла, воспитанная среди них, брезгует такими, как я. Ну, а что они делают на свете и для света? Уважают людей, которые могут им дать пятнадцать процентов годовых. Невелика заслуга!»

— Но как, черт возьми, дошло до них, что это я купил лошадь, — пробормотал он, щелкнув пальцами. — Впрочем, не мудрено. Ведь я купил ее у Кшешовской через Марушевича. К тому же чересчур часто бываю в манеже, вся прислуга меня уже знает… Эх, я начинаю делать глупости и становлюсь опрометчив… С самого начала не нравился мне этот Марушевич…

### Глава тринадцатая. Великосветские развлечения

Наконец наступил день скачек — ясный, но не жаркий, как раз в меру. Вокульский вскочил с постели в шестом часу и сразу же поехал навестить свою лошадку. Она встретила его довольно равнодушно, но была здорова, и Миллер был полон надежд.

— Что? — смеялся он, похлопывая Вокульского по плечу. — Загорелись, а? В вас проснулся спортсмен. Мы, сударь, во время скачек все ходим как очумелые. Наше пари на пятьдесят рубликов в силе, да? Они все равно что у меня в кармане. Вы можете хоть сейчас их выложить.

— И выложу с величайшим удовольствием, — отвечал Вокульский, а сам подумал: «Выиграет ли моя лошадь? Полюбит ли меня панна Изабелла? А вдруг что-нибудь случится? А вдруг лошадь сломает ногу?..»

Утренние часы тянулись так медленно, будто в движение их приводили ленивые волы. Вокульский только на минутку заглянул в магазин, за обедом ничего не ел, после обеда отправился в Саксонский сад, но думал все об одном: выиграет или не выиграет? Полюбит или не полюбит? Однако он пересилил себя и выехал на ипподром только около пяти.

В Уяздовских Аллеях собралось столько экипажей и пролеток, что местами можно было ехать только шагом; у заставы образовался настоящий затор.

Вокульскому, сходившему с ума от нетерпения, пришлось минут пятнадцать прождать, пока наконец его экипаж не выбрался на Мокотовское поле.

На повороте Вокульский высунулся, пытаясь разглядеть ипподром сквозь облако желтоватой пыли, густо оседавшей на его лице и одежде. Поле показалось ему сегодня бесконечно длинным и произвело на него неприятное впечатление, над ним словно реяла какая-то неясная угроза. Вдали он различил длинные ряды людей, растянувшиеся в форме полукруга; полукруг разрастался все шире, пополняясь прибывшими толпами.

Но вот он доехал до места; однако прошло еще минут десять, пока слуга вернулся из кассы с билетом. Вокруг экипажа толпились безбилетные зрители, раздавался тысячеголосый гул, и Вокульскому казалось, что все только и говорят что о его лошади, смеясь над купцом, который прикидывается любителем скачек.

Когда экипаж пропустили наконец внутрь круга, Вокульский соскочил на землю и заторопился к своей лошадке, стараясь сохранить вид равнодушного зрителя.

После долгих поисков он увидел ее в центре скакового поля. Рядом стояли Миллер и Шульц, а также незнакомый жокей с огромной сигарой во рту, в желто-голубой шапочке и накинутом на плечи пальто. Лошадь, в сравнении с громадным ипподромом и несчетной толпой, показалась ему такой маленькой и хрупкой, что он пришел в отчаяние и готов был все бросить и вернуться домой. Но у Миллера и Шульца физиономии сияли надеждой.

— Вот и вы наконец! — крикнул ему директор манежа и, показав глазами на жокея, прибавил: — Познакомьтесь, господа: пан Юнг, известнейший у нас жокей, — пан Вокульский.

Жокей поднес два пальца к желто-голубой шапочке и, вынув другой рукой изо рта сигару, сплюнул сквозь зубы.

Вокульский в душе признал, что еще никогда в жизни не видел такого маленького и тщедушного человечка. Он заметил, что жокей осматривает его, как лошадь, с головы до щиколоток, и при этом переступает кривыми ногами так, словно собирается вскочить на него и проехаться.

— Скажите, пан Юнг, мы выиграем, а? — спросил директор.

— Оу! — ответил жокей.

— Те два жеребца неплохи, но наша кобылка высшего класса! — продолжал директор.

— Оу! — подтвердил жокей.

Вокульский отвел его в сторону и сказал:

— Если мы выиграем, я заплачу вам пятьдесят рублей сверх положенного.

— Оу! — отвечал жокей и, всмотревшись в лицо Вокульского, прибавил: — Вы есть чистый кровь спортсмен, только не надо горячиться. В следующий год уже будет спокойнее.

Он снова сплюнул сквозь зубы и пошел к трибуне, а Вокульский, простившись с Миллером и Щульцем, ласково потрепал кобылку и вернулся к экипажу.

Теперь он стал разыскивать панну Изабеллу.

Он обошел длинную вереницу экипажей, вытянувшихся вдоль дорожки, присматривался к лошадям, слугам, заглядывал под дамские зонтики — панны Изабеллы не было.

«Может быть, она и не приедет? — подумал он, и ему показалось, что вся эта площадь, запруженная толпой, проваливается вместе с ним сквозь землю. — Стоило выбрасывать столько денег, если ее не будет! А может быть, эта старая интригантка, пани Мелитон, надула его, сговорившись с Марушевичем?»

Он взошел на ступеньки, ведущие к судейской ложе, и стал смотреть по сторонам. Тщетно. Спускаясь, он наткнулся на каких-то людей, стоявших к нему спиной; один, высокий мужчина, по всем признакам спортсмен, громко разглагольствовал:

— Уж десять лет я читаю, как нас ругают за расточительность, и совсем было решил исправиться и продать свою конюшню. А тут, я вижу, человек всего без году неделя как разбогател, а уже на скачках пускает лошадь… «Ах, так!

— думаю. — Вот вы какие птички! Нас поучаете, а чуть подвернется случай, сами туда же! Так вот же, не исправлюсь, не продам лошадей, не…»

Спутник его, заметив Вокульского, толкнул расходившегося спортсмена, и тот оборвал на полуслове. Воспользовавшись паузой, Вокульский хотел было пройти мимо, но высокий господин остановил его.

— Простите, — сказал он, притрагиваясь к шляпе, — что я позволил себе делать подобного рода замечания… Вжесинский…

— Я с удовольствием их выслушал, — улыбаясь, ответил Вокульский, — и в глубине души согласен с вами. Впрочем, я участвую в скачках в первый и последний раз в жизни.

Они пожали друг другу руки, а когда Вокульский отошел на несколько шагов, Вжесинский вполголоса заметил:

— Молодчина…

Только теперь Вокульский купил программу и с чувством некоторой неловкости прочел, что в третьей скачке идет кобылка Султанка, от Алима и Клары, принадлежащая Х.Х., жокей Юнг, — в желтой куртке с голубыми рукавами. Приз — триста рублей; выигравшая лошадь будет продана на месте.

— Я сошел с ума! — пробормотал Вокульский, направляясь к местам на трибуне. Он подумал, не там ли панна Изабелла, и решил немедленно вернуться домой, если не найдет ее.

Его охватило уныние. Женщины казались ему безобразными, их яркие наряды нелепыми, их кокетство гадким. Мужчины были глупы, толпа вульгарна, музыка

визглива. Поднимаясь на трибуну, он с отвращением смотрел на скрипучие ступени и ветхие стены, испятнанные дождевыми потеками. Знакомые раскланивались с ним, женщины ему улыбались, то тут, то там перешептывались: «Смотри! Смотри!» Но он ничего не замечал. Встав на верхнюю скамью, он навел бинокль и поверх пестрой и шумной толпы стал разглядывать дорогу до самой заставы, но увидел лишь клубы желтой пыли.

«Что делается на этой трибуне в течение целого года?» — думал он.

И почудилось ему, что на обветшалых скамьях каждую ночь собираются все умершие банкроты, кающиеся кокотки, всевозможного рода бездельники и моты, которых выгнали даже из ада, и при свете печальных звезд смотрят они, как скачут наперегонки скелеты лошадей, павших на этой дорожке. Ему показалось, что даже сейчас он видит перед собою истлевшие одежды и чувствует запах мертвечины.

Из забытья его вывел многоголосый крик, звонок и рукоплескания… Это закончился первый заезд. Он глянул на дорожку и вдруг увидел экипаж графини, въезжавший за ограду. В глубине кареты сидели графиня и председательша, а впереди — Ленцкий с дочерью.

Вокульский сам не помнил, как сбежал с трибуны, как прошел на круг. Кого-то он толкнул, кто-то попросил у него билет… Он пробился вперед и очутился возле самого экипажа. Лакей графини с козел поклонился ему, а Ленцкий воскликнул:

— А вот и пан Вокульский!

Вокульский поздоровался с дамами. Председательша значительно пожала ему руку, а Ленцкий спросил:

— Правда ли, пан Станислав, что вы купили лошадь Кшешовского?

— Да.

— Ну, знаете, вы сыграли с ним злую шутку, а дочери моей сделали приятный сюрприз…

Панна Изабелла с улыбкой обратилась к нему:

— Я держала пари с тетей, что барону не удержать своей лошади до скачек, и выиграла; а второй раз поспорила с председательшей, что лошадь возьмет приз!..

Вокульский обошел экипаж и стал возле панны Изабеллы; она продолжала:

— В самом деле, мы приехали только на эту скачку — председательша и я. А тетя делает вид, будто скачки ей надоели… Ах, сударь, вы должны непременно выиграть…

— Раз вы хотите, я выиграю, — ответил Вокульский, в изумлении глядя на нее.

Никогда еще она не казалась ему такой ослепительно красивой, как сейчас, в порыве нетерпения. И никогда он не смел мечтать, что она заговорит с ним так благосклонно.

Он оглянулся на окружающих. Председательша была весела, графиня улыбалась, Ленцкий сиял. На козлах лакей графини вполголоса поспорил с кучером и поставил на лошадь Вокульского. Вокруг них все бурлило, смеялось и ликовало. Радовалась толпа, радовались люди на трибунах, в экипажах; женщины в ярких нарядах были хороши, как цветы, и веселы, словно птички. Оркестр играл фальшиво, но бойко; кони ржали, спортсмены бились об заклад, разносчики расхваливали пиво, апельсины и пряники. Радовалось солнце, земля и небо, и Вокульского охватил такой восторг, что он всех и все готов был заключить в объятия.

Кончился второй заезд; снова заиграла музыка. Вокульский подбежал к трибуне и, завидев Юнга, который с седлом в руках возвращался с весов, шепнул ему:

— Пан Юнг, мы должны выиграть… Сто рублей сверх договора… Можете хоть загнать лошадь…

— Оу! — прогнусавил Юнг, поглядев на него с оттенком холодного восхищения.

Вокульский велел своему кучеру подъехать ближе к экипажу графини и вернулся к дамам. Его поразило, что возле них никого не было. Правда, барон и предводитель подходили к экипажу, но панна Изабелла встретила их равнодушно, и оба вскоре отошли. А молодые люди кланялись издали, видимо избегая их.

«Понятно, — думал Вокульский. — Их охладило известие о продаже дома. Теперь, — прибавил он про себя, глядя на панну Изабеллу, — ты убедишься, кто действительно любит тебя, а кто — твое приданое».

Звонок возвестил начало третьей скачки. Панна Изабелла встала на сидение; на лице ее выступил яркий румянец. В двух шагах от нее на Султанке со скучающим видом проехал Юнг.

— Смотри же, отличись, красавица! — крикнула панна Изабелла.

Вокульский вскочил в свой экипаж и навел бинокль. Состязание так захватило его, что на минутку он забыл о панне Изабелле. Секунды тянулись, словно часы; ему чудилось, что он привязан к этим трем лошадям, готовым пуститься вскачь, и что каждое их движение причиняет ему боль, терзает его тело. Он считал, что его лошади не хватает огня и что Юнг слишком равнодушен. Невольно слышал он разговоры вокруг:

— Юнг возьмет!..

— Какое! Поглядите-ка на этого гнедого…

— Не пожалею десятки, только бы Вокульский выиграл… Пусть утрет нос графам…

— Вот бы Кшешовский взбесился!

Звонок. Три лошади галопом рванулись с места.

— Юнг впереди…

— Это как раз неумно…

— Уже повернули…

— Первый поворот, а гнедой у хвоста…

— Второй… Опять вырвался…

— Но и гнедой не отстает…

— Малиновая куртка позади…

— Третий поворот… Ах, да Юнг никакого внимания на них…

— Гнедой догоняет…

— Смотрите! Смотрите! Малиновый обгоняет гнедого…

— Гнедой сзади… Проиграли, сударь!

— Малиновый догоняет Юнга…

— Не догонит, он уже посылает коня…

— Однако… однако… Браво, Юнг! Браво, Вокульский!.. Кобылка летит просто любо. Браво!..

— Браво!.. Браво!..

Звонок. Юнг выиграл. Высокий спортсмен взял лошадь под уздцы и, подведя ее к судейской ложе, закричал:

— Султанка! Наездник Юнг! Владелец аноним…

— Какой там аноним… Вокульский! Браво, Вокульский!.. — ревела толпа.

— Владелец пан Вокульский, — повторил высокий спортсмен и отослал лошадь на аукцион.

Толпа с восторгом приняла победу Вокульского. В первый раз скачки так взволновали зрителей; все радовались, что варшавский купец побил двух графов.

Вокульский подошел к экипажу графини. Ленцкий и обе старушки поздравляли его; панна Изабелла молчала.

В эту минуту к Вокульскому подбежал высокий спортсмен.

— Пан Вокульский, — сказал он, — вот деньги. Триста рублей приз, восемьсот — за лошадь, я купил ее.

Вокульский, держа в руках пачку ассигнаций, повернулся к панне Изабелле.

— Вы разрешите мне вручить вам эти деньги для вашего приюта?

Панна Изабелла взяла ассигнации и поглядела на него с чудесной улыбкой.

Вдруг кто-то толкнул Вокульского. Это был барон Кшешовский. Бледный от гнева, он подошел к экипажу и, протянув руку панне Изабелле, закричал по-французски:

— Мне очень приятно, милая кузина, что твои поклонники торжествуют… Только жаль, что за мой счет… Приветствую дам! — прибавил он, кланяясь графине и председательше.

Графиня нахмурилась, Ленцкий смешался, панна Изабелла побледнела. Барон с вызывающим видом укрепил на носу сползающее пенсне и, не сводя глаз с панны Изабеллы, продолжал:

— Да, да… Мне необыкновенно везет с твоими поклонниками…

— Барон… — вмешалась председательша.

— Ведь я ничего плохого не говорю… Я только сказал, что мне везет с…

Стоявший позади барона Вокульский дотронулся до его плеча:

— На одно слово, барон.

— Ах, это вы, — ответил барон, пристально глядя на него.

Они отошли в сторону.

— Вы меня толкнули, барон.

— Извините, пожалуйста.

— Мне этого мало.

— Вы требуете удовлетворения?

— Совершенно верно.

— В таком случае, — к вашим услугам, — сказал барон, ища визитную карточку по всем карманам. — Фу, черт! забыл карточки… Нет ли у вас, пан Вокульский, записной книжки и карандаша?

Вокульский подал ему визитную карточку и книжечку, в которую барон вписал свой адрес и фамилию, не преминув закончить ее лихим росчерком.

— Буду весьма рад, — сказал он с поклоном, — свести с вами счеты за мою Султанку…

— Постараюсь, чтобы вы остались довольны.

Они разошлись, обменявшись самыми любезными поклонами.

— В самом деле, скандал! — сказал огорченный Ленцкий, который был свидетелем этого обмена любезностями.

Графиня рассердилась и велела ехать домой, не дожидаясь конца скачек. Вокульский едва успел подойти к экипажу и попрощаться с дамами. Прежде чем лошади тронулись, панна Изабелла высунулась и, протянув Вокульскому кончики пальцев, тихо сказала:

— Merci monsieur… ***<Спасибо, сударь… (франц.)>***

Вокульский остолбенел от радости. Он остался на следующий заезд, но не видел, что вокруг него делается, и, воспользовавшись перерывом, уехал.

Прямо со скачек он отправился к Шуману.

Доктор сидел у раскрытого окна в поношенном ватном халате и правил корректуру своей этнографической брошюры; в ней было всего тридцать страниц, но, чтобы написать их, он использовал более тысячи фактов, книжечка была плодом четырехлетнего труда. Это было исследование о волосах населения Королевства Польского — об их цвете и строении. Ученый доктор всем говорил, что его работа разойдется никак не более чем в пятнадцати — двадцати экземплярах, однако же втихомолку заказал четыре тысячи и был уверен, что понадобится и второе издание. Постоянно подшучивая над своей излюбленной специальностью и сетуя, что она никого не интересует, Шуман в глубине души был уверен, что нет в мире культурного человека, которого бы не интересовал превыше всего вопрос о цвете волос и соотношении их поперечных разрезов. Как раз в эту минуту он задумался, не использовать ли в качестве эпиграфа к брошюре афоризм: «Покажи мне твои волосы, и я скажу тебе, кто ты».

Едва Вокульский вошел к нему и в изнеможении бросился на диван, как доктор, не утруждая себя вступлением, начал:

— Что за невежды эти корректоры! У меня здесь приведено несколько сот дробей с десятичными знаками, и, представь себе, половина из них переврана. Они думают, что какая-нибудь тысячная или сотая доля миллиметра не имеет никакого значения, им, профанам, невдомек, что именно в ней-то самая суть. Черт меня побери, если в Польше возможно не изобретение, куда там! но хотя бы издание логарифмических таблиц! Порядочный поляк начинает потеть уже над второй десятичной дробью, над пятой у него начинается бред, а над седьмой он умирает от апоплексического удара… А что слышно у тебя?

— Дуэль.

Доктор вскочил с кресла и бросился к дивану с такой стремительностью, что полы его халата взлетели кверху и он стал похож на летучую мышь.

— Что? Дуэль? — крикнул он, сверкая глазами. — И ты, может быть, воображаешь, что я поеду с тобой в роли врача? Буду смотреть, как два болвана стреляют друг другу в башку, и, может быть, еще кого-нибудь перевязывать?.. Нет, и не подумаю участвовать в подобном балагане! — все громче кричал он, хватаясь за голову. — Впрочем, я не хирург и давно распрощался с медициной…

— Да ты будешь не врачом, а секундантом.

— А-а, это другое дело, — без запинки отвечал доктор. — С кем же?

— С бароном Кшешовским.

— Хорошо стреляет, — буркнул доктор, выпятив нижнюю губу. — А из-за чего?

— Он толкнул меня на скачках.

— На скач… А что же ты делал на скачках?

— Выставлял лошадь и даже получил приз.

Шуман хлопнул себя по затылку и вдруг, подойдя к Вокульскому, оттянул ему верхние и нижние веки и внимательно посмотрел в глаза.

— Ты думаешь, я помешался? — спросил Вокульский.

— Пока нет. Скажи, — прибавил он, помолчав, — ты это в шутку или серьезно?

— Совершенно серьезно. Я не приму никаких извинений и поставлю самые жесткие условия.

Доктор снова уселся за стол, оперся подбородком на руки и, поразмыслив, сказал:

— Юбка, а? Даже петухи дерутся только из-за…

— Шуман, осторожнее!.. — прервал Вокульский сдавленным голосом и встал.

Доктор опять пристально поглядел на него.

— Ах, уже до того дошло? — пробормотал он. — Ладно. Буду твоим секундантом. Суждено тебе разбить башку, так уж разбей при мне; может, чем-нибудь помогу тебе…

— Я сейчас пришлю сюда Жецкого, — сказал Вокульский, пожимая ему руку.

От доктора он отправился к себе в магазин, наскоро переговорил с паном Игнацием и, вернувшись домой, лег спать еще до десяти. Он заснул как убитый. Его львиная натура требовала сильных ощущений, только тогда восстанавливалось равновесие в его душе, терзаемой страстью.

На следующий день, около пяти часов вечера, Жецкий и Шуман ехали к графу-англоману, который был секундантом Кшешовского. Всю дорогу оба друга Вокульского промолчали, только раз пан Игнаций спросил:

— Ну, доктор, что вы на это скажете?

— То, что уже однажды сказал. Мы приближаемся к пятому акту. Это или конец дельного человека, или начало целой серии безумств…

— Самых отчаянных, ибо безумств политических, — воскликнул Жецкий.

Доктор пожал плечами и отвернулся: пан Игнаций со своей вечной политикой действовал ему на нервы.

Граф-англоман уже ждал их в обществе другого джентльмена, который поминутно поглядывал в окно на облака и непрестанно двигал кадыком, словно стараясь что-то проглотить. Вид у него был рассеянный, в действительности же это был человек незаурядный — охотник на львов и великий знаток египетских древностей.

Посредине кабинета стоял стол, покрытый зеленым сукном, вокруг него четыре высоких стула; на столе было приготовлено четыре листа бумаги, четыре

карандаша, два пера и чернильница таких размеров, словно она предназначалась для ножных ванн.

Когда все уселись, слово взял граф.

— Господа, — сказал он, — барон Кшешовский признает, что по рассеянности мог толкнуть пана Вокульского, дэ-э. Вследствие этого, по нашему требованию…

Тут граф взглянул на другого джентльмена, который с торжественным видом что-то проглотил.

— …по нашему требованию, — продолжал граф, — барон готов… извиниться, даже в письменном виде, перед паном Вокульским, которого все мы уважаем, дэ-э… Что скажете вы, господа?

— Мы не уполномочены предпринимать какие-либо шаги к примирению, — ответил Жецкий, в котором проснулся старый офицер венгерской пехоты.

Ученый египтолог широко раскрыл глаза и глотнул дважды подряд.

На лице графа промелькнуло недоумение; однако он тут же овладел собою и ответил вежливо, но сухо:

— В таком случае, предложите условия.

— Соблаговолите вы, господа, — отвечал Жецкий.

— О! Будьте любезны, предлагайте, — сказал граф.

Жецкий откашлялся.

— В таком случае, осмелюсь предложить… Противники становятся на расстоянии двадцати пяти шагов, сближаются на пять шагов…

— Тэк…

— Пистолеты нарезные, с мушками… Стреляться до первой крови… — докончил Жецкий тише.

— Тэк…

— Если позволите, дуэль назначим на завтра утром.

— Тэк…

Жецкий поклонился, не поднимаясь с места. Граф взял лист бумаги и среди общего молчания составил протокол, который Шуман немедленно переписал. Присутствующие подписали оба документа, и не прошло часа, как дело было улажено. Секунданты Вокульского попрощались с хозяином и его ученым другом, который снова погрузился в созерцание облаков.

Уже на улице Жецкий сказал:

— Очень милые люди эти господа аристократы…

— Да ну их к черту! Ну вас всех к черту вместе с вашими дурацкими предрассудками! — крикнул доктор, потрясая кулаком.

Вечером пан Игнаций пришел к Вокульскому с пистолетами. Он застал его в одиночестве, за стаканом чая. Жецкий налил и себе чаю и осторожно начал:

— Знаешь, Стах, они очень почтенные люди. Барон, как тебе известно, чрезвычайно рассеянный человек; он готов извиниться…

— Никаких извинений.

Жецкий замолчал. Он пил чай и потирал себе лоб. После долгой паузы он опять заговорил:

— Ты, конечно, позаботился о делах… на случай…

— Никакого случая со мной не будет, — сердито оборвал Вокульский.

Пан Игнаций просидел еще с четверть часа в полном молчании. Чай показался ему невкусным, болела голова. Он допил стакан, взглянул на часы и, только уходя от своего друга, сказал на прощание:

— Завтра утром мы выедем в половине восьмого.

— Хорошо.

Оставшись один, Вокульский сел за стол, написал несколько строк и вложил в конверт с адресом Жецкого. Ему казалось, что он все еще слышит противный голос барона:

«Мне очень приятно, милая кузина, что твои поклонники торжествуют… Только жаль, что за мой счет…»

И куда бы он ни смотрел, всюду ему чудилось прекрасное лицо панны Изабеллы, залитое краской стыда.

В сердце его закипало глухое бешенство. Он чувствовал, что руки его становятся твердыми, как железо, а тело приобретает такую необыкновенную упругость, что, пожалуй, ни одна пуля не пробьет его. В голове его мелькнуло слово «смерть», и он усмехнулся. Он знал, что смерть не бросается на смелых, а только останавливается против них, как злая собака, и смотрит зелеными глазами: не зажмурится ли человек.

В эту ночь, как, впрочем, и каждую ночь, барон играл в карты. Марушевич, также бывший в клубе, напоминал ему в полночь, в час и в два, что пора спать, так как утром его поднимут в семь часов; рассеянный барон отвечал: «Сейчас… сейчас…» — однако просидел до трех, пока один из его партнеров не заявил:

— Хватит, барон. Поспите хоть несколько часов, а то у вас будут дрожать руки, и вы промажете.

Эти слова и то обстоятельство, что партнеры уже выходили из-за стола, отрезвили барона. Он уехал из клуба и, вернувшись домой, велел своему камердинеру Констанцию разбудить его в семь утра.

— Видно, опять ваша милость затеяли какую-нибудь глупость, — буркнул недовольный слуга. — Что там еще? — сердито спросил он, раздевая барона.

— Ах ты болван этакий! — возмутился барон. — Думаешь, я тебе стану отчет давать? Дуэль у меня, ну? Захотелось мне так, вот и все! В девять утра я буду стреляться с каким-то сапожником или цирюльником, ну? Может, ты мне запретишь?

— Да стреляйтесь, ваша милость, хоть с самим сатаной! — отвечал Констанций. — Только хотел бы я знать, кто заплатит по вашим векселям? А за квартиру?.. А в лавку?.. Вы, сударь, что ни месяц, норовите попасть на Повонзки, вот хозяин и посылает к нам пристава, а я, того и гляди, с голоду помру… Ну и служба!..

— Замолчишь ты?.. — заорал барон и, схватив башмак, запустил им в камердинера. Тот увернулся, и башмак ударился о стену, чуть не опрокинув бронзовую статуэтку Собесского.

Расправившись с верным слугой, барон улегся в постель и стал раздумывать о своем плачевном положении.

«Везет же мне, — вздыхал он. — Стреляться с купчишкой! Если я подстрелю, то окажусь в роли охотника, который вышел на медведя, а убил у мужика стельную корову. Если он меня подстрелит, я окажусь в положении прохожего, которого извозчик огрел кнутом. А если оба промахнемся… Да нет, ведь мы стреляемся до первой крови. Черт меня побери, если я не предпочел бы извиниться перед этим ослом, пусть хоть в присутствии нотариуса, вырядившись ради такого случая во фрак с белым галстуком. Ах, подлые либеральные времена! Отец мой велел бы своим псарям выпороть такого молодчика, а я вынужден давать ему удовлетворение, как будто сам торгую корицей… Уж наступила бы наконец эта дурацкая революция, чтоб прихлопнуло либо нас, либо либералов!..»

Его стало клонить ко сну, и в дремоте ему мерещилось, что Вокульский его убил. Он видел, как двое носильщиков несут его труп на квартиру к жене, как она теряет сознание и падает на его окровавленную грудь. Как платит все его долги и отпускает тысячу рублей на похороны… и как он воскресает и берет эту тысячу на карманные расходы…

Блаженная улыбка озарила изможденную физиономию барона — и он заснул как младенец.

В семь часов Констанций и Марушевич едва добудились барона; он ни за что не хотел вставать, ворча, что предпочитает позор и бесчестие необходимости подниматься с постели в такую рань. Только при виде графина с холодной водой барон очнулся. Он вскочил с постели, дал оплеуху Констанцию, обругал Марушевича и в душе поклялся, что убьет Вокульского.

Однако, когда он оделся, вышел на улицу и увидел безоблачное небо, вообразив, что наблюдает восход солнца, его ненависть к Вокульскому смягчилась, и он решил ограничиться выстрелом в ногу.

«Как же! — спохватился он. — Продырявлю его, а он охромеет на всю жизнь и всякому будет хвастаться: „Эту рану я получил на дуэли с бароном

Кшешовским…“ Этого только недоставало!.. Что они наделали, милейшие мои секунданты! Если уж какому-нибудь купчишке непременно хочется стрелять в меня, пусть по крайней мере стреляет из-за угла, когда я гуляю, а не на дуэли… Ужасное положение! Воображаю, как моя дражайшая будет всем рассказывать, что я дерусь на дуэли с купцами…»

Подали кареты. В одну сел барон с графом-англоманом, в другую — молчаливый египтолог с пистолетами и хирург. Все поехали в сторону Белянского леса, а немного спустя вдогонку им покатил на извозчике лакей барона Констанций. Верный слуга ругался на чем свет стоит и грозился про себя, что барин сторицей заплатит ему за эту прогулку. Но тем не менее он был встревожен.

В Белянской роще барон и трое его спутников застали уже своих противников, и обе группы, держась несколько поодаль, углубились в лес, раскинувшийся на берегу Вислы. Доктор Шуман был раздражен, Жецкий подавлен, а Вокульский мрачен. Барон, поглаживая редкую бородку, внимательно разглядывал противника и думал:

«Неплохо, должно быть, кормится этот купчик. Я рядом с ним выгляжу совсем как австрийская сигара рядом с быком. Черт меня побери, если я не выстрелю в воздух над головой этого дурня или… совсем откажусь стрелять… Да, это будет самое лучшее!»

Но тут барон вспомнил, что драться надо до первой крови. Тогда он разозлился и бесповоротно решил убить Вокульского наповал.

«Пора наконец отучить этих торгашей вызывать нас…» — говорил он себе.

В нескольких десятках шагов от него Вокульский расхаживал между двумя соснами взад и вперед, как маятник. На мгновение забыв о панне Изабелле, он прислушался к птичьему щебету, которым был полон лес, и к плеску Вислы, подмывающей берег. Отзвуки безмятежного счастья в природе странно контрастировали с лязгом пистолетных затворов и щелканьем взводимых курков. В Вокульском проснулся хищник; весь мир для него исчез, остался лишь один человек — барон, чей труп он должен бросить к ногам оскорбленной панны Изабеллы.

Противников поставили к барьеру. Барон все еще мучился сомнениями относительно того, как поступить с купчишкой, и в конце концов решил прострелить ему руку. На лице Вокульского было написано такое дикое ожесточение, что изумленный граф-англоман подумал:

«Дело, по-видимому, не в лошади и не в неучтивости на ипподроме…»

Молчавший до тех пор египтолог скомандовал, противники навели пистолеты и начали сходиться. Барон прицелился в правую ключицу Вокульского и, опуская дуло, мягко нажал курок. В последнюю секунду его пенсне перекосилось, пистолет на волос отклонился, раздался выстрел — и пуля пролетела в нескольких дюймах от плеча Вокульского.

Барон прикрыл лицо стволом пистолета и, выглядывая из-за него, думал:

«Не попадет, осел… Целит в голову…»

Вдруг он почувствовал сильный удар в висок, у него зашумело в ушах, перед глазами замелькали черные круги… Он уронил оружие и опустился на колени.

— В голову! — крикнул кто-то.

Вокульский бросил пистолет на землю и вышел из-за барьера. Все обступили барона, который, однако, не умер, а говорил визгливым голосом:

— Редкий случай! У меня прострелено лицо, выбит зуб, а пуля куда-то пропала… Ведь не проглотил же я ее…

Египтолог поднял пистолет барона и внимательно осмотрел его.

— А! — воскликнул он. — Вот в чем дело. Пуля ударила в пистолет, а замок попал в челюсть… Пистолет испорчен; весьма любопытный выстрел…

— Пан Вокульский, вы удовлетворены? — спросил граф.

— Да. Вполне.

Хирург забинтовал барону лицо. Из-за деревьев выбежал перепуганный Констанций.

— Ну что? — говорил он. — Предупреждал я вашу милость, что доиграетесь.

— Молчи, болван! — прошамкал барон. — Поживей отправляйся к баронессе и скажи кухарке, что я тяжело ранен…

— Прошу вас, господа, — торжественно проговорил граф, — подайте друг другу руки.

Вокульский подошел к барону и протянул ему руку.

— Отличный выстрел, — с трудом произнес барон, крепко пожимая руку Вокульского. — Меня удивляет, откуда человек вашей профессии… простите, может быть, я вас задел?

— Нисколько…

— Итак, откуда человек вашей профессии, впрочем весьма уважаемой, мог научиться так хорошо стрелять… Где мое пенсне?.. Ага, тут… Пан Вокульский, два словечка наедине…

Он оперся на плечо Вокульского, и оба отошли на несколько шагов в лес.

— Я обезображен, — говорил барон, — и выгляжу как старая обезьяна с флюсом. Мне не хочется опять ссориться с вами, ибо вижу, что вам везет… Так скажите мне: за что, собственно, вы меня изувечили? Ведь не за то, что я вас толкнул… — прибавил он, глядя Вокульскому в глаза.

— Вы оскорбили женщину… — тихо ответил Вокульский.

Барон отступил на шаг.

— Ах… C'est ca! ***<Вот оно что! (франц.)>*** — сказал он. — Понимаю… Еще раз прошу прощения, а там… я уж знаю, что мне следует сделать.

— И вы, барон, простите меня, — ответил Вокульский.

— Пустяки… пожалуйста… ничего, — говорил барон, тряся его за руку.

— Я, наверное, не так уж обезображен, а что до зуба… Доктор, где мой зуб?.. Пожалуйста, заверните его в бумажку. Да, так что касается зуба, то я уже давно должен был вставить новые. Вы не поверите, пан Вокульский, как у меня испорчены зубы…

Все распрощались вполне довольные. Барон удивлялся, откуда человек подобной профессии умеет так хорошо стрелять; граф-англоман больше чем когда-либо напоминал марионетку, египтолог опять принялся рассматривать облака. В другой группе Вокульский был задумчив, Жецкий восхищался смелостью и любезностью барона, и только Шуман был зол. Лишь когда их карета, спустившись с горы, проезжала мимо Камедульского монастыря, доктор глянул на Вокульского и буркнул:

— Ну и скоты! И как я не напустил полицию на этих шутов?

Через три дня после странного поединка Вокульский сидел, запершись в кабинете, с неким паном Вильямом Коллинзом. Слуга, которого давно уже интересовали эти конференции, происходившие несколько раз в неделю, вытирая пыль в комнате рядом, время от времени прикладывал к замочной скважине то ухо, то глаз. Он видел, что на столе лежат книжки и барин пишет в тетрадке; слышал, что гость задает Вокульскому какие-то вопросы, а тот отвечает — иногда громко и сразу, иногда вполголоса и неуверенно… Но о чем они беседовали таким странным образом, лакей угадать не мог, поскольку разговор велся на иностранном языке.

— Это по-какому же они? По-немецки-то ведь я знаю. Не по-немецки, — бормотал слуга, — а то бы говорили: «Битте, майн герр…» И не по-французски: «Мусье, бонжур, ленди…» И не по-еврейски… так по-каковски же они говорят? Ну, видно, хозяин задумал знатную спекуляцию, раз уж стал болтать по-такому, что и сам черт не разберет… Вот уж и компаньона себе нашел… Холера ему в бок!

Вдруг раздался звонок. Бдительный слуга на цыпочках отошел от двери кабинета, громыхая, вышел в переднюю и, вернувшись через минуту, постучал к барину.

— Чего тебе? — нетерпеливо спросил Вокульский, приоткрыв дверь.

— К вам тот барин, что уж приходил сюда, — ответил слуга и краешком глаза заглянул в рабочую комнату. Но, кроме тетрадей на столе и рыжих бакенбардов на лице пана Коллинза, он не увидел ничего примечательного.

— Почему ж ты не сказал, что меня нет дома? — сердито спросил Вокульский.

— Запамятовал, — нахмурясь, ответил слуга и махнул рукой.

— Так проси его в залу, осел, — сказал Вокульский и захлопнул дверь в кабинет.

Вскоре в залу вошел Марушевич; он и входя был уже растерян, а увидев, что Вокульский встречает его с нескрываемым раздражением, еще более растерялся.

— Простите… может быть, я помешал… может быть, вы заняты важным делом…

— Ничем я сейчас не занят, — мрачно ответил Вокульский и слегка покраснел.

Это не ускользнуло от внимания Марушевича; он был уверен, что в квартире затевается что-то противозаконное либо скрывается женщина. Как бы то ни было, к нему вернулась самоуверенность, которую, впрочем, он всегда обретал в присутствии смущенных людей.

— Я отниму у вас всего минутку, — заговорил уже развязнее потасканный молодой человек, изящно помахивая тросточкой и шляпой. — Одну минуточку.

— Слушаю, — сказал Вокульский. Он с размаху уселся в кресло и указал гостю другое.

— Я пришел извиниться перед вами, — с напускным оживлением продолжал Марушевич, — и сказать, что не могу услужить вам в деле покупки дома Ленцких…

— А вам откуда известно об этом деле? — не на шутку изумился Вокульский.

— Вы не догадываетесь? — с непринужденностью спросил приятный молодой человек и даже слегка подмигнул, однако не слишком явственно, ибо чувствовал себя еще не совсем уверенно. — Вы не догадываетесь, дорогой пан Вокульский? Почтенный Шлангбаум…

Он вдруг замолчал, словно подавившись неоконченной фразой, а левая рука его с тросточкой и правая со шляпой беспомощно опустились на подлокотники кресла. Между тем Вокульский даже не шевельнулся, а лишь устремил на гостя пристальный взгляд. Он незаметно наблюдал за сменой выражений на лице Марушевича, как охотник наблюдает за полем, по которому пробегают пугливые зайцы. Разглядывая молодого человека, он думал:

«Так вот кто тот приличный католик, которого Шлангбаум нанимает для аукциона за каких-нибудь пятнадцать рубликов, однако не советует давать ему на руки задаток? Ну-ну! И при получении восьмисот рублей за лошадь Кшешовского он почему-то смутился… так, так! И он же разболтал, что это я купил лошадь… Служит одновременно двум господам: и барону и его супруге… Да, но он слишком осведомлен о моих делах. Шлангбаум сделал промах…»

Размышляя, Вокульский спокойно рассматривал Марушевича. А потасканный молодой человек, будучи вдобавок весьма нервным, цепенел под взглядом Вокульского, как голубь, когда на него уставится очковая змея. Сначала он слегка побледнел, потом стал отыскивать на потолке и стенах какой-нибудь безразличный предмет, тщетно пытаясь отвести утомленные глаза, и, наконец, обливаясь холодным потом, почуствовал, что его блуждающий взор не в силах вырваться из-под власти Вокульского. Ему казалось, что угрюмый купец

клещами сдавил его душу и он не в состоянии сопротивляться. Еще несколько раз он повертел головою и наконец с полным смирением уставился на Вокульского.

— Сударь, — сказал он сладким голосом. — Я вижу, что с вами надо играть в открытую… Итак, я скажу сразу…

— Не трудитесь, пан Марушевич… Я уж знаю все, что мне нужно знать.

— Поверьте, сударь, вы введены в заблуждение сплетнями и составили обо мне неблагоприятное мнение… А между тем, даю вам слово, у меня наилучшие намерения…

— Можете не сомневаться, пан Марушевич, что я составляю свои мнения не на основании сплетен.

Он встал с кресла и отвернулся, что позволило Марушевичу несколько прийти в себя. Молодой человек быстро попрощался и, стремглав сбегая по лестнице, думал:

«Ну, слыханное ли дело! Какой-то ничтожный торгаш важничает передо мной! Честное слово, был момент когда я чуть не ударил его тростью… Наглец, честное слово. Он еще, пожалуй, подумает, что я его боюсь, честное слово… О, боже, как тяжело караешь ты меня за мое легкомыслие!.. Подлые ростовщики присылают ко мне судебного пристава, через несколько дней я должен уплатить долг чести, а этот купчишка, этот… негодяй… Хотел бы я знать: что вот этакий воображает, что он думает обо мне? Только это, ничего больше… Но, честное слово, он, наверное, кого-нибудь зарезал, не может быть таких глаз у порядочного человека! Ну конечно, он же чуть было не застрелил Кшешовского. Ах, нахальная тварь… И он осмелился так смотреть на меня… на меня, ей-богу!»

Тем не менее на следующий день он опять поехал к Вокульскому, но не застал его дома и отправился в магазин, велев извозчику дожидаться у входа.

Пан Игнаций встретил его широким жестом, словно предоставляя в его распоряжение все, что есть в магазине. Однако внутреннее чутье подсказало старому приказчику, что этот посетитель купит не больше, чем на пятерку, да еще, чего доброго, прикажет записать покупку в кредит.

— Где пан Вокульский? — спросил Марушевич, не снимая шляпы.

— Сию минуту приедет, — ответил пан Игнаций, низко кланяясь.

— Сию минуту, то есть?..

— Самое позднее — через четверть часа.

— Я подожду. Велите вынести извозчику рубль, — сказал молодой человек, небрежно развалясь на стуле.

Однако ноги у него похолодели при мысли, что старый приказчик может не исполнить его поручения. Жецкий послал извозчику рубль, но кланяться перестал.

Через несколько минут вошел Вокульский.

При виде ненавистной фигуры купчишки Марушевича охватили столь противоречивые чуства, что он не только не знал, что говорить, но даже потерял способность думать. Он лишь запомнил, что Вокульский прошел вместе с ним в кабинет за магазином, где стоял несгораемый шкаф, и что чувства, испытываемые им при виде Вокульского, он назвал про себя пренебрежением с примесью брезгливости. А еще ему вспомнилось, как эти свои ощущения он старался прикрыть изысканной вежливостью, которая даже ему самому показалась похожей на угодливость.

— Что вам угодно? — спросил Вокульский, когда оба они уже сидели, причем Марушевич так и не уловил, когда именно он занял вышеуказанное положение в пространстве. Все же он заговорил, поминутно запинаясь:

— Я хотел, сударь, дать вам доказательство своей благожелательности. Баронесса Кшешовская, как вам известно, намеревается приобрести дом Ленцких… Так вот… супруг ее, барон, наложил вето на определенную часть ее средств, без которых покупка состояться не может… Так вот… сегодня… барон временно оказался в стесненном положении… Ему не хватает… не хватает тысячи рублей… он хотел бы одолжить деньги, без чего… без чего, как вы понимаете, он не сможет достаточно энергично воспротивиться воле жены…

Марушевич вытер пот со лба, заметив, что Вокульский снова испытующе смотрит на него.

— Так это барону нужны деньги?

— Вот именно, — поспешно отвечал молодой человек.

— Тысячи я не дам, а рублей триста… четыреста… И под расписку барона.

— Четыреста… — машинально повторил молодой человек и вдруг точно спохватился. — Через час я привезу вам расписку барона… Вы еще будете здесь?

— Буду…

Марушевич ушел и через час действительно вернулся с распиской, на которой стояла подпись барона Кшешовского. Вокульский прочел документ, спрятал его в кассу и дал Марушевичу четыреста рублей.

— Барон постарается в кратчайший… — бормотал Марушевич.

— Не к спеху, — ответил Вокульский. — Кажется, барон нездоров?

— Да, немножко… завтра или послезавтра он уже уезжает… Он вернет в кратчайший…

Вокульский простился с ним холодно.

Молодой человек быстро вышел из магазина, даже позабыв вернуть Жецкому рубль, занятый на извозчика. Однако, очутившись на улице и переведя дух, он снова обрел дар мысли:

«Ах, подлый торгаш… Хватило же наглости дать мне четыреста рублей вместо тысячи!.. Боже, как сурово ты караешь меня за мое легкомыслие! Только бы мне отыграться — честное слово, я швырну ему в лицо эти четыреста рублей и те двести… Боже, как низко я пал…»

Ему вспомнились кельнеры различных ресторанов, бильярдные маркеры и швейцары гостиниц, у которых он также с помощью разнообразных приемов, вытягивал деньги, но никто из них не казался ему таким отвратительным и достойным презрения, как Вокульский.

«Честное слово, — думал он, — я по собственной воле полез в его мерзкие лапы… Боже, как ты караешь меня за мое легкомыслие!»

Однако Вокульский после ухода Марушевича был очень доволен.

«Кажется мне, — думал он, — это прохвост большой руки и к тому же ловкач. Просил у меня службу, а нашел другую: следит за мною и доносит кому требуется. Он мог бы мне наделать больших хлопот, если б не эти четыреста рублей, на которые, я уверен, он выдал мне подложную расписку. Кшешовский, какой бы он ни был самодур и бездельник, все же честный человек… (А разве бездельник может быть честным?) Во всяком случае, он не стал бы занимать у меня деньги во имя дел или капризов своей жены».

Ему стало очень гадко; он опустил голову на руки и продолжал размышлять:

«Однако что я вытворяю? Сознательно помогаю прохвосту совершать подлости. Умри я сегодня, и Кшешовскому пришлось бы уплатить эту сумму. Или же Марушевич отправился бы в тюрьму… Ну, этого ему и так не миновать…»

Через минуту его охватил еще больший пессимизм.

«Четыре дня назад я чуть не убил одного, сегодня другому проложил дорожку в тюрьму — и все это ради нее, за одно „merci“.

Но ради нее же я нажил состояние, даю заработок сотням людей, умножаю богатства родины. Чем бы я был без нее? Мелким галантерейным торговцем. А сейчас обо мне говорит вся Варшава. Что ж! Кучка угля приводит в движение корабль, несущий на себе сотни людей, а любовь двигает мною. А если она сожжет меня дотла и от меня останется только горсточка пепла… Боже, как низок этот мир! Охоцкий прав. Женщина — подлое существо: она играет тем, чего даже не способна понять…»

Он так забылся в горьких размышлениях, что не слышал скрипа отворяемой двери и быстрых шагов за своей спиной. Только почувствовав на плече чье-то прикосновение, он очнулся. Повернул голову и увидел адвоката с большим портфелем под мышкой; выражение лица его было чрезвычайно мрачным.

Вокульский в смущении вскочил и усадил гостя в кресло; знаменитый юрист осторожно положил портфель на стол и, быстро потирая пальцем затылок, вполголоса заговорил:

— Пан… пан… пан Вокульский! Дорогой мой пан Станислав! Что… что это вы делаете, скажите на милость! Я возражаю, протестую… подаю жалобу на важного барина Вокульского, ветрогона, дорогому пану Станиславу, который из мальчишки на побегушках превратился в ученого и собирался произвести реформу в нашей заграничной торговле… Пан… пан… Станислав, это никуда не годится!

Говоря это, он потирал с обеих сторон затылок и морщился, словно ему насыпали в рот хины.

Вокульский опустил глаза и молчал.

Адвокат снова заговорил:

— Дорогой мой, одним словом — плохо дело. Граф Саноцкий — вы его помните, тот сторонник грошовых сбережений — хочет совсем выйти из компании… А знаете почему? По двум причинам: во-первых, вы разыгрываете из себя любителя скачек, во-вторых, на этих скачках вы его бьете. Вместе с вашей кобылкой шла его лошадь, и он проиграл. Граф весьма огорчен и брюзжит: «Какого черта я стану вкладывать свой капитал? Не для того ли, чтобы дать возможность купцам вырывать у меня из-под носа призы?»

Напрасно я убеждал его, — продолжал, передохнув, адвокат, — что скачки — такое же доходное дело, как и всякое другое, и даже еще доходнее, потому что вы за несколько дней заработали триста рублей на вложенные восемьсот, — граф сразу заткнул мне рот. «Вокульский весь выигрыш и стоимость лошади пожертвовал дамам на приют, — сказал он, — и еще бог весть сколько переплатил Юнгу и Миллеру…»

— Разве мне уж и этого нельзя делать? — перебил Вокульский.

— Можно, сударь мой, можно, — сладко поддакивал знаменитый юрист. — Можно, но, поступая так, вы только повторяете старые грехи, в которых ваши предшественники были куда искуснее вас. А между тем я, и князь, и графы сблизились с вами не для того, чтобы вы повторяли старые ошибки, а чтобы указали нам новые пути.

— Так пусть выходят из компании, — отрезал Вокульский, — я их не собираюсь заманивать…

— И выйдут, — воскликнул адвокат, размахивая рукой, — если вы совершите еще хоть одну ошибку…

— Как будто я так уж много их совершил!..

— Вы просто великолепны! — рассердился адвокат и хлопнул себя по колену. — А знаете, что говорит граф Литинский, тот англофил наш, «дэ-э»? «Вокульский, — говорит он, — совершеннейший джентльмен, стреляет, как Немврод, но… это не руководитель коммерческого предприятия. Сегодня он бросит в дело миллионы, а завтра вызовет кого-нибудь на дуэль, и все повиснет на волоске…»

Вокульский так и подался назад вместе с креслом. Ему и в голову не приходило, что он заслужил подобный упрек. Адвокат заметил, какое впечатление произвели эти слова, и решил ковать железо, пока горячо.

— Если вы, дорогой пан Станислав, не хотите испортить столь прекрасно начатое дело, воздержитесь от новых безумств. А главное — не покупайте дома Ленцких. Простите, но стоит вам вложить в него девяносто тысяч, как торговое общество разлетится как дым. Люди увидят, что вы помещаете значительный капитал на шесть-семь процентов годовых, и не только потеряют веру в проценты, которые вы им посулили, но даже… вы понимаете… начнут сомневаться…

Вокульский вскочил.

— Не надо мне никаких компаний! — крикнул он. — Я ни у кого милости не прошу, скорей другим могу ее оказать. Кто мне не доверяет, пусть проверит все дела и убедится, что я никому очков не втирал… Но моим компаньоном он уже не будет. Капризы — это не монополия графов и князей… У меня тоже есть свои капризы, и я не люблю, когда суются в мои дела…

— Тихонько… тихонько… успокойтесь, дорогой мой пан Станислав, — уговаривал Вокульского адвокат, снова усаживая его в кресло. — Значит, вы не откажетесь от покупки?

— Нет. Этот дом для меня важнее, чем торговая компания со всеми князьями мира.

— Хорошо… хорошо… В таком случае, вы можете на некоторое время выдвинуть какое-нибудь подставное лицо. На худой конец — я дам вам свое имя, а с гарантией на право собственности хлопот не будет. Самое главное — не отпугивать тех, кто уже с нами. Аристократия разок попробует заняться общественным делом и, может быть, пристрастится; а через полгода-год вы станете и номинальным владельцем дома. Ну что, согласны?

— Пусть будет по-вашему, — ответил Вокульский.

— Да, — продолжал адвокат, — так будет лучше всего. Если бы вы купили дом на свое имя, это поставило бы вас в ложное положение даже перед Ленцким. Обычно мы недолюбливаем людей, к которым переходит наше добро, — это первое. А во-вторых, кто поручится, что у них не возникли бы разные предположения? Вдруг они подумают: он нам переплатил или недоплатил? Если переплатил — как он смеет оказывать нам милость, а если недоплатил — значит, обманул нас…

Последних слов адвоката Вокульский почти уже не слышал; он был поглощен другими мыслями, которые завладели им с еще большею силой после ухода гостя.

«Конечно, — думал он, — адвокат прав. Люди обо мне толкуют, осуждают; но они делают это за моей спиной, так что я ничего не знаю. Только сейчас припоминаются мне многие мелочи. Уже с неделю купцы, связанные со мною, ходят с кислыми физиономиями, а противники торжествуют. В магазине тоже

что-то неладно. Игнаций приуныл, Шлангбаум задумчив, Лисецкий брюзжит больше обычного, словно думает, что я скоро прикрою лавочку. У Клейна опечаленный вид (социалист сердится за скачки и дуэль…), а щеголь Земба уже начинает увиваться вокруг Шлангбаума… Может быть, он подозревает в нем будущего владельца магазина?.. Ах вы, доброжелатели мои…»

Он стал на пороге кабинета и кивнул Жецкому; старый приказчик действительно был сам не свой и не смотрел в глаза хозяину.

Вокульский указал ему на стул и, пройдясь несколько раз по тесной комнате, сказал:

— Старина! Скажи откровенно: что обо мне говорят?

Жецкий развел руками.

— Ах, боже мой, что говорят…

— Вали напрямик, — подбодрил его Вокульский.

— Напрямик?.. Хорошо. Одни говорят, что ты начинаешь сходить с ума…

— Браво!

— Другие — что ты готовишь какое-то жульничество…

— Ну их к…

— А все вместе — что ты обанкротишься, и очень скоро…

— Могу послать их еще раз к… — вставил Вокульский. — А ты, Игнаций, что ты сам думаешь?

— Я думаю, — без колебания отвечал Жецкий, — что ты ввязался в крупную игру… из которой не выйдешь цел… Разве что вовремя отступишься, на что у тебя, впрочем, еще может хватить здравого смысла.

Вокульского взорвало.

— Не отступлюсь! — крикнул он. — Человек, сжигаемый жаждой, не отступится от родника. А если мне суждено погибнуть, я погибну, утолив свою жажду… И чего вы все хотите от меня? С детства я жил, как птица со связанными крыльями: мыкался по людям, по тюрьмам, в несчастном браке потерял свою свободу… А сейчас, когда я наконец расправил крылья, вы начинаете гоготать на меня, как домашние гуси на дикого, который поднялся и летит ввысь… Что мне этот дурацкий магазин или торговое общество?.. Я хочу жить, я…

В эту минуту кто-то постучал в дверь. Вошел Миколай, слуга Ленцкого, с письмом в руке. Вокульский лихорадочно схватил конверт, распечатал его и прочел:

«Милостивый государь! Дочь моя непременно хочет познакомиться с вами поближе. Воля женщины священна; итак, я прошу вас пожаловать к нам завтра, к обеду (к шести часам), только не вздумайте отказываться. Примите уверения в глубоком уважении.

Т.Ленцкий».

Вокульский вдруг так обессилел, что должен был опуститься на стул. Он перечитал письмо раз, другой, третий… Наконец, опомнясь, написал ответ, а Миколаю сунул пятерку.

Тем временем пан Игнаций сбегал на несколько минут в магазин, а когда Миколай вышел на улицу, он вернулся и обратился к Вокульскому, продолжая прерванный разговор:

— Все же, милый Стах, пораздумай над своим положением, и, может быть, ты отступишься…

Вокульский, тихо насвистывая, надел шляпу и, положив руку на плечо старого друга, отвечал:

— Слушай! Если бы под ногами моими разверзлась земля… понимаешь?.. Если бы небо должно было обрушиться мне на голову — все равно я не отступлюсь, понимаешь?.. За такое счастье я отдам жизнь…

— За какое счастье?.. — спросил Игнаций. Но Вокульский уже выходил в задние двери.

#### Глава четырнадцатая. Девичьи грезы

Начиная с пасхи панна Изабелла часто думала о Вокульском, и ее неизменно поражала одна удивительная вещь: человек этот всякий раз представал перед ней в ином облике.

Панна Изабелла знала многих людей и довольно бойко судила о них. Каждый из ее прежних знакомых отличался тем, что сущность его можно было выразить в одной фразе. Князь был патриот, его адвокат — ловкач, граф Литинский разыгрывал англичанина, ее тетка была горда, председательша — добра, Охоцкий — чудак, а Кшешовский — картежник. Словом, каждый человек сводился к какому-либо достоинству или недостатку, иной раз и заслуге, а чаще всего — к титулу или богатству; к этому прилагались голова, руки, ноги, и более или менее модный костюм.

Лишь в лице Вокульского она столкнулась не только с новой личностью, но и с незнакомым ей прежде явлением. Его сущность нельзя было определить одним словом или даже сотнями слов. Он ни на кого не был похож, а если уж сравнивать его с чем-нибудь, то разве лишь с местностью, по которой едешь-едешь целый день и видишь то равнины и горы, то леса и луга, то реки и степи, то города и деревни; а там, вдали, сквозь дымку, застилающую горизонт, вырисовываются какие-то расплывчатые пейзажи, непохожие ни на что виданное доселе. Ее охватывало недоумение, и она спрашивала себя: что это — игра взволнованного воображения, или перед нею в самом деле существо сверхъестественное и, во всяком случае, невиданное в гостиных?

И она принялась приводить в систему свои впечатления.

Вначале она его совсем не замечала, только чуствовала приближение какой-то огромной тени.

Был некто, кто бросал тысячи рублей на благотворительные цели и на приют ее тетки; потом кто-то в собрании играл с ее отцом в карты и ежедневно ему проигрывал; потом купил векселя ее отца (может быть, вовсе не Вокульский?), затем ее сервиз и, наконец, прислал разные вещи для украшения гроба господня.

Этот некто был дерзкий выскочка, который уже с год преследовал ее назойливыми взглядами в театрах и концертах. Это был грубый циник, разбогатевший на подозрительных спекуляциях, для того чтобы купить у людей хорошую репутацию, а у пана Ленцкого — ее, Изабеллу!..

Из этого периода в ее памяти осталась только его топорная фигура, красные руки и грубое обхождение, которое, в сравнении с учтивостью остальных купцов, казалось отвратительным, а на фоне вееров, саквояжей, зонтиков, тросточек и тому подобных товаров — просто смешным. Это был хитроумный и наглый торгаш, который корчил у себя в магазине отставного министра. Он был ей гадок, смертельно ненавистен, потому что осмелился оказывать помощь в форме покупки сервиза или проигрыша в карты.

И сейчас еще, думая об этом, панна Изабелла рвала на себе платье, бросалась на козетку, колотила кулаками по сиденью и шептала:

— Негодяй!.. негодяй!..

Она так страдала от угрожавшего их дому разорения, а тут еще кто-то посторонний ворвался за занавес, прикрывавший ее сокровеннейшую тайну, и осмелился врачевать раны, которые она хотела бы скрыть даже от самого бога. Она все могла бы простить, только не этот удар, нанесенный ее самолюбию.

Затем произошла смена декораций. На сцену выступил другой человек, который совершенно недвусмысленно заявил ей в глаза, что купил сервиз, чтобы на нем заработать. Значит, он понимал, что панне Ленцкой оказывать поддержку не пристало, и если бы даже он это сделал, то не только не искал огласки или благодарности, но даже надеяться на это не посмел бы.

Тот же человек выгнал из магазина Мрачевского, посмевшего злословить на ее счет. Напрасно враги ее, барон и баронесса Кшешовские, заступались за молодого человека; напрасно замолвила за него слово графиня-тетка, которая редко кого благодарила, а еще реже просила. Вокульский не уступил… Но одного ее словечка было довольно, чтобы сломить непреклонного человека: он не только уступил, но даже дал Мрачевскому лучшее место. Такие уступки не делаются женщине, к которой не испытывают глубокого уважения.

Жаль только, что почти в то же время почитатель ее поступил, как хвастливый парвеню, бросив на поднос в костеле целую кучу полуимпериалов. Ах, как это было неаристократично! К тому же он совершенно не понимает по-английски, просто понятия не имеет о языке, который теперь в моде…

Третья фаза. На пасху она встретилась с Вокульским в салоне графини и убедилась, что он на голову выше мужчин из общества. Самые изысканные аристократы старались познакомиться с ним, а он, грубый выскочка, выделялся среди них, как огонь среди дыма. Он двигался неловко, зато смело, словно салон был его неоспоримой собственностью, и угрюмо выслушивал комплименты, сыпавшиеся на него со всех сторон. Потом его вызвала к себе почтеннейшая из матрон, председательша, и после короткого разговора с ним горько расплакалась. Возможно ли, чтобы этот выскочка с красными руками…

Только тогда панна Изабелла заметила, какое незаурядное у Вокульского лицо. Черты выразительные и твердые, волосы, словно взъерошенные гневом, маленькие усики, намек на бородку, фигура монументальная, взгляд ясный и пронизывающий… Если бы человек этот владел не магазином, а большим поместьем, он был бы очень привлекателен; если бы родился князем — был бы величественно прекрасен. Но как бы то ни было, он напоминал пехотного полковника Трости и, право же, статую торжествующего гладиатора.

Тогда же от панны Изабеллы отстранились почти все поклонники.

Правда, люди преклонного возраста еще осыпали ее комплиментами за красоту и элегантность, зато молодые, особенно титулованные и богатые, были с ней холодны и сдержанны, а если она, устав от одиночества и пошлых комплиментов, заговаривала с кем-нибудь из них несколько непринужденней, они смотрели на нее с явной опаской, словно боясь, что она бросится им на шею и немедленно потащит к венцу.

Мир гостиных панна Изабелла любила не на жизнь, а на смерть и уйти из него могла только в могилу, но с каждым годом, даже с каждым месяцем все сильнее презирала обитателей этого мира. Она не понимала, как это ее, такую прекрасную, добрую и хорошо воспитанную, свет мог покинуть только потому, что у нее не было состояния.

— Ну и люди, боже милосердный! — шептала она, глядя из-за занавесок на проезжавших в своих экипажах франтов, которые под любым предлогом отворачивались от ее окон, чтобы не кланяться ей. — Неужели они думают, что я стану их высматривать?

А между тем она и вправду их высматривала!

На глаза ее навертывались жгучие слезы; в гневе она кусала свои прелестные губки и, хватаясь за шнурки, задергивала занавески.

— Ну и люди! Ну и люди!.. — повторяла она, стесняясь, однако, даже перед самой собой назвать их каким-либо более оскорбительным словом, ибо они принадлежали к высшему обществу. Негодяем, по ее понятиям, можно было называть только Вокульского.

В довершение жестокости вероломная судьба из всей плеяды поклонников оставила ей теперь только двоих. Насчет Охоцкого она не обольщалась: его больше занимала какая-то летательная машина (чистое безумие!), чем она. Зато

ей неизменно сопутствовали, не слишком, впрочем, навязываясь, предводитель и барон. Предводитель своим видом напоминал ей опаленную свиную тушу, которую ей случалось видеть в фургоне мясника; внешность барона наводила на мысль о недубленых шкурах, какие целыми грудами возят на телегах по улицам. Оба они представляли собою ее единственное окружение, ее крылья, если она, как говорили, действительно была ангелом. Эта ужасная пара стариков преследовала панну Изабеллу наяву и во сне. Иногда ей казалось, что она погибла и что уже на этом свете для нее начался ад.

В такие минуты она, как утопающий, который обращает взоры к огоньку на далеком берегу, думала о Вокульском и в своей беспредельной горечи испытывала какую-то тень облегчения при мысли, что все-таки по ней сходит с ума человек незаурядный, о котором много говорят в свете. Тогда ей вспоминались прославленные путешественники или разбогатевшие американские промышленники, которые долгие годы тяжело работали в шахтах; ей неоднократно показывали их издали в парижских салонах.

«Взгляните вон туда, — щебетала недавно выпущенная из монастырского пансиона молоденькая графиня, указывая веером, — вы видите господина, похожего на возницу омнибуса? Это, говорят, великий человек он что-то открыл, только не знаю что: не то золотую жилу, не то Северный полюс… Я даже не помню его фамилии, но один маркиз из Академии уверял меня, что этот господин десять лет жил у полюса… нет, под землей… Ужасный человек! Я бы на его месте просто умерла от страха… А вы бы тоже умерли?..»

Если б Вокульский был таким путешественником или хотя бы горняком, который нажил миллионы, проработав десять лет под землей!.. Но он был всего-навсего купцом, и вдобавок — галантерейным! Он даже не говорил по-английски, и на каждом шагу в нем сказывался выскочка, который и молодости прислуживал посетителям в ресторане. Подобный человек мог быть в крайнем случае хорошим советчиком, даже неоценимым другом (в кабинете, когда нет гостей). На худой конец — даже… мужем, ибо с людьми случаются самые страшные несчастья. Но возлюбленным… нет, это было бы просто смешно!.. В случае необходимости самые изысканные аристократки принимают грязевые ванны; но испытывать при этом удовольствие могут только ненормальные.

Четвертая фаза. Панна Изабелла несколько раз встречала Вокульского в Лазенках и даже снисходила отвечать на его поклоны. Среди зелени деревьев, на фоне статуй, этот грубиян показался ей снова иным, чем в магазине у прилавка. Если бы у него было поместье с парком, замком и прудом! Он, правда, выскочка, но как будто дворянин, племянник офицера… Рядом с предводителем и бароном он выглядит Аполлоном, аристократы все чаще говорят о нем, и — главное — эти внезапные слезы председательши?..

Да и вообще председательша совершенно открыто покровительствовала Вокульскому перед своею приятельницей графиней и ее племянницей. Многочасовые прогулки с теткой по Лазенковскому парку так наскучили панне Изабелле, а разговоры о модах, приютах и предполагаемых свадьбах так

раздражали, что она даже немножко сердилась на Вокульского, который не догадывался подойти к ним в парке и поболтать с четверть часика. Для светской особы разговор с подобного рода людьми не лишен занимательности; панну Изабеллу, например, в разговорах мужиков забавляли их своеобразная логика и лексикон. Правда, галантерейный купец, к тому же разъезжающий в собственной карете, вряд ли окажется таким забавным, как простой мужик…

Как бы то ни было, панну Изабеллу отнюдь не задело и не удивило, когда однажды председательша заявила, что поедет вместе с обеими дамами в Лазенки и — остановит Вокульского.

— Мы скучаем, так пусть он нас развлечет, — говорила старушка.

А когда они около часу въезжали в Лазенковский парк и председательша, значительно улыбаясь, сказала панне Изабелле: «Я чувствую, что мы его тут где-нибудь встретим…» — молодая девушка слегка зарумянилась и решила совсем не разговаривать с Вокульским или, во всяком случае, обращаться с ним свысока, чтобы он не вздумал чего-нибудь вообразить. Разумеется, «воображать» о любви Вокульский, по мнению панны Изабеллы, не мог, но она не хотела допускать даже тона дружеской непринужденности.

«И огонь бывает приятен, особенно зимою, — думала она, — но на известном расстоянии!»

Между тем Вокульского в Лазенках не было.

«Как, он не дождался? — говорила себе панна Изабелла. — Наверное, заболел…»

Она не допускала мысли, что у Вокульского могло быть более срочное дело, чем встреча с нею, и решила, когда он наконец явится, не только обойтись с ним свысока, но и высказать ему свое неудовольствие.

«Если аккуратность, — продолжала она мысленно, — это вежливость королей, то для купцов — это уж прямая обязанность…»

Прошло полчаса, час, два — следовало возвращаться, а Вокульского все не было. Наконец дамы сели в карету; графиня, как всегда, была холодна, председательша несколько рассеянна, а панна Изабелла разгневанна. Возмущение ее не уменьшилось, когда вечером отец сообщил ей, что он с часу дня был на заседании у князя, где Вокульский представил проект грандиозного торгового общества и вызвал буквально восторг у пресыщенных магнатов.

— Я давно предчувствовал, — закончил Ленцкий, — что с помощью этого человека освобожусь от заботливой опеки моей родни и снова стану тем, чем мне надлежит быть.

— Но ведь для торгового общества нужны деньги, папа, — возразила панна Изабелла, чуть заметно пожимая плечами.

— Поэтому-то я позволяю продать дом; правда, на уплату долгов пойдет тысяч шестьдесят, но все-таки мне останется не менее сорока тысяч.

— Тетка говорила, что за дом никто не даст больше шестидесяти тысяч.

— Ах, тетка!.. — возмутился пан Томаш. — Она всегда говорит то, что может огорчить или унизить. Шестьдесят тысяч дает Кшешовская, а эта мещанка готова утопить нас в ложке воды… Тетя ей, конечно, поддакивает, потому что дело идет о моем доме, о моем положении…

Он раскраснелся и засопел, но, не желая сердиться при дочери, поцеловал ее в голову и пошел к себе в кабинет.

«А может быть, отец прав? — думала панна Изабелла. — Может быть, он в самом деле практичнее, чем это кажется тем, кто его так строго осуждает? Ведь он первый распознал этого… Вокульского… Однако что за грубиян? Не приехал в Лазенки, хотя председательша, наверное, известила его. Впрочем, может быть, оно и к лучшему: хорошо бы мы выглядели, если б кто-нибудь нас встретил на прогулке с галантерейным купцом!»

Несколько дней подряд панна Изабелла поминутно слышала о Вокульском. В гостиных его имя не сходило с уст. Предводитель клялся, что Вокульский, наверное, происходит из старинного рода, а барон, великий знаток мужской красоты (он полдня проводил перед зеркалом), твердил, что Вокульский «весьма… весьма»… Граф Саноцкий держал пари, что он единственный разумный человек в стране, граф Литинский провозглашал, что этот коммерсант принадлежит к типу английских промышленников, а князь потирал руки и с улыбкою восклицал: «Ага!»

Даже Охоцкий, навестив однажды панну Изабеллу, рассказал ей, что гулял с Вокульским в Лазенках.

— О чем же вы говорили? — спросила она с удивлением. — Ведь не о летательных же машинах?

— О! — задумчиво пробормотал кузен. — Вокульский, пожалуй, единственный человек в Варшаве, с которым можно об этом говорить. Это фигура…

«Единственный разумный… единственный коммерсант… единственный, кто может разговаривать с Охоцким, — думала панна Изабелла. — Так кто же он наконец? Ах! Уже знаю…»

Она решила, что разгадала Вокульского. Это честолюбивый спекулянт, который, для того чтобы проникнуть в высший свет, задумал жениться на ней, обедневшей дворянке славного рода. С этой же целью он добивался расположения ее отца, графини-тетки и всей аристократии. Однако, убедившись, что ему удается и без нее втереться в общество, он вдруг остыл… и даже не явился в Лазенки!

«Поздравляю, — думала она. — У него есть все, чтобы сделать карьеру: он недурен собой, способен, энергичен, а главное — нахал и подлец… Как он смел притворяться, что влюблен в меня, а потом с такой легкостью… право, эти выскочки опережают нас даже в лицемерии. Вот негодяй!..»

В порыве негодования она хотела даже предупредить Миколая, чтобы он никогда не пускал Вокульского на порог гостиной… В крайнем случае — в отцовский кабинет, если придет по делу. Но, вспомнив, что Вокульский не напрашивался к ним в гости, вспыхнула от стыда.

В это время она узнала от пани Мелитон, что барон Кшешовский снова повздорил с женой и что баронесса купила у него лошадь за восемьсот рублей, но, наверное, возвратит ее, потому что скоро скачки, а барон поставил на лошадь большие деньги.

— Может быть, супруги даже помирятся по этому случаю, — заметила пани Мелитон.

— Ах, чего бы я ни дала, лишь бы барон не получил этой лошади и проиграл свои ставки!.. — воскликнула панна Изабелла.

А через несколько дней панна Флорентина под большим секретом сказала ей, что барон своей лошади не получит, так как ее приобрел Вокульский.

Дело хранилось еще в строгой тайне, и, придя в гости к тетке, панна Изабелла застала графиню и председательшу за горячим обсуждением вопроса — как бы примирить супругов Кшешовских с помощью упомянутой кобылы.

— Ничего не выйдет, — со смехом вмешалась панна Изабелла. — Барон своей лошади не получит.

— Хочешь пари? — холодно спросила графиня.

— С удовольствием, тетушка, на ваш сапфировый браслет…

Пари состоялось, поэтому-то и графиня и панна Изабелла проявляли такой интерес к скачкам.

Был момент, когда панна Изабелла испугалась: ей сказали, что барон предлагает Вокульскому четыреста рублей отступного и что граф Литинский взялся уладить между ними дело. В гостиных даже перешептывались, что не ради денег, а ради графа Вокульский должен будет пойти на уступку. И тогда панна Изабелла сказала себе:

«Он согласится, если это алчный выскочка, но не согласится, если…»

Она не решалась договорить. Ее выручил Вокульский: он не продал кобылы и сам пустил ее на скачках.

«Однако он не такой уж подлец», — подумала панна Изабелла.

И под влиянием этой мысли милостиво заговорила с Вокульским на скачках. Но даже за этот скромный знак благоволения она в душе упрекнула себя:

«Зачем ему знать, что мы интересуемся его скачками? Не больше, чем другими. И зачем я ему сказала, что он должен выиграть? И что значит его ответ: „Раз вы хотите — я выиграю“. Он стал забываться. Ну, ничего, стоило сказать несколько любезных слов ради того, чтобы Кшешовский захворал от злости».

Кшешовского панна Изабелла ненавидела. Когда-то он ухаживал за нею, но, получив отказ, начал мстить. Она знала, что за глаза он называет ее старой девой, которая выйдет замуж за собственного лакея. Одного этого было достаточно, чтобы всю жизнь питать к нему ненависть. Но барон не ограничился злополучной фразой и осмеливался даже в ее присутствии цинично вести себя, высмеивать ее престарелых поклонников и намекать на разорение ее семейства. В свою очередь, панна Изабелла как бы невзначай колола ему глаза напоминанием о его женитьбе ради денег, которых, однако, он не умел вытягивать у своей супруги-мещанки, — и между ними велась непрерывная война, ожесточенная и подчас даже некрасивая.

День скачек оказался для панны Изабеллы днем торжества, а для барона — днем поражения и позора. Правда, он приехал на ипподром и притворялся очень веселым, но в сердце его бушевал гнев. Когда же вдобавок Вокульский у него на глазах вручил панне Изабелле деньги, полученные за лошадь, и приз, он потерял самообладание и, подбежав к карете, устроил скандал.

Для панны Изабеллы нахальный взгляд барона и публичное провозглашение Вокульского ее поклонником было страшным ударом. Она готова была бы убить барона, если б это пристало хорошо воспитанной даме. Муки ее были тем нестерпимее, что графиня выслушала это спокойно, председательша смутилась, отец же не проронил ни слова, издавна считая Кшешовского сумасшедшим, которого лучше не раздражать и быть к нему снисходительным.

В эту минуту (когда на них уже начали оглядываться из других экипажей) на помощь панне Изабелле пришел Вокульский. Он не только положил конец упрекам барона, но и вызвал его на дуэль. В этом никто не сомневался; председательша просто испугалась за своего любимца, а графиня заметила, что Вокульский не мог поступить иначе, потому что барон, подходя к карете, толкнул его и не извинился.

— Ну, скажите сами, — взволнованно говорила председательша, — разве можно драться на дуэли из-за такого пустяка? Все мы знаем, как рассеян Кшешовский и какой это полоумный… Лучшее доказательство — то, что он нам сейчас наболтал…

— Это верно, — ответил пан Томаш, — однако Вокульский не обязан знать это, а потребовать удовлетворения следовало.

— Помирятся! — небрежно бросила графиня и велела ехать домой.

Тогда-то панна Изабелла самым ужасным образом отступила от своих правил и… многозначительно пожала Вокульскому руку.

Подъезжая к заставе, она уже беспощадно осуждала себя.

«Как можно было делать что-либо подобное? Что подумает этот человек?» — говорила она про себя. Но тут в ней проснулось чуство справедливости, и она должна была признать, что человек этот не первый встречный.

«Чтобы доставить мне удовольствие (у него не могло быть других побуждений), он подставил ножку барону и купил лошадь… Все деньги (безусловное доказательство бескорыстия!) он пожертвовал на приют, причем вручил их мне (барон это видел). И сверх всего, словно угадав мои мысли, вызвал барона на дуэль… Правда, теперешние дуэли обычно кончаются шампанским; но, во всяком случае, барон убедится, что я еще не так стара… Нет, в этом Вокульском что-то есть… Жаль только, что он галантерейный купец. Приятно было бы иметь такого поклонника, если б… если б он занимал другое положение в свете».

Вернувшись домой, панна Изабелла рассказала Флорентине о происшествии на скачках, а через час уже забыла о нем. Когда же отец поздно вечером сообщил ей, что Кшешовский выбрал секундантом графа Литинского, а тот решительно требует, чтобы барон извинился перед Вокульским, панна Изабелла презрительно скривила губки.

«Везет человеку, — думала она. — Меня оскорбили, а перед ним извиняются. Будь я мужчиной, если б кто-нибудь оскорбил любимую мной женщину, ни за что не приняла бы никаких извинений. Он, разумеется, согласится…»

Уже в постели сквозь дремоту ее вдруг осенила новая мысль:

«А если Вокульский отклонит извинения? Ведь тот же граф Литинский уговаривал его уступить лошадь и ничего не добился. Ах, боже, что только мне приходит в голову!» — сказала она себе, пожав плечами, и уснула.

На следующий день до полудня отец, она сама и панна Флорентина были уверены, что Вокульский помирится с бароном и что ему даже неудобно поступить иначе. В первом часу пан Томаш уехал в город и вернулся к обеду сильно встревоженный.

— Что случилось, папа? — спросила панна Изабелла, испуганная выражением его лица.

— Пренеприятная история! — ответил пан Томаш, бросаясь в кожаное кресло. — Вокульский не принял извинений, а его секунданты поставили жесткие условия.

— Когда же? — спросила она тихо.

— Завтра около девяти, — сказал пан Томаш, вытирая пот со лба. — Пренеприятная история, — продолжал он. — Среди наших компаньонов поднялся переполох, потому что Кшешовский отлично стреляет… А если этот человек погибнет, все мои расчеты развеются в прах. В нем я теряю свою правую руку… единственного подходящего исполнителя моих планов… Только ему я доверил бы капиталы и не сомневаюсь, что он давал бы мне тысяч восемь в год… Судьба не на шутку преследует меня!

Скверное настроение хозяина дома подействовало на всех: за столом никто не притронулся к еде. После обеда пан Томаш заперся у себя в кабинете и ходил взад и вперед большими шагами, что свидетельствовало о небывалом волнении.

Панна Изабелла тоже ушла к себе и, как обычно в минуты нервного расстройства, улеглась на козетку. Ею овладели мрачные мысли.

«Недолго длилось мое торжество! Кшешовский действительно хорошо стреляет… Если он убьет единственного моего заступника, что тогда? Дуэль — в самом деле варварский пережиток. Вокульский (с точки зрения моральной) несравненно ценнее, чем Кшешовский, а все же… может погибнуть. Последний человек, на которого возлагал надежды отец…»

Тут в ней заговорило фамильное высокомерие.

«Положим, отец мой не нуждается в милостях Вокульского; он вверил бы ему свой капитал, оказал бы ему протекцию, а тот выплачивал бы нам проценты; так или иначе, жаль его…»

Ей вспомнился старый управляющий в их бывшем имении, прослуживший у них целых тридцать лет; она очень любила старика и очень ему доверяла. Может быть, Вокульский заменил бы им покойного, а ей служил бы верным наперсником,

— и вот он погибнет!

Некоторое время она лежала с закрытыми глазами, не думая ни о чем; потом ей стали приходить в голову довольно странные мысли:

«Что за удивительная игра случая! Завтра будут драться из-за нее два человека, смертельно ее оскорбившие: Кшешовский — злословием, Вокульский — жертвами, которые осмелился ей приносить. Правда, она уже почти простила ему и покупку сервиза, и пресловутые векселя, и деньги, проигранные ее отцу, на которые несколько недель велось все хозяйство… (Нет, нет, она еще не простила ему и никогда не простит!) Но как бы то ни было, а кара божия постигнет ее обидчика… Кто же завтра погибнет? Может быть, оба. Несомненно, тот, который посмел ей, панне Ленцкой, оказывать денежную поддержку. Такой человек, подобно возлюбленному Клеопатры, жить не может…»

Так размышляла она, заливаясь слезами; ей жаль было преданного слуги, который мог стать наперсником, но она смирялась перед судом Всевышнего, который не мог простить оскорбления, нанесенного панне Ленцкой.

Если б Вокульский в эту минуту заглянул в душу панны Изабеллы, он бы с ужасом отшатнулся и излечился от своего безумия.

Между тем панна Изабелла всю ночь не сомкнула глаз. Все время ей мерещилась картина какого-то французского художника, изображавшая поединок: под купой зеленых деревьев двое одетых в черное мужчин целятся друг в друга из пистолетов.

Потом (этого уже на картине не было) один из них упал с простреленной головой. Это был Вокульский. Она даже не пошла на его похороны, боясь выдать свое волнение. Однако ночью несколько раз всплакнула. Ей было жаль этого

необыкновенного выскочку, верного раба, который искупил перед нею свои преступления смертью ради нее.

Она заснула только в семь утра и проспала мертвым сном до полудня. Около двенадцати ее разбудил нервный стук в дверь спальни.

— Кто там?

— Я, — ответил радостный голос отца. — Вокульский целехонек, барон ранен в лицо.

— Неужели?

У нее болела голова, и она пролежала в постели до четырех часов. Ей было приятно узнать, что барон ранен, но она недоумевала, почему не погиб оплаканный ею Вокульский.

Поднявшись поздно, она решила хоть немножко погулять перед обедом по Аллеям.

Прекрасная зелень на фоне ясного неба, щебечущие птицы и оживленные, веселые люди бесследно развеяли ее ночные видения, а когда несколько знакомых, проезжавших мимо, заметили ее и поклонились, на душе у нее посветлело.

«Все же господь милосерден, — думала она, — он пощадил человека, который может нам пригодиться. Отец так рассчитывает на него, что и я начинаю ему доверять. Насколько меньше разочарований испытала бы я в жизни, имея разумного и энергичного друга!»

Слово «друг» не понравилось ей. Другом панны Изабеллы мог быть только человек, имеющий по меньшей мере поместье. Купец же годился только в советчики и исполнители.

Вернувшись домой, она сразу заметила, что у отца отличное настроение.

— Знаешь, — сказал он, — я ездил поздравить Вокульского. Это стоящий человек, настоящий джентльмен. Он уже позабыл о дуэли и, кажется, жалеет барона. Ничего не поделаешь, благородная кровь всегда скажется, при любом положении.

А потом, пройдя с дочерью в кабинет и глянув несколько раз в зеркало, прибавил:

— Ну, скажи сама, как не верить в перст божий? Смерть этого человека была бы для меня тяжелым ударом — и вот он спасен! Я должен завязать с ним более близкие отношения, и еще увидим, кто выиграет: князь со своим знаменитым адвокатом или я с моим Вокульским. Как ты полагаешь?

— Я только что думала именно об этом, — ответила панна Изабелла, поразившись совпадению их мыслей. — Папочка, тебе обязательно нужен человек способный и верный.

— Который к тому же сам ко мне льнет, — прибавил пан Томаш. — Живой ум! Вокульский понимает, что добьется большего и завоюет лучшую репутацию, помогая подняться старинному роду, чем если б сам лез вперед. Очень разумный человек. Сейчас им очарованы князь и вся аристократия, однако он ко мне проявляет особенную привязанность. И он не пожалеет об этом, ибо когда я восстановлю свое положение…

Панна Изабелла смотрела на безделушки, украшавшие стол, и думала, что отец ее все же немножко заблуждается насчет того, к кому льнет Вокульский. Но она не стала его разуверять, напротив — признала в душе, что следовало бы несколько ближе сойтись с этим купцом и извинить ему его общественное положение. Адвокат… купец… ведь это почти одно и то же; и если адвокат может быть близок с князем, почему бы купцу (ах, какая все же безвкусица!)… не быть доверенным лицом семейства Ленцких?

Обед, вечер и несколько следующих дней панна Изабелла провела очень приятно. Ее только озадачивало одно обстоятельство: за короткий промежуток времени их навестило больше людей, чем прежде за целый месяц. В еще недавно пустой гостиной сейчас зазвенел громкий смех и оживленные голоса, даже отдохнувшая мебель удивлялась столь шумному сборищу, а в кухне шептались, что, мол, барин получил откуда-то много денег. Даже дамы, которые еще на скачках не узнавали панну Изабеллу, сейчас явились к ней с визитом, а молодые люди хотя и не являлись, однако на улице узнавали ее и почтительно кланялись.

У пана Томаша теперь тоже бывали гости. Его навестил граф Саноцкий, заклиная его убедить Вокульского, чтоб тот перестал разыгрывать любителя скачек и поединков, а занялся бы делами компании; был граф Литинский и рассказывал чудеса о джентльменстве Вокульского; и, кроме того, несколько раз приезжал князь с просьбой к пану Томашу, чтобы Вокульский, несмотря на происшествие с бароном, не отстранялся от аристократии и помнил о своей несчастной отчизне.

— И уговорите его, дорогой мой, — закончил князь, — чтобы он бросил стреляться. Это совершенно лишнее: дуэли хороши для людей молодых, а не для солидных и заслуженных граждан.

Пан Томаш был в восторге, особенно когда думал, что все эти знаки внимания сыплются на него накануне продажи дома; год назад подобная перспектива отпугнула бы от него людей…

— Я начинаю занимать подобающее мне положение, — шепнул пан Томаш и вдруг оглянулся: ему показалось, что за спиною его стоит Вокульский. Чтобы успокоить себя, он несколько раз повторил: — Я вознагражу его… вознагражу!.. Он может твердо рассчитывать на мою поддержку.

На третий день после поединка панне Изабелле подали дорогой ларчик и письмо, которое ее взволновало. Она узнала почерк барона.

«Дорогая кузиночка! Если ты перестанешь корить меня злосчастной моей женитьбой, я взамен прощу тебе обиды, причиненные моей супруге, которая мне

самому уже порядком надоела. В качестве материального символа мира, заключенного между нами навечно, посылаю тебе зуб, выбитый выстрелом высокоуважаемого пана Вокульского, видимо, за слова, которые я осмелился сказать тебе на скачках. Уверяю тебя, дорогая кузина, что это тот самый зуб, которым я грыз тебя до сих пор, но уж больше грызть никогда не буду. Можешь выбросить его на улицу, но ларчик соблаговоли сохранить на память. Прими этот скромный дар от человека, сейчас немного больного и, поверь, не совсем скверного; я же буду надеяться, что когда-нибудь ты извинишь мне мои неуместные шутки. Любящий и глубоко уважающий тебя кузен Кшешовский.

P.S. Если ты не выбросишь мой зуб за окно, пришли мне его обратно, чтобы я мог его подарить моей бесценной супруге. Она будет иметь случай поогорчаться, что, кажется, предписано ей докторами. А этот пан Вокульский — очень милый и утонченный человек, и, признаюсь, я искренне его полюбил, хотя он и расправился со мною так жестоко».

В ларчике действительно лежал зуб, завернутый в тонкую бумажку.

Панна Изабелла, недолго думая, ответила барону очень благосклонным письмом, заверив его, что уже не сердится и принимает шкатулку, а зуб с надлежащими почестями отсылает владельцу.

Тут уж невозможно было усомниться, что лишь благодаря Вокульскому барон попросил прощения и помирился с нею. Панну Изабеллу растрогала эта победа, а к Вокульскому она почувствовала нечто вроде признательности. Она заперлась у себя в кабинете и принялась мечтать.

Мечтала она о том, что Вокульский продал свой магазин и купил большое имение, однако остался во главе торгового общества, приносящего огромные прибыли. Вся аристократия принимает его у себя, а она, панна Изабелла, сделала его своим наперсником. Он умножил их состояние и поднял его до прежнего великолепия; он исполнял все ее прихоти; он рисковал собою всякий раз когда требовалось. Наконец, он же нашел ей супруга, соответствующего величию дома Ленцких.

Все это он делал потому, что любил ее идеальной любовью, любил больше собственной жизни. И чуствовал себя совершенно счастливым, когда она дарила его улыбкой или ласковым взглядом или же, в награду за какую-нибудь исключительную заслугу, сердечно пожимала ему руку. Когда же господь послал ей детей, он подыскивал им гувернанток и учителей, увеличивал их состояние, и, наконец, когда она умерла (в этом месте слезы навернулись на прекрасные глаза панны Изабеллы), он застрелился на ее могиле… Нет, из деликатности, которая развилась в нем благодаря общению с ней, он застрелился не на ее могиле, а на соседней.

Приход отца прервал ее мечты.

— Кажется, барон Кшешовский прислал тебе письмо? — с любопытством спросил пан Томаш.

Дочь показала ему письмо и золотой ларчик. Пан Томаш прочитал его, покачивая головой.

— Он все-таки сумасшедший, хотя и неплохой человек, — замел он. — Однако… Вокульский в самом деле оказал тебе услугу: ты победила смертельного врага.

— Я думаю, отец, нам бы следовало как-нибудь пригласить этого господина на обед. Я хотела бы поближе познакомиться с ним.

— Вот именно, я сам уже несколько дней собирался тебя об этом просить!

— обрадовался пан Томаш. — Нельзя слишком строго блюсти этикет с человеком, столь нам полезным.

— Разумеется, — бросила панна Изабелла, — ведь даже верным слугам мы разрешаем некоторые вольности.

— Преклоняюсь, Белла, перед твоим умом и тактом! — воскликнул пан Томаш и в восхищении поцеловал дочь сначала в руку, потом в голову.

### Глава пятнадцатая. О том, как человека терзает страсть и как — рассудок

Получив приглашение пана Ленцкого на обед, Вокульский поспешил прочь из магазина. Стены комнаты давили его, а беседа с Жецким, который упорно старался наставить его на путь истинный, показалась ему необычайно глупой. Ну не смешно ли, чтобы этот старый сухарь, помешанный на магазине и на Бонапартах, упрекал его в безрассудстве!

«И что плохого в том, что я влюбился! — думал Вокульский. — Пожалуй, поздновато, но ведь всю жизнь я не разрешал себе этой роскоши. Миллионы людей влюбляются, в природе любит все, что наделено способностью чуствовать,

— почему же мне одному должно быть в этом отказано? А если правильна исходная точка, то правильно и все, что я делаю. Человек, желающий жениться, должен иметь состояние, — и я сколотил состояние. Должен приблизиться к своей избраннице, — я и приблизился. Должен заботиться о ее материальном благополучии и защищать от врагов, — я делаю и то и другое. Разве в борьбе за свое счастье я кого-нибудь обидел? Или пренебрег обязанностями перед обществом и ближними?.. Ох, уж эти мне ближние! И это общество! Оно-то никогда обо мне не заботилось, только ставило мне палки в колеса, зато от меня всегда требует жертв… Между тем именно то, что они называют безрассудством, заставляет меня выполнять то, что они именуют обязанностями. Если б не мое «безрассудство», сидел бы я и поныне, зарывшись в книжки, как моль, а сотни людей зарабатывали бы меньше денег. Так чего же они от меня хотят?» — в раздражении спрашивал он себя.

Свежий воздух и ходьба успокоили Вокульского; он дошел до Иерусалимской Аллеи и повернул к Висле. В лицо ему подул сильный восточный ветер, разбудив в душе какие-то неясные ощущения, живо напомнившие детство (словно он оставил его тут, за углом, и в нем еще бьется горячей волной молодая кровь).

Мимо проехала длинная телега с песком, запряженная тощей клячей, — Вокульский приветливо улыбнулся возчику; при виде растрепанной ведьмы-нищенки он подумал: «Какая милая старушка!» Его веселил свист, доносившийся с фабрики, и тянуло поболтать с ватагой чудесных мальчишек, которые, выстроившись на холме у дороги, швыряли камни в проходивших евреев.

Он упорно отгонял от себя мысль о сегодняшнем письме и завтрашнем обеде у Ленцких. «Нужно быть трезвым», — решил он, однако страсть была сильнее благоразумия.

«Зачем они меня пригласили? — раздумывал он с легкой внутренней дрожью.

— Панна Изабелла хочет со мной познакомиться… Ну конечно, они дают мне понять, что я могу свататься! Ведь не слепые же они и не дураки! Могли ли они не заметить, что со мной делается в ее присутствии…»

Тут он задрожал так, что у него зубы застучали; и тогда отозвался рассудок:

«Погоди, погоди! От одного обеда и одного визита еще далеко до более короткого знакомства, а из тысячи близких знакомств едва ли одно приводит к сватовству; из десятка предложений едва ли одно бывает принято, и едва половина обручений кончается свадьбой. Итак, надо совсем потерять голову, чтобы даже при близком знакомстве надеяться на женитьбу, ибо за нее не более одного шанса, а против — двадцать тысяч шансов… Ясно или нет?»

Вокульский вынужден был признать, что ясно. Если бы всякое знакомство кончалось браком, то у каждой женщины были бы десятки мужей, а у каждого мужчины — десятки жен, ксендзы не успевали бы венчать, а мир превратился бы в сплошной сумасшедший дом. К тому же он, Вокульский, пока вообще почти не знаком с панной Ленцкой и только завтра ему предстояло по-настоящему познакомиться с ней.

— Итак, чего же я достиг ценой всех опасностей в Болгарии и всех этих скачек и поединков здесь?

«Твои шансы увеличились, — растолковывал ему рассудок. — Год назад была одна стомиллионная или одна двадцатимиллионная доля вероятия, что она пойдет за тебя, а через год, возможно, будет одна двадцатитысячная…»

— Через год? — повторил Вокульский, и его обдало пронизывающим холодом. Однако он превозмог себя и спросил:

«А если панна Изабелла полюбит меня или уже любит?»

«Прежде всего следовало бы знать: способна ли вообще панна Изабелла кого-нибудь полюбить?»

«Разве она не женщина?»

«Бывают женщины, как, впрочем, и мужчины, — с душевным изъяном, которые не умеют любить ничего, кроме собственных мимолетных капризов, — это такой же недостаток, как глухота, слепота или паралич, только менее очевидный».

«Допустим…»

«Хорошо, — продолжал голос, напоминавший Вокульскому язвительное брюзжание доктора Шумана. — Допустим, что эта дама способна любить, но полюбит ли она именно тебя?»

«Ведь не так уж я противен!»

«А ей ты можешь показаться противным, как красавец лев противен корове или орел гусыне. Видишь, я даже говорю тебе комплименты, сравнивая со львом и орлом, которые при всех своих достоинствах возбуждают отвращение в самках другой породы. Поэтому избегай самок другой породы…»

Вокульский очнулся и огляделся по сторонам. Он был уже у реки, подле деревянных амбаров. Проезжавшие мимо телеги обдали его черной пылью. Он поспешил повернуть обратно и по дороге попытался разобраться в себе.

«Во мне уживаются два человека: один вполне рассудительный, а другой — безумец. Кто же из них возьмет верх?.. Ах, да не все ли равно! Однако что я буду делать, если победит рассудок? Какая мука — обладать огромным запасом нерастраченных чувств и сложить его к ногам самки другой породы: коровы, гусыни или чего-либо еще похуже!.. Какое унижение — смеяться над победами какого-нибудь быка или гусака и в то же время плакать над собственным сердцем, так безжалостно истерзанным, так постыдно растоптанным!.. Стоит ли жить, в таком случае?»

При этой мысли ему страстно захотелось умереть, исчезнуть, чтобы и горсточки пепла не осталось после него на земле.

Мало-помалу он все-таки успокоился и, вернувшись домой, стал вполне хладнокровно обдумывать, что надеть к завтрашнему обеду: фрак или сюртук? И не возникнет ли до завтра какое-нибудь непредвиденное препятствие, которое снова помешает ему ближе познакомиться с панной Изабеллой. Потом он подвел итоги торговых оборотов за последние дни, отправил несколько телеграмм в Москву и Петербург и, наконец, написал письмо старику Шлангбауму, предлагая ему купить на свое имя дом Ленцких.

«Адвокат прав, — думал он. — Лучше купить дом на чужое имя. А то они, чего доброго, заподозрят, что я хотел нажиться за их счет или, еще того хуже, милость им оказать».

Но суета повседневных дел не могла утишить бури в его душе. Рассудок громко твердил, что завтрашний обед ничего не означает и ничего не сулит. А надежда тихо-тихо шептала, что, может быть, он любим или будет любим.

Но тихо… так тихо, что Вокульскому приходилось напрягать все внимание, чтобы уловить этот шепот.

Следующий день, столь знаменательный в жизни Вокульского, не был отмечен ничем особенным ни на варшавских улицах, ни на варшавском небе. На улице тут и там дворники поднимали метлами клубы пыли, лихо неслись, вдруг без всякого

повода осаживая, извозчики, а бесконечные потоки пешеходов тянулись друг другу навстречу, словно для того, чтобы в городе не прекращалось движение. Время от времени, пугливо ежась, пробирались вдоль стен какие-то оборванцы, глубоко засунув руки в рукава, точно был не июнь, а январь. Иногда, громыхая жестяными бидонами, по мостовой проезжала крестьянская повозка, которой правила молодцеватая баба в синем армяке, повязанная красным платком.

Все это кишело между двумя длинными рядами домов разноцветной окраски, над которыми величественно вздымались верхушки храмов. А на обоих концах улицы, как часовые, охраняющие город, возвышались два памятника. С одной стороны на гигантском постаменте-свече стоял король Зыгмунт, склонившийся к Бериардинскому костелу, как будто желал что-то сказать прохожим. С другой — неподвижный Коперник с неподвижным глобусом в руке сидел, повернувшись спиной к солнцу, которое утром всходило из-за дома Карася и, достигнув зенита над дворцом Общества друзей науки, скрывалось за домом Замойских, словно наперекор афоризму: «Он солнце задержал и двинул землю».

Именно в эту сторону смотрел сейчас с балкона Вокульский и невольно вздохнул, вспомнив, что единственными верными друзьями астронома были грузчики и пильщики, которые, как известно, не очень-то разбирались, в чем состояла заслуга Коперника.

«Много ли ему радости от того, что в нескольких книжках его называют гордостью нашего народа!.. — думал Вокульский. — Работать во имя счастья это я понимаю, но работать во имя фикции, именуемой общественным благом или славой, — нет, на это я уже не способен. Пусть общество само о себе заботится, а слава… Что мне мешает вообразить, будто слава обо мне гремит, допустим, на Сириусе? А ведь положение Коперника на земле сейчас ничуть не лучше, и статуя в Варшаве радует его не больше, чем меня пирамида где-нибудь на Веге. Три века славы я отдам за мгновение счастья. Меня удивляет моя прежняя глупость, когда я мог думать иначе».

Словно в ответ на эти размышления появился на другой стороне улицы Охоцкий; талантливый маньяк медленно шагал, опустив голову и засунув руки в карманы.

Это простое совпадение глубоко поразило Вокульского; на минуту он даже поверил в предчуствия и подумал с радостным изумлением:

«Уж не предвещает ли это, что его ждет слава Коперника, а меня — счастье? Так изобретай себе на здоровье летательные аппараты, только оставь мне свою кузину!.. Что за суеверие! — тут же спохватился он. — Я — и суеверия!..»

Как бы то ни было, ему очень понравилась мысль, что Охоцкий завоюет бессмертную славу, а он — живую панну Изабеллу. Сердце его исполнилось надежды. Он посмеивался над собой, но в то же время чуствовал, что стал как-то спокойнее и увереннее.

«Итак, допустим, что, несмотря на все мои старания, она меня отвергает. Что тогда? Честное слово, я немедленно заведу содержанку и буду появляться с нею в

театре рядом с ложей Ленцких. Почтеннейшая пани Мелитон, а может быть, и этот… Марушевич разыщут для меня женщину, чертами похожую на панну Изабеллу (тысяч за пятнадцать можно найти и такую). Я наряжу ее с ног до головы в кружева, осыплю драгоценными каменьями — и мы увидим, не померкнет ли рядом с нею панна Изабелла! А уж тогда пусть она выходит замуж хотя бы за предводителя или барона…»

При мысли о замужестве панны Изабеллы его охватили ярость и отчаяние. В эту минуту он готов был весь мир начинить динамитом и взорвать. Но он снова овладел собой.

«А что я мог бы сделать, если б ей вздумалось выйти замуж? Или завести любовников — хотя бы моего приказчика или какого-нибудь офицерика, а то и кучера или лакея… Ну, что я бы мог сделать?»

Уважение к свободе личности было в нем так велико, что перед ним смирялось даже его безумие.

«Что делать?.. Что делать?..» — повторял он, сжимая руками пылающую голову.

Он зашел на часок в магазин, уладил кое-какие дела и вернулся домой; в четыре часа слуга достал ему из комода белье и явился парикмахер — побрить его и причесать.

— Ну, что слышно, пан Фитульский? — спросил он парикмахера.

— Пока ничего, но будет хуже: Берлинский конгресс думает, как бы задушить Европу, Бисмарк — как бы задушить конгресс, а евреи — как бы всех нас остричь наголо… — отвечал молодой маэстро, хорошенький, как херувим, и нарядный, как модная картинка.

Он повязал шею Вокульскому полотенцем и, с молниеносной быстротой намыливая ему щеки, продолжал:

— В городе, сударь, до поры до времени тихо, а так вообще — ничего. Вчера я был со знакомыми на Сасской Кемпе. Ну, скажу я вам, и молодежь нынче! Одна грубость. Поссорились во время танцев — и, вы только вообразите, пожалуйста… Головку чуть повыше, s'il vous plait… ***<Пожалуйста… (франц.)>***

Вокульский поднял голову повыше и увидел у своего мастера золотые запонки на изрядно грязных манжетах.

— Да, так поссорились они во время танцев, — продолжал франт, поблескивая бритвой перед глазами Вокульского, — и вообразите, пожалуйста; один, желая заехать другому в фасад, ударил даму! Поднялась суматоха… дуэль… Меня, само собой, выбрали в секунданты, и сегодня я, натурально, оказался в большом затруднении, потому что у меня был только один пистолет, как вдруг, с полчаса назад, является ко мне обидчик и заявляет, что он не дурак стреляться и пусть, мол, обиженный даст ему сдачи, но только один раз, не больше… Головку вправо, s'il vous plait… Тут, поверите ли, сударь, я до того возмутился (всего полчаса назад), что схватил этого субъекта за галерку, дал ему коленкой в нижний этаж и

вон за дверь! Ну, мыслимо ли стреляться с таким шутом гороховым! N'est-ce pas? ***<Не правда ли? (франц.)>*** Теперь влево, s'il vous plait.

Он закончил бритье, обмыл Вокульскому лицо и, облачив его в нечто напоминающее рубаху смертника, продолжал:

— Как это я никогда не замечал у вас, ваша милость, ни следа дамского присутствия, хоть и прихожу к вам в разное время…

Он вооружился щеткой и гребнем и принялся за прическу.

— Прихожу я в разное время, а глаз у меня на этот счет… ого! И так-таки ничего — ни краешка юбки, ни туфельки или какой-нибудь ленточки! А ведь даже у каноника мне как-то привелось видеть корсет; правда, он нашел его на улице и как раз собирался анонимно послать в редакцию. А уж про офицеров, особенно гусар, и говорить нечего!.. (Головку пониже, s'il vous plait…) Истинное столпотворение!.. У одного, сударь мой, я застал сразу четырех дам, и все — развеселые… С тех пор, честное слово, я всегда ему кланяюсь на улице, хотя он не пользуется больше моими услугами да еще задолжал мне пять рублей… Но если за билет на концерт Рубинштейна я мог заплатить шесть рублей, так неужто пожалею пятерку для такого виртуоза?.. Может, немножечко подчернить волосы, je suppose que oui? ***<Полагаю, что да? (франц.)>***

— Покорно благодарю, — отказался Вокульский.

— Так я и думал, — вздохнул парикмахер. — Вы, сударь, нисколько не заботитесь о красоте, а это нехорошо! Я знаю нескольких балерин, которые охотно бы закрутили с вами романчик, а стоит, право стоит! Восхитительно сложены, мускулы дубовые, бюст — как пружинный матрац, грация неописуемая да и требования отнюдь не чрезмерные, особенно у молодых. Ибо женщина, сударь, чем старше, тем дороже, — видно, потому-то никого и не тянет к шестидесятилетней, ибо такая ничего уж не стоит. Сам Ротшильд и тот бы обанкротился!.. А начинающей вы дадите тысчонки три в год да кое-какие там подарочки, и она будет вам верна… Ох, уж эти бабенки! Я из-за них невралгию нажил, а сердиться не могу…

Он виртуозно закончил свое дело, поклонился по всем правилам хорошего тона и с улыбкой удалился. Глядя на его величественную осанку и портфель, в котором он носил щетки и бритвы, можно было принять его за чиновника какого-нибудь министерства.

После его ухода Вокульский даже не вспомнил о молодых и непритязательных балеринах, — его занимала чрезвычайно важная проблема, которую он коротко выразил в трех словах: фрак или сюртук?

«Если фрак — я могу показаться щеголем, строго придерживающимся этикета, до которого мне, в сущности, дела нет; если я надену сюртук — Ленцкие, пожалуй, обидятся. К тому же — вдруг еще кто-нибудь приглашен… Ничего не поделаешь! Раз уж я решился на такие глупости, как собственный экипаж и скаковая лошадь, придется надеть фрак».

Размышляя, он посмеивался над бездной ребячеств, в которую толкало его знакомство с панной Изабеллой.

— Ах, старина Гопфер! — говорил он. — О мои университетские и сибирские товарищи! Кто бы из вас подумал, что меня будут занимать подобные глупости!

Он надел фрачную пару и, подойдя к зеркалу, с удовольствием оглядел себя. Плотно облегающий костюм прекрасно обрисовывал его атлетическую фигуру.

Лошадей подали четверть часа назад, было уже половина шестого. Вокульский накинул легкое пальто и вышел.

Садясь в экипаж, он был очень бледен и очень спокоен, как человек, идущий навстречу опасности.

#### Глава шестнадцатая. «Она», «он» и прочие

В тот день, когда Вокульский был приглашен к обеду, панна Изабелла вернулась от графини в пять часов. Она была немного раздосадована и в то же время вся во власти грез — словом, прелестна.

Сегодня она пережила счастье и разочарование. Великий итальянский трагик Росси[24], с которым она и тетка познакомились еще в Париже, приехал на гастроли в Варшаву. Он сразу же навестил графиню и с большой теплотой расспрашивал о панне Изабелле. Сегодня он должен был прийти вторично, и графиня специально для него пригласила племянницу. Между тем Росси не явился и только прислал извинительное письмо, оправдываясь неожиданным посещением какой-то высокопоставленной особы.

Несколько лет назад, в Париже, Росси был идеалом панны Изабеллы; она влюбилась в него и даже не скрывала своих чувств — насколько, разумеется, это было допустимо для барышни ее круга. Знаменитый актер об этом знал, ежедневно бывал у графини, играл и декламировал все, что просила панна Изабелла, а уезжая в Америку, подарил ей «Ромео и Джульетту» на итальянском языке с надписью: «У навозных мух гораздо больше веса и значенья, чем у Ромео…»

Весть о прибытии Росси в Варшаву и о том, что он ее не забыл, взволновала панну Изабеллу. В час дня она уже была у тетки. Поминутно подходила к окну, с бьющимся сердцем прислушивалась к громыханию экипажей, вздрагивала при каждом звонке, разговаривая, теряла нить мысли, а на щеках ее выступил яркий румянец.

И вот — Росси не явился!

А сегодня она была так хороша! Нарочно для него надела кремового цвета платье (издали шелк казался смятым полотном), в ушах ее красовались бриллиантовые сережки (не крупнее горошин), на плече — пунцовая роза. И все. Росси мог пожалеть, что не видел ее.

Прождав четыре часа, она в негодовании вернулась домой. Однако, несмотря на гнев, взяла «Ромео и Джульетту» и, перелистывая книжку, думала: «А вдруг сейчас сюда войдет Росси?»

Да, здесь было бы даже лучше, чем у графини. Наедине он мог бы ей шепнуть словечко понежней, убедился бы, что она хранит его подарки, а главное — о чем сейчас столь красноречиво говорит большое зеркало — в этом платье с розой, в этом голубом кресле она выглядит божественно.

Она вспомнила, что к обеду у них будет Вокульский, и невольно пожала плечами. Галантерейный купец рядом с Росси, которым восхищался весь мир, должен был выглядеть настолько смешно, что ей просто стало жаль его. Очутись Вокульский в эту минуту у ее ног, она, может быть, даже запустила бы ему пальцы в волосы и, забавляясь им, как большим псом, прочитала бы ему слова, в которых Ромео изливал свои жалобы перед Лоренцо:

**Ромео**

Небесный свод лишь над одной Джульеттой.
Собака, мышь, любая мелюзга
Живут под ним и вправе с ней видаться,
Но не Ромео. У навозных мух
Гораздо больше веса и значенья,
Чем у Ромео. Им разрешено
Соприкасаться с белоснежным чудом
Джульеттиной руки и воровать
Благословенье губ ее стыдливых,
Но не Ромео. Этому нельзя.
Он в высылке, а мухи полноправны…
Изгнание! Изгнанье — выраженье,
Встречаемое воплями к аду.
И ты, священник, друг, мудрец, наставник,
Ты мог меня изгнанником назвать? [25]

Она вздохнула. Кто знает, сколько раз повторял эти слова великий скиталец, думая о ней! И, может быть, у него нет даже наперсника!.. Вокульский мог бы стать его наперсником: он-то знает, что значит сходить с ума по женщине, если рисковал ради нее жизнью.

Перелистав несколько страниц, она снова принялась читать:

**Джульетта**

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!
Отринь отца да имя измени,
А если нет, меня женою сделай,
Чтоб Капулетти мне не быть.
. . . . . .

Лишь это имя мне желает зла.
Ты был бы ты, не будучи Монтекки…
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя?
Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как-нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен.

Как удивительно схожа их судьба: он, Росси, — актер, она — панна Ленцкая… Брось свое имя, брось сцену… Да, но что же тогда останется? Впрочем, даже принцесса могла бы выйти за Росси, и весь мир преклонился бы перед ее самопожертвованием. Выйти за Росси?.. Заботиться о его театральных костюмах; может быть, и пуговицы пришивать к его ночным сорочкам?..

Панна Изабелла содрогнулась. Безнадежно любить его — и все… Любить и время от времени говорить с кем-нибудь об этой трагической любви… Может быть, с панной Флорентиной? Нет, она слишком холодна. Гораздо больше подошел бы для этого Вокульский. Он смотрел бы ей в глаза, страдал бы за нее и за себя, она поверяла бы ему свои мысли, сокрушаясь над своим и его страданием, и как приятно проходили бы часы! Галантерейный купец в роли наперсника!.. Ну, в конце концов можно и забыть, что он купец!..

В это время пан Томаш, подкручивая свой ус, расхаживал по своему кабинету и размышлял:

«Вокульский — человек на редкость расторопный и энергичный. Будь у меня такой поверенный (тут он вздохнул), не потерял бы я состояния… Ну, прошлого не воротишь, зато теперь он со мною. От продажи дома останется мне тысяч сорок, нет — пятьдесят, а то и все шестьдесят… Нет, нет, не будем увлекаться — пусть пятьдесят, ну, даже только сорок тысяч рублей… Я отдам их Вокульскому, он будет мне выплачивать тысяч восемь в год, а остальное (если дела наши в его руках пойдут, как я надеюсь), остальные проценты я велю ему пустить в оборот… За пять-шесть лет капитал удвоится, а за десять может и учетвериться… В торговых операциях капитал растет, как на дрожжах… Да что я говорю! Вокульский, если он в самом деле гениальный коммерсант, наверняка наживает сто на сто. А раз так, посмотрю я ему прямо в глаза и скажу без обиняков: „Вот что, любезный: другим можешь давать пятнадцать или двадцать процентов, но я в этом толк знаю“. Он увидит, с кем имеет дело, и, конечно, сразу обмякнет, да, пожалуй, такие даст проценты, какие мне и не снились…»

В передней два раза прозвонил звонок. Пан Томаш поспешно прошел вглубь кабинета и, усевшись в кресло, взял в руки приготовленный заранее том экономики Супинского.[26] Миколай распахнул дверь, и на пороге появился Вокульский.

— А… приветствую! — воскликнул пан Томаш, протягивая ему руку.

Вокульский низко склонился перед этим человеком, убеленным сединами, которого он был бы счастлив назвать своим отцом.

— Садитесь же, пан Станислав! Не угодно ли папиросу? Прошу вас… Ну, что слышно? А я как раз читаю Супинского: умная голова!.. Да, народы, не умеющие трудиться и накапливать богатства, должны исчезнуть с лица земли… Бережливость и труд. А наши компаньоны что-то начинают капризничать, а?..

— Пусть поступают, как находят нужным, — ответил Вокульский. — На них я не зарабатываю ни гроша.

— Я-то не оставлю вас, пан Станислав, — сказал Ленцкий решительным тоном. И, подумав, добавил: — На днях я продаю, вернее позволяю продать, мой дом. У меня с ним было много хлопот: жильцы не платят, управляющие крадут, а по закладной мне приходится платить из собственного кармана. Не удивительно, что все это мне в конце концов надоело…

— Разумеется, — поддержал его Вокульский.

— Я надеюсь, — продолжал пан Томаш, — что мне останется тысяч пятьдесят или хотя бы сорок…

— Сколько вы рассчитываете получить за дом?

— Тысяч сто, сто десять… Но сколько бы я ни получил, все отдаю вам, пан Станислав.

Вокульский склонил голову в знак согласия и подумал, что тем не менее пан Ленцкий не получит за дом более девяноста тысяч. Ибо ровно столько было сейчас в распоряжении Вокульского, а он не мог входить в долг, не рискуя своим кредитом.

— Все отдам вам, пан Станислав, — повторил пан Томаш. — Хочу только спросить: примете ли вы?

— Ну конечно…

— А за какой процент?

— Гарантирую двадцать, а если дела пойдут хорошо, то и больше, — ответил Вокульский, а про себя добавил, что никому другому он не мог бы дать свыше пятнадцати.

«Вот плут!.. — подумал пан Томаш. — Сам, наверное, получает процентов сто, а мне дает двадцать!..» Однако вслух сказал:

— Хорошо, дорогой пан Станислав, согласен на двадцать процентов, если только вы сможете мне выплатить деньги вперед.

— Я буду выплачивать вам вперед… каждое полугодие, — ответил Вокульский, испугавшись, как бы пан Ленцкий не растратил все деньги слишком быстро…

— И на это согласен, — заявил пан Томаш самым благодушным тоном. — А всю прибыль, — прибавил он с легким ударением, — всю прибыль сверх двадцати процентов вы уж, пожалуйста, не давайте мне на руки, хотя бы… я умолял вас, понятно?.. и причисляйте ее к капиталу. Пусть растет, правильно?

— Дамы просят пожаловать, — произнес Миколай, появляясь в дверях кабинета.

Пан Томаш величественно поднялся с кресла и церемониальным шагом ввел Вокульского в гостиную.

Позже Вокульский не раз пытался дать себе отчет, как выглядела гостиная и как он вошел туда, но так и не мог всего воспроизвести в памяти. Помнил только, как у двери он несколько раз поклонился пану Томашу, как потом на него повеяло чем-то душистым и он поклонился даме в кремовом платье, с пунцовой розой на плече, а потом — другой даме, высокой, одетой во все черное, которая смотрела на него с опаской. Так по крайней мере ему показалось.

Только спустя несколько минут он понял, что дама в кремовом платье — панна Изабелла. Она сидела в кресле, с неподражаемой грацией изогнувшись в его сторону, и говорила, ласково глядя ему в глаза:

— Моему отцу придется долго упражняться, пока он сумеет удовлетворить вас в качестве компаньона. От его имени прошу вас быть снисходительным.

И она протянула руку, к которой Вокульский едва осмелился прикоснуться.

— Пан Ленцкий, — возразил он, — в качестве компаньона нуждается только в надежном юристе и бухгалтере, которые время от времени будут проверять счета. Остальное мы берем на себя.

Ему показалось, что он сказал какую-то страшную глупость, и он покраснел.

— Вы, наверно, много заняты: такой магазин… — проговорила одетая в черное панна Флорентина и еще больше испугалась.

— Не так уж много. На мне лежит изыскание оборотных средств и связь с клиентурой, а приемкой и оценкой товаров занимается персонал магазина.

— Как бы то ни было, разве можно положиться на чужих людей? — вздохнула панна Флорентина.

— У меня прекрасный управляющий, который в то же время является моим другом; он ведет дело лучше меня.

— Ваше счастье, пан Станислав… — подхватил пан Ленцкий. — Едете вы в этом году за границу?

— Собираюсь в Париж, на выставку.

— Завидую вам, — откликнулась панна Изабелла. — Я уже два месяца мечтаю о Парижской выставке, но папа не проявляет никакого желания ехать…

— Наша поездка целиком зависит от пана Вокульского, — ответил отец. — Советую тебе почаще приглашать его к обеду и угощать вкусными блюдами, чтобы он был в хорошем настроении.

— Обещаю всякий раз, когда вы нас будете посещать, сама заглядывать в кухню. Но разве в этом случае достаточно благих намерений…

— С благодарностью принимаю обещание, — ответил Вокульский. — Однако это не повлияет на срок вашего отъезда в Париж; он зависит только от вашей воли.

— Merci… — шепнула панна Изабелла.

Вокульский склонил голозу. «Знаю я, чего стоит это „merci“, — подумал он. — За него расплачиваются пулями!»

— Не угодно ли к столу! — пригласила панна Флорентина.

Все перешли в столовую, посредине которой стоял круглый стол, накрытый на четыре персоны; Вокульского посадили между панной Изабеллой и ее отцом, против панны Флорентины. Он был уже совсем спокоен, настолько, что это спокойствие его даже пугало. Неистовство страстей исчезло, и он спрашивал себя, действительно ли эту женщину он любит? Возможно ли, любя так, как он, сидеть рядом с предметом своей безумной страсти и ощущать в душе такую тишину, такую беспредельную тишину?.. Мысль его текла непринужденно, он успевал замечать малейшее движение на лицах своих собеседников и даже (что было просто смешно!), глядя на панну Изабеллу, произвел в уме следующий подсчет:

«Платье: пятнадцать локтей сурового шелка по рублю — пятнадцать рублей… Кружева — рублей десять, а шитье — пятнадцать… Итого… сорок рублей платье, рублей сто пятьдесят сережки и десять грошей роза…»

Миколай стал подавать кушанья. Вокульский без малейшего аппетита съел несколько ложек холодной ботвиньи, запил их портвейном, потом попробовал жаркое и запил пивом. Улыбнулся, сам не зная чему, и в приступе какого-то мальчишеского озорства решил делать промахи за столом. Для начала он, поев жаркое, положил нож и вилку на подставку возле тарелки. Панна Флорентина даже вздрогнула, а пан Томаш с необычайным воодушевлением принялся повествовать о том, как однажды на балу в Тюильри он, по просьбе императрицы Евгении, танцевал менуэт с супругой какого-то маршала.

Подали судака, и Вокульский атаковал его ножом и вилкой. Панна Флорентина едва не упала в обморок, панна Изабелла взглянула на него со снисходительной жалостью, а пан Томаш… тоже начал есть судак ножом и вилкой.

«Как вы глупы!» — подумал Вокульский, чувствуя, что в нем просыпается нечто вроде презрения к этому обществу. Вдобавок панна Изабелла обратилась к отцу — впрочем, без тени язвительности:

— Ты должен, папа, как-нибудь научить и меня есть рыбу ножом.

Вокульскому показалось это просто бестактным.

«Нет, видно, я вылечусь от своей любви еще до конца обеда…» — сказал он себе.

— Дорогая моя, — отвечал пан Томаш, — манера не есть рыбу ножом — это, право же, предрассудок… Не так ли, пан Вокульский?

— Предрассудок?.. Не скажу, — возразил тот. — Скорее всего это обычай, перенесенный из условий, которым он соответствует, в условия несоответствующие.

Пан Томаш даже заерзал на стуле.

— Англичане считают это чуть ли не оскорблением… — процедила панна Флорентина.

— Англичане употребляют в пищу морскую рыбу, которую можно есть одной вилкой, а нашу костлявую рыбу они, вероятно, ели бы иначе…»

— О, англичане никогда не нарушают установленных правил, — настаивала панна Флорентина.

— Это верно, — признал Вокульский, — они не нарушают правил в обычных условиях, но в необычных условиях применяют принцип: действуй, как удобнее. Да я сам видал весьма изысканных лордов, которые ели баранину с рисом руками, а бульон пили прямо из котелка.

Замечание было едким, однако пан Томаш выслушал его с удовольствием, а панна Изабелла — почти с изумлением. Этот купец, едавший баранину с лордами и так смело проповедовавший теорию, будто рыбу следует есть при помощи ножа, сразу вырос в ее глазах. Кто знает, не показалось ли ей это более значительным, чем дуэль с Кшешовским.

— Значит, вы враг этикета? — спросила она.

— Нет. Но я не хочу быть его рабом.

— Однако же в известных кругах всегда придерживаются этикета.

— Не знаю. Я встречал людей самого высшего круга, и в определенных условиях они забывали об этикете.

Пан Томаш слегка склонил голову, панна Флорентина посинела, а панна Изабелла взглянула на Вокульского почти благосклонно. Пожалуй, более чем почти… Бывали мгновения, когда ей мерещилось, будто Вокульский — это некий Гарун-аль-Рашид, переодетый купцом. В душе ее росло изумление и даже симпатия к нему. Несомненно, этот человек достоин быть ее наперсником. С ним она может беседовать о Росси.

После мороженого панна Флорентина, совсем сбитая с толку, осталась в столовой, а хозяева и гость перешли в кабинет пана Томаша — пить кофе. Вокульский как раз допивал свою чашку, когда Миколай подал барину на подносе письмо.

— Ждут ответа, ваша милость.

— Ах, от графини… — заметил пан Томаш, бросив взгляд на конверт. — Вы разрешите?..

— Если вы ничего не имеете против, — прервала панна Изабелла, с улыбкой обращаясь к Вокульскому, — перейдем в гостиную, а отец тем временем напишет ответ.

Она знала, что это письмо пан Томаш написал себе сам, так как ему непременно нужно было хоть полчасика вздремнуть после обеда.

— Вы не обидитесь? — спросил пан Томаш, пожимая гостю руку.

Вокульский и панна Изабелла перешли из кабинета в гостиную. Она с присущим ей изяществом опустилась в кресло, указав гостю на другое, стоявшее неподалеку.

Очутившись наедине с панной Изабеллой, Вокульский почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Волнение его еще более усилилось, когда она устремила на него странно пристальный взгляд, словно желая проникнуть в самую глубину его души и приковать к себе. Это была уже не та панна Изабелла, которую он видел на пасху в костеле, и не та, что говорила с ним на скачках; теперь это была женщина умная и способная чуствовать — она хотела о чем-то его спросить, о чем-то поговорить серьезно и откровенно.

Вокульскому не терпелось услышать, что она скажет; он настолько потерял самообладание, что готов был убить на месте всякого, кто в эту минуту помешал бы им. Он молча глядел на панну Изабеллу и ждал.

Панна Изабелла была смущена. Давно уже не испытывала она такого смятения чуств. В голове ее проносились обрывки фраз: «он купил сервиз», «нарочно проигрывал отцу», «унизил меня», а потом — «он любит меня», «купил скаковую лошадь», «стрелялся на дуэли», «едал баранину с лордами»… Презрение, гнев, изумление, симпатия беспорядочно волновали ей душу, как частый дождь водную гладь, а из глубины рвалась наружу потребность поверить кому-нибудь свои повседневные заботы, свои сомнения и свою трагическую любовь к великому актеру.

«Да, он достоин быть… и он будет моим наперсником!» — думала панна Изабелла, нежно глядя в глаза изумленному Вокульскому и слегка наклонившись вперед, будто собиралась поцеловать его в лоб. Потом, вдруг устыдившись чего-то, она откинулась на спинку кресла, залилась румянцем и медленно опустила длинные ресницы, словно их смежил сон. Прелестная игра ее лица напомнила Вокульскому волшебные переливы северного сияния и те чудесные неслышные мелодии без слов, которые порой звучат в человеческой душе, словно отголоски иного, лучшего мира. Замечтавшись, он прислушивался к торопливому тиканью настольных часов в к биению собственного пульса, удивляясь тому, что ритм их, такой быстрый, все же кажется медленным в сравнении со стремительным бегом его мысли.

«Если существует рай, — думал он, — то и праведникам не познать счастья выше, чем то, которое я испытываю сейчас».

Молчание затягивалось и становилось неприличным. Первая опомнилась панна Изабелла.

— У вас было недоразумение с бароном Кшешовским, — сказала она.

— Из-за скачек… — поспешно перебил ее Вокульский. — Барон не мог мне простить, что я купил его лошадь.

Она поглядела на него с мягкой улыбкой.

— Потом вы дрались на дуэли, и… мы были очень встревожены, — прибавила она тише. — А потом… барон извинился передо мной, — быстро закончила она, опуская глаза. — В письме, которое барон прислал мне по этому поводу, он отзывается о вас с большим уважением и дружелюбием…

— Я очень… очень рад, — пролепетал Вокульский.

— Чему, сударь?

— Что обстоятельства так сложились… Барон — благородный человек…

Панна Изабелла протянула ему руку и, задержав ее на минутку в пылающей ладони Вокульского, продолжала:

— Не оспаривая несомненной доброты барона, я все же благодарю вас. Благодарю… Есть услуги, которые не скоро забываются, и право же… — тут она заговорила медленнее и тише, — право, вы облегчили бы мою совесть, потребовав чего-нибудь взамен за вашу… любезность…

Вокульский выпустил ее руку и выпрямился. Он был в таком упоении, что не обратил внимания на словцо «любезность».

— Хорошо, — ответил он. — Если вы приказываете, я признаю даже свои заслуги. Могу ли я взамен обратиться к вам с просьбой?

— Да.

— Так вот, я прошу об одном, — с горячностью сказал он, — о праве служить вам, насколько хватит моих сил. Всегда и во всем…

— Сударь! — с улыбкой прервала панна Изабелла. — Да ведь это коварство! Я хочу уплатить один долг, а вы хотите принудить меня делать новые. Разве так можно?

— Что ж тут дурного? Разве вы не принимаете услуг — ну, хотя бы от рассыльных?

— Но ведь им за это платят, — ответила она, кокетливо взглянув на него.

— Вот и вся разница между ними и мной: им нужно платить, а мне неудобно и даже нельзя.

Панна Изабелла покачала головой.

— То, о чем я прошу, — продолжал Вокульский, — не переходит границы самых обыкновенных человеческих отношений. Вы, дамы, всегда приказываете, мы всегда исполняем — вот и все. Людям, принадлежащим к высшему свету, и просить не пришлось бы о подобной милости: для них она является повседневной обязанностью, даже законом. Я же добивался ее, а сейчас умоляю о ней, ибо исполнение ваших поручений некоторым образом приобщило бы меня к вашему кругу. Боже мой! Если кучера и лакеи имеют право носить ваши цвета на ливреях, то почему же мне не постараться заслужить эту честь?

— Ах, вот вы о чем! Мне не придется дарить вам свою ленту — вы сами уже завладели ею. А отнимать? Поздно, хотя бы из-за письма барона.

Она снова подала ему руку. Вокульский благоговейно поцеловал ее. В смежной комнате раздались шаги, и вошел пан Томаш, выспавшийся и сияющий. Его красивое лицо выражало такое благодушие, что Вокульский подумал:

«Я буду негодяем, если твои тридцать тысяч, почтеннейший, не принесут тебе десять тысяч ежегодно».

Они втроем посидели еще с четверть часа, болтая о недавнем празднике в «Швейцарской долине"[27], о прибытии Росси и поездке в Париж. Наконец Вокульский с сожалением покинул приятное общество, дав обещание приходить чаще и в Париж ехать вместе с ними.

— Вот увидите, как там будет весело! — сказала ему на прощание панна Изабелла.

#### Глава семнадцатая. Как прорастают семена всякого рода заблуждений

Когда Вокульский возвращался домой, было около девяти. Солнце недавно зашло, но зоркий глаз уже мог различить наиболее крупные звезды, мерцающие в золотисто-лазоревом небе. На улицах раздавались оживленные голоса прохожих; в сердце Вокульского царило радостное спокойствие.

Он вспоминал каждую улыбку, каждый взгляд, каждое движение и слово панны Изабеллы, придирчиво стараясь найти в них следы враждебности или высокомерия. Тщетно. Она обращалась с ним, как с ровней и другом, приглашала чаще бывать у них, мало того — даже потребовала, чтобы он о чем-нибудь ее попросил.

«А если бы в эту минуту я сделал ей предложение? — вдруг пришло ему в голову. — Что тогда?»

И он настойчиво вглядывался в образ, запечатлевшийся в его душе, но опять не увидел ни следа враждебности. Напротив — она кокетливо ему улыбалась. «Наверное, она бы ответила, что мы слишком мало знакомы, — сказал он про себя, — и что я должен заслужить ее согласие… Да, да… именно так и ответила бы», — повторял он, припоминая несомненные доказательства ее симпатии.

«Вообще напрасно я был так предубежден против высшего света. Они такие же люди, как мы, пожалуй даже чуствуют тоньше нас. Полагая, что мы — грубые существа, гоняющиеся за наживой, они сторонятся нас. Но в то же время умеют обласкать тех, в ком увидят честную душу… Какой восхитительной женой может быть эта женщина! Разумеется, мне предстоит еще многое совершить, чтобы стать достойным ее. Ох, как много!»

Под влиянием этих мыслей он все глубже проникался расположением к семейству Ленцких, к их родне, потом теплое чувство распространилось на магазин вкупе со всеми служащими, на купцов, с которыми он вел дела, наконец на всю страну и человечество в целом. Каждый прохожий на улице казался ему родным — близким или дальним, веселым или грустным. Еще немного, и он стал бы как нищий среди улицы останавливать прохожих, спрашивая: «Не надо ли вам что-нибудь? Не стесняйтесь, требуйте, приказывайте… ее именем…»

«Как гадка до сих пор была моя жизнь, — говорил он себе. — Я был себялюбцем, Охоцкий — вот благородный человек: он хочет дать человечеству крылья и ради этой идеи жертвует собственным счастьем. Слава — разумеется, вздор, но работать во имя всеобщего блага — да, это важно… — Он усмехнулся. — Благодаря этой женщине я стал богачом и человеком с именем; захочет она, и я стану — ну, чем же? Да хоть великомучеником, готовым отдать все силы и даже жизнь ради ближних!.. Разумеется, отдам, если она пожелает!..»

Магазин был уже закрыт, но сквозь щели в ставнях пробивался свет.

«Еще работают», — подумал Вокульский.

Он свернул в ворота и через черный ход вошел в магазин. На пороге он столкнулся с Зембой, который низко ему поклонился; в глубине магазина он увидел еще несколько человек. Клейн, стоя на лесенке, что-то укладывал на полках. Лисецкий надевал пальто, у конторки сидел, склонившись над книгой, Жецкий, а перед ним стоял какой-то человек и плакал.

— Хозяин идет! — крикнул Лисецкий.

Жецкий, прикрыв от света глаза, взглянул на Вокульского. Клейн кивнул ему, не спускаясь с лесенки, а плачущий человек вдруг обернулся и с громким воплем повалился ему в ноги.

— Что случилось? — с удивлением спросил Вокульский, узнав старого инкассатора Обермана.

— Он потерял более четырехсот рублей, — жестко ответил Жецкий. — Злоупотребления, конечно, не было, головою ручаюсь; однако фирма не может страдать, тем более что Оберман вложил в наше дело несколько сот рублей сбережений. Одно из двух, — с раздражением закончил Жецкий, — Оберман или вернет деньги, или лишится службы… Хорошо бы шли наши дела, если б все инкассаторы вели себя, как Оберман!..

— Я выплачу, сударь, — всхлипывая, говорил инкассатор, — все выплачу, только дайте мне рассрочку хоть на два года. Ведь пятьсот рублей, вложенные в ваше предприятие, — это все мое состояние. Мальчишка кончил школу и хочет учиться на доктора, да и старость уже не за горами… Одному богу известно да вам, сколько приходится работать, чтобы сколотить такие деньги… Мне пришлось бы второй раз жизнь прожить, чтобы снова собрать их…

Клейн и Лисецкий, оба уже в пальто, ожидали решения хозяина.

— Конечно, — подтвердил Вокульский, — фирма страдать не может. Оберман должен вернуть деньги.

— Слушаюсь, сударь, — шепнул несчастный.

Клейн и Лисецкий попрощались и вышли. Оберман, вздыхая, собирался тоже уйти. Однако, как только они остались втроем, Вокульский сказал:

— Оберман, ты заплатишь, а я дам тебе денег…

Инкассатор бросился ему в ноги.

— Погоди, погоди!.. — прервал Вокульский, поднимая его. — Если ты хоть словечком обмолвишься кому-нибудь о нашем уговоре, я заберу подаренную сумму — слышишь, Оберман? А то, пожалуй, все захотят терять деньги. Ну, ступай домой и помалкивай.

— Понимаю… Пошли вам господь всякого благополучия, — ответил инкассатор и вышел, с трудом скрывая свою радость.

— Уже послал, — сказал Вокульский, думая о панне Изабелле.

Жецкий был недоволен.

— Милый Стах, — заметил он, когда они остались одни, — ты уж лучше не вмешивайся в дела магазина. Я так и думал, что ты не заставишь его вернуть всю сумму, да я и сам бы не стал этого требовать. Но рублей сто в наказание следовало бы взыскать с этого ротозея. В конце концов черт с ним, можно бы и все ему простить, но недельки две надо бы подержать его в неизвестности. Иначе лучше уж сразу прикрыть лавочку.

Вокульский рассмеялся.

— Меня бы покарал господь бог, — ответил он, — если бы я в такой день кому-нибудь причинил зло.

— В какой день? — широко раскрыл глаза Жецкий.

— Неважно. Только сегодня я понял, что нужно быть добрым.

— Ты всегда был добр и даже слишком, — негодовал пан Игнаций. — Вот увидишь, к тебе люди никогда не будут так относиться.

— Уже относятся, — возразил Вокульский и протянул ему на прощание руку.

— Уже? — насмешливо повторил пан Игнаций. — Уже!.. Желаю тебе все же никогда не подвергать испытанию их чувства.

— Я и без испытаний знаю. Покойной ночи.

— Много ты знаешь!.. Посмотришь, что будет в трудную минуту… Покойной ночи, — ворчал старый приказчик, громко захлопывая ящик с бухгалтерскими книгами.

По дороге домой Вокульский думал:

«Надо наконец навестить Кшешовского… Завтра же пойду. Это в полном смысле слова порядочный человек… Извинился перед панной Изабеллой. Обязательно завтра поблагодарю его — и, черт побери, попытаюсь ему помочь. Правда, с таким бездельником и шалопаем будет трудненько… Что ж, все-таки попробую… Он извинился перед панной Изабеллой — я избавлю его от долгов…»

В эту минуту ощущение спокойствия и непоколебимой уверенности заглушило все остальные чувства в душе Вокульского, поэтому, вернувшись домой, он, не отвлекаясь мечтами (что с ним частенько бывало), принялся за работу. Он достал толстую тетрадь, уже на три четверти исписанную, потом книжку с польско-английскими упражнениями и принялся выписывать фразы, вполголоса произнося их и старательно подражая своему учителю, Вильяму Коллинзу. В короткие перерывы он думал о том, как завтра пойдет к Кшешовскому и как поможет ему выпутаться из долгов, а также об инкассаторе, которого спас от беды.

«Если благословения имеют какую-нибудь ценность, — говорил он себе, — то весь капитал благословений Обермана вместе с процентами я уступаю ей…»

Потом он решил, что осчастливить одного человека — это недостаточно роскошный подарок для панны Изабеллы. Весь мир он осчастливить не в силах, но в ознаменование более короткого знакомства с панной Изабеллой следовало бы помочь хотя бы нескольким людям.

«Вторым будет Кшешовский, — думал он, — только невелика заслуга спасать таких оболтусов… Ага!..»

Он хлопнул себя по лбу и, отложив в сторону английские упражнения, достал архив своей личной корреспонденции. Это была папка в сафьяновом переплете, куда складывались письма в порядке их поступления. На первой странице находился нумерованный список.

«Ага! — говорил он. — Письмо моей грешницы и ее попечительниц. Шестьсот третья страница…»

Он нашел страницу и внимательно прочитал два письма: одно — писанное изящным почерком, а другое — с кривыми, словно детскими, каракулями. В первом письме ему сообщали, что Мария такая-то, некогда девица легкого поведения, в настоящее время научилась шить белье и платья, отличается набожностью, послушанием, кротостью характера, скромно ведет себя. Во втором

письме упомянутая Мария сама благодарила его за оказанную помощь и просила подыскать ей какую-нибудь работу.

«Почтенный мой благодетель, — писала она, — если господь бог по милости своей посылает вам столько денег, не тратьте их на меня, грешную. Сейчас я и сама управлюсь, только бы мне знать, к чему руки приложить, а в Варшаве немало сыщется бедняков, которые нуждаются больше меня…»

Вокульскому стало совестно, что такая просьба несколько дней пролежала без отклика. Он тотчас написал ответ и позвал слугу.

— Это письмо отошлешь завтра утром к сестрам святой Магдалины.

— Ладно, — ответил слуга, стараясь подавить зевоту.

— И вызови ко мне возчика Высоцкого, знаешь, который на Тамке живет?

— Еще бы не знать! А вы, барин, слыхали?

— Только чтобы с утра был здесь.

— Почему же ему не быть? А вам, барин, рассказывали? Оберман потерял кучу денег. Он сюда давеча приходил, все божился, что руки на себя наложит или еще каких бед натворит, если вы его не пожалеете. А я ему: «Без понятия вы человек, погодите руки-то на себя накладывать, у нашего, говорю, хозяина, сердце мягкое…» А он: «И я такую надежду имею, только все равно туго мне придется: хоть малую толику да вычтут, а тут сын идет учиться на доктора, а тут старость стучится в дверь…»

— Иди спать, пожалуйста, — прервал его Вокульский.

— И пойду, — сердито ответил слуга, — только служить у вас хуже, чем в тюрьме сидеть: и спать иди не тогда, когда хочется…

Он взял письмо и вышел из комнаты.

На другой день, около девяти утра, он разбудил Вокульского и доложил, что Высоцкий уже пришел.

— Зови его сюда.

Вошел возчик. Он был прилично одет, лицо у него посвежело, глаза глядели весело. Он подошел к постели и поцеловал Вокульскому руку.

— Скажи, Высоцкий, кажется, у тебя в квартире есть свободная комната?

— Есть, сударь, как же: дядька-то у меня помер, а жильцы его, шельмы, не стали платить, я их и выгнал. На водку хватает прохвосту, а за квартиру нечем платить…

— Я у тебя сниму эту комнату, — сказал Вокульский, — только надо будет ее прибрать…

Возчик с удивлением взглянул на Вокульского.

— Там поселится молодая белошвейка, — продолжал Вокульский. — Пусть она у вас и столуется, а жену попроси, чтоб она ей стирала белье… Да пусть подумает, что там еще понадобится. Я дам тебе денег на мебель и белье… Да посматривайте, не станет ли она водить к себе кого…

— Ни-ни! — живо подхватил возчик. — Как она вам, сударь, потребуется, я ее всякий раз сам приведу; но чтобы кого чужого — ни-ни! От такого дела вам, сударь, большой вред мог бы выйти!

— И глуп же ты, братец! Мне с нею встречаться незачем. Лишь бы она дома вела себя прилично, была опрятна и прилежна, а ходить может куда ей угодно. Только к ней чтобы никто не ходил. Так ты понял? Надо в комнате побелить стены, вымыть пол, купить мебель дешевую, но новую и прочную; ты в этом толк знаешь!

— Еще бы! Сколько я на своем веку мебели перевозил!

— Ну, хорошо. А жена пускай посмотрит, чего девушке не хватает из одежды и белья, скажешь мне тогда.

— Все понял, сударь, — ответил Высоцкий, снова целуя ему руку.

— Ну, ну… А как твой брат?

— Ничего, сударь. Сидит, слава богу и вашей милости, в Скерневицах; земля у него есть, нанял батрака, совсем барином заделался, годика через три-четыре еще землицы прикупит; столовников стал держать: железнодорожника, да сторожа, да двух смазчиков. А тут еще и железная дорога жалования прибавила.

Вокульский попрощался с возчиком и начал одеваться.

«А хорошо бы проспать все время до новой встречи с нею», — подумал он.

Ему не хотелось идти в магазин. Он взял какую-то книжку и принялся читать, решив поехать к Кшешовскому во втором часу.

В одиннадцать в передней раздался звонок и хлопнула дверь. Вошел слуга.

— К вам какая-то барышня.

— Попроси в гостиную.

За дверью зашелестело женское платье. Подойдя к дверям, Вокульский увидел свою Магдалину.

Его поразила происшедшая в ней перемена. Девушка была в черном платье, она слегка побледнела, но вид у нее был здоровый, взгляд несмелый. Увидев Вокульского, она покраснела и задрожала.

— Садитесь, панна Мария, — сказал он, указывая ей на стул.

Она села на самый краешек бархатного сидения и еще сильнее смутилась. Веки ее часто мигали, она опустила глаза, на ресницах блеснули слезинки. Не так выглядела эта девушка два месяца назад.

— Так вы, панна Мария, уже научились шить?

— Да.

— Куда же вы собираетесь теперь поступить?

— Может, в мастерскую какую-нибудь… или в прислуги… В Россию.

— Почему туда?

— Там, говорят, легче место найти, а здесь… кто же меня примет? — шепнула она.

— Но если бы здесь какой-нибудь склад заказывал вам белье, вы бы предпочли остаться?

— Ох, конечно!.. Но тогда нужна и квартира, и машина своя, и все… А раз этого нет, приходится идти в прислуги.

Даже голос у нее изменился. Вокульский пристально поглядел на нее и наконец сказал:

— Вы пока что останетесь в Варшаве. Будете жить на Тамке, в семье возчика Высоцкого. Очень хорошие люди. Получите отдельную комнату, столоваться можете у них; найдется и машина, и все, что понадобится для шитья. Я дам вам рекомендацию в бельевой склад, а через несколько месяцев посмотрим, можете ли вы прокормиться этой работой… Вот адрес Высоцких. Вы, пожалуйста, сейчас же туда и идите, купите с Высоцкой мебель, словом — смотрите, чтобы в комнате было все как следует. Завтра я пришлю вам машину… Это вот деньги на обзаведение. Я их даю вам в долг, возвратите их мне по частям, когда у вас наладится с работой.

Он дал ей несколько десяток, завернутых в записку к Высоцкому. Заметив, что она не решается взять их, он насильно вложил сверток ей в руку и сказал:

— Пожалуйста, очень прошу вас сейчас же идти к Высоцкому. Через несколько дней он принесет вам письмо в бельевой склад. В случае чего, прошу обратиться ко мне. До свиданья, панна Мария… — Он поклонился и вернулся к себе в кабинет.

Девушка постояла посреди гостиной, потом утерла слезы и ушла, исполненная какого-то торжественного удивления.

«Посмотрим, как устроится ее жизнь в новых условиях», — сказал себе Вокульский и снова взялся за книжку.

В час дня он отправился к Кшешовскому, по дороге упрекая себя в том, что с таким опозданием наносит визит своему бывшему противнику.

«Ну, ничего! — успокаивал он себя. — Не мог же я докучать ему во время болезни. А визитную карточку я послал».

Подойдя к дому, в котором жил барон, Вокульский мимоходом заметил, что его зеленоватые стены были того же нездорового оттенка, что и желтоватый цвет лица Марушевича. В квартире Кшешовского шторы были подняты.

«Ну, видно, он уже здоров, — подумал Вокульский. — Однако неловко его сразу расспрашивать о долгах. Отложу до второго или третьего визита, потом заплачу ростовщикам, и бедняга барон вздохнет спокойно. Не могу я равнодушно относиться к человеку, который извинился перед панной Изабеллой…»

Он поднялся на второй этаж и позвонил. За дверью слышались шаги, но никто не отпирал. Он позвонил еще раз. В квартире продолжали ходить, даже двигали какую-то мебель, но по-прежнему не отворяли. Потеряв терпение, он так резко дернул звонок, что едва не сорвал его. Тогда только кто-то подошел к двери, не спеша снял цепочку, потом повернул ключ, ворча под нос:

— Видно, свои… Ростовщик так не станет звонить.

Наконец дверь распахнулась, и на пороге показался лакей Констанций. При виде Вокульского он прищурился и, выпятив нижнюю губу, спросил:

— Это что такое?..

Вокульский догадался, что не пользуется расположением верного слуги, который присутствовал при поединке.

— Барон дома?

— Барон болен и никого не принимает, а сейчас у них доктор.

Вокульский подал свою визитную карточку и два рубля.

— А когда приблизительно можно будет навестить барона?

— Вот уж это не скоро… — несколько мягче отвечал Констанций. — Барин хворает после дуэли, и доктора велели им не сегодня-завтра ехать в деревню, а то и в теплые края.

— Значит, перед отъездом нельзя его видеть?

— Именно нельзя… доктора строго-настрого наказали никого не пускать. Барин все время в горячке…

Два карточных столика, один — колченогий, другой — сплошь исписанный мелом, а также канделябры с огарками восковых свечей заставили усомниться в точности медицинских заключений Констанция. Тем не менее Вокульский дал ему еще рубль и ушел, весьма недовольный приемом.

«Может быть, барон просто не хочет меня видеть? Ха! В таком случае, пусть сам расплачивается с ростовщиками и запирается от них на десять замков…»

Он вернулся домой.

Барон действительно собирался в деревню и действительно был не совсем здоров, однако не так уж, чтоб и болен. Рана на щеке заживала медленно не потому, что была серьезна, а потому, что организм больного был сильно расшатан. Когда Вокульский позвонил, барон, закутанный, как старая баба в мороз, не лежал, однако, в постели, а сидел в кресле и принимал не доктора, а графа Литинского.

Он как раз жаловался графу на плачевное состояние своего здоровья.

— Черт знает что за мерзкая жизнь! Отец оставил мне в наследство полмиллиона рублей и четыре болезни в придачу вместо лишних четырех миллионов… Эх, как неудобно без очков!.. Ну, и представьте себе, граф: деньги разошлись, а болезни остались. Самому мне удалось нажить только кучу новых болезней да кучу долгов, вот и получилось такое положение: стоит оцарапаться булавкой — и уже впору заказывать гроб и посылать за нотариусом.

— Дэ-э! — откликнулся граф. — Однако не думаю, что в подобном положении вы стали бы разоряться на нотариусов.

— Откровенно говоря, меня разоряют судебные приставы…

Не прерывая разговора, барон настороженно прислушивался к голосам, доносившимся из передней, но ничего не мог разобрать. Уловив наконец стук затворяемой двери, лязг щеколды и звяканье цепочки, он вдруг заорал:

— Константций!

Вошел слуга, впрочем без излишней поспешности.

— Кто это приходил? Наверное, Гольдцигер… Говорил я тебе, не заводи разговоров с этим негодяем, а хватай за шиворот и спускай с лестницы! Представьте себе, — обратился он к Литинскому, — этот подлый еврей пристает ко мне с поддельным векселем на четыреста рублей и имеет наглость требовать, чтобы я заплатил!

— Надо подать в суд, дэ-э…

— Не стану я подавать! Я не прокурор и не обязан ловить мошенников. К тому же я не хочу, чтобы по моему почину губили какого-нибудь беднягу, который, наверное, просиживает ночи напролет, изучая чужие подписи… Пускай Гольдцигер обращается в суд, а тогда, никого не обвиняя, я заявлю, что подпись не моя.

— И вовсе это был не Гольдцигер, — заметил Константций.

— Кто же? Управляющий? Портной?

— Нет… Вот этот господин… — сказал слуга и подал Кшешовскому визитную карточку. — Человек приличный, но я его выставил, раз вы велели.

— Что?.. — с удивлением спросил граф, взглянув на карточку. — Вы не велели принимать Вокульского?

— Да, — подтвердил барон. — Темная личность, во всяком случае… в обществе неприемлемая…

Граф Литинский с недоумевающим видом откинулся в кресле.

— Не ожидал я от вас… подобного мнения о нем… Дэ-э…

— Не истолкуйте, граф, моих слов неверно, — поспешил объяснить барон. — Пан Вокульский сделал не то чтобы подлость, а так… маленькое свинство, которое может сойти в торговле, но не в обществе.

Граф со своего кресла, а Констанций с порога пристально глядели на Кшешовского.

— Вот, граф, посудите сами, — продолжал барон. — Я уступил свою кобылу пани Кшешовской (моей законной супруге перед людьми и богом) за восемьсот рублей. Пани Кшешовская, разозлившись на меня (сам не знаю за что), решила во что бы то ни стало кобылу продать. Как раз подвернулся покупатель, пан Вокульский, который, воспользовавшись женской запальчивостью решил заработать на лошади… двести рублей!.. и дал за нее только шестьсот…

— Он был вправе, дэ-э! — ввернул граф.

— Ах, боже мой! Я знаю, что был вправе. Но когда швыряют напоказ тысячи, а исподтишка срывают двадцать пять процентов с истерички — это дурной тон… Это не по-джентльменски. Преступления он не совершил, но… что за странное отношение к людям. Он похож на человека, который на глазах дарит ковры и шали, а потихоньку таскает носовые платки из кармана. Вы согласны со мной, граф?

Граф помолчал и наконец ответил:

— Дэ-э… Однако достоверно ли это?

— Вполне… Переговоры между этим господином и пани Кшешовской велись через моего Марушевича, и от него я все это узнал.

— Дэ-э… Как бы то ни было, пан Вокульский — прекрасный коммерсант и дела нашей компании будет вести хорошо.

— Если только не надует вас…

Между тем Констанций, все еще стоявший у порога, принялся жалостно качать головой и наконец, потеряв терпение, вмешался в разговор:

— Эх!.. И наговорили же вы, барин… Тьфу! Ну совсем, как дитя малое…

Граф с любопытством глянул на него, а барон вспылил:

— Ты чего суешься, болван, когда тебя не спрашивают?

— Как не соваться, ваша милость, когда и толкуете вы и ведете себя, словно дитя!.. Я человек маленький, одно слово — лакей, да только скорей такому я поверю, кто мне дает два рубля на чай, не поглядев, чем такому, что всякий раз занимает у меня по трешке и никак не соберется отдать. Вот оно как: пан Вокульский дал мне сегодня два рубля, а пан Марушевич…

— Вон! — заорал барон, хватаясь за графин, при виде которого Констанций счел благоразумным укрыться от своего барина за дверью. — Ну и подлый холуй!

— прибавил барон, по-видимому в сильном раздражении.

— Вы питаете слабость к Марушевичу? — спросил граф.

— Да, знаете ли, он славный малый. Из каких только положений он меня не выручал!.. Сколько раз он доказывал мне свою собачью преданность!..

— Дэ-э!.. — задумчиво пробормотал граф.

Он молча посидел еще немного и наконец простился.

По дороге домой граф Литинский несколько раз мысленно возвращался к Вокульскому. Он считал естественным, что торговец наживается даже на скаковой лошади, но все же его коробило от таких сделок и уж совсем не нравилось ему то, что Вокульский водит компанию с Марушевичем, субъектом по меньшей мере подозрительным.

«Просто разбогатевший выскочка! — решил граф. — Мы преждевременно начали им восторгаться. Хотя… в торговой компании он может быть полезен… разумеется, под строгим контролем».

Несколько дней спустя, в девять часов утра, Вокульский получил два письма: одно от пани Мелитон, другое — от адвоката князя.

Он нетерпеливо вскрыл первое — пани Мелитон коротко писала: «Сегодня в Лазенках, в обычное время». Он прочел эти слова раз и другой, затем нехотя принялся за письмо адвоката: тот приглашал его, тоже сегодня, к одиннадцати часам утра на совещание по вопросу о покупке дома Ленцких. Вокульский с облегчением вздохнул: успеет.

Ровно в одиннадцать он был в кабинете юриста, где ждал его старик Шлангбаум. Он невольно отметил про себя, что седовласый еврей очень солидно выглядит на фоне коричневой мебели, а хозяину очень идут туфли из коричневого сафьяна.

— Везет вам, пан Вокульский, — обратился к нему Шлангбаум. — Как только вам вздумалось купить дом, сразу дома поднялись в цене. Вот увидите, поверьте моему слову, за полгода вы вернете деньги, вложенные в дом, да еще кое-что заработаете. Ну, и я при вас тоже…

— Вы думаете? — рассеянно отозвался Вокульский.

— Я не думаю, я уже зарабатываю. Вчера поверенный баронессы Кшешовской взял у меня взаймы десять тысяч до Нового года и дал восемьсот рублей процентов.

— Как, неужели у нее уже нет денег? — спросил Вокульский у юриста.

— У нее лежит в банке девяносто тысяч, но барон наложил на них запрет. Недурной брачный контракт он составил, а? — засмеялся адвокат. — Муж налагает запрет на деньги, являющиеся неоспоримой собственностью жены, против которой он возбудил процесс о разделе имущества… Я, признаться, таких контрактов еще не писывал, ха-ха-ха! — смеялся юрист, потягивая дым из янтарного чубука.

— А зачем баронесса заняла у вас эти десять тысяч, пан Шлангбаум? — спросил Вокульский.

— Вы не понимаете? Дома поднялись в цене, вот поверенный и объяснил баронессе, что дешевле семидесяти тысяч ей дома Ленцких не купить. Она бы его купила и за десять тысяч, но что поделаешь!..

Юрист уселся за стол и взял слово:

— Итак, почтеннейший пан Вокульский, дом семейства Ленцких (тут он слегка наклонил голову) покупаю для вас не я, а присутствующий здесь (он поклонился) пан С.Шлангбаум.

— Могу купить, почему нет! — пробормотал еврей.

— Но не дешевле девяноста тысяч, — напомнил Вокульский, — притом в борьбе с кон-ку-рентами, — подчеркнул он.

— Почему нет? Деньги не мои! Вы хотите платить — конкуренты на торги найдутся. Если б у меня было столько тысяч, сколько можно в Варшаве нанять для всякого дела весьма приличных лиц, и католиков к тому же, так я был бы богаче Ротшильда.

— Значит, будут приличные конкуренты, — повторил юрист. — Прекрасно. Сейчас я передам пану Шлангбауму деньги…

— Это не нужно, — заметил тот.

— А затем мы составим актик, в силу которого пан С.Шлангбаум получает в долг от уважаемого пана С.Вокульского девяносто тысяч рублей, каковая сумма обеспечивается приобретенным домом. В случае же, если пан С.Шлангбаум до первого января тысяча восемьсот семьдесят девятого года вышеозначенной суммы не возвратит…

— И не возвращу…

— В таком случае купленный им дом достопочтенного семейства Ленцких переходит в собственность уважаемого пана С.Вокульского.

— Хоть сию минуту… Я и не загляну туда, — ответил еврей, махнув рукой.

— Отлично! — воскликнул адвокат. — Завтра мы получим актик, а через неделю… или дней через десять и дом. Только как бы вы, почтеннейший пан Станислав, не потеряли на этом деле тысяч десять — пятнадцать!

— Я только выиграю, — возразил Вокульский и простился с юристом и Шлангбаумом.

— Одну секунду! — говорил адвокат, провожая Вокульского до гостиной. — Наши графы решили войти в торговую компанию, только несколько уменьшают паи и требуют весьма тщательного контроля над ведением дела.

— Это правильно.

— Особенную осторожность проявляет граф Литинский. Что с ним случилось — не понимаю!

— Он дает деньги, вот и становится осторожнее. Пока давал только слово, был смелее.

— Нет, нет, нет! — прервал адвокат. — За этим что-то кроется, и я это разузнаю… Кто-то подложил нам свинью.

— Не нам, а мне, — усмехнулся Вокульский. — В конце концов мне ведь все равно, я не буду в обиде, если они и вовсе раздумают вступать в компанию.

Он еще раз пожал руку адвокату и поспешил в магазин. Там оказалось несколько срочных дел, которые, против ожидания, отняли у него много времени. Только в половине второго он попал в Лазенки.

Прохлада тенистого парка не только не успокоила его, но еще больше взбудоражила. Он почти бегом устремился по аллее, то и дело спохватываясь, не привлекает ли к себе внимания прохожих. Тогда он замедлял шаг, чуствуя, что грудь его готова разорваться от нетерпения.

— Наверное, я их уже не встречу! — повторял он в отчаянии.

Наконец у самого пруда он увидел на фоне зеленых клумб пепельно-серую накидку панны Изабеллы. Она стояла на берегу вместе с графиней и отцом и бросала пряники лебедям; один лебедь даже вышел из воды и, переступая своими некрасивыми лапками, остановился у ее ног.

Пан Томаш первый заметил Вокульского.

— Вот так случай! — воскликнул он. — Вы в Лазенках, в этот час?

Вокульский раскланялся с дамами и с радостным удивлением подметил румянец на щеках панны Изабеллы.

— Я прихожу сюда, когда устаю от работы… то есть довольно часто…

— Берегите свои силы, пан Вокульский!.. — торжественно произнес пан Томаш и погрозил ему пальцем. — A propos ***<Кстати (франц.).>*** , — прибавил он тише, — представьте, за мой дом даже баронесса Кшешовская готова дать уже семьдесят тысяч… Я наверняка получу сто тысяч, а то и сто десять… Хорошая вещь — аукцион!

Тут вмешалась графиня.

— Я так редко вижу вас, что сразу же приступаю к делу…

— К вашим услугам, — поклонился Вокульский.

— Пожалуйста, сударь! — воскликнула графиня, с комическим смирением складывая ладони, — пожертвуйте кусок ситца для моих сироток… Видите, как я научилась попрошайничать?

— Может быть, вы позволите, графиня, прислать два куска?..

— Только в том случае, если второй будет льняного полотна.

— Ах, тетя, это уж слишком! — смеясь, прервала ее панна Изабелла. — Если вы не хотите вконец разориться, — обратилась она к Вокульскому, — скорее бегите отсюда. Я уведу вас к оранжерее, а папа с тетей пусть отдохнут здесь.

— Ты не боишься, Белла?

— Я думаю, тетя, вы не сомневаетесь, что в обществе пана Вокульского ничего дурного со мной не случится.

Вокульскому кровь бросилась в лицо, по губам графини пробежала едва заметная улыбка.

Воцарилось затишье; то было мгновение, когда, сдержав могучие силы, природа как бы приостанавливает свою извечную работу, чтобы ярче оттенить счастье существ малых и смертных.

Ветер еле-еле дышал — казалось, только затем, чтобы овевать прохладой спящих в гнездах птенцов и облегчать полет насекомым, спешащим на свадебный пир. Листья деревьев чуть трепетали, словно их колыхало не движение воздуха, а тихо скользящие солнечные лучи. Кое-где во влажной листве блистали капли росы, отливая всеми цветами радуги, точно упавшей с неба на землю. Казалось, замерло все: солнце и деревья, снопы света и тени, лебеди на пруду и рой комаров над ними, замерли даже сверкающие волны на синей поверхности воды. Вокульскому почудилось, что в этот миг стремительное течение времени отделилось от земли, оставив после себя лишь несколько прозрачных белых полос на небе, — и теперь уже ничто не изменится, все останется таким как есть, навеки. И они с панной Изабеллой вечно будут бродить по ярко освещенному лугу, окруженные зелеными купами деревьев, среди которых, словно черные бриллианты, поблескивают кое-где любопытные птичьи глаза. И никогда не исчезнет в нем ощущение беспредельной тишины, а у нее этот томный взгляд и румянец, и перед ними, целуясь на лету, вечно будут порхать два белых мотылька.

Они были на полпути к оранжерее, когда панна Изабелла, по-видимому смущенная тишиною, заговорила:

— Какой прекрасный день, не правда ли? В городе жара, а здесь такая приятная прохлада! Я очень люблю Лазенки в этот час: людей мало, и каждый может найти себе укромный уголок. Вы любите уединение?

— Я привык к нему.

— Вы не были на концерте Росси? — спросила она, еще сильнее зарумянившись. — Как, вы не видели Росси? — повторила она, глядя на него с удивлением.

— Нет еще, но… пойду.

— Мы с тетей были уже на двух спектаклях.

— Я буду ходить на все…

— Ах, как хорошо! Вы увидите, какой это великий актер. Особенно прекрасен он в Ромео, несмотря на то… что сам уже не первой молодости. Мы с тетей познакомились с ним еще в Париже… Очень милый человек, но главное — гениальный трагик. В его игре сочетается самый подлинный реализм с самым поэтическим идеализмом…

— Должно быть, он действительно велик, если внушает вам такое восхищение и симпатию.

— Вы не ошиблись. Я знаю, мне не суждено совершить ничего замечательного, но я по крайней мере умею ценить людей необыкновенных… На каждом поприще… даже на сцене… Однако, представьте, Варшава не оценила его по достоинству…

— Возможно ли? Ведь он иностранец…

— О, да у вас злой язык! — улыбнулась она. — Но я отнесу ваше замечание на счет Варшавы, не на счет Росси… Право, мне просто стыдно за наш город! Будь я на месте публики (конечно, публики мужского пола), я бы забросала его цветами и рукоплескала бы ему до изнеможения. Здесь же его награждают жидкими аплодисментами, а о цветах никто и не подумал… Мы поистине еще варвары…

— Овации и цветы — это такая мелочь, что… на ближайшем выступлении Росси их будет скорее слишком много, чем слишком мало.

— Вы уверены? — спросила она, красноречиво глядя ему в глаза.

— Как же… ручаюсь вам.

— Я буду очень рада, если сбудется ваше пророчество… Может быть, вернемся к нашим?

— Всякий, кто доставляет вам удовольствие, заслуживает самого глубокого уважения.

— Позвольте! — со смехом перебила она. — Но вы сейчас сказали комплимент самому себе…

Они повернули назад.

— Воображаю, как удивится Росси, услышав овации, — снова заговорила панна Изабелла. — Он уже ни на что тут не надеется и, очевидно, жалеет, что приехал в Варшаву. Артисты, не исключая величайших, — это особые люди. Они не могут жить без славы и без почестей, как мы — без пищи и воздуха. Самоотвержение, труд, хотя бы самый плодотворный, но скромный — это не для них. Им необходимо быть на первом плане, привлекать к себе все взоры, покорять тысячи сердец… Росси сам говорит, что предпочел бы умереть годом раньше на сцене при переполненном и восторженном зале, чем годом позже в тесном кругу немногих поклонников. Как это странно!

— Он прав, если полный театр для него — величайшее счастье.

— Вы думаете, бывает счастье, ради которого стоит сократить жизнь?

— И несчастья, которых стоит таким образом избежать.

Панна Изабелла задумалась, и дальше они шли уже молча.

Между тем графиня, сидя у пруда и продолжая кормить лебедей, беседовала с паном Томашем.

— Ты заметил, Вокульский как будто интересуется Беллой?

— Не думаю.

— И даже очень; теперешние торговцы умеют строить смелые планы.

— От плана до исполнения еще неизмеримо далеко, — ответил пан Томаш с некоторым раздражением. — А если б даже и так, то меня это не касается. За мысли пана Вокульского я не отвечаю, а за Беллу я спокоен.

— В конце концов я ничего против Вокульского не имею, — прибавила графиня. — Что бы нас ни ждало в будущем, я заранее мирюсь с волей божией, особенно если это приносит пользу бедным… А это им бесспорно на пользу: мой приют скоро будет первым в городе, и все потому, что этот господин питает слабость к Белле.

— Перестань… Вот они идут!.. — перебил ее пан Томаш.

Действительно, панна Изабелла и Вокульский показались в конце аллеи.

Пан Томаш внимательно поглядел на них и тут только заметил, что они хорошая пара: он, на голову выше Беллы, с атлетической фигурой, ступал твердо, обнаруживая военную выправку; она, хрупкая и стройная, скользила рядом, едва касаясь земли. Даже белый цилиндр и светлое пальто Вокульского приятно сочетались с пепельно-серой накидкой панны Изабеллы.

«С какой стати он носит белый цилиндр?» — с досадой подумал пан Томаш.

И в уме его возникло престранное соображение: в сущности, этот выскочка Вокульский за право носить белый цилиндр обязан платить ему, Ленцкому, по крайней мере пятьдесят процентов от вложенного капитала. Но тут даже сам пан Томаш пожал плечами.

— Ах, тетя, как чудесно в тех аллеях! — воскликнула, подходя, панна Изабелла. — Мы с вами никогда не гуляем в той стороне. А Лазенки хороши только тогда, когда ходишь быстро и далеко.

— В таком случае, попроси пана Вокульского почаще сопровождать тебя, — ответила графиня каким-то особенно сладким тоном.

Вокульский поклонился, панна Изабелла чуть заметно нахмурилась, а пан Томаш сказал:

— Не пора ли домой?

— Пожалуй, — отвечала графиня. — Вы еще останетесь, пан Вокульский?

— Да. Разрешите проводить вас к экипажу?

— Пожалуйста. Белла, возьми меня под руку.

Графиня с панной Изабеллой пошли вперед, за ними пан Томаш с Вокульским. При виде белого цилиндра пан Томаш испытывал такое раздражение и досаду, что только из вежливости заставлял себя улыбаться. В конце концов, желая чем-нибудь занять Вокульского, он снова завел разговор о своем доме, за который надеялся получить, по выплате долгов, сорок, а то и пятьдесят тысяч рублей.

Цифры эти, в свою очередь, испортили настроение Вокульскому; он говорил себе, что больше тридцати тысяч не может прибавить.

Только когда подъехал экипаж и пан Томаш, усадив графиню и дочь, уселся сам и крикнул кучеру: «Трогай!» — у Вокульского исчез неприятный осадок и вновь проснулась тоска о панне Изабелле.

«Как скоро!» — вздохнул он, глядя на дорогу, на которой виднелась лишь зеленая пожарная бочка, поливавшая мостовую.

Он еще раз прошел к оранжерее по той же дорожке, отыскивая следы ее башмачков на мелком песке. Но там уже все изменилось. Ветер подул сильнее, замутил воду в пруду, разметал мотыльков и птиц и нагнал облака, которые все чаще закрывали солнце.

— Как тут уныло! — шепнул он и повернул обратно.

Сев в экипаж, он закрыл глаза, наслаждаясь легким покачиванием. Ему чудилось, что он, словно птица, сидит на ветке, которую колышет ветер вправо и влево, вверх и вниз, — и вдруг расхохотался, вспомнив, что это приятное покачивание обходится ему в тысячу рублей ежегодно.

«Дурак я, дурак! — повторял он. — Чего я лезу к людям, которые либо не понимают моих жертв, либо смеются над моими неуклюжими стараниями? К чему мне этот экипаж? Разве я не мог бы ездить в пролетке или даже в этом вот дребезжащем омнибусе с коленкоровыми занавесками?..»

Подъехав к своему дому, он вспомнил об обещанных панне Изабелле овациях в честь Росси.

«Разумеется, будут овации, да еще какие… Завтра спектакль…»

Под вечер он послал слугу в магазин за Оберманом. Седой инкассатор немедленно прибежал, с тревогой спрашивая себя, не передумал ли Вокульский и не велит ли ему вернуть потерянные деньги?

Но Вокульский встретил его очень приветливо. И даже увел к себе в кабинет, где они разговаривали добрых полчаса. О чем?..

Именно этот вопрос — о чем может разговаривать Вокульский с Оберманом — чрезвычайно заинтересовал лакея. Ну уж конечно о потерянных деньгах… Усердный слуга прикладывал к замочной скважине то глаз, то ухо, многое увидел,

многое услышал, но ровно ничего не понял. Он разглядел, что Вокульский давал Оберману большую пачку пятирублевок, и услышал какие-то странные слова:

— В Большом театре… на балконе и галерке… капельдинеру корзину цветов… букет через оркестр…

— Что за черт! Уж не начал ли наш хозяин театральными билетами торговать?..

Заслышав в кабинете звук шагов, слуга шмыгнул в переднюю, чтобы там перехватить Обермана. Когда инкассатор вышел, он спросил:

— Ну как, с деньгами-то кончилось? С меня семь потов сошло, пока я уламывал старика, чтобы он вам снисхождение оказал. Сначала все упирался, а потом говорит: «Ладно, придумаем что-нибудь…» А нынче, я вижу, вы с ним совсем сладились. Что, хозяин-то в духе?

— Как всегда.

— Ну и проболтали вы с ним! Я думаю, не об одних деньгах, а еще кое о чем? Может, о театре? Хозяин-то наш страсть как любит в театр ходить!..

Но Оберман глянул на него волком и молча ушел. Слуга в первую минуту разинул рот от изумления, но, опомнившись, погрозил ему вслед кулаком.

— Погоди! — ворчал он. — Я тебе покажу… Тоже барин, подумаешь… Украл четыреста рублей и сразу заважничал, разговаривать не желает!..

#### Глава восемнадцатая. Недоумения, страхи и наблюдения старого приказчика

Для пана Игнация Жецкого снова настала пора тревог и недоумений. Тот самый Вокульский, который год назад помчался в Болгарию, а несколько недель назад вздумал, словно вельможа, развлекаться скачками и дуэлями, тот самый Вокульский вдруг необычайно пристрастился к театру; и добро бы еще к польскому, а то к итальянскому! И это он, ни слова не понимающий по-итальянски! Новая мания продолжалась уже с неделю к великому возмущению не одного только пана Игнация.

Раз, например, старик Шлангбаум полдня разыскивал Вокульского, несомненно по какому-то важному делу. Явился в магазин — Вокульский только что ушел из магазина, приказав отослать актеру Росси большую вазу саксонского фарфора. Бросился к нему домой — Вокульский только что ушел из дому: поехал к Бардэ за цветами. Решившись догнать его во что бы то ни стало, старик скрепя сердце кликнул извозчика, но извозчик требовал сорок грошей. Шлангбаум давал только злотый и восемь грошей, и пока они столковались (за злотый и восемь грошей) и добрались до Бардэ, Вокульский уже уехал оттуда.

— А куда он поехал, вы не знаете? — спросил Шлангбаум садовника, который с помощью кривого ножа опустошал кусты самых прекрасных цветов.

— Почем я знаю! В театр, должно быть, — буркнул садовник с таким видом, словно собирался кривым ножом перерезать глотку Шлангбауму.

Старик, который заподозрил его именно в этом, поскорее убрался из оранжереи и, словно камень, пущенный из пращи, бросился к пролетке. Однако извозчик (по-видимому, успевший столковаться с кровожадным садовником) заявил, что ни за какие сокровища в мире не поедет дальше, разве что седок заплатит ему сорок грошей за конец да еще те два гроша в придачу, которые недодал за первую поездку.

У Шлангбаума прямо сердце защемило; он хотел было слезть с пролетки, а то и кликнуть городового, но, вспомнив, как сильна теперь несправедливость в христианском мире и как велико ожесточение против евреев, согласился на все требования бессовестного извозчика и, не переставая вздыхать, поехал в театр.

Там сначала он не знал, с кем говорить, потом никто не хотел с ним говорить, и, наконец, он выяснил, что пан Вокульский только что был, но минуту назад поехал в Уяздовские Аллеи. В воротах еще слышен грохот его экипажа…

У Шлангбаума руки опустились. Он поплелся пешком в магазин Вокульского, в сотый раз проклиная по этому случаю своего сына за то, что тот называет себя Генриком, ходит в сюртуке и ест трефное, и в конце концов отправился к пану Игнацию — излить перед ним душу.

— Ну что это он вытворяет, ваш пан Вокульский! — говорил он плачущим голосом. — У меня было такое дело, что он в пять дней мог нажить триста рублей… И я бы при этом заработал сотенку… Но он разъезжает себе по городу, и я на одних извозчиков потратил два злотых двадцать грошей… Ох, что за разбойники эти извозчики!

Разумеется, пан Игнаций уполномочил Шлангбаума заключить сделку и не только вернул ему деньги, потраченные на извозчика, но в придачу нанял ему за свой счет пролетку до Электоральной улицы. Это так умилило старого еврея, что, уходя, он снял родительское проклятие со своего сына и даже пригласил его на субботний обед.

— Как бы то ни было, — говорил себе Жецкий, — дурацкая история с этим театром, тем более что Стах начинает запускать дела…

В другой раз в магазин явился пользующийся всеобщим уважением адвокат, правая рука князя и видный юрист, с которым советовалась вся аристократия; он приехал пригласить Вокульского на какое-то вечернее заседание. Пан Игнаций не знал, куда посадить столь важную особу, и не нарадовался чести, которой удостоил адвокат его Стаха. Между тем Стах не только не был тронут столь почетным приглашением, но к тому же решительно отказался пойти, что несколько даже задело адвоката, и он сразу ушел, попрощавшись довольно сухо.

— Почему же ты не принял приглашения? — в отчаянии спросил пан Игнаций.

— Потому что сегодня я должен быть в театре, — ответил Вокульский.

В тот же день, к вечеру, Жецкий испытал еще более сильное потрясение: около семи часов к нему подошел инкассатор Оберман и попросил принять сегодняшний отчет.

— После восьми… после восьми… — отвечал ему пан Игнаций. — Я сейчас занят.

— А после восьми я буду занят, — возразил Оберман.

— Как так? Что это значит?

— А то, что в половине восьмого я должен быть с хозяином в театре… — проворчал Оберман, слегка пожимая плечами.

В ту же минуту к Жецкому подошел улыбающийся Земба и стал прощаться.

— Вы уже уходите, пан Земба? Без четверти семь? — спросил пан Игнаций, в изумлении широко раскрывая глаза.

— Нужно отнести цветы Росси, — любезно ответил пан Земба и улыбнулся еще приятнее.

Жецкий обеими руками схватился за голову.

— С ума они тут посходили с этим театром! — воскликнул он. — Может, и меня еще туда потащат? Ну, да со мною номер не пройдет!

Предчуствуя, что Вокульский, того и гляди, и его попытается совратить, пан Игнаций составил в уме речь, в которой собирался не только заявить, что ни на каких он итальянцев не пойдет, но и вразумить Вокульского примерно такими словами:

— Брось ты заниматься чепухой!.. — и так далее.

Между тем Вокульский, пренебрегши всякими уговорами, попросту зашел однажды около шести в магазин и, оторвав Жецкого от счетов, сказал:

— Дорогой мой, сегодня Росси играет Макбета. Будь добр, займи место в первом ряду (вот билет) и после третьего акта подай ему этот альбом.

И без всяких церемоний, даже не вступая в объяснения, вручил пану Игнацию альбом с видами Варшавы и портретами варшавянок, стоивший по меньшей мере пятьдесят рублей.

Пан Игнаций почуствовал себя глубоко обиженным; он поднялся с кресла, насупил брови и уже раскрыл было рот, чтобы дать волю своему возмущению, но Вокульский исчез из магазина, даже не взглянув на него.

И, конечно, пану Игнацию пришлось пойти в театр, чтобы не огорчить Стаха.

В театре пана Игнация ждало множество всяких злоключений. С первого же шага он сделал оплошность, поднявшись на галерку, куда он хаживал в доброе старое время. Там капельдинер указал ему, что билет у него в первый ряд партера. Взгляд, которым он окинул пана Жецкого, свидетельствовал о том, что темно-

зеленый сюртук, альбом под мышкой и физиономия a la Наполеон III показались весьма подозрительными низшим театральным властям.

Пан Игнаций со сконфуженным видом спустился в главный вестибюль, прижимая локтем альбом и кланяясь всем дамам, мимо которых имел честь проходить. Столь необычная для варшавской публики любезность уже в вестибюле привлекла всеобщее внимание. Кругом стали спрашивать: кто это? Никто не мог догадаться, что это за фигура, но не было ни одного человека, который не дивился бы ее облачению: цилиндр десятилетней давности, галстук — немногим новее, а темно-зеленый сюртук в паре с узкими клетчатыми брюками относились к еще более ранней эпохе. Все принимали его за иностранца, но когда он обратился к швейцару с вопросом: «Как пройти в партер?» — кругом раздался смех.

— Наверное, какой-нибудь волынский помещик, — переговаривались франты.

— А что у него под мышкой?

— Может, пирог с капустой, а может, резиновая подушка…

Наконец пан Игнаций, ежась под градом насмешек и обливаясь холодным потом, добрался до вожделенного партера. Был восьмой час, публика только начинала собираться: изредка кто-нибудь входил в партер и, не снимая шляпы, садился на свое место; ложи еще пустовали, и только на балконах было черно от людей, а на галерке уже переругивались и требовали полицию.

— Насколько я могу судить, зрелище будет весьма оживленное, — с вымученной улыбкой пробормотал бедный пан Игнаций, усаживаясь в первом ряду.

Сначала он уставился на дырку в правой стороне занавеса и дал себе клятву не отводить от нее глаз. Однако через несколько минут волнение его улеглось, и он так расхрабрился, что даже стал поглядывать вокруг. Зал показался ему маловат и грязноват, он задумался над причиной этих перемен и только тогда вспомнил, что последний раз был в театре на «Гальке» с участием Добрского[28] лет шестнадцать назад.

Между тем зал понемногу наполнялся, и при виде очаровательных женщин, появившихся в ложах, пан Игнаций совсем приободрился. Он даже вынул из кармана небольшой бинокль и стал разглядывать публику, но при этом сделал печальное открытие: его тоже разглядывали — из задних рядов партера, из амфитеатра, даже из лож. Когда же он переключил свое внимание со зрения на слух, то уловил следующие фразы, носившиеся вокруг него, словно осы:

— Что это за чудак?

— Какой-то провинциал.

— И где это он выкопал такой сюртук?

— Вы только поглядите на его брелоки! Умора!

— И кто сейчас носит такую прическу?

Еще немного, и пан Игнаций, бросив альбом и цилиндр, убежал бы из театра с непокрытой головой. К счастью, он заметил в восьмом ряду знакомого фабриканта-кондитера, который в ответ на его поклон поднялся с места и прошел в первый ряд.

— Ради бога, пан Пифке, — шепотом взмолился пан Игнаций, обливаясь холодным потом, — садитесь на мое место и уступите мне ваше…

— С величайшей охотой! — громко ответил краснощекий кондитер. — А что, вам тут неудобно? Прекрасное место!

— Прекрасное. Но я предпочитаю сидеть дальше… Тут жарко…

— Там тоже, но я могу пересесть. А что у вас за пакет?

Только сейчас пан Игнаций вспомнил о своем обязательстве.

— Понимаете ли, дорогой пан Пифке… Один поклонник этого… этого Росси…

— О! Кто же не преклоняется перед Росси! — отвечал Пифке. — У меня есть либретто «Макбета», хотите?

— Спасибо. Так вот этот поклонник, понимаете ли, купил у нас дорогой альбом и просил после третьего акта вручить его Росси…

— С удовольствием исполню! — воскликнул тучный Пифке, втискиваясь в кресло Жецкого.

Пан Игнаций пережил еще несколько неприятных минут. Сначала ему пришлось обойти весь первый ряд, где изящные щеголи с насмешливой улыбкой разглядывали его сюртук, галстук и бархатную жилетку. Потом он стал пробираться на свое место в восьмом ряду; там, правда, никто не смотрел с насмешкой на его костюм, зато то и дело ему приходилось прикасаться к коленям сидевших дам.

— Тысяча извинений, — сконфуженно бормотал пан Игнаций, — но, право, в такой давке…

— Но-но, зачем такие выражения? — отозвалась одна из дам со слегка подведенными глазами; однако в ее взгляде пан Игнаций не заметил возмущения своим поступком. Все же он был крайне смущен и охотно пошел бы на исповедь, чтобы очистить душу после упомянутых прикосновений.

Наконец он разыскал свое кресло и с облегчением перевел дух. Здесь по крайней мере на него не обращали внимания, отчасти потому, что место было скромное, отчасти же по той причине, что театр был уже полон и началось представление.

Вначале игра артистов его не занимала, он озирался по сторонам, и сразу же ему попался на глаза Вокульский. Тот сидел в четвертом ряду, но глядел отнюдь не на Росси, а на ложу, которую занимали панна Изабелла, пан Томаш и графиня. Как-то раз или два пану Жецкому довелось видеть замагнетизированных людей, — в лице Вокульского ему почудилось точь-в-точь такое же выражение, точно эта

ложа магнетизировала его. Он сидел не шевелясь, словно скованный сном, с широко раскрытыми глазами.

Однако кто же так околдовал Вокульского? Пан Игнаций не мог догадаться. Но он заметил другое: когда Росси не было на сцене, панна Изабелла равнодушно осматривала зал или разговаривала с теткой; но едва появлялся Макбет-Росси, она подносила веер к лицу и чудесными мечтательными глазами впивалась в актера. Иногда веер из белых перьев опускался на колени панны Изабеллы, и тогда Жецкий наблюдал на ее лице то же выражение магнетического сна, которое так поразило его в Вокульском.

Он заметил еще многое другое. В минуты, когда прекрасное лицо панны Изабеллы выражало высшую степень восторга, Вокульский поднимал руку и потирал себе темя. И тотчас, как по команде, с балконов и галерки раздавались бурные аплодисменты и оглушительные выкрики: «Браво, браво, Росси!» Пану Игнацию даже почудился среди этого хора осипший голос инкассатора Обермана, который первым начинал реветь и умолкал последним.

«Что за черт! — подумал он. — Неужели Вокульский дирижирует клакой?»

Но он тут же отогнал от себя это несправедливое подозрение. Росси действительно играл замечательно, и все аплодировали ему с одинаковым жаром. А более всех бесновался жизнерадостный кондитер, пан Пифке, и, согласно уговору, после третьего акта с превеликой помпой преподнес Росси альбом.

Великий актер даже не кивнул в ответ головой, зато отвесил глубокий поклон в сторону ложи, где сидела панна Изабелла, — впрочем, может быть, просто в ту сторону.

«Пустые страхи! — думал пан Игнаций, выходя из театра по окончании спектакля. — Не так-то уж глуп мой Стах!..»

В конце концов пан Игнаций не жалел, что пошел в театр. Игра Росси ему понравилась: некоторые сцены, как, например, убийство короля Дункана или появление духа Банко, произвели на него весьма сильное впечатление, а увидев, как Макбет дерется на рапирах, он был окончательно покорен.

Поэтому, выходя из театра, он уже не сердился на Вокульского, напротив — даже склонен был подозревать, что его милый Стах хотел доставить ему удовольствие и лишь с этой целью придумал комедию с подношением подарка Росси.

«Стах-то знает, что я только по принуждению мог пойти в итальянский театр… Ну, и отлично получилось. Этот тип великолепно играет, надо будет посмотреть его еще раз… В конце концов, — прибавил он, подумав, — если у человека столько денег, сколько у Стаха, он может делать подарки актерам. Правда, я бы предпочел какую-нибудь стройненькую актрису, но… я человек иной эпохи, недаром меня называют бонапартистом и романтиком…»

Так рассуждал он, бормоча себе под нос, но при этом его донимала другая мысль, которую он хотел заглушить: «Почему Стах так странно смотрел на ложу, где сидели графиня, пан Ленцкий и панна Ленцкая? Неужели… Ах, вздор!.. Вокульский достаточно умен, чтобы понимать, что из этого ничего не выйдет… Ребенок и тот бы сразу сообразил, что эта барышня (вообще-то она холодна как лед) сейчас без ума от Росси. Как она засматривалась на него… иной раз прямо до неприличия, и где? — в театре, в присутствии тысячи людей!.. Нет, это чушь. Справедливо называют меня романтиком…»

И пан Игнаций снова пытался думать о чем-нибудь другом. Он даже (несмотря на позднюю пору) зашел в ресторацию, где играл оркестр, состоящий из скрипки, рояля и арфы. Съел порцию жаркого с картофелем и капустой, выпил кружку пива, потом вторую… потом третью, четвертую… и даже седьмую. На него нашло веселое настроение, он бросил на тарелку арфистке два двугривенных и стал потихоньку подпевать ей. Потом ему пришло в голову, что он непременно должен представиться четырем немцам, которые за столиком в уголке ели грудинку с горохом.

«А с какой стати я буду им представляться? Пусть сами представятся мне», — думал пан Игнаций.

И он уже не мог отделаться от мысли, что эти господа просто обязаны ему представиться — и как старшему и как бывшему офицеру венгерской пехоты, которая изрядно колошматила немцев. Он даже кликнул официантку, чтобы послать ее к упомянутым господам, уписывавшим грудинку с горохом, как вдруг оркестр, состоявший из скрипки, рояля и арфы, заиграл… «Марсельезу».

Пан Игнаций вспомнил Венгрию, пехоту, Августа Каца и, чувствуя, что глаза его застилают слезы и он вот-вот расплачется, схватил свой цилиндр, бывший в моде во времена, предшествовавшие франко-прусской войне, швырнул на стол рубль и выбежал из ресторации.

Только на улице, когда его обдало свежим воздухом, он спросил, прислонясь к газовому фонарю:

— Черт возьми, неужели я пьян? Еще бы! Семь кружек…

Он отправился домой, стараясь идти возможно прямее, и впервые в жизни имел случай убедиться, что варшавские тротуары чрезвычайно неровны: поминутно его бросало то к стенам домов, то к мостовой. Потом (чтобы уверить себя, что его умственные способности находятся в блестящем состоянии) он принялся считать звезды на небе.

— Раз… два… три… семь… семь… Что такое семь? Ах да, семь кружек пива… Неужто я и вправду?.. Зачем Стах послал меня в театр?

Свой дом он нашел быстро и сразу нащупал звонок. Однако, позвонив к дворнику целых семь раз, он почувствовал потребность прислониться к стене и заодно решил сосчитать (без всякой надобности, просто так), через сколько минут

дворник откроет ему. С этой целью он достал часы с секундомером и убедился, что уже половина второго.

— Подлец дворник! — проворчал он. — Мне вставать в шесть утра, а он до половины второго держит меня на улице…

К счастью, дворник тут же отпер калитку, и пан Игнаций вполне твердым шагом — даже более чем твердым, прямо-таки сверхтвердым шагом — прошел подворотню, чуствуя, что цилиндр его чуточку съехал набекрень, совсем чуточку. Затем, без всяких затруднений найдя свою дверь, он несколько раз тщетно пытался вставить ключ в замочную скважину. Он явственно чувствовал под пальцами дырку, сжимал ключ изо всей силы — и все-таки не мог попасть.

«Неужто я и впрямь?..»

Как раз в эту минуту дверь отворилась, и одноглазый пудель Ир, не поднимаясь с подстилки, громко тявкнул:

— Да! Да!..

— Замолчи, подлая тварь! — пробормотал пан Игнаций и, не зажигая лампы, разделся и лег.

Его мучили страшные сны. Снилось ему, а может, мерещилось, что он все еще в театре и видит Вокульского с широко раскрытыми глазами, неподвижно устремленными на некую ложу. В этой ложе сидят графиня, пан Ленцкий и панна Изабелла. И Жецкому кажется, что Вокульский смотрит на панну Изабеллу.

— Невероятно! — шепнул он. — Не так-то уж глуп мой Стах!..

Между тем (все это во сне) панна Изабелла поднялась и вышла из ложи, а Вокульский — за нею, по-прежнему не сводя с нее взгляда, словно замагнетизированный. Панна Изабелла вышла на улицу, пересекла Театральную площадь и легко взбежала на башню ратуши, а Вокульский — за нею, по-прежнему не спуская с нее глаз. А потом панна Изабелла, как птица, вспорхнула с башни и перелетела на крышу театра, а Вокульский метнулся вслед за ней и рухнул на землю с высоты девятого этажа…

— Иисусе! Мария… — вскрикнул Жецкий, срываясь с постели.

— Да! Да!.. — отозвался сквозь сон Ир.

— Ну, видно, я таки вдрызг пьян! — пробормотал пан Игнаций, снова укладываясь и нетерпеливо натягивая одеяло на свое дрожащее тело. Но дрожь не унималась.

Несколько минут он лежал с открытыми глазами, и снова ему стало мерещиться, что он в театре: как раз кончился третий акт, и кондитер Пифке должен преподнести Росси альбом с видами Варшавы и фотографиями ее красавиц. Пан Игнаций смотрит во все глаза (ведь Пифке заменяет его), он смотрит во все глаза и, к своему величайшему ужасу, видит, что бессовестный Пифке подает

итальянцу не дорогой альбом, а какой-то пакет, завернутый в бумагу и небрежно завязанный бечевкой.

Далее пан Игнаций видит кое-что похуже. Итальянец насмешливо улыбается, развязывает бечевку, разворачивает бумагу — и глазам панны Изабеллы, Вокульского, графини и тысячи зрителей предстают желтые нанковые штаны со штрипками, те самые штаны, которые пан Игнаций носил в эпоху прославленной севастопольской кампании!

В довершение скандала подлый Пифке орет: «Вот дар пана Станислава Вокульского, коммерсанта, и пана Игнация Жецкого, его управляющего!» Весь зал хохочет, все глаза и все указательные пальцы обращаются к восьмому ряду партера, где сидит пан Игнаций. Несчастный хочет протестовать, но слова застревают у него в горле, и тут в довершение всех бедствий он проваливается в какую-то бездну. Его поглощает неизмеримый и необъятный океан небытия, где он осужден пребывать до скончания веков, так и не объяснив зрителям, что нанковые штаны со штрипками предательски похищены из коллекции его личных сувениров. После этой кошмарной ночи Жецкий проснулся только без четверти семь. Он смотрел на часы и не верил собственным глазам, однако в конце концов пришлось поверить. Поверил он даже тому, что вчера был немножко навеселе, о чем, впрочем, красноречиво свидетельствовали головная боль и некоторая вялость во всем теле.

Однако больше всех этих болезненных явлений тревожил пана Игнация один ужасный симптом, а именно: ему не хотелось идти в магазин!.. Хуже того — он ощущал не только лень, но и полное отсутствие самолюбия: вместо того чтобы устыдиться своего падения и побороть в себе праздность, он, Жецкий, старался выискать любой предлог, чтобы подольше оставаться дома!

То ему показалось, будто Ир заболел, то будто заржавела его двустволка, из которой никогда не стреляли. Потом он обнаружил какой-то изъян в зеленой занавеске на окне и, наконец, нашел, что чай слишком горяч, и пил его медленнее, чем обычно.

По всем этим причинам пан Игнаций опоздал в магазин на сорок минут и понурив голову тихонько пробрался к своей конторке. Ему чудилось, что все служащие (а как назло, все сегодня пришли вовремя!) с величайшим презрением смотрят на синяки под его глазами, на землистый цвет лица и слегка дрожащие руки.

«Они еще, пожалуй, подумают, что я предавался разврату!» — вздохнул несчастный Жецкий.

Он достал бухгалтерские книги, обмакнул в чернильницу перо и сделал вид, будто занят счетами. Бедняга был уверен, что от него несет пивом, как из старой бочки, выброшенной из подвала, и вполне серьезно раздумывал, не следует ли ему после всех этих постыдных проступков просить об увольнении?

«Напился… поздно вернулся домой… поздно встал… на сорок минут опоздал в магазин…»

В эту минуту к нему подошел Клейн, держа в руках какое-то письмо.

— На конверте написано: «Весьма срочно» — поэтому я вскрыл его, — сказал тщедушный приказчик, протягивая Жецкому почтовый листок.

Жецкий развернул его и прочел:

— «Глупый или подлый человек! Невзирая на предостережение твоих доброжелателей, ты все же покупаешь дом, который обратится в могилу твоего столь бесчестно нажитого состояния…»

Пан Игнаций глянул на последнюю строчку, но подписи не нашел: письмо было анонимное. Посмотрел на конверт — он был адресован Вокульскому. Он продолжал читать:

— «Какой же злой рок велел тебе встать на пути некоей благородной дамы? Ты чуть не убил ее мужа, а теперь собираешься лишить ее дома, в котором умерла ее незабвенная дочь! Зачем ты делаешь это? Зачем понадобилось тебе, если это правда, платить девяносто тысяч рублей за дом, который не стоит и семидесяти? Это тайна твоей черной души, но когда-нибудь перст божий ее раскроет, а честные люди заклеймят презрением.

Итак, одумайся, пока не поздно. Не губи души своей и состояния и не отравляй жизнь благородной даме, которая неутешно скорбит об утрате дочери и единственную отраду находит в том, что просиживает целые дни в комнате, где ее несчастное дитя отдало богу душу. Опомнись, заклинаю.

Твоя доброжелательница…»

Прочитав письмо, пан Игнаций покачал головой.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Только весьма сомневаюсь в доброжелательности этой дамы.

Клейн опасливо оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто их не слышит, зашептал:

— Дело в том, что хозяин покупает дом Ленцкого, который по требованию кредиторов завтра продается с торгов.

— Стах… то есть… пан Вокульский покупает дом?..

— Да, да… — утвердительно закивал Клейн. — Но покупает не на свое имя, а на имя старика Шлангбаума… По крайней мере так говорят жильцы — ведь я живу в этом доме…

— За девяносто тысяч?

— Вот именно. А баронесса Кшешовская тоже хочет купить этот дом, только за семьдесят тысяч, вот я и думаю, что письмо писала она, потому что баба эта — сущий дьявол…

В магазин вошел покупатель, потребовавший зонтик, и отвлек Клейна. У пана Игнация замелькали в уме престранные мысли:

«Если я, потратив впустую один вечер, произвел такое смятение в магазине, то подумать только — до чего мы докатимся, когда Стась целые дни и недели тратит на итальянский театр и бог весть на что еще?»

Однако он тут же должен был признать, что по его вине в магазине не произошло, собственно, особого расстройства, да и вообще торговые дела идут превосходно. Он признал также, что и сам Вокульский, ведя столь странный образ жизни, не забывает об обязанностях главы предприятия.

«Но зачем ему понадобилось хоронить в мертвых стенах капитал в девяносто тысяч рублей?.. И к чему тут опять эти Ленцкие? Неужели же… Э! Не так-то уж глуп мой Стасек…»

Тем не менее мысль о покупке дома продолжала его беспокоить.

— Спрошу-ка я у Генрика Шлангбаума, — сказал он, вставая из-за конторки.

В отделе тканей маленький сгорбленный Шлангбаум, моргая красными веками и озабоченно поглядывая вокруг, вертелся вьюном между полками, то вскакивая на лесенку, то с головой исчезая среди кусков ситца. Он так свыкся с непрерывной суетой, что, хотя покупателей в эту минуту не было, то и дело вытаскивал какой-нибудь кусок материи, разворачивал его, опять сворачивал и клал на место.

Увидев пана Игнация, Шлангбаум прекратил свой бесцельный труд и утер пот, выступивший на лбу.

— Нелегко, а? — сказал он.

— Да зачем же вы перекладываете это тряпье, когда нет покупателей? — спросил Жецкий.

— Как же иначе! Если этого не делать, то еще позабудешь, где что лежит… Ноги и руки одеревенеют… да и привык я… У вас ко мне дело?

Жецкий смешался:

— Нет… я просто хотел посмотреть, как у вас тут… — ответил он, покраснев, насколько это было возможно в его возрасте.

«Неужели он тоже не доверяет мне и выслеживает?.. — мелькнуло в уме у Шлангбаума, и в нем закипел гнев. — Да, прав отец… Сейчас все травят евреев. Скоро придется отпустить пейсы и надеть ермолку…»

«Он что-то знает!..» — подумал Жецкий и сказал вслух:

— Кажется… кажется, ваш уважаемый родитель завтра покупает дом… дом Ленцкого?

— Мне об этом ничего не известно, — ответил Шлангбаум, отводя глаза. А про себя добавил: «Мой старик покупает дом для Вокульского, а они думают и

наверняка говорят между собой: „Вот видите, опять еврей-ростовщик разорил католика, знатного господина“.

«Он что-то знает, но держит язык за зубами, — думал пан Жецкий. — Известное дело, еврей…»

Он еще немного помешкал, что Шлангбаум принял за новое доказательство подозрительности и выслеживания, и, вздыхая, вернулся к себе.

«Ужасно, что Стах доверяет евреям больше, чем мне… Однако зачем же он покупает этот дом, зачем связывается с Ленцким? А может быть, не покупает? Может быть, это сплетни…»

Его так пугала мысль, что Вокульский вложит в недвижимость девяносто тысяч наличными, что он весь день не мог ни о чем другом думать. Был момент, когда он хотел напрямик спросить Вокульского, но у него не хватило духу.

«Стах, — говорил он себе, — сейчас водит компанию только с важными господами и доверяет евреям. Что ему старый Жецкий!»

Поэтому он решил завтра пойти на торги и посмотреть, действительно ли старик Шлангбаум купит дом Ленцких и действительно ли, как говорил Клейн, набьет цену до девяноста тысяч. Если да, значит и все остальное правда.

Днем в магазин заглянул Вокульский. Он заговорил с Жецким о вчерашнем спектакле и все допытывался, почему тот сбежал из первого ряда и альбом для Росси передал Пифке. Но пана Игнация терзало такое множество сомнений, в душе его накипела такая обида на дорогого Стаха, что в ответ он только невнятно бормотал что-то и хмурился. Вокульский тоже замолчал и ушел из магазина с затаенной горечью.

«Все от меня отворачиваются, — думал он. — Даже Игнаций!.. Но ты вознаградишь меня за все…» — прибавил он уже на улице, глядя в сторону Уяздовских Аллей.

После ухода Вокульского Жецкий осторожно выпытал у служащих, где и в котором часу продаются с торгов дома. Потом упросил Лисецкого заменить его завтра с десяти до двух часов дня и с удвоенным рвением принялся за счета. Он машинально (но без ошибок) складывал столбцы цифр, длинные, как улица Новы Свят, а в перерывах думал:

«Сегодня потратил впустую почти час рабочего времени, завтра уйдет пять часов, и все потому, что Стах доверяет Шлангбаумам больше, чем мне… Зачем ему дом? Какого черта он путается с банкротом Ленцким? Что за фантазия пришла ему в голову таскаться в итальянский театр да еще делать дорогие подарки этому проходимцу Росси?»

Он просидел за конторкой, не разгибая спины, до шести часов и так углубился в работу, что не подходил в тот день к кассе принимать деньги и вообще не замечал, что творится вокруг, хотя магазин был полон покупателей, которые толпились и гудели, словно огромный улей. Не заметил он и того, как появился в

магазине совсем нежданный гость, которого приказчики встретили восклицаниями и звучными поцелуями.

Только когда приезжий наклонился к нему и крикнул в самое ухо: «Пан Игнаций! Это я!» — Жецкий очнулся, поднял кверху голову, глаза и брови — и увидел Мрачевского.

— А?.. — спросил он, вглядываясь в молодого щеголя, который загорел, возмужал, а главное — потолстел.

— Ну, как… что слышно? — продолжал пан Игнаций, подавая ему руку. — Что в политике?

— Ничего нового, — отвечал Мрачевский. — Конгресс в Берлине делает свое дело, австрийцы заберут Боснию.

— Ну-ну-ну… пустое, пустое! А что слышно о молодом Наполеоне?

— Учится в Англии в военной школе и, как говорят, влюблен в какую-то актрису…

— Так уж сразу и влюблен! — саркастически повторил пан Игнаций. — А во Францию не возвращается?.. Да как вы сами-то поживаете? Откуда сейчас? Ну, рассказывайте скорей! — воскликнул Жецкий, весело хлопая его по плечу. — Когда приехали?

— Ах, это целая история! — отвечал Мрачевский, бросаясь в кресло. — Мы с Сузиным приехали сегодня в одиннадцать утра… С часу до трех были у Вокульского, потом я забежал на минутку к мамаше и на минутку к пани Ставской… Роскошная женщина, а?

— Ставская?.. Ставская… — старался вспомнить Жецкий, потирая лоб рукой.

— Да ведь вы ее знаете… Красавица с дочуркой… Она вам еще так нравилась.

— Ах, эта!.. Знаю… Не то чтобы она мне понравилась, — вздохнул Жецкий, — а я думал, что хорошо бы женить на ней Стаха…

— Вы просто великолепны! — расхохотался Мрачевский. — Да она замужем…

— Замужем?

— Разумеется. И фамилия громкая: четыре года назад ее муж, бедняга, бежал за границу, потому что его обвинили в убийстве какой-то…

— А-а! Помню!.. Так это он? Почему же он не вернулся? Ведь выяснилось, что он не виновен?

— Конечно, не виновен, — подхватил Мрачевский. — Но о нем, как улизнул он тогда в Америку, так с тех пор ни слуху ни духу. Наверное, пропал, бедняга, а она осталась одна — ни девушка, ни вдова… Ужасная судьба! Содержать дом вышиванием, игрой на рояле и уроками английского языка… Работать с утра до ночи… и вдобавок — жить без мужа… Бедные женщины! Мы с вами, пан Игнаций, не выдержали бы так долго целомудренной жизни, а?.. Ах, старый безумец!

— Кто безумец? — спросил Жецкий, ошарашенный внезапным переходом.

— Да кто ж, как не Вокульский! — отвечал Мрачевский. — Сузин едет в Париж закупать огромные партии товара и хочет во что бы то ни стало взять его с собой. Дорога старику не стоила бы ни гроша, жил бы по-княжески, потому что Сузин чем дальше уезжает от жены, тем становится щедрей… Эх! Да еще заработал бы добрых тысяч десять.

— Стах… то есть наш хозяин заработал бы десять тысяч? — переспросил Жецкий.

— Непременно. Да что ж поделаешь, если он совсем одурел.

— Ну-ну, пан Мрачевский! — строго осадил его Игнаций.

— Честное слово, одурел! Я же знаю, он все равно поедет на Парижскую выставку, и очень скоро…

— Верно.

— Так не лучше ли ехать с Сузиным, не потратив ни гроша да еще заработать? Сузин уламывал его битых два часа: «Поезжай со мной, Станислав Петрович!» Просил, кланялся — ни в какую. Вокульский свое: «Нет и нет!» Уверял, что у него тут какие-то дела…

— Ну, дела… — вступился Жецкий.

— Да, да, дела! — передразнил его Мрачевский. — Первейшее дело для него — не обидеть Сузина; тот помог ему нажить состояние, дает огромный кредит и не раз говорил мне, что не успокоится до тех пор, пока Станислав Петрович не сколотит хоть миллион рублей… И такому другу отказать в мелкой услуге, которая к тому же окупится сторицей! — кипятился Мрачевский.

Пан Игнаций хотел было что-то сказать, но тут же прикусил язык. Еще минута — и он бы проболтался, что Вокульский покупает дом Ленцких и посылает Росси дорогие подарки.

К конторке подошли Клейн и Лисецкий. Мрачевский, увидев, что они не заняты, заговорил с ними, и пан Игнаций опять остался один со своими счетами.

«Беда! — думал он. — Почему Стах не хочет даром ехать в Париж и, главное, восстанавливает против себя Сузина? Какой же злой дух спутал его с Ленцкими? Неужели?.. Э! Ведь не так уж он глуп… Нет, что ни говори, жаль этой поездки и десяти тысяч рублей… Боже мой! Как люди меняются…»

Он опустил голову и, водя пальцем по странице сверху вниз и снизу вверх, продолжал складывать столбцы цифр, длинные, как улицы Краковское Предместье и Новы Свят, вместе взятые. Он складывал цифры без единой ошибки, даже напевая что-то себе под нос, и в то же время размышлял о том, что его Стах роковым образом скатывается по наклонней плоскости.

«Ничего не поделаешь, — шептал ему тайный голос из глубины души, — ничего не поделаешь!.. Стах ввязался в крупную авантюру… и наверняка политическую… Такой человек, как он, не станет сходить с ума из-за женщины, будь она даже эта

самая панна… Ох, черт, ошибка! Он отказывается, пренебрегает десятью тысячами — и это Стах, которому восемь лет назад приходилось занимать у меня по десятке в месяц, чтобы как-нибудь перебиться… А сегодня он бросает десять тысяч кошке под хвост, ухлопывает девяносто тысяч на дом, делает актерам пятидесятирублевые подарки… Ей-богу, ничего не понимаю! И это — позитивист, реально мыслящий человек… Меня называют старым романтиком, но я бы таких глупостей не выкидывал… Впрочем, если он залез в политику…»

В этих размышлениях пан Игнаций провел время до закрытия магазина. Голова у него все еще побаливала, и он пошел прогуляться на Новы Зъязд, а вернувшись домой, скоро лег спать.

«Завтра, — сказал он себе, — завтра я наконец узнаю правду. Если Шлангбаум купит дом Ленцкого и заплатит девяносто тысяч рублей, значит он действительно подставное лицо, и тогда Стах человек пропащий… А может быть, Стах вовсе и не покупает дом и все это сплетни?»

Он уснул и во сне увидел высокий дом и в одном из окон панну Изабеллу; сам он стоит на улице, а рядом Вокульский, который рвется к ней. Пан Игнаций держит его изо всех сил, обливаясь потом от напряжения, но напрасно: Вокульский вырывается и исчезает в подъезде дома. «Стах, вернись!» — кричит пан Игнаций; он видит, что дом начинает шататься.

И вот дом рушится. Улыбающаяся панна Изабелла выпархивает оттуда, как птичка, а Вокульского не видно…

«Может быть, он убежал во двор и спасся?» — думает пан Игнаций и просыпается с сильным сердцебиением.

Наутро пан Игнаций открывает глаза около шести часов, вспоминает, что сегодня продают с торгов дом Ленцкого, затем, что он собрался посмотреть на это зрелище, и выскакивает из постели, словно пружина. Бежит босиком к большому тазу, окатывается холодной водой и, разглядывая свои тонкие, как палки, ноги, бормочет:

— Кажется, я немного потолстел.

Во время сложной процедуры умывания пан Игнаций производит сегодня такой грохот, что просыпается Ир. Грязный пудель открывает свой единственный глаз и, по-видимому, заметив необычное оживление хозяина, спрыгивает с сундука на пол.

Он почесывается, зевает, вытягивает назад сперва одну лапу, потом другую, потом на минутку садится у окна, за которым слышится душераздирающий вопль недорезанной курицы, наконец, сообразив, что, в сущности, ничего не случилось, возвращается на свою подстилку. Из предосторожности, а может быть, из обиды за ложную тревогу, он поворачивается к хозяину спиной, а носом и хвостом к стене, словно желая сказать пану Игнацию: «Глаза бы мои не глядели на твою худобу!»

В два счета Жецкий одет, с молниеносной быстротой выпивает чай, не глядя ни на самовар, ни на слугу, который его принес. Потом бежит в магазин, три часа подряд сидит над счетами, не обращая внимания на покупателей и болтовню служащих, и ровно в десять говорит Лисецкому:

— Пан Лисецкий, я вернусь в два…

— Светопреставление! — ворчит Лисецкий. — Видно, стряслось что-то сверхъестественное, если уж этот тюфяк отправляется в город в такое время…

На улице пана Игнация вдруг обуревают угрызения совести.

«Что я выкидываю сегодня? Ну, какое мне дело до продажи дворцов, а не то что обыкновенных домов?»

И он колеблется: идти ли на торги или вернуться на работу? Но в эту минуту мимо него проезжает пролетка, а в ней он видит высокую, худую, изможденную даму в черном костюме. Она смотрит на их магазин, и в ее глубоко запавших глазах и на посиневших губах Жецкий читает смертельную ненависть.

— Ей-богу, это баронесса Кшешовская! — шепчет пан Игнаций. — Конечно, она едет на аукцион… Ну и дела!

Однако он все еще сомневается. «Кто знает, может, она едет вовсе не туда, может быть, все это сплетни? Стоило бы проверить», — думает пан Игнаций, забывая о своих обязанностях управляющего и самого старого в магазине приказчика, и направляется вслед за пролеткой. Тощие лошади еле плетутся, так что пан Игнаций имеет возможность наблюдать за пролеткой на протяжении всего пути до колонны Зыгмунта. В этом месте извозчик сворачивает влево, а Жецкий думает:

«Ну конечно же баба едет на Медовую. Ехала бы на метле — дешевле бы обошлось».

Пан Игнаций проходит через двор дома Резлера, напомнивший ему давешний разгул, и по Сенаторской улице выходит на Медовую. По дороге он заглядывает в чайный магазин Новицкого, здоровается с хозяином и спешит дальше, бормоча:

— Что он подумает, увидев меня в этот час на улице? Подумает — вот никудышный управляющий, который шатается по городу, вместо того чтобы сидеть в магазине… О, судьба, судьба!

Весь остаток пути его терзают угрызения совести. Они принимают образ бородатого великана в желтом атласном балахоне и таких же штанах, который с добродушной насмешкой смотрит ему в глаза, говоря:

«Скажите-ка, сударь мой, где это видано, чтобы порядочный купец об эту пору таскался по улицам? Вы, пан Жецкий, такой же купец, как я балетный танцор…»

И пан Игнаций ничего не может возразить своему суровому судье. Он краснеет, потеет и уж готов вернуться к своим счетам (постаравшись, чтобы это увидел

Новицкий), как вдруг замечает, что стоит перед бывшим дворцом Паца, ныне зданием суда.

— Здесь будут торги! — говорит пан Игнаций, и угрызения совести моментально улетучиваются. Воображаемый бородатый великан в желтом балахоне расплывается, как утренний туман.

Подойдя поближе, пан Игнаций прежде всего замечает, что к зданию ведут двое огромных ворот и два подъезда. Затем он видит группы одетых в черное евреев с весьма серьезными физиономиями. Пан Игнаций не знает куда идти, однако направляется к тем дверям, перед которыми толпится больше всего евреев, сообразив, что именно там будут происходить торги.

В ту же минуту к зданию суда подъезжает экипаж: пан Ленцкий! Жецкий невольно преисполняется уважения к его седым усам, а также изумления перед его самодовольным видом. Нет, пан Ленцкий совсем не похож на банкрота, дом которого продают с молотка, — скорей на миллионера, который приехал к нотариусу, чтобы получить пустячную сумму в сто с чем-нибудь тысяч рублей.

Ленцкий с важностью высаживается из экипажа, торжественным шагом приближается к дверям суда, и в тот же миг с другой стороны улицы к нему подбегает некий джентльмен, по всем признакам бездельник, который оказался, однако, адвокатом. Небрежно поздоровавшись с ним, Ленцкий бегло спрашивает:

— Ну? Когда же?

— Через часок… может быть, чуть-чуть побольше… — отвечает джентльмен.

— Представьте себе, — говорит Ленцкий с благодушной улыбкой, — неделю назад один мой знакомый получил за свой дом двести тысяч рублей наличными, а ему он обошелся в полтораста тысяч. Мне мой стоил сто тысяч, следовательно я, надо полагать, получу за него уж никак не менее ста двадцати пяти…

— Гм! Гм! — бормочет адвокат.

— Вам покажется это смешным, — продолжает пан Томаш, — вы ведь не верите в предчуствия и сны, но мне сегодня приснилось, что мой дом пошел за сто двадцать тысяч… заметьте, я говорю вам это до торгов. Через несколько часов вы убедитесь, что не следует смеяться над снами… Есть многое на небе и земле…"[29]

— Гм!.. Гм!.. — отвечает адвокат, и оба входят в главный подъезд.

«Слава богу», — думает пан Игнаций. — Если пан Ленцкий получит за дом сто двадцать тысяч, значит Стах не заплатит за него девяносто тысяч!

Вдруг кто-то легонько трогает его за плечо. Пан Игнаций оглядывается и видит старика Шлангбаума.

— Вы не меня ищете? — спрашивает седовласый еврей, пристально глядя ему в глаза.

— Нет… нет… — смущенно отвечает пан Игнаций.

— У вас ко мне нет никакого дела? — повторяет старик, моргая красными веками.

— Нет, нет…

— Гит! — бормочет Шлангбаум и отходит к своим единоверцам.

Пан Игнаций холодеет: присутствие Шлангбаума снова будит в нем прежние подозрения. Чтобы рассеять их, он спрашивает у швейцара: где происходят торги? Швейцар указывает ему на лестницу.

Пан Игнаций взбегает наверх и попадает в какую-то залу. Ему бросается в глаза огромное количество иудеев, которые сосредоточенно слушают какого-то оратора. Жецкий догадывается, что сейчас выступает прокурор и что речь идет о крупном мошенничестве. В зале душно, слова прокурора заглушает долетающий с улицы грохот экипажей. Судьи дремлют, адвокат зевает, обвиняемый поглядывает на них с видом, изобличающим намерение провести за нос наивысшую судебную инстанцию, а иудеи глядят на него с сочувствием и внимательно вслушиваются в обвинительную речь. При особенно веских аргументах прокурора иные из них морщатся и издают протяжное «ай-вай!».

Пан Игнаций выходит из залы: не ради этого дела он пришел сюда.

Оказавшись снова на лестнице, пан Игнаций раздумывает, не подняться ли на третий этаж, и лицом к лицу сталкивается с баронессой Кшешовской; она спускается сверху в сопровождении какого-то скучающего господина, по виду учителя древних языков. Однако он оказывается адвокатом, о чем свидетельствует серебряный значок на лацкане его порядком поношенного фрака; серые брюки жреца правосудия так вытерты на коленках, словно владелец их, вместо того чтобы защищать интересы своих клиентов, непрестанно объяснялся в любви богине Фемиде.

— Если начнется только через час, — говорит плаксивым тоном Кшешовская,

— я, пожалуй, схожу пока в костел Капуцинов… как вы думаете?..

— Не думаю, чтобы посещение Капуцинов повлияло на ход торгов, — отвечает скучающий адвокат.

— Если бы вы, сударь, действительно хотели… если б похлопотали…

Адвокат в потертых брюках нетерпеливо машет рукой:

— Ах, милостивая государыня, я уже столько хлопотал из-за этих торгов, что имею право хоть сегодня немножко отдохнуть. К тому же через несколько минут мне предстоит выступить по делу об убийстве… Взгляните туда, вы видите этих красивых дам? Все они пришли послушать мою речь. Громкое дело!

— Так вы покидаете меня? — вскрикивает баронесса.

— Да нет, я буду… буду в зале, — прерывает адвокат, — буду на торгах, только дайте мне хоть несколько минут подумать о моем убийце…

И он убегает в какую-то дверь, приказав швейцару никого не пускать.

— О, боже! — восклицает баронесса. — Подлый убийца и тот находит защитника, а бедная одинокая женщина напрасно ищет человека, который бы вступился за ее честь, за ее спокойствие, за ее имущество…

Поскольку пан Игнаций не намерен быть этим человеком, он опрометью бросается вниз, расталкивая по пути молодых нарядных красавиц, которых привело сюда желание послушать громкий процесс об убийстве. Это зрелище поинтересней театрального представления, ибо участники судебной драмы играют нисколько не хуже и, во всяком случае, правдивее, нежели профессиональные актеры.

На лестнице все еще раздаются причитания Кшешовской и смех молодых нарядных красавиц, жаждущих увидеть убийцу, окровавленную одежду, топор, которым он зарубил свою жертву, и обливающихся потом судей. Пан Игнаций выскочил из вестибюля, перебежал на другую сторону улицы и, юркнув в кондитерскую на углу Капитульной и Медовой, забился в самый темный уголок, где его не могла бы разыскать даже сама пани Кшешовская.

Заказав чашку шоколада со взбитыми сливками, он загораживается изорванной газетой и видит, что в этой тесной комнатушке нашелся еще более темный уголок, занятый неким представительным господином и каким-то сгорбленным евреем. Пан Игнаций решает про себя, что представительный господин — по меньшей мере граф, обладатель огромных поместий на Украине, а еврей — его торговый посредник; между тем он слышит следующий разговор:

— Послушайте, уважаемый, — говорит сгорбленный еврей, — только благодаря тому, что вас в Варшаве никто не знает, вы получите двадцать пять рублей. Иначе я не дал бы вам и десятки.

— И за это я целый час должен простоять на ногах в душном зале?!

— Что поделаешь, — продолжает еврей, — в наши годы стоять нелегко, но такие деньги тоже не валяются на улице… А репутация разве ничего не стоит? Ведь все будут говорить, что вы хотели купить дом за восемьдесят тысяч рублей!

— Ладно. Только двадцать пять рублей на стол.

— Боже упаси! — отвечает еврей. — Вы, сударь, получите на руки пять рублей, а двадцать пойдут в уплату несчастному Зелигу Купферману, который уже два года от вас ни гроша не имеет, хоть суд давно ему присудил…

Стукнув кулаком по мраморному столику, тучный господин хочет уйти. Но сгорбленный еврей хватает его за полу сюртука, снова усаживает и предлагает шесть рублей наличными.

После десятиминутного спора стороны сходятся наконец на восьми рублях, из коих семь — после торгов, а рубль немедленно. Еврей еще упирается, но важный барин разрешает его сомнения веским аргументом:

— Черт возьми, должен же я уплатить за чай и пирожные!

Еврей вздыхает, вытаскивает из засаленного кошелька самую рваную бумажку и, расправив ее, кладет на мраморный столик. Затем встает и ленивой походкой направляется к выходу, а пан Игнаций сквозь дырку в газете видит, что это старый Шлангбаум.

Пан Игнаций наскоро допивает свой шоколад и выбегает на улицу. Ему уже осточертели эти торги, от которых у него голова распухла, и он хочет как-нибудь скоротать остающееся время. Заметив, что костел Капуцинов открыт, он направляется туда, в полной уверенности, что в храме обретет наконец покой, приятную прохладу и, главное, не услышит ни слова о торгах.

Он входит в костел и действительно находит там тишину, и прохладу, и вдобавок покойника на катафалке, окруженном свечами, которые еще не горели, и цветами, которые уже не пахли. С некоторых пор пану Игнацию как-то неприятен вид гробов, поэтому он сворачивает налево и замечает коленопреклоненную женщину в черном платье. Это баронесса Кшешовская, смиренно поникшая головой; она бьет себя в грудь и поминутно подносит платок к глазам.

«Наверное, она молится о том, чтобы дом Ленцкого пошел за шестьдесят тысяч рублей», — думает пан Игнаций. Однако поскольку созерцание пани Кшешовской его также ничуть не прельщает, он на цыпочках пятится назад и переходит на правую сторону костела.

Здесь оказались две женщины: одна вполголоса читает молитвы, другая спит. Больше никого… впрочем, за колонной скрывается мужчина среднего роста; несмотря на свою седину, он держится очень прямо, молитву шепчет с гордо поднятой головой.

Жецкий узнает в нем Ленцкого и думает:

«Ну, этот, наверное, молит бога, чтобы его дом пошел за сто двадцать тысяч…»

И поспешно выходит из храма, раздумывая о том, каким образом милосердный господь исполнит столь противоречивые просьбы.

Не обретя желанного покоя ни в кондитерской, ни в костеле, пан Игнаций в ожидании торгов расхаживает взад и вперед по улице, неподалеку от здания суда. При этом он очень смущен — ему кажется, что каждый встречный насмешливо смотрит на него, словно желая сказать: «Шел бы ты лучше, старый лентяй, к себе в магазин!» — а из каждой пролетки вот-вот выскочит кто-либо из приказчиков и сообщит ему, что магазин сгорел или потолок обвалился. Его обуревают сомнения: не махнуть ли рукой на торги и не вернуться ли к своей конторке и бухгалтерским книгам. Но вдруг до слуха его доносится отчаянный вопль.

Какой-то еврей высунулся из окна судебного зала и что-то крикнул своим единоверцам, которые тотчас всей гурьбой повалили к подъезду, напирая друг на друга и на случайных прохожих, толкаясь и нетерпеливо топоча ногами, словно вспугнутое стадо овец в тесном загоне.

«Ага, начались торги!» — догадывается пан Игнаций и вслед за ними идет наверх.

В эту минуту он чуствует, как кто-то сзади хватает его за плечо, оборачивается и видит того самого важного барина, который получил от Шлангбаума рубль в задаток. Представительный господин, по-видимому, очень спешит; пустив в ход локти и кулаки, он прокладывает себе дорогу среди плотно сбившейся массы тел и громко кричит:

— Прочь с дороги, паршивцы, я иду на торги!

Евреи, против обыкновения, расступаются и глядят на него с почтительным изумлением:

— Вот, должно быть, у кого много денег! — шепчет один из них своему соседу.

Пан Игнаций, неизмеримо менее отважный, чем представительный господин, не проталкивается вперед и отдается на милость либо немилость судьбы. Вокруг него смыкается поток иудеев. Прямо перед собой он видит засаленный ворот, грязный шарфик и еще более грязный затылок; за спиной кто-то дышит луком; справа чья-то седая борода колет его шею, а слева напористый локоть с такой силой врезается в руку, что она немеет.

Его мнут, толкают, дергают за пиджак. Кто-то хватает его за ногу, кто-то подбирается к карману, кто-то хлопает по спине. Наступает момент, когда пану Игнацию кажется, что вот-вот ему раздавят грудную клетку. Он возносит глаза к небу и видит, что стоит уже в дверях. Вот-вот его задавят… Вдруг впереди него образуется пустота, он тычется головой в чьи-то мягкие части, не слишком тщательно прикрытые полой сюртука, — и попадает в залу.

Наконец он переводит дух… Позади раздаются крики, ругань и время от времени увещевания швейцара:

— И чего вы, господа, лезете все разом? Скоты вы, господа, что ли?

«Никогда не думал, что так трудно попасть на аукцион…» — вздыхает пан Игнаций.

Он проходит через две залы, совершенно пустые — ни стула в уголке, ни гвоздика на стене. Эти залы служат как бы преддверием к одному из отделов правосудия, однако обе они светлы и веселы. В открытые окна потоком льются солнечные лучи, врывается горячий июльский ветер, насыщенный варшавской пылью. Пан Игнаций прислушивается к чириканью воробьев и непрерывному тарахтению пролеток — и вдруг его охватывает странное ощущение дисгармонии.

«Разве мыслимо, — думает он, — чтобы в суде было пусто, как в нежилой квартире, и так светло и приятно?»

Ему кажется, что зарешеченные окна и серые, липкие от сырости стены, увешанные кандалами, были бы гораздо уместнее в этом здании, где людей приговаривают к пожизненному или временному заключению.

Но вот и зал, куда устремляются все иудеи и где сосредоточено главное действо — аукцион. Это помещение так обширно, что в нем свободно можно танцевать мазурку в сорок пар, если б не низкий барьер, разделяющий зал на две части: для публики и для администрации. В первой части расположилось несколько плетеных диванчиков, а во второй — возвышение, на нем большой стол в форме подковы, покрытый зеленым сукном. У стола пан Игнаций замечает трех сановников с цепями на шее и печатью сенаторской важности на лице: это судебные приставы. Перед каждым сановником лежит на столе груда документов о недвижимости, предназначенной к продаже, а между столом и барьером, так же как и за барьером, толпятся дельцы. Все они стоят, задрав головы, и взирают на приставов с таким сосредоточенным вниманием, что им могли бы позавидовать святые отшельники, вдохновенно созерцающие небесные знамения.

Несмотря на раскрытые окна, в зале носится аромат, напоминающий нечто среднее между гиацинтом и старой замазкой. Пан Игнаций догадывается, что этот запах испускают лапсердаки.

В зале довольно тихо, лишь время от времени с улицы доносится дребезжание пролеток. Приставы молчат, погрузившись в свои протоколы, участники торгов тоже молчат, уставясь на приставов; публика, разбившаяся на отдельные группы во второй половине зала, переговаривается, но негромко, не желая доверять свои секреты посторонним.

Тем громче раздаются стенания баронессы Кшешовской, которая, вцепившись в лацкан своего адвоката, быстро-быстро говорит, словно в бреду:

— Умоляю вас, не уходите!.. Ну… я дам вам все, что хотите…

— Пожалуйста, без угроз, баронесса! — отвечает адвокат.

— Что вы, я не угрожаю, но не покидайте меня! — патетически, но с искренним чуством восклицает баронесса.

— Я приду, когда начнутся торги, а сейчас мне нужно идти к моему убийце…

— Ах, так! Значит, вы больше сочуствуете подлому душегубу, чем покинутой женщине, чье имущество, честь и спокойствие…

Спасаясь от назойливой клиентки, жрец правосудия кидается прочь с такой быстротой, что его лоснящиеся на коленках брюки кажутся еще (более потрепанными, чем на самом деле. Баронесса хочет бежать за ним, но попадает в объятия некоего субъекта в темно-синих очках, с физиономией церковного служки.

— Чего вы хотите, голубушка? — сладко вопрошает субъект в синих очках.

— Какой же адвокат станет вам цену набивать на дом!.. Насчет этого обращайтесь ко мне… Дадите, сударыня, процентик с каждой тысячи рублей надбавки и двадцаточку на издержки…

Баронесса Кшешовская отшатывается и, откинувшись назад, точно актриса в трагической роли, отвечает одним только словом:

— Сатана!

Субъект в очках видит, что дал маху, и в замешательстве ретируется. В ту же минуту к нему подбегает другой субъект, с физиономией отъявленного прохвоста, и что-то шепчет, весьма живо жестикулируя. Пан Игнаций уверен, что сейчас эти господа подерутся; однако они расходятся самым мирным образом, а субъект с физиономией прохвоста направляется к Кшешовской и тихо говорит:

— Что же, баронесса, если дадите что-нибудь, мы не допустим и до семидесяти тысяч.

— Спаситель! — восклицает баронесса. — Перед тобою пострадавшая одинокая женщина, чье имущество, честь и спокойствие…

— Да что мне честь! — отвечает субъект с физиономией прохвоста. — Даете десять рублей задатка?

Они отходят в дальний угол зала и скрываются от пана Игнация за кучкой евреев. Там же стоит и старик Шлангбаум с каким-то молодым безбородым евреем.

Глядя на его бледное, изнуренное лицо, пан Игнаций решает, что юноша совсем недавно вступил в брачный союз. Старый Шлангбаум что-то толкует изнуренному юноше, а тот удивленно таращит глаза; но о чем толкует ему старик — пан Игнаций не может отгадать.

Он с досадой отворачивается и в нескольких шагах от себя замечает Ленцкого и его адвоката, который явно скучает и хочет улизнуть…

— Хорошо, пусть сто пятнадцать… ну, сто десять тысяч! — говорит Ленцкий. — Вы адвокат, вы должны знать, как воздействовать.

— Гм… гм… — отвечает адвокат, уныло поглядывая на дверь, — вы требуете слишком высокую цену… Сто двадцать тысяч за дом, который оценивали в шестьдесят.

— Но мне-то он обошелся в сто тысяч!

— Да… гм… гм… Вы, сударь, немножко переплатили…

— Так я и требую только сто десять тысяч… И мне кажется, что уж в этом случае вы обязаны мне помочь… Можно ведь как-то воздействовать, я не юрист и не знаю как, но…

— Гм… гм… — бормочет адвокат.

К счастью, один из его коллег (тоже облаченный во фрак с серебряным значком) вызывает его из зала. Минуту спустя к Ленцкому приближается субъект в синих очках, с физиономией служки и говорит:

— Чего вы хотите, ваше сиятельство? Какой же адвокат станет вам набивать цену на дом? Насчет этого обращайтесь ко мне. Дадите, граф, двадцаточку на издержки и процентик с каждой тысячи сверх шестидесяти…

Ленцкий смотрит на служку с невыразимым презрением; он даже прячет руки в карманы (что ему самому кажется странным) и отчеканивает:

— Я дам один процент с каждой тысячи сверх ста двадцати тысяч рублей…

Служка в синих очках кланяется, усиленно двигая при этом левой лопаткой, и отвечает:

— Извините, ваше сиятельство…

— Постой! — прерывает его Ленцкий. — Сверх ста десяти…

— Извините…

— Сверх ста…

— Извините…

— А, чтоб вас всех!.. Сколько же ты хочешь?

— Один процентик с суммы свыше семидесяти тысяч и двадцатку на издержки, — говорит служка, низко кланяясь.

— Возьмешь десятку? — спрашивает Ленцкий, багровея от гнева.

— Я и рубликом не побрезгую…

Ленцкий достает роскошный бумажник, вынимает из него целую пачку хрустящих десятирублевок и одну из них отдает служке, который кланяется до земли.

— Вот увидите, ваше сиятельство… — шепчет он.

Рядом с паном Игнацием стоят два еврея: один — высокий, смуглый, с иссиня-черной бородой, другой — лысый, с бакенбардами такой необычайной длины, что они лежат на лацканах его сюртука. Джентльмен с бакенбардами при виде десятирублевок Ленцкого усмехается и вполголоса говорит красавцу брюнету:

— Вы видите эти деньги и этого барина? А слышите, как шуршат десяточки? Это они от радости, что меня увидели. Понимаете, пан Цинадер?

— Что, Ленцкий ваш клиент? — спрашивает красавец брюнет.

— Ну, а почему бы нет?

— А что он имеет?

— Он имеет… он имеет сестру в Кракове, которая, вы понимаете, отписала его дочке…

— А если она ничего ей не отписала?

Джентльмен с бакенбардами на мгновение оторопел.

— Только, пожалуйста, не болтайте таких глупостей! Почему бы сестре из Кракова не отписать им, если она больная?

— Я ничего не знаю, — отвечает красавец брюнет. (Пан Игнаций в душе признает, что еще никогда не видел такого красавца.)

— Но у него дочка, пан Цинадер… — беспокойно продолжает обладатель пышных бакенбард. — Вы знаете его дочку, панну Изабеллу?.. Я сам бы дал ей, не торгуясь, рублей… ну, сто…

— Я бы дал полтораста, — говорит красавец брюнет. — Но все-таки Ленцкий — дело ненадежное…

— Ненадежное? А Вокульский — это что?

— Пан Вокульский… ну, это крупное дело. Только она глупая, и Ленцкий глупый, и все они глупые. И они таки доведут Вокульского до погибели, а им он все равно не поможет…

У пана Игнация в глазах потемнело.

— Иисусе! Мария! — шепчет он. — Значит, даже на торгах уже болтают о Вокульском и о ней… Да еще пророчат, что она погубит его… Господи Иисусе!..

Возле стола, за которым сидят судебные приставы, поднимается суматоха; зрители, толкаясь, пробираются поближе; старик Шлангбаум тоже протискивается к столу, успев по дороге кивнуть изнуренному еврею и незаметно подмигнуть представительному господину, с которым недавно беседовал в кондитерской.

В это время вбегает адвокат Кшешовской; не глядя на нее, он занимает место возле стола и бормочет приставам:

— Скорее, господа, скорее! Ей-богу, некогда…

Вслед за адвокатом в зал входит новая группа: жена и муж, последний, видимо, мясник по профессии, старая дама с подростком-внуком и два господина — один седой, но еще крепкий, другой кудрявый, чахоточного вида. У обоих смиренные физиономии и поношенная одежда, однако при их появлении евреи начинают перешептываться и указывать на них пальцами с почтительным восхищением.

Они останавливаются так близко около пана Игнация, что волей-неволей ему приходится выслушивать наставления, которые дает седой господин курчавому:

— Понимаешь ли, Ксаверий: делай, как я. Я не тороплюсь, видит бог! Вот уже три года, понимаешь ли, как я собираюсь приобрести небольшой домик, тысяч этак за сто иль за двести — на старость. Но я не тороплюсь. Прочитаю, понимаешь ли, в газетах, какие там домишки идут с молотка, не спеша посмотрю, прикину в уме, понимаешь ли, цену и прихожу сюда послушать сколько люди дают. И как раз теперь, когда я приобрел опыт и решил, понимаешь ли, что-нибудь купить, цены неслыханно подскочили, черт бы их побрал, и все заново прикидывай!.. Но уж если мы вдвоем возьмемся, понимаешь ли, ходить да прислушиваться, тогда наверняка обстряпаем это дельце.

— Ша! — закричали возле стола.

В зале стало тихо. Пан Игнаций слушает описание каменного дома, помещающегося там-то и там-то, четырехэтажного, с тремя флигелями, садом, участком и т.д. Во время оглашения этого важного документа пан Ленцкий то багровеет, то бледнеет, а Кшешовская поминутно подносит к лицу хрустальный флакончик в золотой оправе.

— Я знаю этот дом! — вдруг выкрикивает субъект в синих очках, с елейной физиономией. — Я знаю этот дом! За глаза можно дать сто двадцать тысяч рублей…

— Что вы там голову морочите! — отзывается сидящий рядом с баронессой Кшешовской мужчина с физиономией прохвоста. — Разве это дом? Развалина! Мертвецкая!

Пан Ленцкий багровеет до синевы. Он кивком подзывает служку и шепотом спрашивает:

— Кто этот подлец?

— Вот этот? Отпетый мерзавец… Не обращайте, ваше сиятельство, внимания… — И опять во всю глотку: — Честное слово, за этот дом можно смело дать сто тридцать тысяч…

— Кто этот негодяй? — спрашивает баронесса субъекта с физиономией прохвоста. — Кто этот человек в синих очках?

— Вот тот? Отъявленный мерзавец… Недавно сидел в Павьяке[30]… Не обращайте внимания, сударыня… Плевать на него…

— Эй там, потише! — кричит из-за стола чиновный голос.

Елейный господин подмигивает пану Ленцкому, развязно ухмыляется и пролезает к столу, где стоят участники торгов. Их четверо: адвокат баронессы, представительный господин, старик Шлангбаум и изнуренный юноша; рядом с последним становится елейный господин.

— Шестьдесят тысяч пятьсот рублей, — тихо говорит адвокат Кшешовской.

— Ей-ей, больше не стоит! — замечает субъект с физиономией прохвоста.

Баронесса торжествующе оглядывается на пана Ленцкого.

— Шестьдесят пять, — отзывается важный барин.

— Шестьдесят пять тысяч и сто рублей, — лепечет бледный юноша.

— Шестьдесят шесть… — добавляет Шлангбаум.

— Семьдесят тысяч! — орет господин в синих очках.

— Ах! Ах! А! — истерически всхлипывает баронесса, падая на плетеный диванчик.

Ее адвокат поспешно отходит от стола и бежит защищать убийцу.

— Семьдесят пять тысяч! — выкрикивает представительный господин.

— Умираю!.. — стонет баронесса.

В зале начинается волнение. Старый литвин берет баронессу под руку, но ее перехватывает Марушевич, появившийся неизвестно откуда как раз в нужный момент. Опираясь на руку Марушевича, Кшешовская с громким плачем выходит из зала, понося на чем свет стоит своего адвоката, суд, конкурентов и приставов. На лице Ленцкого появляется улыбка, а тем временем изнуренный юноша говорит:

— Восемьдесят тысяч и сто рублей.

— Восемьдесят пять, — сразу набавляет Шлангбаум.

Ленцкий весь обращается в зрение и слух. Он видит уже трех конкурентов и слышит слова представительного господина:

— Восемьдесят восемь тысяч…

— Восемьдесят восемь и сто рублей, — говорит тщедушный юноша.

— Пусть уж будет девяносто, — заключает старый Шлангбаум и хлопает рукой по столу.

— Девяносто тысяч, — говорит пристав, — раз… Ленцкий, забыв об этикете, наклоняется к служке и шепчет:

— Ну, что же вы!

— Ну, что же вы, тряхните мошной! — обращается служка к изнуренному юноше.

— А вы чего стараетесь? — осаживает его второй пристав. — Ведь вы дом не купите? Ну и убирайтесь отсюда!..

— Девяносто тысяч рублей, два!.. — восклицает пристав.

Лицо Ленцкого сереет.

— Девяносто тысяч рублей, три… — провозглашает пристав и ударяет молоточком по зеленому сукну.

— Шлангбаум купил! — выкрикивает чей-то голос из зала.

Ленцкий обводит толпу блуждающим взглядом и только теперь замечает своего адвоката.

— Ну, сударь, — говорит он дрожащим голосом, — так не поступают.

— А что такое?

— Так не поступают… Это нечестно! — возмущенно повторяет Ленцкий.

— Как не поступают? — спрашивает адвокат уже с некоторым раздражением.

— По уплате ипотечного долга вам останется еще тридцать тысяч рублей.

— Да ведь мне этот дом обошелся в сто тысяч и, если б как следует позаботиться, мог пойти за сто двадцать.

— Верно, — поддакивает служка, — дом стоит ста двадцати тысяч…

— Вот! Вы слышите, сударь? — говорит Ленцкий. — Если б позаботиться…

— Я попрошу вас, сударь, воздержаться от оскорблений. Вы слушаете советы каких-то подозрительных типов, мошенников из Павьяка…

— Ну, уж извините! — обижается служка. — Не всякий, кто сидел в Павьяке, мошенник… А что до советов…

— И верно!.. Дом стоит ста двадцати тысяч! — подтверждает новый союзник, субъект с лицом прохвоста.

Ленцкий смотрит на него остекленевшими глазами, так и не понимая, что, собственно, происходит. Не простившись с адвокатом, он надевает шляпу и уходит, негодуя:

— Из-за этих адвокатов и евреев я потерял не меньше тридцати тысяч… Можно было получить сто двадцать тысяч.

Старик Шлангбаум тоже уходит. По дороге с ним заговаривает Цинадер, красавец брюнет, красивее которого пан Игнаций никогда не видывал.

— Что за дела вы делаете, пан Шлангбаум? — говорит красавец. — Этот дом вполне можно было купить за семьдесят одну тысячу. Он сейчас больше не стоит.

— Для кого не стоит, а для кого стоит. Я всегда делаю только выгодные дела, — задумчиво отвечает Шлангбаум.

Наконец и Жецкий покидает зал, где уже начинаются следующие торги и собирается новая публика. Пан Игнаций медленно спускается по лестнице, размышляя:

«Итак, дом купил Шлангбаум, и купил именно за девяносто тысяч, как предсказывал Клейн. Ну, да ведь Шлангбаум — не Вокульский… Нет! Стах такой глупости не сделает… И насчет панны Изабеллы тоже все вздор, сплетни!»

#### Глава девятнадцатая. Первое предостережение

Был уже час дня, когда пан Игнаций, смущенный и встревоженный, возвращался в магазин. Как можно было потратить попусту столько времени… и к тому же в часы наибольшего наплыва покупателей? А вдруг случилась какая-нибудь беда? И что за удовольствие таскаться в такую жару по улицам, вдыхая пыль и вонь расплавленного асфальта!

День в самом деле выдался на редкость знойный и яркий: тротуары и мостовые накалились, к жестяным вывескам и фонарным столбам нельзя было прикоснуться, а от ослепительного света у пана Игнация слезились глаза и их застилали какие-то черные пятна.

«На месте господа бога, — думал он, — я бы половину июльской жары приберег на декабрь…»

Случайно взглянув на витрины (он как раз проходил мимо), пан Игнаций остолбенел. Выставленные товары не сменялись уже вторую неделю. Те же статуэтки, майолика, веера, те же несессеры, перчатки, зонтики и игрушки! Ну, видано ли подобное безобразие?

«Подлец я, и больше ничего! — сказал он себе. — Третьего дня напился, сегодня шатаюсь по городу… Этак лавочка скоро полетит ко всем чертям, ясно!»

Едва он переступил порог магазина, не зная, что больше у него болит, сердце или ноги, как его подхватил Мрачевский. Он был уже подстрижен и причесан по варшавской моде и по-прежнему сильно надушен; из любви к искусству он обслуживал покупателей, хотя был теперь гостем, да еще прибывшим из далеких краев. Приказчики, глядя на него, просто диву давались.

— Побойтесь бога, пан Игнаций! — воскликнул он. — Я уж три часа дожидаюсь! Все вы тут, видно, головы потеряли…

Не обращая внимания на покупателей, которые с недоумением смотрели на них, он взял Жецкого под руку и потащил в комнату, где стоял несгораемый шкаф.

Там он бесцеремонно пихнул старшего приказчика, поседевшего на своем посту ветерана, в жесткое кресло, встал перед ним, трагически заломив руки, как Жермон перед Виолеттой, и заговорил:

— Вот что, пан Игнаций… Знал я, что после моего отъезда все у вас тут разладится, но все же не думал, что так скоро… Если уж вас нет в магазине… Ну, ладно, это еще полбеды. Но если уж старик стал выкидывать фокусы — это скандал!

От изумления у пана Игнация глаза на лоб полезли.

— Позвольте! — воскликнул он, поднимаясь с кресла.

Но Мрачевский усадил его обратно.

— Позво…

— Только, пожалуйста, не прерывайте! — перебил его благоухающий молодой человек. — Да знаете ли вы, что происходит? Сузин сегодня ночью едет в Берлин повидаться с Бисмарком, а потом — в Париж, на выставку. И он просит Вокульского, чтобы тот непременно — слышите вы? — непременно ехал с ним. А этот болв…

— Пан Мрачевский! Как вы смеете…

— Я от природы смелый, а Вокульский полоумный! Я только сегодня узнал все… Сказать вам, сколько наш старик мог бы заработать на этом деле с Сузиным? Не десять, а пятьдесят тысяч… рублей, понимаете? И этот осел не только не хочет ехать сегодня, но говорит, что вообще еще не знает, когда поедет… Он, видите ли, не знает! А Сузин может ждать не больше двух-трех дней.

— Что же Сузин? — тихо спросил растерявшийся Жецкий.

— Сузин? Злится и, хуже того, обижается. «Нет, говорит, Станислав Петрович уж не тот, он нами теперь брезгует…» Словом, скандал! Пятьдесят тысяч рублей прибыли и бесплатный проезд. Ну, скажите, на таких условиях разве сам святой Станислав Костка не поехал бы в Париж?

— Еще бы не поехал! — буркнул пан Игнаций. — А где сейчас Стах… то есть пан Вокульский? — спросил он, вставая.

— У вас на квартире, составляет отчет для Сузина. Вот увидите, дорого вам обойдутся эти фокусы!

Дверь кабинета приоткрылась, и показался Клейн с конвертом в руке.

— Лакей Ленцких принес письмо хозяину, — сказал он. — Может, вы ему отнесете, а то он сегодня чертовски злой…

Пан Игнаций держал в руках бледно-голубой конверт, украшенный узором из незабудок, но идти не решался. Между тем Мрачевский заглянул ему через плечо и прочел адрес.

— От Беллочки! — вскричал он. — Все понятно! — И, смеясь, выбежал из кабинета.

— Черт возьми! — проворчал пан Игнаций. — Неужели во всей этой болтовне есть доля правды? Значит, это ради нее он тратит девяносто тысяч на покупку дома и теряет пятьдесят тысяч в сузинском деле? Итого — сто сорок тысяч рублей! А экипаж, а скачки, а пожертвования на благотворительные цели! А… а Росси, на которого панна Изабелла глядит с таким обожанием, как еврей на свои десять заповедей! Эге-ге! Перестану-ка я с ним церемониться…

Он застегнул пиджак на все пуговицы, приосанился и с письмом в руках пошел к себе на квартиру. На ходу он заметил, что сапоги его слегка поскрипывают, и это его почему-то приободрило.

Вокульский, без сюртука и жилетки, сидел, склонясь над грудой бумаг, и что-то писал.

— Ага! — сказал он, увидев пана Игнация. — Ничего, что я тут расположился, как у себя дома?

— Хозяину незачем стесняться! — криво усмехнулся пан Игнаций. — Вот письмо… от этих… от Ленцких…

Вокульский взглянул на конверт, торопливо вскрыл его и начал читать… Прочел раз, другой, третий… Жецкий рылся в своем столе; заметив, что друг его уже не читает, а задумчиво сидит, облокотившись на стол, пан Игнаций сухо спросил:

— Ты едешь сегодня с Сузиным в Париж?

— И не думаю.

— Я слышал, это крупное дело… Пятьдесят тысяч рублей…

Вокульский молчал.

— Значит, поедешь завтра или послезавтра? Сузин, кажется, два-три дня может подождать?

— Я еще не знаю, когда поеду.

— Плохо, Стах. Пятьдесят тысяч — это целое состояние; жаль терять… Если узнают, что ты упустил такой случай…

— Скажут, что я рехнулся, — перебил Вокульский.

Он помолчал и вдруг снова заговорил:

— А если у меня есть дела поважнее, чем ехать зарабатывать деньги?

— Политические? — тихо спросил Жецкий, и глаза его тревожно блеснули, но губы улыбнулись.

Вокульский протянул ему письмо.

— Прочти. И убедись, что есть кое-что получше политики.

Пан Игнаций взял письмо, но не решался читать, пока Вокульский не настоял.

«Венок восхитителен, и я заранее благодарю Вас от имени Росси за этот подарок. С каким неподражаемым изяществом изумруды вкраплены между золотыми листками! Непременно приезжайте к нам завтра обедать, мы должны посоветоваться, как устроить проводы Росси, а также насчет нашей поездки в Париж. Вчера отец сказал, что мы поедем самое позднее через неделю. Разумеется, мы едем вместе. Без Вашего милого общества путешествие потеряло бы для меня половину прелести. Итак, до свидания.

Изабелла Ленцкая.»

— Не понимаю, — сказал пан Игнаций, равнодушно бросая письмо на стол. — Ради удовольствия путешествовать с панной Ленцкой и даже ради совещаний по поводу подарков для… для ее любимцев не швыряют за окно пятьдесят тысяч… если не больше…

Вокульский встал с дивана и, опершись обеими руками о стол, спросил:

— А если бы мне вздумалось ради нее вышвырнуть за окно все свое состояние… тогда что?

На лбу его вздулись жилы, рубашка на груди ходила ходуном. В глазах вспыхивали и гасли искры, какие Жецкий уже видел у него однажды во время дуэли с бароном.

— Тогда что? — повторил Вокульский.

— Да ничего, — спокойно ответил Жецкий. — Мне только пришлось бы признать, что я снова ошибся, — не знаю уж, в который раз…

— В чем?

— На этот раз — в тебе. Я думал, что человек, рискующий жизнью и… добрым именем, чтобы сколотить состояние, имеет в виду какие-то общественные цели…

— Да оставьте же меня наконец в покое с этим вашим обществом! — крикнул Вокульский, стукнув кулаком по столу. — Что я сделал для него — известно, но что сделало оно для меня? Только и знает, что требовать от меня жертв, не давая взамен никаких прав! Я хочу наконец чего-нибудь для самого себя. Уши вянут от громких фраз, которые никого ни к чему не обязывают… Собственное счастье — вот в чем теперь мой долг… Я пустил бы себе пулю в лоб, если бы у меня не оставалось ничего, кроме каких-то фантастических обязательств. Тысячи людей бьют баклуши, а один человек должен исполнять по отношению к ним какие-то бесконечные обязательства. Неслыханная нелепость!

— А овации Росси — не жертва?

— Это я делаю не для Росси…

— А чтобы угодить женщине… знаю. Из всех сберегательных касс — это самая ненадежная.

— Ты слишком много себе позволяешь!

— Скажи: позволял. Тебе кажется, будто ты первый изобрел любовь. Я тоже знавал ее… Да, да!.. Несколько лет я был влюблен, как дурак, а тем временем моя Элоиза заводила шашни с другим. Боже! И настрадался же я, наблюдая, как она украдкой переглядывается с другими… Под конец она, не стесняясь, обнималась у меня на глазах… Поверь мне, Стах, я не так наивен, как думают! Я многое видел в жизни и пришел к заключению, что напрасно мы вкладываем столько чуств в игру, называемую любовью.

— Ты говоришь так потому, что не знаешь ее, — мрачно заметил Вокульский.

— Каждая из них исключение, пока не свернет нам шею. Твоей я, правда, не знаю, зато знаю других. Чтобы покорять женщин, нужно обладать изрядной долей наглости и бесстыдства — два качества, которых ты лишен. И вот тебе мой совет: не рискуй слишком многим, потому что тебя все равно обгонят другие, если уже не обогнали. Я с тобой никогда не говорил о подобных вещах, не правда ли? Да и непохоже, чтоб я придерживался такой философии… Но я чуствую, что тебе угрожает опасность, и повторяю: берегись. Не вкладывай сердца в эту подлую игру, иначе его оплюют ради первого попавшегося прохвоста. А в таких случаях, поверь мне, прегадко себя чувствуешь… Желаю тебе никогда не испытывать этого!

Вокульский сидел, сжимая кулаки, но молчал. В это время в дверь постучали, и вошел Лисецкий.

— Пан Ленцкий хотел бы поговорить с вами. Можно ему сюда? — спросил приказчик.

— Просите, просите, — отвечал Вокульский, поспешно надевая жилет и сюртук.

Жецкий встал, грустно покачал головой и ушел из комнаты.

«Думал я, что дело плохо, — пробормотав он уже в сенях, — но не думал, что настолько плохо…»

Едва Вокульский успел привести себя в порядок, как вошел Ленцкий, а за ним швейцар из магазина. У пана Томаша налились кровью глаза и выступили пятна на щеках. Он бросился в кресло и, откинув голову на спинку, с трудом перевел дыхание. Швейцар, стоя на пороге, перебирал пальцами пуговицы своей ливреи и с озабоченным видом ждал приказаний.

— Простите, пожалуйста, пан Станислав… но я попрошу воды с лимоном…

— Сбегай за сельтерской, лимоном и сахаром… Живо! — крикнул Вокульский швейцару.

Швейцар вышел, задев за дверь своими огромными пуговицами.

— Пустяки… — улыбаясь, говорил пан Томаш. — Короткая шея, жара, ну и раздражение… Передохну минутку…

Встревоженный Вокульский развязал ему галстук и расстегнул рубашку. Потом налил на полотенце одеколону, который он обнаружил на столе у Жецкого, и с сыновней заботливостью смочил больному затылок, лицо и голову.

Пан Томаш пожал ему руку.

— Мне уже лучше… Спасибо вам… — И тихо добавил: — Вы мне нравитесь в роли сестры милосердия. Белла не сумела бы так нежно… Ну, да она создана для того, чтобы за ней ухаживали…

Швейцар принес сифон и лимоны. Вокульский приготовил лимонад и напоил пана Томаша; синие пятна на его щеках постепенно стали бледнеть.

— Ступай ко мне на квартиру, — приказал Вокульский швейцару, — и вели запрягать. Пусть подадут экипаж к магазину.

— Милый, милый вы мой, — говорил пан Томаш, крепко пожимая ему руку и умиленно глядя на него набрякшими глазами. — Я не привык к такой заботе, Белла этого не умеет…

Неспособность панны Изабеллы ухаживать за больными неприятно поразила Вокульского. Но он тут же забыл об этом.

Понемногу пан Томаш пришел в себя. На лбу у него выступил обильный пот, голос окреп, и только сеть красных жилок на белках глаз еще свидетельствовала о недавнем припадке. Он даже прошелся по комнате, потянулся и заговорил:

— Ах… вы не представляете себе, пан Станислав, как я сегодня разволновался! Поверите ли? Мой дом продан за девяносто тысяч!..

Вокульский вздрогнул.

— Я был уверен, — продолжал Ленцкий, — что получу хотя бы сто десять тысяч… В зале говорили, что дом стоит ста двадцати… Что ж поделаешь — его решил купить этот подлый ростовщик Шлангбаум… Стакнулся с конкурентами, и кто знает — может, и с моим поверенным, а я потерял тысяч двадцать или тридцать…

Теперь казалось, что Вокульского вот-вот хватит апоплексический удар, но он молчал.

— А я-то рассчитывал, — продолжал Ленцкий, — что с этих пятидесяти тысяч вы мне будете платить десять тысяч годовых… На домашние расходы я трачу шесть — восемь тысяч в год, а на остальное мы с Беллой могли бы ежегодно ездить за границу. Я даже обещал девочке через неделю повезти ее в Париж… Как бы не так! Шести тысяч еле хватит на жалкое прозябание, где уж там мечтать о поездках! Гнусный еврей… Гнусные порядки — общество в кабале у ростовщиков и не смеет дать им отпор даже на торгах… А больнее всего, скажу я вам, что за спиною мерзавца Шлангбаума, может быть, прячется какой-нибудь христианин, пожалуй, даже аристократ…

Пан Томаш опять стал задыхаться, и щеки у него побагровели. Он сел и выпил воды.

— Подлые! подлые! — шептал Ленцкий.

— Успокойтесь же, сударь, — сказал Вокульский. — Сколько вы мне дадите наличными?

— Я просил поверенного нашего князя (моему прохвосту я уже не доверяю) получить причитающуюся мне сумму и вручить ее вам, пан Станислав… Это тридцать тысяч. Вы обещали мне двадцать процентов, значит всего у меня шесть тысяч на целый год. Бедность… нищета!

— Ваш капитал, — сказал Вокульский, — я могу поместить в другое дело, более выгодное. Вы будете получать десять тысяч ежегодно…

— Что вы говорите?

— Да. Мне подвернулся исключительный случай.

Пан Томаш вскочил.

— Спаситель… благодетель! — взволнованно говорил он. — Вы благороднейший из людей… Однако, — прибавил он, отступая и разводя руками,

— не будет ли это в ущерб вам?

— Мне? Ведь я купец.

— Купец! Рассказывайте! — воскликнул пан Томаш. — Благодаря вам я убедился, что слово «купец» в наши дни является символом великодушия, деликатности, героизма… Славный вы мой!

И он бросился Вокульскому на шею, чуть не плача.

Вокульский в третий раз усадил его в кресло. В эту минуту в дверь постучали.

— Войдите!

В комнату вошел Генрик Шлангбаум. Он был бледен, глаза его метали молнии. Встав перед паном Томашем, он поклонился и сказал:

— Сударь, я Шлангбаум, сын того «подлого» ростовщика, которого вы так поносили в магазине в присутствии моих сослуживцев и покупателей…

— Сударь… я не знал… я готов на любое удовлетворение… а прежде всего — прошу извинить меня… Я был очень раздражен, — взволнованно говорил пан Томаш.

Шлангбаум успокоился.

— Нет, сударь, — возразил он, — вместо того чтобы давать мне удовлетворение, вы лучше выслушайте меня. Почему мой отец купил ваш дом? Не об этом сейчас речь. Но я могу доказать, что он вас не обманул. Если угодно, мой отец уступит вам этот дом за девяносто тысяч. Больше того, — взорвался он, — покупатель отдаст вам его за семьдесят тысяч…

— Генрик! — остановил его Вокульский.

— Я кончил. Прощайте, сударь, — ответил Шлангбаум, низко поклонился Ленцкому и вышел.

— Неприятная история! — помолчав, заметил пан Томаш. — Действительно, я в магазине сказал несколько резких слов по адресу старика Шлангбаума, но, право же, я не знал, что его сын тут работает… Он вернет мне за семьдесят тысяч дом, который сам купил за девяносто. Забавно!.. Что вы скажете, пан Станислав?

— Может быть, в самом деле дом не стоит больше девяноста тысяч? — робко спросил Вокульский.

Пан Томаш начал застегиваться и поправлять галстук.

— Спасибо вам, пан Станислав, — говорил он, — спасибо и за помощь и за участие… Вот так история с этим Шлангбаумом!.. Ах да!.. Белла просила вас звать завтра к обеду… Деньги получите у поверенного нашего князя, а что до процентов, которые вы изволите…

— Я немедленно выплачу их за полгода вперед.

— Очень, очень вам благодарен, — сказал пан Томаш и расцеловал его в обе щеки. — Ну, до свидания, до завтра… Не забудьте про обед…

Вокульский провел его через двор к воротам, у которых уже стоял экипаж.

— Ужасная жара, — говорил пан Томаш, с трудом усаживаясь в экипаж с помощью Вокульского. — Но что за история с этими евреями?.. Дал девяносто тысяч, а готов уступить за семьдесят… Забавно… Честное слово!

Лошади тронулись, экипаж покатился к Уяздовским Аллеям.

Домой пан Томаш ехал словно в дурмане. Жары он не ощущал, только общую слабость и шум в ушах. Минутами ему казалось, что не то он одним глазом видит не совсем так, как другим, не то обоими видит хуже обычного. Он откинулся в угол кареты и при каждом толчке покачивался, как пьяный.

Мысли и ощущения как-то странно путались в голове. То он воображал, что опутан сетью интриг, от которых спасти его может только Вокульский. То ему казалось, что он тяжело болен и только Вокульский сумел бы его выходить. То чудилось, будто он умирает, оставляя разоренную, всеми покинутую дочь, о которой позаботиться мог бы только Вокульский. И, наконец, ему пришло в голову, что хорошо бы иметь собственный экипаж с таким легким ходом и что, попроси он Вокульского, тот бы, наверное, подарил ему свой.

— Ужасная жара! — пробормотал пан Томаш.

Лошади остановились у подъезда, пан Томаш вылез и, даже не кивнув кучеру, пошел наверх. Он с трудом волочил отяжелевшие ноги и, едва очутившись у себя в кабинете, упал в кресло и как был, в шляпе, не шевелясь просидел несколько минут, к величайшему изумлению слуги, который счел нужным позвать барышню.

— Видно, дело кончилось неплохо, — сказал он панне Изабелле, — потому что его милость… как будто немножко… того…

Весь день панна Изабелла держалась с напускным равнодушием, однако на самом деле с величайшим нетерпением поджидала отца, чтобы узнать о результате торгов. Она пошла к нему в кабинет, ускорив шаги лишь настолько, насколько это допускали правила приличия. Панна Ленцкая всегда помнила, что девушке с ее именем не подобает проявлять свои чувства даже по поводу банкротства. И все же, как она ни владела собою, Миколай (по ее яркому румянцу) заметил, что она волнуется, и еще раз вполголоса сказал:

— Ну, наверное, хорошо кончилось, оттого его милость и… того…

Панна Изабелла нахмурила свой прекрасный лоб и захлопнула за собою дверь кабинета. Отец все еще сидел, не снявши шляпы.

— Что же, отец? — спросила она, с некоторой брезгливостью глядя на его красные глаза.

— Несчастие… разорение! — отвечал пан Томаш, с трудом снимая шляпу. — Я потерял тридцать тысяч рублей.

Панна Изабелла побледнела и опустилась на кожаный диванчик.

— Подлый еврей, ростовщик, запугал конкурентов, подкупил адвоката и…

— Значит, у нас уже ничего нет? — чуть слышно спросила она.

— Как это — ничего? У нас осталось тридцать тысяч, и на них мы получим десять тысяч процентов… Славный человек этот Вокульский! Я еще не видывал подобного благородства. А если б ты знала, как он сегодня ухаживал за мной!..

— Ухаживал? Почему?

— Со мной случился небольшой припадок из-за жары и раздражения…

— Какой припадок?

— Кровь бросилась мне в голову… но теперь уже прошло… Подлый еврей! Ну, а Вокульский, говорю тебе, это не человек, а ангел… — И он расплакался.

— Папа, что с тобой? Я пошлю за доктором!.. — вскрикнула панна Изабелла, опускаясь на колени перед креслом.

— Ничего… ничего… не волнуйся… Я только подумал, что если бы мне пришлось умереть, ты могла бы положиться только на одного Вокульского…

— Не понимаю…

— Ты хотела сказать, что не узнаешь меня, не правда ли? Тебе странно, что я мог бы вверить твою судьбу купцу? Видишь ли… когда в беде одни ополчились против нас, а другие отошли в сторону, только он поспешил нам на помощь и, может быть, даже спас мне жизнь… Нам, людям апоплексического сложения, случается, заглядывает смерть в глаза… И вот, когда он приводил меня в чувство, я подумал: кто же еще так участливо может позаботиться о тебе? Ведь не Иоася и не Гортензия, да и никто другой… Только богатым сиротам легко найти опекунов.

Панна Изабелла, заметив, что отцу стало лучше, встала с колен и опять села на диванчик.

— Скажи, папа, какую же роль ты предназначаешь этому господину? — холодно спросила она.

— Роль? — переспросил он, пристально вглядываясь в ее лицо. — Роль… советчика… друга дома… опекуна… Опекуна над тем капитальцем, который достанется тебе, если…

— О, с этой стороны я уже давно его оценила. Это человек энергичный и преданный нам… Впрочем, все это неважно, — прибавила она, помолчав. — Что с домом, папа?

— Я ведь сказал. Еврей, гадина, дал девяносто тысяч, так что нам осталось всего тридцать. Но поскольку Вокульский — честная душа! — будет выплачивать с этой суммы десять тысяч… Тридцать три процента, вообрази!

— Как тридцать три? — прервала панна Изабелла. — Десять тысяч — это десять процентов.

— Какое там! Десять от тридцати — значит тридцать три процента. Ведь «процент» значит «pro centum» — сотая доля, понимаешь?

— Не понимаю, — ответила панна Изабелла, тряхнув головой. — Я понимаю, что десять — это десять; но если на купеческом языке десять называется тридцать три, пусть будет так.

— Вижу, что не поняла. Объяснил бы тебе, да что-то очень уж устал, поспать бы немного…

— Не послать ли за доктором? — спросила панна Изабелла, вставая.

— Боже упаси! — воскликнул пан Томаш и замахал руками. — Только начни водиться с докторами — и сразу отправишься на тот свет…

Панна Изабелла не настаивала; она поцеловала отца в руку и в лоб и, глубоко задумавшись, пошла к себе в будуар.

От тревоги, терзавшей ее все эти дни по поводу торгов, не осталось и следа. Оказывается, у них еще есть десять тысяч рублей в год и тридцать тысяч наличными! Значит, они поедут на Парижскую выставку, потом, может быть, в Швейцарию, а на зиму — опять в Париж. Нет! На зиму они вернутся в Варшаву и снова будут принимать у себя. А если найдется какой-нибудь состоятельный претендент, не старый и не противный (как барон или предводитель… бр-р!), не выскочка и не глупец (впрочем, пусть даже и глупец — в их кругу умен один только Охоцкий, да и тот чудак!)… если найдется такой человек, она наконец решится…

«Ну и хорош же папа со своим Вокульским! — подумала панна Изабелла, расхаживая взад и вперед по будуару. — Вокульский — мой опекун!.. Вокульский может быть ценным советчиком, поверенным, наконец распорядителем состояния, но звание моего опекуна может носить только князь, кстати он нам и родня и старый друг нашего семейства…»

Сложив руки на груди, она продолжала ходить взад и вперед по комнате и вдруг призадумалась: почему отец так расчувствовался сегодня по поводу Вокульского? Какой же колдовской силой обладает этот человек, покоривший всех людей ее круга и, наконец, завоевавший последнюю точку опоры — отца!.. Ее отец, пан Томаш Ленцкий, не проронивший ни слезинки со дня смерти матери, сегодня расплакался!..

«Надо все же признать, что у Вокульского доброе сердце, — сказала она себе. — Росси не остался бы так доволен Варшавой, если бы не чуткость Вокульского. Ну, а моим опекуном ему все равно не бывать, даже в случае несчастия… Состоянием, пожалуйста, пусть управляет, но опекуном!.. Нет, видно, отец уж очень ослаб, если ему приходят на ум подобные комбинации…»

Около шести часов вечера панна Изабелла, сидя в гостиной, услышала в прихожей звонок, а потом раздраженный голос Миколая:

— Говорил я вам — завтра приходите, барин сегодня болен.

— А что делать, если барин, когда у него есть деньги, болеет, а когда здоров, так у него нет денег? — ответил чей-то голос с легким еврейским акцентом.

В ту же минуту в прихожей зашелестело женское платье, и послышался голос панны Флорентины:

— Тише! Бога ради, тише! Приходите завтра, пан Шпигельман, вы же знаете, что деньги есть…

— Вот потому я и прихожу сегодня уже в третий раз, а то завтра придут другие, и я опять буду дожидаться…

Кровь ударила в голову панне Изабелле. Не совсем сознавая, что делает, она бросилась в прихожую.

— Что это значит? — обратилась она к панне Флорентине.

Миколай пожал плечами и на цыпочках пошел в кухню.

— Это я, ваша милость… Давид Шпигельман, — ответил низенький человечек с черной бородой и в черных очках. — Я к графу, у меня к нему маленькое дельце…

— Белла, дорогая… — начала панна Флорентина, пытаясь увести молодую девушку.

Но панна Изабелла вырвалась и, заметив, что в отцовском кабинете никого нет, велела Шпигельману войти туда.

— Одумайся, Белла, что ты делаешь? — унимала ее панна Флорентина.

— Я хочу наконец узнать правду, — ответила панна Изабелла.

Она закрыла дверь кабинета, села и, глядя на очки Шпигельмана, спросила:

— Какое у вас дело к отцу?

— Очень извиняюсь, графиня, — ответил тот, кланяясь, — у меня совсем маленькое дело. Я только хочу получить свои деньги.

— Сколько?

— Ну, рублей восемьсот наберется…

— Завтра получите.

— Извиняюсь, графиня, но… я уже полгода каждую неделю слышу, что завтра, и не вижу ни процентов, ни капитала.

У панны Изабеллы перехватило дыхание и сжалось сердце. Но она тут же овладела собой.

— Вам известно, что мой отец получил тридцать тысяч рублей… Кроме того (она сама не знала, зачем это говорит), мы будем получать десять тысяч в год… Сами понимаете, что ваша незначительная сумма не может пропасть…

— Откуда десять? — спросил еврей и развязно поглядел на нее.

— Как это — откуда? — с возмущением повторила она. — Проценты с нашего капитала.

— С тридцати тысяч? — недоверчиво усмехнулся еврей, решив, что его хотят провести.

— Да.

— Очень извиняюсь, графиня, — иронически возразил Шпигельман, — я уже давно делаю комбинации с деньгами, но о таком проценте никогда не слыхал. На свои тридцать тысяч граф может получить тысячи три, да и то под очень ненадежную закладную. Впрочем, мне что! Мое дело — получить деньги. А то

завтра придут другие, и опять они окажутся лучше Давида Шпигельмана, а если остальное граф отдаст под проценты, мне придется еще год дожидаться…

Панна Изабелла вскочила с кресла.

— Так ручаюсь же вам, что завтра вы получите все сполна! — вскричала она, глядя на него с презрением.

— Честное слово? — спросил еврей, втайне любуясь ее красотой.

— Даю слово, что завтра всем вам будет уплачено… Всем, и до последней копейки!

Еврей поклонился до земли и, пятясь к двери, вышел из кабинета.

— Посмотрим, как графиня сдержит свое слово! — бросил он, уходя.

Старый Миколай был в прихожей и с такой грацией распахнул дверь перед Шпигельманом, что тот уже с лестницы крикнул:

— Что это вдруг с таким фасоном, пан камердинер?

Панна Изабелла, побледнев от гнева, бросилась в спальню отца. Напрасно панна Флорентина пыталась ее удержать.

— Не надо, Белла, — говорила она, умоляюще складывая руки, — отцу так нездоровится…

— Я поручилась этому человеку, что все долги будут выплачены, и они должны быть выплачены… Хотя бы нам пришлось отказаться от поездки в Париж.

Пан Томаш, без сюртука и в домашних туфлях, медленно расхаживал по комнате, когда вошла дочь. Она заметила, что вид у отца очень плохой, плечи у него опустились, седые усы повисли, даже глаза были полузакрыты и весь он как-то по-стариковски ссутулился. Эти наблюдения хотя и не дали ей вспылить, но не удержали от делового объяснения.

— Извини, Белла, что я в таком неглиже… Что случилось?

— Ничего, отец, — ответила она, сдерживаясь. — Приходил какой-то еврей…

— Ах, наверное, опять Шпигельман… Донимает он меня, как комар летом!

— воскликнул пан Томаш, хватаясь за голову. — Пусть придет завтра…

— То-то и есть, что придет… и он… и остальные…

— Хорошо… очень хорошо… я уж давно собирался расплатиться с ними… Ох, слава богу, хоть чуточку посвежело…

Панну Изабеллу поразило спокойствие отца и его болезненный вид. Ей показалось, что за сегодняшнее утро он постарел на несколько лет. Она присела на стул и спросила с деланной небрежностью:

— А много ты им должен, папа?

— Да нет… пустяки… тысячи две-три.

— Это те векселя, о которых тетка говорила, что кто-то их скупил в марте?

Пан Ленцкий остановился посреди комнаты.

— Вот так так! — воскликнул он, щелкнув пальцами. — О них-то я совершенно забыл…

— Значит, у нас долгов больше, чем две-три тысячи?

— Да, да… немного больше… Думаю, что тысяч пять или шесть… Я попрошу Вокульского, он все уладит…

Панна Изабелла невольно вздрогнула.

— Шпигельман сказал, — продолжала она, помолчав, — что с нашего капитала нельзя получить десять тысяч процентами. Самое большее — три тысячи, да и то под ненадежную закладную.

— Он прав. Под закладную — нельзя, но торговля — дело другое. Торговля может дать и тридцать на тридцать… Однако… откуда Шпигельман знает о наших процентах? — спохватился пан Томаш.

— Я нечаянно проговорилась… — покраснев, объяснила панна Изабелла.

— Жаль, что ты сказала ему… очень жаль! О таких вещах лучше не говорить.

— Разве в этом есть что-нибудь предосудительное? — испуганно пролепетала она.

— Предосудительное? Ну, бог ты мой, конечно нет… Но все же лучше, чтобы люди не знали ни размера, ни источника наших доходов… Барон, да и сам предводитель не прослыли бы миллионерами и филантропами, если б были известны все их секреты…

— Почему же, отец?

— Ты еще дитя, — говорил пан Томаш, смешавшись, — ты идеалистка, так что… тебя это могло бы оттолкнуть… Но ведь ты умная девушка, Белла. Видишь ли: барон ведет общие дела с какими-то ростовщиками, а состояние предводителя выросло главным образом благодаря удачным пожарам, ну и… отчасти торговле скотом во время севастопольской кампании…

— Так вот каковы мои женихи! — прошептала панна Изабелла.

— Это ничего не значит, Белла! У них есть деньги и большой кредит, а это главное, — успокаивал ее пан Томаш.

Панна Изабелла тряхнула головой, словно отгоняя докучные мысли.

— Значит, мы в Париж не поедем…

— Почему, дитя мое, почему?

— Если ты заплатишь пять или шесть тысяч ростовщикам…

— Об этом не беспокойся. Я попрошу Вокульского раздобыть для меня ссуду под шесть-семь процентов, и мы будем выплачивать четыреста рублей в год. А у нас с тобой десять тысяч…

Панна Изабелла понурила голову и задумалась, медленно водя пальцами по столу.

— Скажи, отец, — спросила она, помолчав, — ты вполне уверен в Вокульском?

— Я? — вскрикнул пан Томаш и ударил себя кулаком в грудь. — Я не уверен в Иоасе, в Гортензии, даже в нашем князе, да в конце концов ни в ком из наших, но в Вокульском… Если бы ты видела, как сегодня он растирал меня одеколоном… и с какой тревогой смотрел на меня! Это благороднейший из всех людей, каких я знавал в жизни… Он не гонится за деньгами, да на мне и нельзя заработать, но дорожит моей дружбой… Сам бог мне его послал, и как раз тогда… когда я начинаю чувствовать приближение старости… а может, и смерти…

При этих словах пан Томаш часто заморгал, и по щекам его снова скатилось несколько слезинок.

— Папа, ты болен! — испуганно воскликнула панна Изабелла.

— Нет, нет… Это просто жара, раздражение и главное — обида на людей. Ну, подумай, кто навестил нас сегодня? Никто! Все уверены, что мы окончательно разорились… Иоанна боится, как бы я не попросил у нее взаймы на завтрашний обед… То же и барон и князь… Ну, барон, когда узнает, что у нас осталось тридцать тысяч, еще явится… ради тебя. Решит, что стоит тебя взять и без приданого, раз на меня, дескать, ему не придется тратиться… Но не беспокойся, как только они услышат, что мы получаем десять тысяч в год, все вернутся к нам, и ты по-прежнему будешь царить в своей гостиной… Ах, боже мой, как я нервничаю сегодня! — закончил он, вытирая слезящиеся глаза.

— Папа, я пошлю за доктором, хорошо?

Отец задумался.

— Лучше уж завтра, завтра… А до завтра еще и само пройдет.

В дверь постучали.

— Кто там? Что такое? — крикнул пан Томаш.

— Графиня приехала, — ответил из коридора голос панны Флорентины.

— Иоася? — воскликнул пан Томаш с радостным изумлением. — Ступай же к ней, Белла… я немножко приведу себя в порядок… Ну-ну! Бьюсь об заклад, что ей уже известно о тридцати тысячах… Ступай же к ней, Белла… Миколай!

Он засуетился, разыскивая то одну, то другую часть туалета, а тем временем панна Изабелла вышла к тетке, которая уже ждала ее в гостиной.

Увидев панну Изабеллу, графиня бросилась к ней и заключила ее в объятия.

— Как господь милостив! — вскричала она. — Какое счастье он вам посылает! Верно ли, что Томаш получил за дом девяносто тысяч и твое приданое уцелело? Никогда бы не подумала…

— Тетушка, отец надеялся получить больше, но какой-то еврей запугал конкурентов и купил сам, — ответила панна Изабелла, задетая словами тетки.

— Ах, дитя мое, как это ты до сих пор не убедилась в непрактичности твоего отца! Он может воображать, что цена его дому чуть не миллион, но я знаю от компетентных людей, что цена ему не больше семидесяти или семидесяти двух тысяч. Последнюю неделю дома ежедневно продаются с торгов, и всем известно, что они стоят и сколько за них платят. Впрочем, не о чем толковать; пусть отец воображает, будто его обманули, а ты, Белла, моли бога за того еврея, который дал вам девяносто тысяч… A propos, знаешь, Казек Старский вернулся.

Панна Изабелла вспыхнула.

— Когда? Откуда? — смущенно спросила она.

— Сейчас из Англии, а туда приехал прямо из Китая. Все так же хорош собой… Теперь он едет к бабке, которая, кажется, собирается отдать ему свое поместье.

— Это по соседству с вашим, тетя?

— Да, да. Об этом-то я и хочу поговорить. Он расспрашивал о тебе, и я, надеясь, что ты уже вылечилась от своих капризов, посоветовала ему завтра навестить вас.

— Вот хорошо! — обрадовалась панна Изабелла.

— Видишь! — заметила графиня, целуя ее. — Тетка всегда о тебе помнит. Это для тебя отличная партия, и устроить ее будет нетрудно, поскольку у Томаша есть теперь небольшой капитал, которого ему, наверное, хватит, а Казек уже слышал о том, что Гортензия тебе оставляет наследство. Ну, допустим, у Старского есть кое-какие долги, во всяком случае того, что ему достанется от бабки, вместе с тем, что тебе отписала Гортензия, вам хватит на некоторое время. А там посмотрим. У него есть еще дядя, у тебя — я, так что ваши дети нуждаться не будут.

Панна Изабелла молча поцеловала руку графине. В эту минуту она была так хороша, что тетка, обняв ее, подвела к зеркалу и сказала, смеясь:

— Ну, пожалуйста, будь завтра так же прелестна и увидишь, что в сердце Казека откроются старые раны… А жаль, что ты ему тогда отказала! Сейчас у вас было бы на сто, а то и на сто пятьдесят тысяч больше… Воображаю, сколько денег растранжирил бедный мальчик, ища утешения в своем горе. Ах да!

— вспомнила графиня. — Правда, что вы с отцом хотите ехать в Париж?

— Да, собираемся.

— Пожалуйста, Белла, не делай этого. Я как раз хочу предложить вам провести остаток лета у меня в имении. И ты должна согласиться хотя бы из-за Старского. Ты сама понимаешь, молодой человек в деревне будет томиться, мечтать о

любви… Вы можете встречаться каждый день, а в таких условиях тебе легче будет привязать его… и даже связать.

Панна Изабелла покраснела еще сильней и низко опустила свою красивую голову.

— Тетя! — смущенно выговорила она.

— Ах, дитя мое, только не разыгрывай передо мной дипломата. Девушке в твоем возрасте пора замуж, а главное — не повторяй старых ошибок. Казек — отличная партия: он не скоро тебе надоест… А если и надоест, — что ж, он уже будет мужем, а муж на многое вынужден смотреть сквозь пальцы, как, впрочем, и жена. Но где же отец?

— Ему нездоровится…

— Боже мой! Это его взволновало нежданное счастье.

— Напротив, он заболел от возмущения, тетя…

— Вечно у него в голове химеры! — воскликнула графиня, вставая. — Я загляну к нему на минутку и поговорю о вашем летнем отдыхе. Что же касается тебя, Белла, я надеюсь, ты сумеешь использовать это время.

После интимной получасовой беседы с паном Томашем графиня попрощалась с племянницей и еще раз посоветовала ей не упускать Старского.

Около девяти пан Томаш, против обыкновения, лег спать, а панна Изабелла позвала к себе панну Флорентину.

— Знаешь, Флора, — сказала она, расположившись на козетке, — вернулся Казек Старский и завтра будет у нас.

— А-а-а! — протянула панна Флорентина таким тоном, как будто для нее это не было новостью. — Значит он уже не сердится? — спросила она многозначительно.

— Наверно, нет… Впрочем, не знаю, — улыбнулась панна Изабелла. — Тетка говорит, что он по-прежнему красив…

— И по-прежнему в долгах… Но это не беда. У кого нынче нет долгов!

— А что бы ты сказала, Флора, если бы…

— Если бы ты вышла за него? Разумеется, поздравила бы вас обоих. Но что скажут барон, предводитель, Охоцкий, а главное… Вокульский?

Панна Изабелла порывисто поднялась.

— Позволь, дорогая, что это тебе вздумалось говорить об этом… Вокульском?

— Не мне вздумалось, — возразила панна Флорентина, теребя оборку на корсаже, — я только хочу припомнить тебе, что ты говорила мне, еще в апреле, будто человек этот уже год преследует тебя взглядами, опутал тебя со всех сторон…

Панна Изабелла расхохоталась.

— Ах, помню! Мне действительно тогда так казалось… Но сейчас, узнав его короче, я вижу, что он не принадлежит к категории людей, которых следует бояться. Правда, он втихомолку боготворит меня, но точно так же он будет боготворить меня даже если… я выйду за… замуж. Обожателям такого сорта, как Вокульский, довольно взгляда, рукопожатия…

— Ты уверена?

— Совершенно. Видишь ли… я убедилась, что все эти его тайные подступы объясняются обыкновенным деловым расчетом. Отец дает ему в долг тридцать тысяч, и, кто знает, может быть, все его усилия были направлены именно к этой цели?

— А если нет? — спросила панна Флорентина, продолжая теребить оборку корсажа.

— Флора! Перестань же! — рассердилась панна Изабелла. — Зачем непременно портить мне настроение?

— Ты сама говорила, что такие люди умеют терпеливо выжидать, опутывать сетями, рисковать всем и даже ломать…

— Но не Вокульский.

— Вспомни дуэль.

— Барон публично оскорбил его.

— А перед тобой извинился.

— Ах. Флора, пожалуйста, не мучай меня! — вспылила панна Изабелла. — Ты во что бы то ни стало хочешь превратить торгаша в демона, может быть потому, что… мы так много потеряли на продаже дома… и отец болен… и Старский вернулся…

Панна Флорентина сделала движение, словно желая сказать еще что-то, но сдержалась.

— Покойной ночи, Белла, — сказала она. — Может быть, ты и права сейчас… — И вышла.

Всю ночь панне Изабелле снился Старский в качестве мужа, Росси — первого платонического любовника, Охоцкий — второго, а Вокульский — поверенного в делах. Только в десять утра ее разбудила панна Флорентина и сообщила, что пришел Шпигельман еще с каким-то евреем.

— Шпигельман? Ах да! Я и забыла. Вели ему прийти попозже. Папа встал?

— Уже час назад. Я ему сказала о ростовщиках, но он просит тебя написать Вокульскому…

— О чем?

— Чтобы он был так любезен прийти к нам сегодня днем и уладить с ними расчеты.

— Правда, наши деньги у Вокульского. Но мне неудобно писать ему об этом. Напиши ты, Флора, от имени отца… Вот бумага на столике.

Панна Флорентина села писать требуемое письмо, а панна Изабелла тем временем стала одеваться. Сообщение о ростовщиках отрезвило ее, как струя холодной воды, а мысль о Вокульском встревожила.

«Значит, мы в самом деле не можем обойтись без этого человека? — думала она. — Ну конечно, если он взял наши деньги, так должен оплачивать и наши долги…»

— Очень проси, — сказала она панне Флорентине, — чтобы он поскорей приехал… Если Старский застанет у нас этих мерзких евреев…

— Он с ними знаком еще лучше, чем мы, — заметила Флора.

— Все равно, это было бы ужасно. Ты не представляешь себе, каким тоном говорил со мною вчера этот… как его…

— Шпигельман, — подсказала панна Флорентина. — О, это наглый еврей…

Она запечатала письмо и вышла в прихожую выпроводить ожидавших там ростовщиков. Панна Изабелла опустилась на колени перед алебастровой статуэткой богоматери, моля ее о том, чтобы посыльный застал Вокульского дома и чтобы Старский не встретился у них с евреями-ростовщиками.

Алебастровая богоматерь вняла ее мольбам, и через час, за завтраком, Миколай подал ей три письма.

Первое было от графини: она извещала, что сегодня от двух до трех часов дня к отцу придут доктора на консилиум, а также, что Казек Старений уезжает после обеда и любую минуту можно ждать его визита.

«Смотри же, дорогая Беллочка, — заканчивала письмо тетка, — действуй так, чтобы мальчик думал о тебе всю дорогу и в деревне, куда вы с отцом должны приехать через несколько дней. Я уже все устроила таким образом, чтобы он и в Варшаве не видел ни одной барышни и в поместье, кроме тебя, душенька, не встретит ни одной женщины, не считая его бабки-председательши да ее внучек, девиц малопривлекательных».

Панна Изабелла прикусила губку: ей не понравилась напористость тетки.

— Тетушка так покровительствует мне, — сказала она панне Флорентине, — будто самой мне уже не на что надеяться… Не нравится мне это!

И образ прекрасного Казека Старского несколько померк в ее воображении.

Второе письмо было от Вокульского: он сообщал, что явится в час дня.

— Флора, в котором часу ты велела прийти ростовщикам?

— К часу.

— Слава богу! Только бы в эту пору не явился и Старский, — сказала панна Изабелла, беря третье письмо. — Почерк как будто знакомый? От кого же это, Флора?

— Неужели не узнаешь? — отвечала панна Флорентина, взглянув на адрес. — От Кшешовской.

Панна Изабелла покраснела от гнева.

— Ах, правда! — вскричала она, бросая конверт на стол. — Пожалуйста, Флора, отошли ей письмо и надпиши сверху: «Не читано». И чего только хочет от нас эта мерзкая женщина!

— Можешь легко это узнать, — посоветовала панна Флорентина.

— Нет, нет… и нет! Не хочу я никаких писем от этой противной бабы… Наверное, опять какая-нибудь каверза, она ничем другим не занимается… Прошу тебя, Флора, сию же минуту отошли ей письмо… а впрочем, можешь прочесть… в последний раз принимаю ее каракули…

Панна Флорентина не спеша вскрыла конверт и начала читать. Понемногу на лице ее любопытство сменилось удивлением, а потом замешательством.

— Мне неловко это читать, — шепнула она, передавая письмо панне Изабелле.

«Дорогая панна Изабелла! — писала баронесса. — Я признаю, что своим поведением могла заслужить вашу неприязнь, а также гнев милосердного господа бога, который столь неусыпно печется о вашем семействе. Поэтому отрекаюсь от всего, смиряюсь перед вами, дорогая моя, и молю вас простить меня. Ибо чем, как не благодатью господней, можно объяснить появление подле вас Вокульского? Простой смертный, как мы все, стал орудием в руке всевышнего, дабы меня покарать, а вас возвысить.

Ибо мало того, что Вокульский ранил на дуэли моего супруга (да простит господь и ему все подлости, в коих он грешен предо мною!), но еще и приобрел дом, в котором угасло мое ненаглядное дитя, и теперь, наверное, заставит платить меня дороже за квартиру. Вы же не только любуетесь моим поражением, но и получили на двадцать тысяч рублей больше, чем стоил ваш дом.

Соблаговолите же, дорогая, в ответ на мое раскаяние уговорить глубокоуважаемого пана Вокульского (который, неизвестно почему, гневается на меня), чтобы он продлил со мной договор и не вынуждал меня своими непомерными требованиями покинуть дом, где угасла жизнь моей единственной дочери. Однако действовать следует осторожно, ибо этот почтенный господин по неведомым мне причинам не желает, чтобы о его покупке стало известно. Вместо того чтобы открыто купить дом, как делают честные люди, он купил его на имя ростовщика Шлангбаума и еще вдобавок подослал в суд подставных конкурентов, чтобы дать на двадцать тысяч больше, чем я. Для чего ему понадобилось действовать в такой тайне? Это, наверное, вам, дорогие, известно

лучше, чем мне, поскольку вы вложили в его предприятие свой капиталец. Правда, он невелик, но с божьей милостью (которая столь очевидно сопутствует вам) и при всем известной ловкости Вокульского, наверное, принесет вам такие проценты, которые вознаградят вас за ваше прежнее горестное положение.

Отдаю себя под защиту вашего доброго сердца, дорогая, а обоюдные наши отношения — на беспристрастный суд божий. Остаюсь неизменно преданной, хоть и пренебреженной, вашей родственницей и покорной слугой.

Кшешовская.»

Панна Изабелла прочла и побледнела как полотно. Она встала из-за стола, скомкала письмо и занесла руку, словно собиралась швырнуть его кому-то в лицо. Внезапно гнев сменился испугом — в смятении она готова была бежать куда глаза глядят или звать на помощь. Однако она тотчас же опомнилась и пошла к отцу.

Ленцкий, в домашних туфлях и полотняном халате, лежал на софе и читал «Курьер». Он нежно поздоровался с дочерью, а когда она села, пристально посмотрел на нее и сказал:

— То ли тут такой свет, то ли мне кажется, будто барышня сегодня не в духе?

— Я немного расстроена.

— То-то я вижу. Наверное, от жары. А сегодня, — прибавил он, погрозив ей с улыбкой, — сегодня ты, шалунья моя, должна хорошо выглядеть: Казек, как мне вчера сказала тетка, все еще в женихах…

Панна Изабелла молчала. Отец продолжал:

— Правда, мальчик немного избаловался, шатаясь по свету, понаделал долгов, но как-никак молод, хорош собой, ну и — был влюблен в тебя по уши. Иоася надеется, что председательша подержит его недельки две в деревне, а остальное — уж твоя забота. А знаешь, пожалуй, это было бы неплохо. Имя прекрасное, состояние как-нибудь сколотим, кусочек оттуда, кусочек отсюда… При этом человек он светский, бывалый, в некотором роде даже герой, если и вправду совершил путешествие вокруг земного шара.

— Я получила письмо от Кшешовской, — прервала панна Изабелла.

— Опять? О чем же эта полоумная пишет?

— Она пишет, что дом наш купил не Шлангбаум, а Вокульский и что с помощью подставных лиц, которые набили цену, дал за него на двадцать тысяч больше, чем стоило заплатить.

Панна Изабелла произнесла это сдавленным голосом и с тревогой посмотрела на отца, опасаясь вспышки гнева. Но пан Томаш только привстал с софы и воскликнул, щелкая пальцами:

— Погоди-ка! Погоди! Знаешь, это возможно…

— Как! — вскочила панна Изабелла. — Значит, он осмелился подарить нам двадцать тысяч и ты, папа, так спокойно говоришь об этом?

— Говорю спокойно, потому что подожди я с продажей, то получил бы не девяносто, а сто двадцать тысяч…

— Да ведь мы не могли ждать, раз дом пустили с молотка.

— Вот потому-то мы и в убытке, а Вокульский, который может ждать, окажется в барышах.

Последнее замечание несколько успокоило панну Изабеллу.

— Значит, ты, папа, считаешь, что он не оказал нам благодеяния? А вчера ты так говорил о Вокульском, будто он тебя околдовал…

— Ха-ха-ха! — расхохотался пан Томаш. — Ты великолепна, неподражаема! Вчера я был немного расстроен… даже сильно расстроен, и мне что-то… этакое… померещилось. Но сегодня… Ха-ха-ха! Пусть себе Вокульский переплачивает за дом, на то он и купец, чтобы знать, сколько и за что следует платить. На одном потеряет, на другом наживется. Я же, со своей стороны, не стану на него обижаться за то, что он участвовал в торгах, когда продавали мое имущество… Хотя… поскольку в дело замешано подставное лицо, я был бы вправе подозревать, что дело нечисто…

Панна Изабелла горячо обняла отца.

— Да, ты прав, папа, — сказала она. — Сама я просто не сумела разобраться в этом. То, что этот господин подставляет евреев на торгах, несомненно доказывает, что, прикидываясь добрым другом, он при этом обделывает свои дела…

— Разумеется! — подтвердил пан Томаш. — Неужели ты не понимаешь таких простых вещей? Человек он, может быть, неплохой, но… купец всегда остается купцом!

В прихожей раздался громкий звонок.

— Наверное, это он. Я, папа, уйду и оставлю вас вдвоем.

Панна Изабелла вышла, но в прихожей увидела не Вокульского, а трех ростовщиков, громко препиравшихся с Миколаем и панной Флорентиной. Она убежала в гостиную, чуть не сказав вслух: «Боже! почему его так долго нет!»

В сердце ее бушевали противоречивые чуства. Она поддакивала отцу, однако понимала, что все это неправда, что Вокульский на покупке дома не наживается, а теряет и что делает он это для того, чтобы спасти их. Но, признавая это, она его ненавидела.

— Подлый! Подлый! — повторяла она. — Как он смел…

Между тем в прихожей разыгрался форменный скандал между ростовщиками и панной Флорентиной. Они заявили, что не двинутся с места, пока не получат

денег, потому что барышня вчера дала честное слово… А когда Миколай отворил перед ними дверь на лестницу, они и вовсе разошлись:

— Разбой! Мошенничество! Деньги ваши господа брать умеют, и тогда ты для них «дорогой пан Давид!» А теперь…

— Это что такое? — раздался вдруг чей-то голос.

Ростовщики притихли.

— Что это значит?.. Вы что тут делаете, пан Шпигельман?

Панна Изабелла узнала голос Вокульского.

— Я ничего… Очень извиняюсь, ваша милость… Мы тут по делу к его сиятельству… — оправдывался уже совсем другим тоном только что шумевший Шпигельман.

— Господа велели нам сегодня прийти за деньгами, — объяснил другой ростовщик.

— Барышня вчера дала честное слово, что сегодня нам заплатят все до копейки…

— И заплатят, — прервал Вокульский. — Я являюсь уполномоченным пана Ленцкого и сегодня в шесть часов оплачу ваши счета у себя в конторе.

— Не к спеху… Зачем вашей милости так торопиться! — возразил Шпигельман.

— Прошу в шесть зайти ко мне, а ты, Миколай, никаких просителей здесь не принимай, когда барин болен.

— Понял, ваша милость! Барин ждет вас у себя в спальне, — отвечал Миколай, а когда Вокульский вышел, выпроводил ростовщиков за дверь, приговаривая: — Вон отсюда, паршивцы! Вон!

— Ну, ну! Чего вы так сердитесь? — бормотали растерявшиеся ростовщики.

Пан Томаш взволнованно поздоровался с Вокульским, руки его слегка дрожали, голова тряслась.

— Вот видите, что делают эти евреи… негодники… Лезут в квартиру… пугают мою дочь…

— Я велел им в шесть часов прийти ко мне в контору и, если позволите, расплачусь с ними. Это большая сумма?

— Пустяки… и говорить не о чем. Всего пять-шесть тысяч рублей…

— Пять-шесть? — повторил Вокульский. — Все этим троим?

— Нет. Им я должен тысячи две, может немножко больше… Но, видите ли, пан Станислав (это целая история!), в марте кто-то скупил мои старые векселя, кто — не знаю; все же на всякий случай следует приготовиться.

У Вокульского прояснилось лицо.

— Будем оплачивать векселя по мере их предъявления. Сегодня разделаемся с этими кредиторами. Значит, им вы должны тысячи две-три?

— Да, да… Однако посудите, как неудачно! Вы выплачиваете мне за полгода пять тысяч… деньги при вас, пан Станислав?

— Разумеется.

— Премного благодарен; однако как неудачно: как раз когда я с Беллой… и с вами собираюсь ехать в Париж, евреи урывают у меня две тысячи! Конечно, в Париж уже ехать не удастся.

— Почему? Я покрою недостачу, и вы смело можете ехать, не трогая процентов.

— Бесценный вы мой! — вскричал пан Томаш, бросаясь ему в объятия. — Видите ли, дорогой, — прибавил он, успокоившись, — я как раз думал: не можете ли вы достать где-нибудь для меня ссуду, чтобы расплатиться с ростовщиками… примерно под семь, шесть процентов?

Вокульского позабавила наивность пана Томаша в финансовых делах.

— Разумеется, — ответил он с невольной улыбкой. — Разумеется, вы получите ссуду. Отдадим этим евреям тысячи три, а вы заплатите процентов… ну, сколько?

— Семь… шесть…

— Хорошо, вы будете выплачивать сто восемьдесят рублей в год, а капитал останется цел.

Пан Томаш опять (в который уже раз!) заморгал веками и прослезился.

— Славный… благородный человек! — воскликнул он, обнимая Вокульского.

— Бог мне послал вас…

— А вы думаете, я могу поступать иначе? — чуть слышно проговорил Вокульский.

В дверь постучали. Вошел Миколай и доложил о приходе докторов.

— Ага! Сестра все-таки прислала этих господ. Боже мой! Никогда в жизни я не лечился, а сейчас… Прошу вас, пан Станислав, пройдите теперь к Белле… Миколай, доложи барышне, что пан Вокульский пришел.

«Вот моя-награда… жизнь моя!» — подумал Вокульский, следуя за Миколаем. В прихожей он столкнулся с докторами; оба оказались его знакомыми, и он горячо просил их повнимательней заняться паном Томашем.

В гостиной его ждала панна Изабелла. Она слегка побледнела, но от этого была еще прекраснее. Вокульский поздоровался с нею и оживленно заговорил:

— Я очень счастлив, что вам понравился венок для Росси.

Он запнулся. Его поразило странное выражение ее лица: панна Изабелла глядела на него с недоумением, словно видела его впервые в жизни.

С минуту оба молчали; наконец панна Изабелла, стряхивая пылинку с серого платья, спросила:

— Ведь это вы, сударь, купили наш дом? — И, прищурив глаза, пристально посмотрела на него.

Вокульский был застигнут врасплох и в первое мгновение растерялся. Он вдруг потерял способность соображать и то бледнел, то краснел, но наконец, овладев собой, глухо произнес:

— Да, я купил.

— Зачем же вы подставили вместо себя еврея?

— Зачем? — повторил Вокульский, глядя на нее с детской робостью. — Зачем? Видите ли, сударыня, я купец… а если б стало известно, что я вкладываю капитал в недвижимость, это могло бы подорвать мой кредит…

— Вы уже давно интересуетесь нашими делами. Кажется, в апреле… да, в апреле вы приобрели наш сервиз? — продолжала она тем же тоном.

Этот тон отрезвил Вокульского. Он поднял голову и сухо ответил:

— Вы можете в любую минуту получить свой сервиз обратно.

Теперь панна Изабелла опустила глаза. Заметив это, Вокульский опять смутился.

— Зачем же вы это сделали? — тихо спросила она. — Зачем вы так… преследуете нас?

Казалось, она сейчас расплачется. Вокульский потерял всякое самообладание.

— Я вас преследую! — сказал он изменившимся голосом. — Да найдете ли вы слугу… нет, пса… преданнее меня? Уже два года я думаю только о том, как бы устранить с вашего пути все препятствия…

В прихожей раздался звонок. Панна Изабелла вздрогнула. Вокульский умолк.

Миколай отворил дверь гостиной и доложил:

— Пан Старский.

На пороге показался мужчина среднего роста, стройный, смуглый, с небольшими бакенбардами, усиками и еле заметной плешью. Лицо его имело выражение веселое и насмешливое. Еще издали он воскликнул:

— Как я рад, кузиночка, что снова вижу вас!

Панна Изабелла молча подала ему руку; яркий румянец залил ее щеки, а глаза исполнились неги.

Вокульский отошел к столику, стоявшему у стены. Панна Изабелла представила их друг другу.

— Пан… Вокульский, пан Старский.

Фамилия Вокульского была произнесена таким тоном, что Старский счел нужным лишь кивнуть ему и, усевшись на некотором расстоянии, повернулся к нему боком. В свою очередь, Вокульский остался у своего столика и принялся разглядывать альбом.

— Я слышала, кузен, вы сейчас из Китая?

— Сейчас из Лондона, но мне все еще кажется, будто я на пароходе, — отвечал Старский, заметно коверкая польскую речь.

Панна Изабелла перешла на английский.

— Надеюсь, на этот раз вы останетесь подольше в наших краях?

— Еще неизвестно, — также по-английски отвечал Старский. — А это что за господин? — спросил он, показав глазами на Вокульского.

— Поверенный моего отца… От чего же это зависит?

— Я думаю, вам, кузина, не следовало бы задавать этого вопроса, — усмехнулся молодой человек. — Это зависит… зависит от щедрости моей бабки.

— Вот мило! Я надеялась услышать комплимент…

— Путешественники не говорят комплиментов, ибо они по опыту знают, что под любой географической широтой комплименты только дискредитируют мужчину в глазах женщины.

— Вы сделали это открытие в Китае?

— В Китае, в Японии и прежде всего в Европе.

— И вы собираетесь применять этот принцип в Польше?

— Попробую и, если позволите, кузина, начну с вас. Ведь нам, кажется, предстоит провести время в деревне. Не правда ли?

— По крайней мере таково желание тетки и папы. Однако мне не очень нравится ваше намерение проверять свои этнографические наблюдения.

— С моей стороны это было бы лишь справедливой местью.

— Значит, война?

— Уплата старых долгов нередко приводит к миру.

Вокульский так внимательно разглядывал альбом, что у него жилы вздулись на лбу.

— Уплата, но не месть, — возразила панна Изабелла.

— Это не месть, а лишь напоминание о том, что я — ваш давний кредитор, кузина.

— Ах, так это я должна платить старые долги? — рассмеялась она. — Да, вы, путешествуя, не теряли времени даром.

— Я предпочел бы не терять его в деревне, — сказал Старский и значительно посмотрел ей в глаза.

— Это будет зависеть от способа мести, — ответила панна Изабелла и опять покраснела.

— Их милость просят пана Вокульского, — сказал Миколай, появляясь в дверях.

Разговор оборвался. Вокульский захлопнул альбом, встал и, поклонившись панне Изабелле и Старскому, медленно пошел за слугой.

— Этот господин не понимает по-английски? Он не обиделся, что мы с ним не разговаривали? — спросил Старский.

— О нет!

— Тем лучше, мне почему-то показалось, что он не очень хорошо себя чуствовал в нашем обществе.

— Вот он и покинул его, — небрежно ответила панна Изабелла.

— Принеси мне из гостиной шляпу, — сказал Миколаю Вокульский, выйдя в соседнюю комнату.

Миколай взял шляпу и отнес ее к хозяину в спальню. В прихожей он услышал, как Вокульский, сжав голову обеими руками, прошептал: «Боже мой!»

Войдя к пану Томашу, Вокульский уже не застал врачей.

— Вообразите только, что за роковое стечение обстоятельств! — воскликнул Ленцкий. — Доктора запретили мне ехать в Париж и под угрозой смерти велели отправляться в деревню. Клянусь честью, не знаю, где укрыться от этой жары. Она и на вас действует, вы переменились в лице… Ужасно душная квартира, правда?

— Да, правда. Разрешите, сударь, отдать вам деньги, — сказал Вокульский, вынимая из кармана толстую пачку.

— Ага… верно…

— Здесь пять тысяч рублей, это проценты до половины января. Будьте добры проверить. А вот расписка.

Ленцкий несколько раз пересчитал кипу новых сторублевок и подписал документ. Затем, отложив перо, сказал:

— Хорошо, это одно дело. А теперь относительно долгов…

— Сумма в две-три тысячи рублей, которые вы должны ростовщикам, сегодня будет уплачена…

— Только уж извините, пан Станислав, я даром не соглашусь… Вы, пожалуйста, аккуратнейшим образом отсчитывайте себе соответствующие проценты…

— От ста двадцати до ста восьмидесяти рублей в год.

— Да, да… — подтвердил пан Томаш. — Ну, а если… а если, допустим, мне понадобится еще некоторая сумма, к кому мне у вас обратиться?

— Вторую половину процентов вы получите в январе.

— Это-то я знаю. Но видите ли, пан Станислав, если б мне вдруг понадобилась некоторая часть моего капитала… Не безвозмездно, конечно… я охотно заплачу проценты…

— Шесть. — подсказал Вокульский.

— Да, шесть… или семь.

— Нет, сударь. Ваш капитал приносит тридцать три процента годовых, так что я не могу одалживать его из семи процентов…

— Хорошо. В таком случае, не лишайте себя моего капитала. Однако… понимаете… вдруг мне потребуется…

— Изъять свой капитал вы сможете хоть в середине января следующего года.

— Боже упаси! Я не стану его у вас забирать и через десять лет…

— Но я взял ваш капитал только на год…

— Как это? Почему? — удивился пан Томаш, все шире раскрывая глаза.

— Я не знаю, что будет через год. Не каждый год случаются такие выгодные дела.

Пан Томаш был неприятно поражен; с минуту он помолчал.

— A propos, — снова заговорил он. — Что за слухи ходят по городу, будто это вы купили мой дом?

— Да, сударь, я купил ваш дом. Но через полгода я готов его уступить вам на выгодных условиях.

Ленцкий почуствовал, что краснеет. Однако, не желая признавать себя побежденным, спросил барственным тоном:

— А сколько вы захотите отступного, пан Вокульский?

— Нисколько. Я отдам вам его за девяносто тысяч, и даже… может быть, дешевле.

Пан Томаш отшатнулся, развел руками и упал в свое глубокое кресло; из глаз его снова выкатилось несколько слезинок.

— Право, пан Станислав, — проговорил он, всхлипывая, — я вижу, что деньги могут испортить… самые лучшие отношения… Разве я в претензии на вас за то, что вы купили мой дом? Разве я упрекаю вас? А вы говорите со мною так, словно обиделись.

— Простите, сударь, — прервал Вокульский. — Но я действительно немного раздражен… наверное, от жары…

— Ах, наверное! — воскликнул пан Томаш, вставая и крепко пожимая ему руку. — Итак… простим друг другу резкие слова… Я не сержусь на вас, потому что по себе знаю, как действует жара…

Вокульский попрощался с ним и вышел в гостиную. Старского уже не было, панна Изабелла сидела одна. Увидев его, она встала; лицо ее на этот раз было приветливее.

— Вы уходите?

— Да, и хотел проститься с вами.

— А вы не забудете про Росси? — спросила она со слабой улыбкой.

— О нет. Я попрошу, чтобы ему передали венок.

— Разве вы не сами вручите его? Почему же?

— Сегодня ночью я уезжаю в Париж, — ответил Вокульский и, поклонившись, вышел.

Панна Изабелла с минуту стояла в недоумении, потом бросилась к отцу.

— Что это значит, папа? Вокульский со мною простился очень холодно и сказал, что сегодня ночью уезжает в Париж…

— Что? что? что? — вскричал пан Томаш, хватаясь обеими руками за голову. — Он, наверное, обиделся.

— Ах, правда… Я упомянула о покупке нашего дома…

— Иисусе! Что ты наделала? Ну… все пропало! Теперь я понимаю… Конечно, он обиделся… Однако, — подумав, прибавил Ленцкий, — кто же мог предположить, что он так обидчив? Скажите на милость — купец, а так обидчив!

### Глава двадцатая. Дневник старого приказчика

«Уехал-таки! И как?! Пан Станислав Вокульский, великий организатор Торгово-транспортного общества, достоуважаемый глава фирмы с четырехмиллионным годовым оборотом, взял да и поехал в Париж, словно ямщик куда-нибудь в пригород. Только накануне он говорил (мне самому!), что еще не знает, когда поедет, а на следующий день — трах-тарарах! — его и след простыл.

С шиком пообедал у достопочтенных господ Ленцких, выпил кофейку, поковырял в зубах — и был таков. Еще бы! Пан Вокульский — это вам не какой-нибудь приказчик, который должен выпрашивать у хозяина отпуск раз в несколько лет. Пан Вокульский — капиталист, у него шестьдесят тысяч годового дохода, он на короткой ноге с графами и князьями, стреляется с баронами и ездит куда и когда ему вздумается. А вы, наемные служаки, корпите себе над работой, за то вам и жалование платят и дивиденды.

И это, по-вашему, купец? Нет, купцу этакая блажь не пристала!

Ну, я понимаю, можно и в Париж махнуть и даже по-шальному махнуть, да не в такое время. Тут, знаете ли, Берлинский конгресс заварил кашу, тут вон Англия зубы точит на Кипр, Австрия — на Боснию, а Италия вопит: «Подавайте нам Триест, не то худо будет!» В Боснии-то, слыхать, уже кровь льется ручьем, тут и думать нечего — осенью (дайте только управиться с жатвой!) непременно вспыхнет война… А он как ни в чем не бывало — фьюить — и в Париж.

Стоп! А зачем он так спешно отправился в Париж? На выставку? Очень ему нужна эта выставка! Может быть, по сузинскому делу? Любопытно мне знать, на каких это делах можно заработать пятьдесят тысяч — вот так, в два счета? Они мне заговаривают зубы какими-то новыми машинами, не то нефтяными, не то железнодорожными, не то для сахарных заводов… А может, ангелочки мои, поехали вы не за этими необыкновенными машинами, а за самыми обыкновенными пушками?.. Франция, того и гляди, сцепится с Германией… Молодой Наполеон, говорят, обретается в Англии, да ведь от Лондона до Парижа ближе, чем от Варшавы до Замостья!

Эй, пан Игнаций, погоди судить пана В. (в таких случаях лучше не называть фамилию полностью), не хули его раньше времени, а то как бы не попасть тебе впросак. Тут готовится нечто важное и тайное: и этот пан Ленцкий, некогда бывавший у Наполеона III и этот якобы актер Росси, итальянец (а Италия вдруг потребовала Триест)… и этот обед у Ленцких перед самым отъездом, и приобретение дома…

Панна Ленцкая — красавица, спору нет, но ведь она всего только женщина, и не стал бы Стах ради нее совершать такие безумства… Тут дело смахивает на п… (в таких случаях благоразумнее всего употреблять сокращения). Тут дело смахивает на серьезную п…

Уже две недели как бедный малый уехал, и, может быть, навсегда… Письма пишет короткие и сухие, о себе ни слова, а меня такая тоска берет, что иной раз, ей-богу, места себе не нахожу. (Ну, положим, не по нему, а так, просто по привычке.)

Помню, как он уезжал. Магазин уже заперли, и я как раз за этим вот столиком пил чай (мой Ир до сих пор прихварывает). Вдруг в комнату вбегает лакей Стаха.

— Барин просит вас! — крикнул и убежал.

(Ну и распущенный шельмец, ну и бездельник! Надо было видеть, как он стал на пороге и объявил: «Барин просит!..» Скотина!)

Хотел было я его отчитать: знай, мол, болван, твой барин для тебя только барин, да его уж и след простыл.

Я поскорее допил чай, налил Иру молока в миску и пошел к Стаху. Смотрю — в подворотне лакей его заигрывает сразу с тремя девками, все три поперек себя шире. Ну, думаю, этакий лоботряс и с четырьмя бы управился, хотя… (В женщинах сам черт не разберется. Взять, к примеру, пани Ядвигу: худенькая, маленькая, этакое эфирное создание, а уже третьего мужа вогнала в чахотку.)

Поднимаюсь наверх. Двери в квартиру открыты, горит лампа, а Стах самолично укладывает чемодан. У меня сердце екнуло.

— Что это значит? — спрашиваю.

— Еду сегодня в Париж.

— Вчера ты говорил, что еще не скоро поедешь!

— Ах, вчера…

Он отошел от чемодана, подумал минутку и прибавил каким-то особенным тоном:

— Вчера… вчера я еще верил…

Слова эти неприятно озадачили меня. Посмотрел я на Стаха внимательнее — и поразился. Никогда я не думал, что человек как будто здоровый, и, во всяком случае, не раненый, за несколько часов может так измениться. Глаза ввалились, лицо бледное, странное…

— Почему же у тебя так внезапно изменились планы? — спросил я, чуствуя, что спрашиваю совсем не о том, что хотел бы узнать.

— Милый мой, — ответил он, разве ты не знаешь, что иногда одно слово меняет не только планы, но и самих людей… А что уж говорить о целом разговоре, — чуть слышно прибавил он.

Он продолжал укладываться и, собирая вещи, вышел в гостиную. Прошла минута — нет его, две — все нет… Заглянул я в раскрытую дверь, а он стоит, опершись на стул, и неподвижно смотрит в окно…

— Стах…

Он очнулся:

— Чего тебе?

И опять принялся укладывать вещи.

— Что-то с тобой неладно.

— Ничего.

— Я уже давно не видел тебя в таком состоянии.

Он усмехнулся.

— Наверное, с тех пор, как зубной врач неудачно вырвал мне зуб, к тому же здоровый…

— Мне что-то не нравятся твои сборы. Ты ничего не хочешь мне сказать?

— Сказать? Ах да… В банке у нас лежит тысяч сто двадцать, так что денег вам хватит… Потом… что же еще? — спросил он сам себя. — Ага! Можешь уже не скрывать, что я купил дом Ленцких. Напротив, пойди туда и назначь всем квартирную плату на прежних условиях. Пани Кшешовской не мешает повысить

рублей на пятнадцать, пусть позлится; но бедняков не притесняй… Там живет какой-то сапожник, студенты, — бери с них, сколько дадут, лишь бы аккуратно платили.

Он взглянул на часы и, увидев, что время еще есть, растянулся на кушетке и замолчал, закинув руки за голову и закрыв глаза. Видеть его в таком состоянии было в высшей степени грустно.

Я присел у него в ногах и спросил:

— У тебя что-то случилось, Стах? Скажи, что с тобой? Я заранее знаю, что не смогу помочь, но, видишь ли… огорчение — это как отрава: лучше его выплюнуть…

Стасек опять улыбнулся (как я не люблю эту его улыбочку) и, помедлив, ответил:

— Помню, однажды (давно это было) сидел я в избе с каким-то субъектом, и что-то он необычайно разоткровенничался. Плел всякие небылицы о своей семье, о своих связях и подвигах, а потом весьма внимательно выслушал мою повесть. Ну, и хорошо ее использовал…

— Что ты хочешь сказать?

— Только то, старина, что поскольку я никаких признаний из тебя вытягивать не собираюсь, то и сам не намерен их делать.

— Что? — воскликнул я. — Вот как ты понимаешь дружескую откровенность?

— Полно, — ответил он, вставая. — Это, может, и милая вещь, но только для институток. Впрочем, мне не в чем изливаться, даже перед тобою. Как мне все надоело! — пробормотал он, потягиваясь.

Тут наконец явился этот дармоед-лакей; он взял чемодан Стаха и сообщил, что лошади поданы. Сели мы в экипаж, Стах и я, но до вокзала не обменялись ни словом. Он глядел на звезды и посвистывал сквозь зубы, а мне казалось, что я еду — на похороны…

На вокзале нас встретил доктор Шуман.

— Ты едешь в Париж? — спросил он.

— А ты откуда знаешь?

— О, я все знаю. Даже то, что этим же поездом едет пан Старский.

Стах вздрогнул.

— Что это за человек? — спросил он доктора.

— Бездельник, банкрот… как, впрочем, все они, — отвечал Шуман. — Ну, и… бывший соискатель руки…

— Это мне безразлично…

Шуман ничего не ответил, только исподлобья взглянул на него.

Раздались звонки и свистки. Пассажиры бросились к вагонам. Стах пожал нам руки.

— Когда ты вернешься? — спросил доктор.

— Хотел бы… Надеюсь, никогда, — ответил Стах и сел в пустое купе первого класса.

Поезд тронулся. Доктор молча смотрел на удалявшиеся огни, а я… чуть не расплакался…

Дежурные стали запирать вход на перрон, и я уговорил доктора прогуляться по Иерусалимской Аллее. Ночь была теплая, небо чистое; не припомню, когда я видел столько звезд на небе. Стах как-то рассказывал мне, что в Болгарии часто смотрел на звезды, поэтому (смейтесь, смейтесь!) я теперь решил каждый вечер поглядывать на небо… (Может, и вправду наши взоры и мысли встретятся на одной из этих мерцающих точек и Стах не будет чувствовать себя таким одиноким?)

Вдруг (сам не знаю почему) во мне зародилось подозрение, что неожиданный отъезд Стаха связан с политикой. Я решил порасспросить Шумана и, применяя обходный маневр, сказал:

— Что-то мне кажется, будто Вокульский… того, немножко влюблен.

Доктор остановился посреди тротуара и, крепко уперевшись в землю тростью, присел на нее и так расхохотался, что прохожие, к счастью немногочисленные, стали на нас оглядываться.

— Ха-ха-ха! Вы только сегодня сделали это сногсшибательное открытие? Ха-ха-ха! Уморительный старик!

Острота была низкого сорта. Однако я прикусил язык и только сказал:

— Сделать это открытие было нетрудно даже людям… с меньшей сноровкой, чем у меня (кажется, я его таки поддел!). Но я, пан Шуман, люблю в своих предположениях быть осмотрительным. К тому же мне казалось маловероятным, чтобы человек выкидывал подобные глупости из-за столь заурядного явления, как любовь.

— Ошибаетесь, старина, — возразил доктор, махнув рукой. — Любовь — явление заурядное с точки зрения природы, а если угодно, и господа бога. Но ваша дурацкая цивилизация, основанная на римских воззрениях, давно уже отмерших и похороненных, на интересах папства, на трубадурах, на аскетизме, кастах и тому подобных бреднях, превратила естественное чувство… знаете во что? В нервное заболевание! Ваша так называемая любовь, любовь рыцарско-церковно-романтическая, — это поистине гнусный промысел, основанный на обмане, который вполне справедливо карается пожизненной каторгой, именуемой браком. Но горе тому, кто приносит на это торжище свое сердце… Сколько эта любовь поглощает времени, усилий, способностей — и даже жизней! Я это хорошо знаю, — продолжал доктор, задыхаясь от гнева. — Правда, сам я еврей и

до конца своих дней останусь евреем, но воспитывался я среди вас и даже обручился с христианкой. Ну, и нам так старательно помогали при осуществлении наших планов, так нежно опекали нас во имя религии, морали, традиции и невесть чего еще, что она умерла, а я пытался отравиться. Это я-то, такой умный, такой лысый!

Он снова остановился посреди улицы.

— Поверьте мне, пан Игнаций, — говорил он охрипшим голосом, — даже среди зверей не сыскать такой подлой твари, как человек. В мире природы самец всегда сходился с самкой, которая ему нравится и которой он нравится. Почему-то среди животных нет идиотов. А у нас! Я еврей — значит, мне нельзя любить христианку… Он купец — значит, не вправе посягать на аристократку… А вы, человек небогатый, вообще не имеете права на какую бы то ни было женщину… Величайшая подлость эта ваша цивилизация. Я с радостью провалился бы в тартарары хоть сию минуту, лишь бы вместе с ней…

Мы шли по направлению к заставе. Поднялся сырой ветер и подул нам прямо в лицо; на западе начали собираться тучи и закрыли звезды. Все реже попадались фонари. Время от времени, громыхая, проезжала телега, обдавая нас густой пылью; запоздалые прохожие спешили домой.

«Будет дождь… Стах уже подъезжает к Гродиску», — подумал я.

Доктор нахлобучил шляпу и шел молча, видимо в сильном раздражении. У меня на душе кошки скребли, может быть потому, что вокруг становилось все темнее. Я бы никому не признался в этом, но мне самому не раз приходило в голову, что Стах… в самом деле уже охладел к политике и вконец запутался в бабьей юбке. Я, кажется, намекнул ему на это позавчера, и его ответ не рассеял моих подозрений.

— Возможно ли, — заговорил я опять, — чтобы Вокульский совершенно забыл о делах общественных, о политике, о Европе…

— Главное, о Португалии, — насмешливо ввернул доктор.

Его цинизм возмутил меня.

— Вам бы только издеваться! Однако вы не станете отрицать, что Вокульский достоин лучшей участи, нежели быть неудачливым поклонником панны Ленцкой! Когда-то он был настоящим общественным деятелем… а не жалким воздыхателем…

— Вы правы, — подтвердил доктор. — Ну, и что же? Паровоз — не кофейная мельница, а могучая машина, но стоит заржаветь в ней колесику, и она превратится в предмет бесполезный и даже опасный. Видимо, и в Вокульском есть какое-то ущербное колесико…

Ветер дул все сильнее; глаза мне засыпало песком.

— И почему именно на него обрушилось такое несчастье? — спросил я (однако небрежным тоном, чтобы Шуман не подумал, будто я хочу что-то у него выпытать).

— Причиной тому и натура Стаха и условия, созданные цивилизованным обществом.

— Натура? Он никогда не был влюбчив.

— Именно это его и погубило. Если тысячи центнеров снега упадут на землю хлопьями, они только прикроют ее, не повредив и былинки; но сто центнеров снега, сбившегося в лавину, сметают жилища и погребают людей. Если бы Вокульский часто влюблялся, каждую неделю меняя предмет страсти, он был бы свеж, как розанчик, управлял бы своим рассудком и мог бы сделать много хорошего в жизни. Но он, как скупец, копил чувства в своем сердце — и вот результат этой бережливости… Любовь хороша, когда она подобна легкой бабочке; но когда, после долгого сна, она просыпается в душе человека, словно тигр, — спасибо за удовольствие! Одно дело человек с хорошим аппетитом и совсем другое — смертельно голодный человек.

Тучи все сгущались; мы повернули назад почти у самой заставы. Я подумал, что Стах, наверное, уже подъезжает к Руде Гузовской.

А доктор продолжал разглагольствовать, все более горячась и все яростнее размахивая тростью:

— Существует гигиена одежды и жилища, гигиена пищи и труда; низшие классы не соблюдают ее, потому среди них такая высокая смертность, недолгая жизнь и физическое вырождение. Но существует также и гигиена любви, и ее-то не только не соблюдают, но прямо-таки насилуют интеллигентные классы, в чем и заключается одна из глубочайших причин их упадка. Естество вопит: «Ешь, когда хочется!» А наперекор ему тысячи условностей хватают тебя за полу и, в свою очередь, вопят: «Нельзя!.. Будешь есть, когда мы позволим, когда ты выполнишь такие-то и такие-то требования морали, традиции, моды…» Нужно признать, что в этом смысле наиболее отсталые государства ушли дальше самых прогрессивных государств, — я имею в виду их интеллигентные классы.

И заметьте, пан Игнаций, в каком согласии действуют детская и гостиная, поэзия, роман и драма, чтобы сбить людей с толку. Вам велят искать идеал и самому быть идеальным аскетом, не только исполнять установленные, но и новые искусственные ограничения. И что же получается? Мужчина, обычно менее выдрессированный по части всей этой, с позволения сказать морали, становится добычей женщины, которую только в этом направлении и дрессируют. Таким образом, цивилизацией и в самом деле управляют женщины!

— А что в этом плохого?

— Ко всем чертям! — заорал доктор. — Неужели вы не заметили, что если, с точки зрения духовного развития, мужчину можно сравнить с мухой, то женщина еще ничтожнее мухи, ибо она даже лишена лапок и крыльев. Воспитание, традиция, а возможно, и наследственность, которые якобы направлены на то, чтобы сделать женщину высшим существом, на деле превращают ее в настоящего урода. И это-то праздное чудище с исковерканными ступнями,

затянутым торсом и птичьим мозгом призвано воспитывать новые поколения людей! Что же оно может им привить? Учат ли детей зарабатывать на жизнь? Нет, их учат обращаться с вилкой и ножом. Учат ли их знанию людей, среди которых им придется жить? Нет, их учат нравиться, соответствующим образом кривляясь и кланяясь. Учат ли их понимать явления реальной жизни, от которой зависит наше счастье или несчастье? Нет, их учат закрывать глаза на факты и мечтать об идеалах. Наша мягкотелость, непрактичность, лень, раболепие и страшные путы глупости, с давних времен гнетущие человечество, — все это результаты педагогической системы, созданной женщинами. А наши женщины, в свою очередь, являются плодом клерикально-феодально-поэтической теории любви, попирающей гигиену и здравый смысл!

В голове у меня гудело от умозаключений доктора, а он между тем метался по улице как одержимый. К счастью, блеснула молния, упали первые капли дождя и мигом охладили запальчивого оратора; он вскочил в подвернувшуюся пролетку и приказал везти себя домой.

Стах был, наверное, уже около Рогова. Почуствовал ли он, что мы о нем говорили? И что он, бедняга, испытывал, когда одна гроза бушевала над его головой, а другая, может быть, еще более страшная, в сердце?

Фу! Ну и ливень, ну и громовая канонада! Ир, свернувшись в клубок, глухо ворчит сквозь сон при каждом ударе, а я ложусь спать и прикрываюсь одной простыней. Жаркая ночь. Господи, помилуй и спаси тех, кто в такую ночь бежит от своей беды в чужие края.

Нередко достаточно пустяка, чтобы вещи, старые, как смертный грех, вдруг предстали перед вами совсем в ином свете.

Я, например, с детства знаю Старе Място и всегда его находил тесным и грязным. Но когда мне показали как достопримечательность рисунок одного дома (и не где-нибудь, а в «Иллюстрированном еженедельнике», да еще с описанием!), я вдруг увидел, что Старе Място прекрасно… С того времени я хожу туда каждую неделю, открываю все новые и новые достопримечательности и удивляюсь, почему я раньше не обращал на них внимания.

То же и с Вокульским. Я знаю его лет двадцать и всегда считал его прирожденным политиком. Голову бы дал на отсечение, что Стах не интересуется ничем, кроме политики. Только дуэль и овации в честь Росси заставили меня призадуматься — уж не влюблен ли мой Стах? А сейчас я в этом не сомневаюсь, особенно после беседы с Шуманом.

Что за важность, ведь и политик может влюбляться. К примеру, Наполеон I влюблялся направо и налево и все же потрясал Европу. Наполеон III также имел немало любовниц, да и сын, говорят, идет по стопам отца и уже выискал себе какую-то англичанку.

Итак, если слабость к женскому полу не компрометирует Бонапартов, то почему она должна умалять достоинства Стаха?

Я как раз размышлял над этим вопросом, когда произошло незначительное событие, которое напомнило мне давнопрошедшие времена и представило Стаха в новом свете. Ох, не политик он, а нечто совсем иное, — не могу даже хорошенько разобраться, что именно.

Иногда он кажется мне жертвой общественной несправедливости… Но ш-ш-ш, ни слова более! Раз и навсегда: общество не может быть несправедливым… Стоит только людям усомниться в этом, как тотчас начнется бог весть какой ералаш. И тогда, чего доброго, никто не станет заниматься политикой, а все начнут сводить счеты со своими ближними. Итак, лучше уж не затрагивать этого вопроса. (Как много я болтаю на старости лет, и все попусту.)

Однажды вечером сижу у себя и попиваю чаек (Ир тогда тоже был что-то не в себе), вдруг открывается дверь, и кто-то входит. Смотрю, тучная фигура, одутловатое лицо, красный нос, седой чуб. Потянул носом — в комнате запахло не то вином, не то плесенью.

«Ну, думаю, гость-то мой либо покойник, либо винодел. Ни от кого другого так пахнуть не может».

— Что за черт! — удивляется гость. — Неужто ты так возгордился, что и друзей не узнаешь?

Протираю глаза: да ведь это Махальский, собственной персоной, бывший дегустатор Гопфера! Мы с ним вместе были в Венгрии, потом здесь, в Варшаве. Последний раз виделись пятнадцать лет назад, перед его отъездом в Галицию, где он продолжал работать по винному делу.

Разумеется, мы обнялись как братья и поцеловались не раз, не два, а целых три раза…

— Когда ты приехал? — спрашиваю.

— Сегодня утром, — говорит он.

— А где же ты был до сих пор?

— Остановился я в «Деканке», но так мне там показалось скучно, что, не мешкая, я отправился к Лесишу в погребок… Ну, знаешь, вот это погребок! Помирать не захочешь!

— Что ж ты там делал?

— Немного старику помогал, а больше так сидел. Дурак я, что ли, шататься по городу, когда под боком такой погребок!

Вот настоящий винодел старого закала. Не то что нынешние франты, — им бы только по танцулькам таскаться, нет того, чтобы пристойно посидеть в погребке. Да и в погребок они в лаковых ботинках… Нет, погибнет Польша при таких никудышных купцах!

Тары-бары — так мы с ним просидели до часу ночи. Махальский остался у меня ночевать, а в шесть утра опять понесло его к Лесишу.

— А вечером что ты делаешь? — спросил я.

— Вечером загляну к Фукеру, а на ночь опять к тебе.

Он пробыл в Варшаве с неделю. Ночевал у меня, а дни проводил в погребках.

— Я бы повесился, приведись мне целую неделю шататься по вашим улицам,

— говорил он. — Толчея, пылища, жара! Так только свиньи могут жить, а не люди.

По-моему, он преувеличивает. Мне, правда, тоже приятнее сидеть в магазине, чем разгуливать по Краковскому предместью, но ведь магазин — не погребок. Чудаковат стал малый — кроме своих бочек, ничего не видит!

Конечно, толковали мы с Махальским все больше о былых временах да о Стахе. И встала перед моими глазами история его молодых лет, словно все это только вчера было.

Помню (в 1857, а может, и в 1858 году), зашел я однажды к Гопферу, Махальский тогда служил у него.

— Где пан Ян? — спрашиваю я мальчишку.

— В подвале.

Спускаюсь в подвал. Смотрю, мой Ян при свете сальной свечи с помощью ливера разливает вино из бочки по бутылкам, а в нише поодаль маячат две какие-то тени: седой старик в песочном сюртуке со свертком бумаг на коленях и паренек, остриженный ежиком, с разбойничьей физиономией. Это и был Стах Вокульский с отцом.

Я тихонько уселся (Махальский не любил, когда ему мешали при розливе) и слушал, как седой человек в песочном сюртуке монотонным голосом поучал юношу:

— Где это видано — тратить деньги на книжки! Ты их мне отдавай; сам знаешь: стоит мне бросить тяжбу — все пропало. Не книжки спасут тебя от унижения, в коем ты сейчас пребываешь, а только благополучный исход нашего процесса. Дай срок, выиграем мы в суде, получим дедово поместье, а тогда люди вспомнят, что Вокульские — старинные дворяне, да, пожалуй, и родня объявится… В прошлом месяце ты потратил двадцать злотых на книжки, а мне их-то как раз и не хватило на адвоката… Тебе бы все только книжки! Да будь ты хоть семи пядей во лбу — пока ты служишь в магазине, всякий будет тобой помыкать, даром что ты дворянин, а дед твой по матери был каштеляном. А вот как выиграю я тяжбу да уедем мы в деревню…

— Пойдемте, папаша, — пробормотал парень, исподлобья взглянув на меня.

Старик, как послушный ребенок, тотчас завернул свои бумаги в кумачовый платок и вышел с сыном, которому пришлось поддержать его на ступеньках.

— Это что за чудила? — спросил я Махальского, который как раз окончил работу и присел на табурет.

— Эх! — махнул он рукой. — У старика в голове не все ладно, а вот парень смышленый. Зовут его Станислав Вокульский. Сообразительный, дьявол!

— Чем же он отличился?

Махальский пальцами снял нагар со свечи, нацедил мне стаканчик вина и продолжал:

— Он тут у нас уже четыре года. Насчет магазина или подвала — это он не очень… Зато механик!.. Смастерил такую машину, что накачивает воду снизу вверх, а сверху льет ее на колесо, которое вертится и, в свою очередь, приводит в движение насос. Этакая машина, братец мой, может работать до скончания веков; только что-то в ней там погнулось, и работала она всего четверть часа. Гопферы поставили ее в ресторане — на приманку посетителям, но вот уже с полгода, как она разладилась совсем.

— Вот молодец! — сказал я.

— Ну, пока-то особенно нечем хвастаться, — возразил Махальский. — Заходил к нам учитель из реального училища, посмотрел насос и сказал, что он никуда не годится; а все-таки парень способный, и надо бы ему учиться. Что с тех пор у нас делается, не приведи господь! Вокульский загордился, посетителям отвечает сквозь зубы, днем клюет носом, а ночи напролет учится и все покупает книги. А папаша на эти деньги предпочитает тяжбу вести за какое-то дедовское поместье… Да ты сам слышал, что он говорил.

— Как же он думает насчет ученья?

— Говорит, поеду в Киев, в университет. Что же, пусть едет, может хоть один слуга выбьется в люди. Я ему не препятствую: когда он при мне, не неволю его, пусть читает, но наверху его донимают и приказчики и посетители.

— А Гопфер что?

— Да ничего, — продолжал Махальский, вставляя новую свечу в железный подсвечник с ручкой. — Гопфер боится его отпугнуть: дочка-то его, Кася, заглядывается на Вокульского, а парень — как знать! — может, и правда еще получит дедовское поместье.

— А он тоже неравнодушен к Касе?

— И не смотрит на нее, этакий дикарь!

Я тут же подумал, что из парня с такой светлой головой, который покупает книжки и не думает о девчонках, мог бы выйти толковый политик; в тот же день я познакомился со Стахом, и с тех пор мы неплохо ладим друг с другом.

Стах пробыл у Гопфера еще года три и за это время завел знакомства со студентами и молодыми чиновниками, которые наперебой снабжали его книжками, чтобы он мог сдать экзамены в университет.

Среди этой молодежи выделялся некий пан Леон, совсем еще мальчик (ему и двадцати лет не было); красив он был чрезвычайно, а уж умен!.. а горяч!.. Он, так сказать, помогал мне просвещать Вокульского в политике: если я рассказывал о Наполеоне и о высоком предназначении Бонапартов, то Леон говорил о Мадзини, Гарибальди и тому подобных знаменитостях. А как он умел воодушевлять людей!

— Трудись, — не раз говаривал он Стаху, — и верь, ибо сильная вера может остановить солнце, не то что исправить человеческие взаимоотношения.

— А может она определить меня в университет? — спросил Стах.

— Я убежден, — воскликнул Леон, и глаза его загорелись, — что если б ты хоть на минуту проникся той верой, которая вдохновляла первых апостолов, то сегодня же попал бы в университет!

— Или в сумасшедший дом, — усмехнулся Вокульский.

Леон забегал по комнате, размахивая руками.

— Что за ледяные сердца! Что за равнодушие! Что за пошлость кругом, — восклицал он, — если даже такой человек, как ты, полон неверия. Подумай, как много ты уже сделал за такой короткий срок: ты уже столько знаешь, что впору хоть сегодня сдавать экзамен…

— Ну, что уж я совершу! — вздохнул Стах.

— Один ты — немного, но десятки, сотни таких, как ты, я… знаешь ли, что мы можем совершить?

Тут голос Леона сорвался, его душили спазмы; мы едва его успокоили.

В другой раз Леон упрекал нас в недостатке самоотречения.

— Да знаете ли вы, — взывал он, — что Христос один спас все человечество силою своего самоотречения? Насколько же лучше был бы мир, если бы постоянно рождались люди, готовые жертвовать собой!

— Не прикажешь ли мне жертвовать жизнью ради посетителей ресторана, которые шпыняют меня, как собаку, или ради приказчиков и мальчишек, которые насмехаются надо мной? — спросил Вокульский.

— Не увиливай! — крикнул Леон. — Христос погиб и ради своих палачей… Но в вас нет силы духа. Растлен дух в вас! Послушай же, что говорит Тиртей:

О Спарта, сгинь, пока твое величье —
Гроб прадедов — не стерт Мессиной в тлен,
И грызть святые кости псов не кличут,
И предков тень не угнана от стен.
А ты, народ, пока еще не в путах,
Мечи отцов сломай и кинь во прах.
Пусть не узнает мир, что в ту минуту
Был меч при вас, но сердцем ведал страх. [31]

— Вашими сердцами ведает страх! — повторил Леон.

Стах не очень-то легко поддавался теориям Леона, но юноша этот обладал даром убеждения прямо демосфеновским.

Помню, однажды вечером собралось нас много, молодых и старых, и все мы прослезились, слушая, как Леон рассказывает о будущем, лучшем устройстве мира, при котором исчезнут глупость, нищета и несправедливость.

— Тогда, — вдохновенно говорил он, — не будет больше различий между людьми. Дворянин и мещанин, мужик и еврей — все будут братья…

— А приказчики? — отозвался из угла Вокульский.

Но это замечание не обескуражило Леона. Он вдруг обернулся к Вокульскому, перечислил все неприятности и препятствия, мешавшие ему заниматься наукой, и закончил следующим образом:

— И вот, чтобы ты поверил, что ты ровня нам и что мы по-братски любим тебя, чтобы утих в твоем сердце гнев против нас, я… становлюсь перед тобой на колени и от имени человечества молю о прощении за все обиды.

Он действительно стал на колени перед Стахом и поцеловал ему руку. Тут все расчуствовались еще пуще, стали качать Стаха и Леона и поклялись, что за таких людей каждый из них готов отдать жизнь.

Сейчас, когда я вспоминаю те времена, мне кажется, что все это был сон. Правда, ни прежде, ни потом не встречал я такого восторженного идеалиста, как Леон.

В начале 1861 года Стах ушел от Гопфера. Он поселился у меня (в той самой комнатушке с зарешеченным окном и зелеными занавесками), бросил торговлю и стал посещать университет в качестве вольнослушателя.

Странным вышло его прощанье с магазином: я хорошо запомнил все, потому что сам зашел за ним. Он расцеловался с Гопфером, потом спустился на минутку в подвал проститься с Махальским, но немного задержался там. Сидя в столовой, я услышал какой-то шум, смех служащих и посетителей, но я не подозревал о подвохе, который они подстроили Стаху.

Вдруг вижу (ход в погреб был тут же, в помещении ресторана), как из люка высовываются две красные руки, хватаются за края, и вслед за ними показывается голова Стаха и исчезает — раз и еще раз. Посетители и прислуга покатились со смеху.

— Ага! — закричал один из завсегдатаев. — Что, трудно без лестницы выкарабкаться из погреба? А тебе захотелось из магазина да — прыг — прямо в университет! Ну и вылезай, раз ты такой умный…

Стах опять выставил руки, опять вцепился в края люка и, натужившись, высунулся до половины. Я думал, у него кровь брызнет из щек.

— Ишь как карабкается… Славно карабкается, право! — воскликнул другой посетитель.

Стах закинул ногу на пол и в следующую секунду был уже наверху. Он не рассердился, однако же и никому из сослуживцев не подал руки, просто взял свой узелок и пошел к дверям.

— Что ж ты не прощаешься, пан доктор? — кричали ему вслед завсегдатаи Гопфера.

Мы молча шли по улице. Стах кусал губы, а мне уже тогда пришло в голову, что то, как Стах карабкался из подвала, — символ всей его жизни, которая прошла в попытках вырваться из магазина Гопфера в широкий мир.

Знаменательный случай! Ибо Стах и по нынешний день продолжает карабкаться вверх. И бог знает, сколько полезного для нашей страны мог бы совершить такой человек, если б на каждом шагу у него не выхватывали лестницу из-под ног и ему не приходилось бы тратить столько времени и сил, чтобы подняться на следующую ступень.

Перебравшись ко мне, он принялся работать дни и ночи напролет; иной раз меня даже зло брало. Вставал он около шести и сразу принимался за книги. К десяти бежал на лекции, потом снова читал. После четырех ходил по урокам (большей частью в еврейские дома, куда его рекомендовал Шуман) и, вернувшись, опять читал, читал, далеко за полночь, пока его не сваливал сон.

Уроки давали ему немалый заработок, и он мог бы жить безбедно, если бы время от времени его не навешал отец, который нисколько не изменился, разве только в том, что сюртук носил не песочного, а табачного цвета и бумаги свои заворачивал в синий платок. В остальном он остался таким же, каким я видел его в первый раз. Он подсаживался к сыну, раскладывал на коленях бумаги и говорил тихим, монотонным голосом:

— Все книжки да книжки! Ты выбрасываешь деньги на ученье, а мне не хватает на тяжбу. Хоть два университета окончи — не выбиться тебе из унижения, пока мы не получим дедовского поместья. Только тогда люди признают, что ты дворянин не хуже других… Тогда и родня объявится…

Все свободное от занятий время Стах посвящал опытам с воздушными шарами. Он достал большую бутыль и приготовил в ней с помощью купороса какой-то газ (не помню уж, как он назывался); газом этим он наполнял воздушный шар — правда, не очень большой, но весьма искусно сделанный. Под шаром уместил машинку с маленьким ветряным двигателем… Так и летало это сооружение под потолком, пока не портилось, стукнувшись о стенку. Тогда Стах клал заплатку на свой шар, чинил машинку, наполнял бутыль разными гадостями и снова делал свои опыты — и так без конца. Однажды бутыль разорвало, а купоросом ему едва не выжгло глаза. Но до того ли было Стаху, раз он решил, хотя бы с помощью воздушного шара, «выбиться» из незавидного своего положения!

С того времени как Вокульский поселился со мной, в магазине у нас появилась новая покупательница — Кася Гопфер. Не знаю, что ей так нравилось у нас: моя ли борода или туша Яна Минцеля? Надо сказать, что близ ее дома было по

крайней мере десятка два галантерейных магазинов, однако она предпочитала наш и приходила к нам по нескольку раз в неделю.

«Дайте мне штопку, или дайте катушку шелку, или иголок на десять грошей…» За такой мелочью она бегала за версту, в дождь и в ведро, а покупая на несколько грошей булавок, по получасу просиживала в магазине и разговаривала со мной.

— Почему вы никогда не придете к нам с… паном Станиславом? — спрашивала она, краснея. — Папаша… и все мы так вас любим…

Сначала меня удивляла столь неожиданная любовь старого Гопфера, и я доказывал Касе, что слишком мало знаком с ее отцом, чтобы явиться к нему с визитом. Но она твердила свое:

— Видно, пан Станислав рассердился на нас, только я уж и не знаю за что. И папаша… и все мы так к нему расположены. Право же, пану Станиславу не на что бы обижаться… Пан Станислав…

И так, говоря о пане Станиславе, она покупала шелк вместо штопки или иголки вместо ножниц.

А хуже всего то, что бедняжка таяла на глазах. Всякий раз, когда она приходила к нам купить какой-нибудь пустяк, мне казалось, что она выглядит немножко лучше. Но едва сбегал с ее лица румянец первого смущения, я убеждался, что она становится все бледнее, а глаза ее западают все глубже и глядят все грустнее.

А как она допытывалась: «Пан Станислав никогда не заходит в магазин?» Как смотрела на дверь, ведущую в сени, к моей комнатушке, где в нескольких шагах от нее Вокульский корпел над книгами, не догадываясь, что о нем так тоскуют!

Жаль мне стало бедняжку, и однажды вечером, когда мы со Станиславом пили чай, я сказал:

— Не дурил бы ты да зашел как-нибудь к Гопферу. Старик богатый.

— А чего ради мне к нему ходить? — возразил он. — Хватит, достаточно я у него побегал… — И при этих словах его даже передернуло.

— Того ради, что Кася по тебе сохнет!

— Отстань ты со своей Касей! — оборвал он. — Девушка она предобрая, не раз украдкой пришивала мне оборванную пуговицу на пальто или подбрасывала цветок в окошко, да не пара она мне и я ей не пара.

— Голубка чистая, не девочка! — не отставал я.

— В том-то и беда. Ведь я-то не голубок. Меня могла бы привязать только такая женщина, как я сам. А такой я еще не встречал.

(Встретил он такую шестнадцать лет спустя, и, ей-богу, радоваться нечему!)

Понемногу Кася перестала бывать у нас в магазине, зато старик Гопфер явился с визитом к супругам Минцелям. Должно быть, он им что-нибудь говорил о Стахе,

потому что на другой день Малгожата Минцель прибежала вниз и напустилась на меня:

— Это что за жилец у вас, по котором барышни с ума сходят? Кто он, этот Вокульский? Ясек, — обратилась она к мужу, — почему он у нас еще не был? Мы должны его сосватать, Ясек… Пусть он сейчас же идет к нам.

— Да пускай себе идет хоть и к нам, — отвечал Ян Минцель, — но что до сватовства, то уж уволь: я честный купец и сводничеством заниматься не намерен.

Пани Малгожата чмокнула его в потную щеку, словно еще не кончился медовый месяц, а он мягко отстранил ее и утерся фуляровым платком.

— Горе с этими бабами! — сказал он. — Обязательно им нужно кого-то втягивать в беду. Сватай, душенька, сватай хоть самого Гопфера, не то что Вокульского, но помни: я за это расплачиваться не буду.

С тех пор всякий раз, когда Ян Минцель отправлялся выпить кружку пива или в купеческое собрание, пани Малгожата приглашала меня и Вокульского к себе. Обычно вечер проходил так: Стах в три глотка выпивал свой чай, даже не взглянув на хозяйку, потом, засунув руки в карманы, погружался в размышления, вероятно, о своих воздушных шарах, и молчал, словно в рот набрал воды, между тем как хозяйка так и разливалась, стараясь обратить его к любви.

— Возможно ли, пан Вокульский, чтобы вы еще никогда не любили? — говорила она. — Вам, насколько я знаю, лет двадцать восемь, почти столько, сколько мне… Я уже считаю себя старой бабой, а вы все еще словно невинный младенец…

Вокульский сидел, время от времени перекладывая ногу на ногу, но по-прежнему не говоря ни слова.

— О, панна Катажина — лакомый кусочек, — продолжала хозяйка. — Хорошенькие глазки (только как будто один с изъяном — не помню, который) и фигурка недурна, хотя одна лопатка чуть повыше другой (но это даже мило). Носик, правда, не в моем вкусе, и рот великоват — зато какая же это золотая душа! Добавить бы ей еще чуточку ума… Но ум, пан Вокульский, у женщины приходит с годами, примерно так к тридцати… Сама я в возрасте Каси была глупенькая — ну просто канарейка… Влюбилась в моего теперешнего мужа!

Уже на третий раз пани Малгожата приняла нас в капотике (капотик был прехорошенький, весь в кружевах), а на четвертый я вовсе не получил приглашения, один Стах. Ей-богу, не знаю, о чем они болтали. Я только видел, что Стах возвращается домой все более не в духе и жаловался, что эта баба отнимает у него драгоценное время, а пани Малгожата твердила мужу, что Вокульский очень бестолков и что ей придется немало потрудиться, пока она его сосватает.

— Поработай, душенька, поработай над ним, — поощрял ее муж, — а то жалко девушку, да и Вокульского. Страшно подумать, что такой хороший парень, который столько лет служил при магазине и мог бы после смерти Гопфера стать

хозяином магазина, — что такой парень пропадает ни за что ни про что в университете! Тьфу!

Укрепившись в своих добрых намерениях, пани Минцелева уже не ограничивалась приглашениями на вечерние чаепития, от которых Стах большей частью уклонялся, но стала и сама частенько забегать в мою комнатушку, заботливо расспрашивая про Стаха, не захворал ли он, и удивляясь, как это Стах еще никогда не влюблялся, он, который едва ли не старше ее (думается все-таки, что она была старше его). В то же время с ней стало твориться что-то неладное: то она принималась плакать, то хохотать, то распекала мужа, который удирал из дому на целые дни, то пеняла мне, что я простофиля, что я жизни не понимаю и пускаю к себе каких-то подозрительных жильцов.

Словом, в доме начались такие скандалы, что Минцель даже начал худеть, несмотря на то, что поглощал все большее количество пива. А я решил: одно из двух… или откажусь от службы у Минцелей, либо попрошу Стаха съехать с квартиры.

Каким образом пани Малгожата узнала о моих затруднениях, понятия не имею. Только вбегает она однажды вечером ко мне в комнату и заявляет, что я ей враг, что, должно быть, я очень подлый человек, если сгоняю с квартиры такого жильца, как Вокульский. Потом прибавила, что муж ее тоже подлец, и Вокульский подлец, и вообще все мужчины подлецы, и кончила тем, что закатила истерику на моем собственном диване.

Такие сцены повторялись несколько дней подряд, и не знаю, к чему бы это привело, если б всему не положило конец самое необычайное событие, какое мне только случалось видеть.

Однажды Махальский пригласил нас с Вокульским к себе на вечер.

Мы вышли уже в десятом часу и направились, само собою, в излюбленный подвал Яна, где при свете трех сальных свечей уже сидело человек пятнадцать и среди них — пан Леон.

Пожалуй, никогда мне не забыть этой картины: собравшиеся, большей частью молодежь, заняли весь подвал; лица их выделялись на черном фоне стен, выглядывали из-за бочек или расплывались во мраке.

Радушный хозяин еще на лестнице поднес нам по огромной чарке вина (и отнюдь не дурного!); меня он окружил особым вниманием, вследствие чего у меня сразу зашумело в голове и уже через несколько минут я ничего не соображал. Поэтому я уселся в сторонке, в глубокой нише, и, совсем осовев, посматривал на гостей.

Что там происходило, толком не скажу, ибо в голове моей проносились самые дикие фантазии. Мне мерещилось, что Леон говорит, как всегда, о могуществе веры, об упадке духа и необходимости самоотречения, а присутствующие громко ему вторят. Однако дружный хор приутих, когда Леон стал толковать, что пора, мол, наконец испытать эту готовность к подвигу. Спьяну, что ли, только мне почудилось, будто Леон вызывает собравшихся прыгнуть с виадука Новы Зъязд

на проходящую под ним улицу, а в ответ все как один замолчали, а многие даже попрятались за бочки.[32]

— Значит, никто не решится на подвиг? — выкрикнул Леон, заламывая руки.

Молчание. Подвал словно вымер.

— Значит, никто?.. Никто?..

— Я, — отозвался голос, который я не сразу узнал.

Смотрю — возле догорающей свечи стоит Вокульский.

Однако вино Махальского до того было крепкое, что в эту минуту я потерял сознание.

После пирушки в подвале Стах несколько дней не являлся домой. Наконец пришел — в платье с чужого плеча, похудевший, но с высоко поднятой головой. Тогда я впервые услышал в его голосе ту жесткую нотку, от которой и поныне меня коробит.

С тех пор он совершенно изменил образ жизни. Воздушный шар вместе с двигателем забросил в угол, где их вскоре затянуло паутиной; бутыль, в которой он изготовлял газ, отдал дворнику для воды, а в книги и не заглядывал. Так и валялись теперь эти сокровищницы человеческой мудрости — одни на полке, другие на столе, одни раскрытые, другие даже не разрезанные. А он тем временем…

Случалось, что по нескольку дней сряду он не бывал дома, даже не приходил ночевать; а то вдруг являлся вечером и, не раздеваясь, бросался на непостланную постель. Иногда вместо него приходили какие-то чужие люди, ночевали на диване, на кровати Стаха, а то и на моей, и не только «спасибо» не говорили, но так и уходили, не назвав себя. Нередко Стах приходил один, безвыходно просиживал несколько дней дома, ничего не делая, нервничал и все время к чему-то прислушивался, как любовник, который пришел на свидание с чужой женой и опасается, как бы вместо нее не явился муж.

Не думаю, чтобы этой чужой женой была Малгожата Минцелева, кстати она тоже не находила себе места. С утра эта женщина успевала обегать по крайней мере три костела, видимо решив повести наступление на милосердного господа бога сразу с нескольких сторон. Тотчас после обеда у нее начинались какие-то дамские заседания, участницы которых в ожидании важных событий занимались сплетнями, предоставив мужьям и детям самим о себе заботиться. К вечеру у пани Малгожаты собирались мужчины; однако эти гости без долгих разговоров отсылали хозяйку на кухню.

Не мудрено, что при такой сумятице в доме у меня тоже начал ум за разум заходить. Мне казалось, что в Варшаве стало как будто теснее и что люди кругом словно белены объелись. С часу на час я ждал некоей внезапной перемены; несмотря на это, все мы были в отличном настроении, и в головах у нас роились всевозможные планы.

Между тем Ян Минцель, не находя дома ни минуты покоя, с самого утра отправлялся пить пиво и возвращался только вечером. Он даже вспомнил пословицу: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать» — и с той поры повторял ее до конца своей жизни.

Но вот настал день, когда Стах Вокульский совсем исчез. И только два года спустя он написал мне письмо из Иркутска, в котором просил прислать ему книжки.

Осенью 1870 года — сижу я как-то у себя в комнате после вечернего чаю (посидев перед тем у Яся Минцеля, который уже не вставал с постели), вдруг кто-то стучится.

— Herein! ***<Войдите! (нем.)>*** — кричу.

Дверь скрипнула… смотрю, на пороге стоит какое-то бородатое чудище в тюленьей шубе мехом навыворот.

— Ну, — говорю я, — черт меня побери, если ты не Вокульский!

— Он самый, — отвечает чудище в тюленьей шкуре.

— Во имя отца и сына!.. — говорю. — Брось, — говорю, — дурака валять! Откуда ты тут взялся? Может, это только твой дух…

— Это я, жив-здоров, — говорит, — и даже хочу есть.

Снял шапку, снял доху, подсел к свече. Ей-богу, Вокульский! Борода, как у разбойника, морда, как у Лонгина, что господу нашему Иисусу Христу бок проколол, однако же — это был Вокульский собственной персоной…

— Ты совсем вернулся, — спрашиваю, — или только проездом?

— Совсем.

— Каково там, в тех краях?

— Ничего.

— Фью! А люди? — спрашиваю.

— Неплохие.

— Фью! А чем ты там жил?

— Уроками, — говорит. — И с собой еще привез рублей шестьсот.

— Фью! Фью! А что ты собираешься делать?

— Ну уж конечно не к Гопферу возвращаться! — Сказал и даже стукнул кулаком по столу. — Ты, должно быть, не знаешь, что я стал ученым, даже получил несколько благодарностей от петербургских научных обществ.

«Гопферовский слуга вышел в ученые! Стах Вокульский получил благодарность от петербургских научных обществ! Вот так история, право!» — подумал я.

Чего там долго рассказывать! Поселился парень где-то на Старом Мясте и полгода жил на привезенные деньги, покупая много книг и мало съестного.

Прожившись, начал подыскивать работу, и тут случилась странная вещь. Купцы не принимали его на службу, потому что он стал ученым, не принимали и ученые за его прежнюю службу у купца. И повис он, как Твардовский[33], между небом и землею. И, может быть, даже бросился бы вниз головой с моста, если б я время от времени ему не помогал.

Страшно вспомнить, как он тогда жил. Отощал, помрачнел, одичал… Но не жаловался. Только раз, когда ему сказали, что таким, как он, тут не место, пробормотал:

— Обманули меня…

В это время умер Ясь Минцель. Вдова схоронила его по-христиански, неделю не выходила из дому, а в начале следующей недели вызвала меня к себе на совет.

Я думал, что мы с нею будем говорить о торговых делах, тем более что на столе я заметил бутылочку хорошего токая. Но пани Малгожата даже и не спросила про магазин. При виде меня она залилась слезами, словно я напомнил ей погребенного неделю назад покойника, и, налив мне порядочный стаканчик вина, жалобно заговорила:

— Когда угас мой ангел, я думала, что только я так несчастна…

— Это кто ангел? — перебил я ее. — Уж не Ясь ли Минцель? Простите, сударыня, я был искренним другом покойного, но мне трудно называть ангелом человека, который даже на смертном одре весил не менее двухсот фунтов…

— При жизни он весил триста… Видели вы что-нибудь подобное? — заметила безутешная вдова. Потом снова прикрыла лицо платочком и, всхлипывая, продолжала: — Ах! Вы, пан Жецкий, никогда не научитесь быть тактичным… Ах! Какой удар! Покойник мой, правду сказать, никогда не был ангелом, особенно в последнее время, но все же это для меня ужасная потеря… Страшная, невозвратимая!

— Положим, последние полгода…

— Да что там полгода! — вскричала она. — Мой бедный Ясь уже три года хворал, а лет восемь, как… Ах, пан Жецкий! Сколько несчастий проистекает в семейной жизни от этого мерзкого пива! Сколько лет, поверите ли, я жила все равно что без мужа… Но какой это был человек, пан Жецкий! Только сейчас я почуствовала всю тяжесть моего горя…

— Бывает еще хуже, — отважился я сказать.

— О да! — простонала бедная вдова. — Вы совершенно правы, бывает еще хуже. К примеру, Вокульский, который, кажется, уже вернулся… Правда ли, что он до сих пор не нашел работы?

— Никакой.

— Где же он обедает? Где живет?

— Где обедает? Не уверен, обедает ли он вообще. А где живет? Нигде.

— Ужасно! — расплакалась пани Малгожата. — Мне кажется, — продолжала она после минутного раздумья, — я исполню последнюю волю дорогого моего покойника, если попрошу вас…

— Слушаю, сударыня…

— Чтобы вы пустили Вокульского к себе в комнату, а я буду посылать вам вниз два обеда, два завтрака…

— Вокульский на это не согласится, — прервал я.

Тут пани Малгожата опять ударилась в слезы. С горя, что ли, по покойному мужу, она вдруг впала в такую ярость, что раза три обозвала меня растяпой, простаком, не знающим жизни, уродом и в конце концов заявила, что я могу убираться, потому что она сама справится с магазином. А потом извинялась передо мной и заклинала меня всеми святыми, чтобы я не обижался на ее слова, потому что она потеряла разум от горя.

С того дня я весьма редко видел свою хозяйку. А полгода спустя Стах сообщил мне, что… женится на Малгожате Минцель.

Поглядел я на него… Он махнул рукой.

— Знаю, — сказал он, — что я свинья… Но… все же не такая свинья, как те, кто тут пользуется у вас всеобщим уважением.

Сыграли шумную свадьбу, на которую явилось (не знаю даже откуда) множество приятелей Вокульского (а уж ели, черти, а уж пили за здоровье молодых — целыми кувшинами!). Стах обосновался наверху, у своей жены. Сколько мне помнится, весь багаж его составляли четыре связки книжек и научных приборов, а мебель — разве что чубук да шляпная картонка.

Приказчики хихикали (разумеется, исподтишка) над новым хозяином, а мне было больно, что Стах так легко порвал со своим героическим прошлым и со своей бедностью. Странная вещь человеческая натура: чем менее мы сами склонны к мученичеству, тем настойчивее требуем его от своих ближних.

— Каков наш Брут! — говорили между собой знакомые. — Продался-таки старой бабе!.. Учился, разные штуки выкидывал — и… бац!

В числе наиболее суровых судей были два отвергнутых претендента на руку пани Малгожаты.

Однако Стах очень скоро всем им заткнул рты, сразу принявшись за работу. Примерно неделю спустя после свадьбы он явился в восемь часов утра в магазин, занял место покойного Минцеля за конторкой и стал обслуживать покупателей, вести счета и давать сдачу, словно был просто наемным приказчиком.

Мало того, уже через год он завязал сношения с московскими купцами, что весьма благоприятно повлияло на ход наших дел. Смело могу сказать, что за время его управления оборот наш утроился.

Я с облегчением вздохнул, видя, что Вокульский не собирается даром есть хлеб; да и приказчики перестали хихикать, убедившись, что Стах работает в магазине больше, чем они, — и вдобавок еще выполняет весьма нелегкие обязанности наверху. Мы хоть по праздникам отдыхали, а ему, бедняге, приходилось тогда брать жену под руку и маршировать — до обеда в костел, после обеда в гости, а вечером в театр.

При молодом муже пани Малгожата прямо переродилась. Она купила пианино и начала учиться музыке, наняв учителя-старичка, «чтобы (как говорила она) Стасек не ревновал». А время, свободное от музыкальных занятий, проводила в совещаниях с портнихами, сапожниками, парикмахерами и зубными врачами, при их помощи хорошея день ото дня.

А как она была нежна с мужем! Частенько просиживала она в магазине по нескольку часов, не сводя глаз со своего Стасюлечка. Заметив, что среди покупательниц попадаются и хорошенькие, она упрятала Стаха за шкафы и вдобавок велела поставить ему там будку, где он сидел над своими приходно-расходными книгами, как дикий зверь в клетке.

Однажды из этой будки раздался страшный грохот. Я бросился туда, за мной приказчики… Что за картина! Пани Малгожата лежит на полу, под опрокинутым столом, вся залитая чернилами, стул сломан, Стах стоит злой и смущенный… Подняли мы хозяйку, всхлипывавшую от боли, и по ее восклицаниям догадались, что она сама вызвала эту катастрофу, неожиданно усевшись на колени к мужу. Ветхий стул не выдержал двойной тяжести, а хозяйка, падая, ухватилась за стол и опрокинула его на себя вместе со всем добром.

Стах со стоическим спокойствием принимал шумные изъявления супружеской нежности, утешаясь подсчетами и торговой корреспонденцией. Между тем пани Малгожата не только не охладевала, а все пуще распалялась, и когда супругу ее случалось выйти на улицу — ноги ли размять после утомительного сидения или по какому-нибудь делу, она бежала за ним и… подсматривала, не пошел ли он на свидание!

Иногда, главным образом зимой, Стах вырывался из дому и уезжал на неделю к знакомому леснику; там он по целым дням охотился и бродил по лесу. В таких случаях хозяйка уже на третий день отправлялась в погоню за своим дорогим беглецом, продиралась за ним сквозь чащу и в конце концов водворяла-таки беднягу домой.

Первые два года Вокульский молча терпел этот суровый режим. На третий стал каждый вечер заходить ко мне в комнату — поболтать о политике. Бывало, разговоримся мы о старых временах, Стах, оглянувшись по сторонам, прервет прежний разговор и заведет речь о чем-нибудь другом: «Послушай, Игнаций…»

— как вдруг, словно по команде, сверху бежит за ним служанка:

— Барыня вас зовет! Барыне дурно!

Махнет несчастный рукой и идет к своей барыне, так и не успев сказать то, что собирался.

Прошло три года такой жизни (на которую нельзя было, впрочем, пожаловаться), и я заметил, что этот железный человек начинает сгибаться под бархатной лапкой своей супруги. Он побледнел, ссутулился, забросил свои научные книжки, вместо них принялся за газеты и каждую свободную минуту проводил со мною, беседуя о политике. Иногда он уходил из магазина раньше времени и вместе со своей барыней отправлялся в театр или в гости, а потом начал и у себя принимать по вечерам; собирались у них дамы, старые и страшные как смертный грех, и пожилые господа в отставке, любители виста.

Стах не играл с ними, он только ходил вокруг столиков и присматривался.

— Смотри, Стах, — не раз говорил я ему, — берегись! Тебе сорок три года… В этом возрасте Бисмарк только начинал карьеру.

Такие слова на миг пробуждали его от спячки. Он бросался в кресло и задумывался, опустив голову на руки. Однако тут же подбегала к нему пани Малгожата, восклицая:

— Стасюлечек! Опять ты задумался, это очень нехорошо… А у гостей рюмки пустые…

Стах вставал, доставал из буфета новую бутылку, наливал восемь рюмок и обходил столы, присматриваясь, как гости играют в вист.

Таким образом, медленно и постепенно, лев превращался в вола. Когда я видел его в турецком халате, в домашних, шитых бисером туфлях и в шапочке с шелковой кисточкой, я не мог поверить, что это тот самый Вокульский четырнадцать лет назад в подвале Махальского крикнул:

— Я!..

Когда Кохановский писал:

> Дракона грозного ты оседлаешь
> И, словно агнца, льва ты обуздаешь [34], —

он, несомненно, имел в виду женщину… Они укротители и поработители мужского пола!

Между тем на пятом году своего второго супружества пани Малгожата вдруг стала краситься… Сначала незаметно, потом все энергичней и все новыми средствами… А прослышав о каком-то эликсире, который якобы возвращал пожилым дамам свежесть и очарование юности, она однажды вечером так старательно натерлась им с головы до пят, что вызванные в ту же ночь доктора уже не могли ее спасти. Бедняжка скончалась через двое суток от заражения крови, сохранив сознание лишь настолько, чтобы вызвать нотариуса и отказать все состояние дорогому своему Стасюлечку.

Стах и после этого удара, по своему обыкновению, молчал, но еще более помрачнел. Получив несколько тысяч годового дохода, он перестал заниматься торговлей, порвал со всеми знакомыми и с головой зарылся в научные книжки.

Часто я говорил ему: «Ну, что ты сидишь сиднем, ступай к людям, развлекись, ведь ты еще молод, можешь второй раз жениться…»

Ничего не помогало…

Однажды (полгода спустя после смерти пани Малгожаты), видя, что парень совсем опустился, я как-то сказал ему:

— Пошел бы ты, Стах, в театр! Сегодня дают «Виолетту»; ведь вы ее слушали с покойной в последний раз…

Он вскочил с дивана, бросил книжку и сказал:

— Знаешь… ты прав! Посмотрю-ка я, как это сейчас играют.

Пошел он в театр, и… на следующий день я его не узнал: в старике проснулся мой прежний Стах. Он расправил плечи, глаза у него заблестели, голос окреп.

С тех пор он зачастил в театры, концерты и на лекции.

Вскоре отправился он в Болгарию, где нажил огромное состояние, а через несколько месяцев по его возвращении одна старая сплетница (пани Мелитон) сказала мне, что Стах влюблен… Я посмеялся над глупой болтовней: какой же влюбленный станет рваться на войну? Только сейчас — увы! — начинаю я допускать, что баба была права…

Впрочем, об этом возродившемся Стахе Вокульском ничего не скажешь наверняка. А ну, как?.. О, вот бы я посмеялся над доктором Шуманом, который так издевается над политикой!..»

#### Глава двадцать первая. Дневник старого приказчика

«Политическое положение настолько шатко, что меня отнюдь не удивило бы, если бы к декабрю разразилась война.

Всем почему-то кажется, что война может вспыхнуть только весной; видно, они уже забыли, что австро-прусская и франко-прусская войны начались летом. Не понимаю, откуда это предубеждение против зимних кампаний? Зимой закрома полны и дороги убиты, словно камень, между тем как весной и у мужика с хлебом туго, и дороги раскисают; где пройдет батарея — впору хоть купаться.

А посмотришь с другой стороны — долгие зимние ночи, отсутствие теплой одежды и жилья для солдат, тиф… Право же, я не раз благодарил бога за то, что он не создал меня полководцем Мольтке: вот, бедняга, должно быть, ломает себе голову!

Австрийцы, вернее венгерцы, уже далеко забрались в глубь Боснии и Герцеговины, где их встречают весьма негостеприимно. Объявился даже некий

Гази Лоя, как говорят, прославленный партизан; он доставляет им много хлопот. Жаль мне венгерской пехоты, но и то сказать, теперешние венгерцы ни к черту не годятся! Когда их в 1849 году душили черно-желтые[35], они кричали: «Каждый народ вправе защищать свою независимость!» А теперь что? Сами лезут в Боснию, куда их никто не приглашал, а боснийцев, которые оказывают им сопротивление, называют мошенниками и разбойниками.

Ей-богу, я все меньше понимаю теперешнюю политику! И кто знает, может, Стах Вокульский прав, что перестал ею интересоваться (если только это правда).

Да что это я все разглагольствую о политике, когда в собственной моей жизни произошла такая важная перемена! Кто бы поверил, что уже неделя, как я перестал заниматься магазином — разумеется, на время, иначе, верно, я одурел бы со скуки.

Дело вот в чем. Стах пишет мне из Парижа (он и перед отъездом просил о том же), чтобы я занялся домом, который он купил у Ленцких. «Не было печали!» — подумал я, да что поделаешь! Сдам магазин Лисецкому и Шлангбауму, а сам — айда в разведку, на Иерусалимские Аллеи. Перед тем спросил я Клейна, который живет в доме Стаха, что там слышно? Он вместо ответа за голову схватился.

— Есть там какой-нибудь управляющий?

— Есть, — поморщившись, отвечает Клейн. — Живет на четвертом этаже, вход с улицы.

— Хватит, — говорю я, — хватит, пан Клейн!

(Не люблю я выслушивать чужие мнения, прежде чем не составлю собственного. К тому же Клейн, парень еще молодой, легко мог бы зазнаться, заметив, что старшие обращаются к нему за сведениями.)

Что ж! Делать нечего. Посылаю отутюжить мою шляпу, плачу два злотых, на всякий случай кладу в карман пистолет — и шагом марш в сторону костела Александра.

Смотрю — да, вот дом, желтый, четырехэтажный, номер сходится… стой! Вот и дощечка с именем и фамилией владельца: «Станислав Вокульский»… (Это, должно быть, старик Шлангбаум распорядился.)

Вхожу во двор… Э, плохо дело!.. Несет, черт возьми, как в аптеке. Мусор громоздится кучей чуть не до второго этажа, по канавам течет мыльная вода. Только тут я заметил, что во флигеле на первом этаже помещается «Парижская прачечная», а в ней, вижу, — девки, здоровенные, как двугорбые верблюды. Это ободрило меня.

— Дворник! — крикнул я.

Еще с минуту во дворе было пусто, потом показалась толстая баба, до такой степени замызганная, что я не мог понять, каким образом подобное количество грязи уживается по соседству с прачечной, вдобавок еще парижской.

— Где дворник? — спрашиваю, притронувшись рукой к шляпе.

— А вам чего? — огрызнулась баба.

— Я пришел от имени владельца дома.

— Дворник в каталажке сидит, — отвечает баба.

— За что же?

— Ишь ты, какой любопытный! — орет она. — За то, что ему хозяин жалованья не платит.

Хорошенькие новости узнаю я с самого начала!

Ясное дело, после дворника пошел я к управляющему, на четвертый этаж. Уже в третьем я услышал детский визг, шлепки и истошный женский крик:

— Ах негодники! Ах паршивцы! Вот тебе! Вот тебе!

Подхожу — двери настежь, на пороге некая дама в сомнительной белизны кофте хлещет ремнем троих ребятишек, да так, что свист стоит.

— Простите, — говорю, — не помешал ли я?

При виде меня дети бросились врассыпную, а дама в кофте, спрятав ремень за спину, сконфуженно спросила:

— Вы не хозяин ли?

— Не хозяин, но… пришел от его имени к вашему уважаемому супругу… Я Жецкий.

Дама с минуту недоверчиво разглядывала меня и наконец крикнула:

— Вицек, сбегай на склад за отцом… А вы, может быть, подождете в гостиной…

Между мною и дверьми прошмыгнул оборванный мальчуган и, пулей выскочив на лестницу, съехал вниз верхом на перилах. Я же, чувствуя себя весьма неловко, прошел в гостиную, главным украшением которой служил диван с торчавшими из сиденья клочьями конского волоса.

— Вот как тут живется управляющему! — заметила хозяйка, указывая мне на столь же ободранный стул. — Как будто и у богатых господ служит мой муж, а если бы он не ходил на угольный склад да не брал переписывать бумаги у адвокатов, так нам и есть было бы нечего. Вот она, наша квартира, вы только поглядите: за три этих чулана мы еще платим сто восемьдесят рублей в год…

Тут из кухни до нас донеслось зловещее шипение. Дама в кофте выбежала вон, громко прошептав за дверью:

— Казя, ступай в гостиную и присмотри за господином!

В комнату вошла девочка, очень худенькая, в коричневом платьице и грязных чулочках. Она присела на стул у двери и уставилась на меня взглядом, столь же

опасливым, сколь и грустным. Вот уж, право, не думал, что на старости лет меня станут принимать за вора.

Так мы просидели минут пять, наблюдая друг за другом и упорно храня молчание; вдруг на лестнице раздался шум и грохот, и в ту же минуту в переднюю вбежал тот самый оборванный мальчуган, которого звали Вицеком, а вслед ему кто-то сердито крикнул:

— Ах ты пострел! Уж я тебе…

Я догадался, что Вицек, должно быть, отличался довольно живым нравом и что тот, кто бранился, был его отцом. И правда, вскоре появился сам управляющий, в испачканном сюртуке и обтрепанных внизу брюках. Лицо его обросло густой седоватой щетиной, глаза были красны. Войдя, он вежливо поклонился и спросил:

— Кажется, я имею честь говорить с паном Вокульским?

— Нет, сударь, я только друг и уполномоченный пана Вокульского…

— Ах, верно! — прервал он, протягивая мне руку. — Я имел удовольствие видеть вас, сударь, в магазине… Прекрасный магазин! — вздохнул он. — От таких магазинов берутся доходные дома, а… а от дворянских поместий такие вот квартиры…

— У вас, сударь, было поместье?

— Э! Да что там… Вы, наверное, хотите познакомиться с балансом дома? Расскажу вам вкратце. У нас тут два рода жильцов: одни уже полгода вообще ничего не платят, а другие вносят в магистрат штрафы или платят за хозяина задолженность по налогам. Причем дворник жалованья не получает, крыша протекает, из участка нас теребят, чтобы мы вывезли мусор, один жилец подал на нас в суд по поводу погреба, а двое других судятся из-за чердака… Что же касается тех девяноста рублей, — прибавил он смущенно, — которые я задолжал уважаемому пану Вокульскому…

— Полноте, сударь, — прервал я. — Стах… то есть пан Вокульский, наверное, спишет со счета ваш долг до октября, а затем заключит с вами новый контракт.

Обедневший экс-помещик горячо пожал мне обе руки.

Управляющий, некогда владевший усадьбой, представлялся мне весьма любопытной личностью; но еще более любопытным показался мне доходный дом, не приносящий никаких доходов. Я по природе робок, стесняюсь говорить с незнакомыми людьми и почти страшусь переступить порог чужой квартиры… (Боже мой! Как давно я уже не был в чужой квартире…) Однако на этот раз в меня словно бес вселился, и мне захотелось непременно познакомиться с жильцами этого странного дома.

В 1849 году бывало и жарче, а ведь шли же мы вперед!

— Сударь, — обратился я к управляющему, — может, вы будете добры… представить меня кое-кому из жильцов? Стах… то есть пан Вокульский… просил меня заняться его делами, пока он не вернется из Парижа…

— Париж! — вздохнул управляющий. — Я знаю Париж тысяча восемьсот пятьдесят девятого года… Помню, как встречали императора, возвращавшегося после итальянской кампании…

— Как! — вскричал я. — Вы видели триумфальный въезд Наполеона в Париж?

Он простер ко мне руки и воскликнул:

— Я видел нечто получше, сударь… Во время кампании я был в Италии и видел, как итальянцы принимали французов накануне битвы под Маджентой…

— Под Маджентой? В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году?

— Под Маджентой, сударь…

Посмотрели мы друг другу в глаза — я и этот экс-помещик, который, видимо, не мог отважиться вывести пятна со своего сюртука. Посмотрели мы, говорю я, друг другу в глаза… Маджента! тысяча восемьсот пятьдесят девятый год! Эх, боже ты мой…

— Скажите, — обратился я к нему, — как же вас принимали итальянцы накануне битвы под Маджентой?

Экс-помещик уселся в ободранное кресло и заговорил:

— В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, пан Жецкий… Кажется, я имею честь…

— Да, сударь, я Жецкий, поручик венгерской пехоты, сударь.

Опять мы посмотрели друг другу в глаза. Эх! Боже ты мой…

— Рассказывайте дальше, милостивый государь, — сказал я, пожимая ему руку.

— В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, — продолжал экс-помещик, — я был моложе на девятнадцать лет и имел десять тысяч рублей годового дохода. В те-то времена, пан Жецкий!.. Правда, сюда входили не только проценты, но и кое-что из капитала. Поэтому, когда отменили крепостное право…

— Ну, — не вытерпел я, — мужики тоже люди, пан…

— Вирский, — подсказал управляющий.

— Пан Вирский, мужики…

— Меня мужики не интересуют, — прервал он. — Главное, что в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году я имел десять тысяч рублей ежегодно (считая и ссуды) и находился в Италии. Мне интересно было посмотреть, как выглядит страна, из которой выгоняют пруссаков… Жены и детей у меня тогда не было, беречь себя было не для кого, а потому я, интереса ради, ехал с французским авангардом… Направлялись мы, сударь мой, под Маджанту, хотя и не знали еще,

ни куда мы идем, ни кто из нас завтра увидит закат солнца. Знакомо ли вам это чувство, когда человек, неуверенный в завтрашнем дне, оказывается в обществе людей, также неуверенных в завтрашнем дне?

— Знакомо ли мне! Дальше, дальше, пан Вирский!

— Не сойти мне с этого места, — говорил экс-помещик, — если это не самые прекрасные минуты в жизни! Ты молод, весел, здоров, на шее у тебя не сидят жена и дети, пьешь да песни поешь, а перед глазами у тебя — темная стена, за которой прячется завтрашний день… Эй! — кричишь. — Налейте вина, а то я не знаю, что там, за этой темной стеной… Эй, вина! И поцелуев!.. И такое бывало, пан Жецкий, — шепнул управляющий, наклоняясь ко мне.

— Но как же вы шли с французским авангардом под Маджента?.. — прервал я.

— Шел я с кирасирами, — продолжал управляющий. — Вы знаете кирасир, пан Жецкий? На небе сияет одно солнце, а в эскадроне — сто солнц…

— Тяжеленькие у них доспехи, — заметив я. — Пехота крошит их, как стальной щелкунчик орешки…

— Так вот, приближаемся мы, пан Жецкий, к какому-то итальянскому городку, а тамошние крестьяне дают знать, что неподалеку стоит австрийский корпус. Посылаем мы их в этот городок с приказом, а вернее — с просьбой, чтобы жители, когда завидят полк, воздержались от приветственных возгласов…

— Само собой, — сказал я. — Раз неприятель поблизости…

— Через полчаса мы уже были там. Уличка узкая, по обеим сторонам толпится народ, еле-еле проедешь по четверо в ряд, а в окнах и на балконах — женщины. Что за женщины, пан Жецкий! У каждой в руках букет роз! Те, что внизу, на улице, не то чтобы крикнуть, вздохнуть боятся — австрийцы-то близко… Зато женщины на балконах обрывают, сударь мой, свои букеты и осыпают лепестками роз, словно снегом, потных, покрытых пылью кирасир… Ах, пан Жецкий, если бы вы видели этот снег — пунцовый, розовый, белый и эти ручки, и этих итальянок… Наш полковник только подносил пальцы к губам и посылал воздушные поцелуи направо и налево. А снег лепестков все сыпал и сыпал на золотые кирасы, шлемы и фыркающих лошадей…

В довершение всего какой-то старик итальянец с белыми до плеч волосами, опираясь на суковатую палку, выскочил на середину улицы, обхватил за шею лошадь полковника, поцеловал ее и, крикнув: — «Evviva Italia!" ***<Да здравствует Италия! (итал.)>*** — тут же свалился мертвый… Вот каков был канун Маджента!

Так повествовал экс-помещик, и слезы катились из его глаз на испачканный сюртук.

— Черт меня побери, пан Вирский, — вскричал я, — если Стах не отдаст вам квартиру бесплатно!

— А я плачу сто восемьдесят рублей! — всхлипывал управляющий.

Мы оба утерли глаза.

— Ну, сударь, — сказал я, помолчав, — Маджента Маджентой, а дело делом. Вы, может, представите меня кое-кому из жильцов?

— Идемте, — отвечал управляющий, срываясь с обтрепанного кресла. — Идемте, я покажу вам самых интересных…

Он выбежал из гостиной и, сунув голову в дверь, которая вела, кажется, в кухню, закричал:

— Маня! Мы уходим… А с тобой, Вицек, я вечером посчитаюсь…

— Я не хозяин, чего со мною считаться, — отвечал детский голосок.

— Простите его, — попросил я управляющего.

— Как бы не так! Да он без трепки и не уснет… Хороший мальчишка, — продолжал он, — смышленый, но уж очень отчаянный!..

Мы вышли из квартиры и остановились у других дверей на той же площадке. Управляющий осторожно постучал, а у меня вся кровь отхлынула от головы к сердцу, а от сердца к ногам. Может быть, она потекла бы и в башмаки и дальше по лестнице, до самых ворот, если бы изнутри не ответили:

— Войдите!

Мы вошли.

Три койки. На одной, держа в руках книжку и закинув ноги на спинку кровати, растянулся обросший черной щетиной молодой человек в студенческой тужурке; две другие постели выглядели так, словно по комнате пронесся ураган и все перевернул вверх дном. Увидел я также сундук, пустой чемодан и великое множество книг, валявшихся на полках, на сундуке и на полу. В комнате было несколько стульев, гнутых и обыкновенных, и некрашеный стол; присмотревшись, я заметил на нем намалеванные квадратики шахматной доски и разбросанные шахматы.

И в ту же минуту мне чуть не сделалось дурно: рядом с шахматами стояло два черепа — один с табаком, а другой с сахаром.

— Чего надо? — спросил черноволосый молодой человек, не поднимаясь с постели.

— Это пан Жецкий, уполномоченный хозяина… — объяснил управляющий, указывая на меня.

Молодой человек приподнялся, опираясь на локоть, пронзительно глянул на меня и сказал:

— Хозяина?.. В настоящую минуту я тут хозяин и отнюдь не припоминаю, чтобы я назначал этого господина своим уполномоченным…

Ответ был так поразительно прост, что мы с Вирским оба остолбенели.

Между тем молодой человек лениво поднялся с постели и без излишней поспешности принялся застегивать на себе брюки и жилетку. Как ни методически предавался он этому занятию, я уверен, что по меньшей мере половина пуговиц на его костюме осталась незастегнутой.

— А-а-а-а! Садитесь, господа, — проговорил он, зевая и делая такой жест, что для меня осталось неясным, где именно предлагает он нам расположиться на чемодане или на полу.

— Жарко, пан Вирский, не правда ли? — прибавил он. — А-а-а-а!

— Кстати, сосед из квартиры напротив жалуется на вас, господа! — усмехнулся управляющий.

— За что же?

— За то, что изволите ходить нагишом… по комнате…

Молодой человек возмутился:

— Рехнулся старик, что ли? Он, может быть, хочет, чтобы мы в такую жарищу напяливали шубы? Наглость, честное слово!..

— Ну, — урезонивал его управляющий, — вы, господа, должны принять во внимание, что у него взрослая дочка.

— А мне какое дело? Я ей не отец! Вот старый остолоп, честное слово! Да еще врет, потому что мы нагишом не ходим.

— Я сам видел… — не утерпел управляющий.

— Честное слово, вранье! — воскликнул молодой человек, краснея от гнева. — Правда, Малесский ходит без рубашки, зато в кальсонах, а Паткевич — без кальсон, зато в рубашке. Таким образом, панна Леокадия видит полный комплект…

— Да, и вынуждена завешивать все окна.

— Это старик завешивает, а не она, — возразил студент, махнув рукой. — А она подсматривает в щелку. Впрочем, простите, пожалуйста: если панне Леокадии можно горланить на весь двор, то Малесский и Паткевич имеют право ходить у себя в комнате в чем им угодно.

Говоря это, молодой человек ходил большими шагами из угла в угол. Каждый раз, когда он оборачивался к нам спиной, управляющий подмигивал мне и строил гримасы, выражавшие полную безнадежность.

С минуту все молчали; наконец управляющий заговорил:

— Вы, милостивые государи, задолжали нам за четыре месяца…

— Опять вы за свое! — закричал молодой человек, глубоко засовывая руки в карманы. — Сколько же раз еще я буду вам повторять, чтобы вы с этими глупостями обращались не ко мне, а к Паткевичу или Малесскому? Ведь это так

просто запомнить: Малесский платит за четные месяцы — февраль, апрель, июнь, а Паткевич — за нечетные: март, май, июль…

— Да ведь никто из вас вообще никогда не платит! — воскликнул управляющий, выходя из себя.

— А кто же виноват, если вы не являетесь вовремя? — заорал молодой человек, размахивая руками. — Сто раз вам говорили, что Малесский платит за четные месяцы, а Паткевич — за нечетные!

— А вы, уважаемый, за какие?

— А я, почтеннейший, ни за какие, — выкрикнул молодой человек, угрожающе помахав кулаком перед самыми нашими носами, — ибо я принципиально не плачу за квартиру! Кому я обязан платить? За что? Ха-ха! Ловкачи, нечего сказать!

Он еще быстрее зашагал по комнате, не переставая саркастически фыркать. Наконец фырканье перешло в свист, и молодой человек уставился в окно, вызывающе повернувшись к нам спиною.

Тут у меня иссякло терпение.

— Позвольте, сударь, заметить, — сказал я, — что подобное неуважение к договору весьма оригинально… Кто-то предоставляет вам квартиру, а вы считаете возможным ему не платить…

— Кто предоставляет мне квартиру? — взревел молодой человек, усевшись на подоконнике раскрытого окна и с силой раскачиваясь взад и вперед, словно собираясь выброситься с четвертого этажа. — Я сам занял это помещение и останусь в нем до тех пор, пока меня не выкинут вон. Договоры!.. Да подите вы со своими договорами… Если общество хочет, чтобы я платил за квартиру, так пусть платит мне за уроки столько, чтобы хватило и на квартирную плату… Хороши тоже!.. За три урока ежедневно я получаю пятнадцать рублей в месяц; за еду берут у меня девять рублей, за стирку и услуги — три… А форма, а взносы в университет? А тут еще плати им за квартиру! Выгоняйте меня на улицу, — в раздражении говорил он, — пусть меня подцепит живодер и прикончит, стукнув палкой по башке… Пожалуйста, пользуйтесь вашим правом, но замечаний и выговоров я не потерплю.

— Не понимаю, зачем так горячиться, — спокойно сказал я.

— Как же не горячиться! — возразил молодой человек, раскачиваясь все сильнее. — Раз уж общество не убило меня при моем рождении, раз оно велит мне учиться и сдавать десятки экзаменов, оно тем самым берет на себя обязательство предоставить мне работу, обеспечивающую мое существование… Между тем оно либо вовсе не дает мне работы, либо обжуливает при оплате… Так если общество не выполняет договора в отношении меня, с какой стати я буду выполнять обязательства по отношению к нему? Впрочем, не о чем говорить: я принципиально не плачу за квартиру, и баста. Тем более что теперешний домовладелец не строил этого дома: он не обжигал кирпичей, не замешивал

известки, не возводил стен, не рисковал сломать себе шею. Он явился с деньгами, может даже и краденными, заплатил другому господину, который тоже, может быть, кого-нибудь обокрал, и на этом основании хочет превратить меня в своего раба! Курам на смех!

— Простите, — сказал я, приподнимаясь, — пан Вокульский никого не обкрадывал… Его богатство — плод долгих трудов и бережливости…

— Да бросьте вы, — прервал молодой человек. — Мой отец был талантливый врач, он работал дни и ночи, как будто недурно зарабатывал и имел возможность откладывать… целых триста рублей в год! А ваш дом стоит девяносто тысяч, значит, чтобы приобрести его честным трудом, моему отцу понадобилось бы жить и выписывать рецепты триста лет. Не поверю я, чтобы новый владелец работал триста лет…

У меня голова шла кругом от этих рассуждений, а молодой человек все не унимался:

— Можете выгнать нас, пожалуйста! Тогда-то вы убедитесь, как много потеряли. Все прачки и кухарки в этом доме иссохнут с тоски, а Кшешовской ничто не помешает выслеживать своих соседей, подсчитывать, сколько гостей к кому приходит и кто сколько крупинок кладет в суп… Пожалуйста, выгоняйте нас! То-то панна Леокадия примется за свои гаммы — с утра сопрано, а после обеда — контральто… И ко всем чертям полетит этот дом, где лишь мы одни еще кое-как поддерживаем порядок!

Мы собрались уходить.

— Так вы решительно не будете платить? — спросил я.

— И не подумаю.

— Может быть, начнете хотя бы с октября?

— Нет, сударь мой. Мне жить осталось недолго, так я хочу хоть один принцип провести до конца: если общество требует, чтобы отдельные личности уважали свои обязательства по отношению к нему, то пусть же и оно соблюдает свои обязательства перед отдельными личностями. Если я должен кому-то платить за квартиру, пусть и другие платят мне за уроки так, чтобы мне хватало на квартирную плату. Понятно вам?

— Не совсем, сударь, — отвечал я.

— Не удивительно, — сказал молодой человек. — К старости мозг увядает и теряет способность воспринимать новые истины.

Мы раскланялись с ним и вышли. Молодой человек запер за нами дверь, но тут же выскочил на площадку и крикнул:

— И пусть судебный пристав приведет с собою двух городовых, потому что меня придется выносить из квартиры!..

— Всенепременно, сударь! — ответил я ему с любезным поклоном, в душе, однако, решив, что не следует выбрасывать подобного оригинала.

Когда этот удивительный юноша удалился наконец в свою комнату и запер дверь на ключ, несомненно давая нам понять, что считает переговоры законченными, я остановился на ступеньках и сказал управляющему:

— Я вижу, у вас тут разноцветные стекла в окнах, а?

— О да, очень разноцветные…

— Но грязные…

— О да, очень грязные.

— И, по-моему, этот молодой человек сдержит свое слово и за квартиру платить не станет, а?

— Сударь! — воскликнул управляющий. — Он еще ничего! Он хоть говорит, что не будет платить, ну и не платит, а те двое ничего не говорят — и тоже не платят. Это, пан Жецкий, исключительные жильцы! Только они одни никогда не обманывают моих ожиданий.

Невольно, сам не знаю почему, я покачал головой и тут же почуствовал, что, будь я хозяином подобного дома, я не переставал бы качать головой по целым дням.

— Итак, тут никто не платит, во всяком случае не платит регулярно? — спросил я экс-помещика.

— И нечему удивляться, — ответил Вирский. — В доме, где столько лет квартирную плату получают кредиторы, самый честный жилец отобьется от рук. И все же есть у нас несколько очень аккуратных плательщиков, к примеру хоть баронесса Кшешовская…

— Что? — вскричал я. — Ах, правда, баронесса живет тут… Она даже хотела купить этот дом…

— И купит еще… — понизил голос управляющий. — Только смотрите в оба, господа… Она купит его, хоть бы ей пришлось отдать все свое состояние… А состояние у нее немалое, хотя барон его сильно общипал…

Я все еще стоял на лестнице, под окном с желтыми, красными и голубыми стеклами. Я все стоял, вызывая в памяти образ баронессы, которую видел всего несколько раз в жизни, причем она всегда производила на меня впечатление весьма эксцентричной особы. Она умеет быть набожной и злобной, смиренной и грубой…

— Что это за женщина, пан Вирский? — спросил я. — Ведь это, сударь мой, женщина не из обыкновенных…

— Как все истерички, — проворчал экс-помещик. — Дочку она потеряла, муж ее бросил… Кругом злоключения!

— Пойдемте к ней, сударь, — сказал я, спускаясь в третий этаж.

Я ощущал в себе такую отвагу, что баронесса не только не страшила, но чуть ли не влекла меня к себе.

Но когда мы остановились возле ее дверей и управляющий позвонил, у меня свело икры судорогой. Я не в силах был двинуться с места и только по этой причине не сбежал. В одно мгновение храбрость моя испарилась, я вспомнил торги…

Ключ в замке повернулся, щелкнула задвижка, и в приоткрытых дверях показалось лицо еще молодой служанки в белой наколке.

— Кто это? — спросила девушка.

— Я, управляющий.

— А чего вам нужно?

— Я пришел с уполномоченным нашего хозяина.

— А этому господину чего нужно?

— Это и есть уполномоченный.

— Как же мне доложить?

— Доложите, — сказал управляющий уже с раздражением, — что мы пришли поговорить насчет квартиры…

— Ага!

Она заперла дверь и удалилась. Прошло минуты две или три, пока она вернулась и, отомкнув великое множество замков, ввела нас в пустую гостиную.

Странный вид был у этой гостиной. Мебель покрыта темно-серыми чехлами, равно как и рояль и люстра; даже расставленные по углам тумбочки со статуэтками были облачены в темно-серые рубашки. Создавалось впечатление, что хозяин этой комнаты уехал, оставив дома лишь прислугу, тщательно поддерживавшую чистоту и порядок.

Из-за дверей слышался разговор, который вели два голоса: женский и мужской. Женский принадлежал баронессе; мужской тоже был мне хорошо знаком, только я не мог вспомнить, где его слышал.

— Я готова поклясться, что между ними весьма близкие отношения. Позавчера он прислал ей с рассыльным букет.

— Гм… гм… — отозвался мужской голос.

— А эта мерзкая кокетка, чтобы обмануть меня, велела вышвырнуть букет за окно.

— Да ведь барон сейчас в деревне… так далеко от Варшавы, — возразил мужчина.

— Но у него тут остались приятели! — воскликнула баронесса. — И если бы я не знала вас так хорошо, то могла бы предположить, что именно вы помогаете ему устраивать эти постыдные делишки.

— Помилуйте! — запротестовал мужской голос, и в ту же минуту прозвучало два поцелуя, полагаю, что в руку.

— Ну, ну, пан Марушевич, только без нежностей! Знаю я вашего брата. Сначала вы осыпаете женщину ласками, а когда она вам доверится, проматываете ее состояние и требуете развода.

«Значит, это Марушевич! — подумал я. — Славная парочка!..»

— Я совсем не такой, — несколько тише возразил мужской голос, и за дверью вновь прозвучало два поцелуя, без сомнения в руку.

Я посмотрел на экс-помещика. Он сидел, подняв глаза к потолку, а плечи — чуть не до ушей.

— Вот проныра! — шепнул он, кивнув на дверь.

— Вы его знаете?

— Еще бы!

— Итак, — говорила баронесса в соседней комнате, — отнесите в костел Святого креста эти вот девять рублей и закажите три молебна за то, чтобы господь бог вразумил его… Нет, — помолчав, продолжала она дрогнувшим голосом, — закажите один молебен за него, а две панихиды — за упокой души несчастной моей девочки…

Послышался тихий плач.

— Ну успокойтесь, сударыня! — нежно уговаривал ее Марушевич.

— Ладно, ладно, идите уж! — отвечала она.

Двери гостиной вдруг распахнулись, и на пороге как вкопанный остановился Марушевич, а за его спиной я увидел желтое лицо и покрасневшие глаза баронессы. Мы с управляющим оба встали, Марушевич попятился в соседнюю комнату и, по-видимому, вышел через другие двери, а баронесса сердито крикнула:

— Марыся!.. Марыся!..

Вбежала уже знакомая молодая девушка в белой наколке, темном платье и белом передничке. В этом уборе она могла бы сойти за сиделку, если б глаза ее не искрились так плутовато.

— Как ты смела привести сюда этих господ? — спросила ее баронесса.

— Да вы, барыня, сами велели просить…

— Дура, ступай вон! — прошипела баронесса. Затем обратилась к нам: — Что вам угодно, пан Вирский?

— Это пан Жецкий, уполномоченный домовладельца, — отвечал управляющий.

— А-а!.. Хорошо, — сказала баронесса, медленно входя в гостиную и не предлагая нам садиться.

Вот описание этой дамы: черное платье, изжелта-бледное лицо, синеватые губы, красные от слез глаза и прилизанные волосы. Она скрестила руки на груди, как Наполеон I, и, глядя на меня, произнесла:

— А-а-а!.. Так вы уполномоченный, если не ошибаюсь, пана Вокульского? Не так ли? Передайте же ему — либо я съеду с этой квартиры, за которую аккуратнейшим образом плачу семьсот рублей в год, — ведь правда, пан Вирский? — Управляющий поклонился. — …либо пан Вокульский искоренит в своем доме грязь и безнравственность.

— Безнравственность? — переспросил я.

— Да, сударь, — кивнула головой баронесса. — Прачек, которые по целым дням распевают внизу какие-то мерзкие песенки, а по вечерам хохочут у меня над головой у… у… студентов… И этих злодеев, которые осыпают меня сверху окурками и окатывают водой… И, наконец, эту пани Ставскую, о которой не знаешь, что и сказать: вдова ли она или разведенная, и на какие, в сущности, средства живет. Эта дамочка отбивает мужей у добродетельных и безумно несчастных жен…

Она заморгала глазами и расплакалась.

— Ужасно! — говорила она, всхлипывая. — Быть прикованной к этому мерзкому дому из-за незабвенного дитяти, которого уже ничем не вырвешь из сердца… Ведь она бегала по этим вот комнатам… И играла вон там, во дворе… И смотрела в окно, в которое нынче мне, осиротелой, уже и выглянуть не дают… Меня хотят выгнать отсюда!.. Все хотят выгнать… всем я мешаю… А ведь я не могу уехать отсюда, где каждая половица хранит следы ее ножек… и в каждом уголке звучит ее смех или плач…

Она упала на диван и зарыдала.

— Ах! — говорила она сквозь слезы, — звери и те не так жестоки… Эти люди хотят выгнать меня из дома, где мое дитя испустило последний вздох… Ее кроватка и все ее игрушки стоят на своих местах… Я сама стираю пыль в ее комнате, чтобы не сдвинуть с места ни одной вещицы… Каждая пядь пола истерта моими коленями — я исцеловала все следы моей девочки… А они хотят меня выгнать! Так изгоните сперва мое горе, мою тоску, мое отчаяние…

Она закрыла лицо руками и зарыдала раздирающим душу голосом. Я заметил, что у управляющего вдруг покраснел нос, да и сам почувствовал на глазах слезы.

Отчаяние баронессы, убивающейся по умершей девочке, так обезоружило меня, что я не решился заговорить с нею о повышении квартирной платы. В то же время плач ее так действовал мне на нервы, что, если б не третий этаж, я, наверно, выскочил бы в окно.

В конце концов, желая утешить плачущую женщину, я обратился к ней со всей теплотой, на какую только способен:

— Прошу вас, сударыня, успокойтесь. Требуйте от нас, что вам угодно! Чем мы могли бы вам помочь?

В голосе моем было столько сочувствия, что нос управляющего еще более покраснел, у баронессы же сразу высох один глаз, однако другим она еще продолжала плакать, в знак того что не считает свои военные действия законченными, а меня — побежденным.

— Я требую… требую… — всхлипывала она, — я требую, чтобы меня не гнали из дома, где скончалась моя девочка… и где все мне напоминает о ней… Не могу я… поймите, не могу лишиться ее комнаты… Не могу сдвинуть с места ее мебель, ее игрушки… Это подлость — наживаться на чужом горе…

— Кто же наживается на вашем горе? — спросил я.

— Все, начиная с хозяина, который заставляет меня платить семьсот рублей…

— Ну, уж извините, баронесса! — воскликнул управляющий. — Семь великолепных комнат, две кухни, как залы, два чулана… Уступите, сударыня, кому-нибудь три комнаты, ведь у вас две парадные двери…

— Никому я ничего не уступлю, — решительно заявила она. — Я уверена, что мой заблудший супруг со дня на день опомнится и вернется…

— В таком случае, придется платить семьсот рублей…

— Если не больше, — робко прибавил я.

Баронесса посмотрела так, словно собиралась испепелить меня взглядом и утопить в слезах. Ох! Ну и баба!.. Как подумаю о ней, прямо мороз подирает по коже.

— Однако не в плате дело, — сказала баронесса.

— Весьма рассудительные слова! — похвалил ее Вирский и поклонился.

— И не о притязаниях хозяина речь… Но не могу же я платить семьсот рублей за квартиру в таком доме…

— Чем же вам не нравится дом? — спросил я.

— Дом этот — позорище для порядочных людей! — воскликнула баронесса, усиленно жестикулируя. — Поэтому я прошу — не для себя, а во имя нравственности…

— О чем?

— О выселении студентов, которые живут надо мной, не дают мне выглянуть в окно и развращают всех…

Она вдруг сорвалась с дивана.

— Вот! Слышите? — сказала она, указывая на соседнюю комнату, выходившую окнами во двор.

Действительно, я услышал голос эксцентричного брюнета, который звал с четвертого этажа:

— Марыся! Марыся, иди к нам!

— Марыся! — крикнула баронесса.

— Да я тут, барыня… чего вам? — откликнулась, входя, несколько покрасневшая служанка.

— Смотри у меня, ни шагу из дому! Вот вам… — продолжала баронесса. — И так целыми днями. А по вечерам к ним приходят прачки… Сударь! — воскликнула она, молитвенно складывая руки. — Выгоните этих нигилистов, это очаг всяческого порока и опасностей для всего дома… Они в черепах держат табак и сахар… Они человеческими костями мешают угли в самоваре… Они собираются притащить сюда целый скелет!

И она снова так расплакалась, что я испугался, как бы с нею не сделалась истерика.

— Эти господа не платят за квартиру, так что весьма возможно… — начал было я.

У баронессы мигом высохли глаза.

— Ну конечно же, — прервала она, — вы должны выбросить их вон… Однако, сударь, — воскликнула она, — как бы ни были они испорчены и гадки, но эта… эта Ставская еще хуже их!

Я удивился, заметив, какой ненавистью загорелись глаза баронессы, когда она произнесла фамилию Ставской.

— Пани Ставская живет здесь? — невольно вырвалось у меня. — Эта красавица?

— О! Новая жертва! — указывая на меня, вскрикнула баронесса и, сверкая глазами, заговорила низким грудным голосом: — Одумайтесь, вспомните о своих сединах, что вы делаете? Знаете ли вы, что муж этой женщины был обвинен в убийстве и бежал за границу… А на какие средства она живет?.. На какие средства она так наряжается?

— Бедняжка работает как вол, — пробормотал управляющий.

— О!.. И этот туда же! — воскликнула баронесса. — Мой супруг (я уверена, это он!) присылает ей из деревни цветы… Управляющий влюблен в нее и берет плату не вперед, а за истекшие месяцы…

— Помилуйте, сударыня, — запротестовал экс-помешик, и вся физиономия его стала такой же красной, как нос.

— Даже этот честнейший простофиля Марушевич, даже он по целым дням смотрит на нее в окно…

Трагический голос баронессы опять перешел в рыдания.

— И подумать только, — стонала она, — что у подобной женщины есть дочка… дочка, которую она растит для геенны огненной, а я… О, я верю в справедливость… Верю в милосердие господне, но не могу… нет, не могу понять воли божьей, которая меня лишила ребенка, а оставила в живых ребенка этой… этой…

Сударь! — воскликнула она. — Можете не трогать этих нигилистов, но ее… выгоните непременно! Пусть квартира ее пустует, я буду ее оплачивать, лишь бы эта женщина осталась без крова!

Последнее восклицание уже вовсе мне не понравилось. Я подал знак управляющему, что пора уходить, и, поклонившись, холодно сказал:

— Позвольте, баронесса, вопрос этот разрешить самому хозяину, пану Вокульскому.

Баронесса раскинула руки, словно пуля пронзила ей грудь.

— Ах! Вот как? — прошептала она. — Значит, уже и вы и этот… этот… Вокульский успели связаться с нею? Что ж! В таком случае, я буду ждать праведного суда божия…

Она долее не удерживала нас, и мы вышли; на лестнице я покачнулся, как пьяный.

— Что вам известно о пани Ставской? — спросил я Вирского.

— Милейшая женщина, — отвечал он. — Молода, хороша собой и одна содержит семью… Пенсии ее матушки еле-еле хватает на квартирную плату…

— Она живет с матерью?

— Да. Тоже хорошая женщина.

— Сколько же они платят?

— Триста рублей. Знаете, брать с них — все равно что обирать алтарь…

— Идемте к этим дамам, — сказал я.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул он. — И не слушайте, что плетет о них эта полоумная. Баронесса ненавидит Ставскую, даже не знаю толком за что. Пожалуй, за то, что она красавица, что дочка у нее как ангелочек…

— Где они живут?

— В правом флигеле, на втором этаже.

Не помню даже, как спустились мы по главной лестнице, как пересекли двор и поднялись на второй этаж флигеля, ибо перед глазами моими неотступно стояли Ставская и Вокульский…

Боже мой! Какая бы это была прекрасная пара! Да что поделаешь, если она замужем! Впрочем, у меня нет ни малейшей охоты вмешиваться в подобного рода дела. Я предполагаю так, другой — этак, а судьба располагает по-своему…

Судьба! Судьба! Странными путями сводит она людей! Не приди я много лет назад в подвал Гопфера, к Махальскому, не познакомился бы я с Вокульским. И опять-таки, не уговори я его пойти в театр, он, может быть, никогда бы не встретился с панной Ленцкой. Один раз я ненароком втянул его в беду, так уж хватит, не хочу повторять в другой раз! Пусть господь бог сам печется о рабах своих…

Когда мы остановились перед дверью пани Ставской, управляющий плутовато усмехнулся:

— Погодите-ка… сначала узнаем, дома ли молодая хозяйка. Есть на что посмотреть, сударь мой!

— Знаю, знаю…

Управляющий не позвонил, а постучал два раза. Дверь сразу распахнулась настежь, и показалась коренастая, толстая служанка с засученными рукавами. Мыльная пена стекала по ее рукам, которым мог бы позавидовать атлет.

— Ах, это вы, господин управляющий! — протянула она. — Я думала, опять какой-то…

— Неужели кто-нибудь смел приставать?.. — с негодованием спросил Вирский.

— Да никто не приставал, — отвечала служанка, по-мужицки выговаривая слова, — а только нынче кто-то цветы прислал. Люди говорят на Марушевича, что напротив живет…

— Подлец! — прошипел управляющий.

— Все мужчины этакие. Приглянется им кто — и лезут, чисто тебе комары на огонь.

— Обе барыни дома? — спросил Вирский. Толстая прислуга подозрительно посмотрела на меня.

— А он, что ли, с вами, этот господин?

— Со мной. Это уполномоченный хозяина.

— А молодой он или старый? — продолжала она допрос, разглядывая меня, как следователь.

— Сама видишь, что старый! — ответил управляющий.

— Средних лет… — поспешил я его поправить. (Ей-богу, они скоро будут называть стариками пятнадцатилетних юнцов!)

— Обе барыни дома, — сказала прислуга. — Только к молодой пришла девочка на урок. А старая барыня у себя в комнате.

— Фу ты! — пробормотал управляющий. — Ну что ж… Доложи старой барыне…

Мы прошли в кухню, где стояла лохань с детским бельем, мокнущим в мыльной пене. На веревке, протянутой возле печки, сохли детские юбочки, рубашечки и чулочки. (Так сразу и видно, что в доме ребенок!)

Из приоткрытой двери донесся немолодой женский голос.

— С управляющим? Какой-то господин? — говорила невидимая нам дама. — Может быть, это Людвичек, он мне как раз сегодня приснился…

— Войдите, — сказала прислуга, открывая дверь в гостиную.

Гостиная была маленькая, в жемчужных тонах, мебель мягкая, васильковая, в углу пианино, на обоих окнах множество белых и розовых цветов, на стенах — репродукции, выпускаемые Обществом изящных искусств, на столе — лампа со стеклянным абажуром в форме тюльпана. После мрачной, как склеп, гостиной пани Кшешовской с мебелью в темных чехлах эта комната казалась на редкость приветливой, словно со дня на день здесь ждали какого-то гостя. Однако кресла, слишком симметрично расставленные вокруг стола, свидетельствовали о том, что гость еще не явился.

Через минуту в гостиную вошла пожилая дама в сером платье. Меня поразила белизна ее волос, обрамляющих худенькое, но еще не старое лицо с весьма правильными чертами. В лице этом угадывались чьи-то уже знакомые мне черты.

Между тем управляющий застегнул свой испачканный сюртук на две пуговицы, поклонился с истинно дворянским изяществом и сказал:

— Разрешите, сударыня, представить: пан Жецкий, уполномоченный нашего хозяина и мой приятель.

Я поглядел ему в глаза. Признаться, меня несколько удивила наша скоропалительная дружба. Управляющий заметил это и, улыбнувшись, прибавил:

— Я говорю «приятель», поскольку оба мы видели немало любопытных вещей за границей.

— Вы, милостивый государь, были за границей? Подумать только! — взволновалась старушка.

— В тысяча восемьсот сорок девятом году и несколько позже, — заметил я.

— А не встречали ли вы там случайно Людвика Ставского?

— Помилуйте, сударыня! — вскричал Вирский, рассмеявшись, и снова поклонился. — Пан Жецкий был за границей тридцать лет назад, а ваш зять уехал всего четыре года назад.

Старушка махнула рукой, словно отгоняя муху.

— И верно! Что же это я болтаю, прости господи!.. Но я все думаю о Людвичке… Прошу вас садиться, господа…

Мы уселись, причем экс-помещик снова поклонился почтенной даме, а она ему.

Только тогда я заметил, что серое платье старушки во многих местах заштопано, и грустное чуство охватило меня при виде этих двух людей с княжескими манерами — в испачканном сюртуке и заштопанном платье. По ним уже прошелся все сглаживающий плуг времени.

— Вы, сударь, должно быть, не знаете о наших горестях, — обратилась ко мне почтенная дама. — Зять мой четыре года назад пострадал в одном весьма неприятном деле, и совершенно незаслуженно… В Варшаве убили некую ужасную ростовщицу!.. Ах, боже! Не стоит и говорить… К счастью, кто-то из друзей предупредил зятя, что подозрение пало на него… Совершенно несправедливо, пан…

— Жецкий, — подсказал экс-помещик.

— …совершенно незаслуженно, пан Жецкий… Ну, и он, бедняга, бежал за границу. В прошлом году поймали настоящего убийцу, установили невиновность Людвика — да что из того, когда он уже два года нам не пишет…

Тут она наклонилась ко мне и зашептала:

— Эленка, дочь моя, пан…

— Жецкий, — вставил управляющий.

— …дочь моя, пан Жецкий, просто разоряется… откровенно говорю вам, разоряется на объявления в заграничных газетах — и никакого ответа… Женщина она молодая, пан…

— Жецкий, — напомнил Вирский.

— …женщина она молодая, пан Жецкий, недурна собой…

— Восхитительна! — с жаром подтвердил управляющий.

— Я была немного похожа на нее, — продолжала пожилая дама, со вздохом кивнув экс-помещику. — И вот, дочь моя недурна собой, молода, у нее уже есть один ребенок и… может быть, ей хотелось бы иметь еще. Впрочем, клянусь вам, пан Вирский, я никогда от нее не слыхала об этом… Она страдает молча, но я догадываюсь, что она страдает. И мне когда-то было тридцать лет…

— Кому из нас не было тридцати лет, — тяжко вздохнул управляющий.

Дверь скрипнула, и в гостиную вбежала маленькая девочка со спицами в руках.

— Бабуся, — воскликнула она, — ну когда же я сделаю кофту для моей куклы…

— Элюня! — строго остановила ее старушка. — Ты не поздоровалась…

Девочка сделала два реверанса, на которые я ответил весьма неуклюже, а пан Вирский — с великосветской грацией, и продолжала говорить, показывая бабушке спицы, с которых свисал черный вязаный квадратик.

— Бабуся, придет зима, а моей кукле не в чем будет выйти на улицу! Посмотрите, бабуся, опять у меня спустилась петля.

(Прелестное дитя! Боже мой! Почему Стах не ее отец! Может, он так не безумствовал бы…)

Бабушка извинилась перед нами, взяла в руки спицы с вязанием, и в этот момент вошла Ставская.

Могу с гордостью сказать, что при ее появлении я продолжал держаться с достоинством, Вирский же совершенно потерял голову. Он вскочил с места, словно студент, застегнул сюртук на третью пуговицу, даже покраснел и невнятно забормотал:

— Сударыня, разрешите представить вам: пан Жецкий, уполномоченный нашего хозяина…

— Очень приятно, — ответила Ставская и, опустив глаза, кивнула головой. Однако яркий румянец и тень тревоги на ее лице свидетельствовали о том, что я не был приятным гостем.

«Погоди-ка! — подумал я и представил себе, что на моем месте в этой комнате находится Вокульский. — Погоди-ка, сейчас я тебе покажу, что нас нечего бояться».

Между тем Ставская опустилась на стул и, желая скрыть свое замешательство, принялась оправлять платьице на дочке. У матери тоже настроение испортилось, а управляющий совсем одурел. «Погодите-ка!» — подумал я и, придав своему лицу весьма строгое выражение, спросил:

— Давно ли вы, сударыня, проживаете в этом доме?

— Пять лет, — сказала Ставская и еще сильнее зарумянилась.

Мать ее так и встрепенулась в своем кресле.

— Сколько вы платите, сударыня?

— Двадцать пять рублей в месяц, — еле слышно ответила молодая женщина.

Она побледнела и, одергивая на девочке платьице, несомненно без всякого умысла, бросила на Вирского такой умоляющий взгляд, что… будь я Вокульский, я тут же предложил бы ей руку и сердце!

— Мы, — продолжала она еще тише, — мы задолжали вам за июль.

Я насупился, как Люцифер, и, вобрав в грудь весь воздух, какой был в комнате, произнес:

— Вы, сударыня, ничего нам не должны до… до октября. Как раз Стах, извините, пан Вокульский, пишет мне, что это просто разбой — брать триста рублей за три комнаты в таком районе. Пан Вокульский не может допустить подобного живодерства и велел мне уведомить вас, сударыни, что с октября эта квартира будет сдаваться за двести рублей в год. А если вам, сударыни, не угодно…

Тут управляющий даже отъехал назад вместе с креслом. Старушка сложила ладони, а Ставская молча взглянула на меня широко раскрытыми глазами. Ну и

глаза! И как она смотрит! Клянусь, будь я Вокульский, я бы посватался, не сходя с места. От мужа, наверное, уже и косточек не осталось, если он два года не шлет писем. Да, наконец, на что существуют разводы? И на что у Стаха такое состояние?

Дверь опять скрипнула, и показалась девочка лет двенадцати, в соломенной шляпке и с тетрадками в руках. У девочки было румяное личико, не выражавшее, впрочем, особенного ума. Она поклонилась нам, поклонилась Ставской и ее матери, расцеловала в обе щечки маленькую Элюню и ушла, по-видимому домой. Потом опять вернулась из кухни и, покраснев до ушей, спросила пани Ставскую:

— Когда мне можно прийти послезавтра?

— Послезавтра, милочка, приходи в четыре, — ответила Ставская, тоже смутившись.

Когда девочка удалилась, мать пани Ставской недовольно сказала:

— И это называется урок, прости господи! Эля занимается с нею не менее чем по полтора часа и за такой урок берет сорок грошей…

— Маменька! — прервала Ставская, умоляюще глядя на нее.

(Нет, будь я Вокульским, я бы обязательно с ней обвенчался. Что за женщина!.. Что за черты… Какое выражение лица… В жизни я не видал ничего подобного!.. А ручки, а фигурка, а рост, а движения, а глаза, глаза!..)

После минутного замешательства молодая женщина снова заговорила:

— Мы весьма благодарны пану Вокульскому за условия, на которых он предоставляет нам квартиру… Это, пожалуй, единственный случай, когда домовладелец нам снижает плату. Только не знаю, удобно ли нам… воспользоваться его любезностью?

— Это не любезность, сударыня, а честность благородного человека! — вмешался управляющий. — Мне пан Вокульский тоже снизил квартирную плату, и я согласился… Посудите сами, сударыня: третьеразрядная улица, движения почти никакого…

— Но жильцов найти нетрудно, — заметила Ставская.

— Мы предпочитаем иметь дело со старыми жильцами, зарекомендовавшими себя тихим поведением и порядком, — ответил я.

— Вы правы, сударь, — похвалила меня седовласая дама. — Порядок в квартире — это первое, о чем мы заботимся. Если даже иной раз Элюня нарежет бумажек и насорит на полу, Франуся сейчас же подметет…

— Ведь я, бабушка, вырезаю только конверты, когда пишу папочке письмо, чтоб он скорее возвращался, — отозвалась девочка.

По лицу Ставской пробежала тень не то горечи, не то усталости.

— И ничего, никаких вестей? — спросил управляющий.

Ставская медленно покачала головой; не уверен, не вздохнула ли она при этом, но так тихо…

— Вот судьба молодой хорошенькой женщины! — воскликнула старая дама. — Ни барышня, ни… замужняя…

— Маменька!

— Ни вдова, ни разведенная, словом, невесть что и невесть за что. Говори что хочешь, Эленка, а я тебя уверяю, что Людвика нет в живых…

— Маменька! Маменька!..

— Да, да, — продолжала мать, разволновавшись. — Мы тут его ждем каждый день, каждый час, а все ни к чему… Он либо погиб, либо бросил тебя, значит ты не обязана дожидаться…

У обеих женщин глаза наполнились слезами: у матери — от гнева, а у дочери… кто знает? Может быть, от обиды за исковерканную жизнь.

Вдруг в голове моей мелькнула мысль, которую (если бы дело не касалось меня) я почел бы гениальной. Впрочем, неважно, как ее назвать. Довольно того, что, когда я удобнее уселся в кресле, заложил ногу на ногу и откашлялся, все уставились на меня, не исключая и маленькой Эленки.

— Наше знакомство слишком непродолжительно, — начал я, — чтобы я осмелился предложить…

— Все равно, — перебил меня Вирский. — Благородные услуги принимаются даже от незнакомых.

— Знакомство наше, — повторил я, осадив его взглядом, — действительно недавнее, однако вы, сударыня, может быть, разрешите не столько мне, сколько пану Вокульскому использовать свои связи для розысков вашего супруга…

— А-а-а!.. — тихо вскрикнула старая дама тоном, вряд ли выражавшим сильную радость.

— Маменька! — опять остановила ее Ставская.

— Элюня, — решительно обратилась старушка к внучке, — ступай к своей кукле и вяжи ей жакетку. Петлю я тебе подняла. Ступай!

Девочка немного удивилась, может быть даже насторожилась, однако поцеловала руку бабушке и матери и ушла, захватив с собою спицы.

— Послушайте, сударь, — продолжала старая дама, откровенно говоря, мне важно не столько… то есть я не верю, что Людвик жив. Если человек два года не пишет…

— Довольно, мама!..

— Нет! — перебила ее мать. — Если ты сама не чувствуешь своего положения, то уж я поняла его вполне. Нельзя жить вечной надеждой или вечным опасением…

— Мама, милая, и о моем счастье и о моем долге одна я вправе…

— Не говори ты мне о счастье, — вспылила мать. — Оно кончилось в тот день, когда муж твой сбежал от суда, которому стали известны какие-то его темные дела с ростовщицей. Я знаю, что он невиновен, готова присягнуть в этом. Но ни я, ни ты не понимаем, зачем он к ней ходил!

— Мама! Ведь эти господа нам чужие!.. — в отчаянии воскликнула Ставская.

— Это я-то чужой? — спросил управляющий с упреком, однако привстал и поклонился…

— И вы не чужой, и этот господин тоже, — сказала старушка, указывая на меня. — Я вижу, что это честный человек…

На этот раз поклонился я.

— Так вот послушайте, — продолжала она, проницательно глядя мне в глаза, — мы живем в постоянной неуверенности насчет моего зятя, и неуверенность эта отравляет нам существование. Но я, признаюсь откровенно, больше опасаюсь его возвращения…

Ставская закрыла лицо платком и выбежала из гостиной.

— Плачь, душенька, плачь… — грозя вслед пальцем, говорила раздраженная старушка. — Такие слезы хоть горьки, да все лучше тех, которые ты каждый день проливаешь…

— Сударь, — обратилась она ко мне, — я приму все, что господь нам пошлет, однако чуствую: если человек этот вернется, он вконец погубит счастье моей дочки. Клянусь, — прибавила она тише, — что она уже не любит его, хоть сама этого не сознает, и все же я уверена — только позови он, она немедленно к нему поедет!

Рыдания помешали ей продолжать. Мы с Вирским переглянулись и простились со старой дамой.

— Сударыня, — сказал я перед уходом, — не пройдет и года, как я принесу вам известие о вашем зяте. А может быть, — прибавил я с невольной улыбкой, — дела сложатся так, что… все мы будем довольны… Все… даже те, кого сейчас здесь нет!..

Старушка вопросительно посмотрела на меня, но я ничего не ответил. Мы еще раз простились и ушли, уже не спрашивая пани Ставскую.

— Да заглядывайте к нам, сударь, почаще! — крикнула старая дама, когда мы уже были в кухне.

«Конечно, я буду заглядывать… Удастся ли мне план насчет Стаха? Одному богу известно. Там, где в игру замешано сердце, бесполезно строить какие-либо расчеты. Но все же я попытаюсь развязать руки этой женщине, а это тоже чего-нибудь да стоит».

Выйдя из квартиры Ставской, мы с управляющим расстались, весьма довольные друг другом. Он хороший малый. Однако когда я вернулся домой и задумался над результатами моего обхода, то даже за голову схватился.

Я собирался привести в порядок финансовые дела в доме — и вот тебе, привел их в такой порядок, что доход с него уменьшился по меньшей мере на триста рублей в год. Ну, что ж! Может быть, тем скорее Стах одумается и продаст свое приобретение, которое ему совсем не нужно.

Ир все прихварывает.

Политика все в том же положении: полная неопределенность».